

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

11

НОВЫЙ
МИР

11

1984

1984



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1984 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛИМ КЕШОКОВ — Стихи (перевел с кабардинского Яков Козловский)	3
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ — Мироздание по Дымкову. Фрагмент из романа	6
МИХАИЛ ДУДИН — Из цикла «Записи на память». Стихи	20
СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ — По ступенькам памяти. Окончание	22
ВЛАДИМИР ШАЁНСКИЙ — Два стихотворения	95
ВЛАДИМИР ЦЫБИН — Стихи	96
А. КАШТАНОВ — Другой человек, повесть	100
ЛАРИСА ТАРАКАНОВА — Стихи	145
НАТАН ЗЛОТНИКОВ — Стихи	147
В. КАВТОРИН — Маэстро Шахбазов, рассказ	149
ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ — Дожоогийн Цэдэв Шаравын Сурэнжав (перевела Римма Казакова). Жагдалын Ахагва, Лувсандамбын Хуушан, Бавуугийн Ахагвасурэв (перевела Людмила Букина) Мишигийн Цэдэн- дорж, Тоомойн Очирхуу, Очирбатын Дашбалбар (перевел Геннадий Ярославцев)	161
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ЕВГЕНИЙ БУДИНАС — Дом в сельской местности	166
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ — Монумент преступлению	192
КАРЭН ХАЧАТУРОВ — Растопанная свобода	198
ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ	
М. М. ЗОЩЕНКО — Из писем и дневниковых записей (1917—1921 гг.) Публикация, вступление и примечания Ю. Томашевского	211
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Т. МОТЫЛЕВА — Ответственность перед временем	230

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
	247
Владимир Еременко. Эхо крика.	
Иван Савельев. В глубь памяти народной.	
Эдуард Проняловер. На пути к единому.	
<i>Политика и наука</i>	
	257
М. Польский. Вождь всех трудящихся.	
Р. Баладиян. По высшему счету.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
ИВАН ГРИШКОВ — Один выходной день Ленина	261
КОРОТКО О КНИГАХ:	
В. Непомнящий. — Анатолий Туров. Пастораль. Повесть. ♦	
Ольга Свиблова. — Н. Дорошенко. Тысячу километров до - Москвы. Рассказы. ♦	
Г. Петрова. — Валерия Шубина. Невинный скворец. Повесть, рас- сказы. ♦	
А. Андреев. — П. А. Николаев. Историзм в художественном твор- честве и литературоведении. ♦	
М. Вольпе. — Меджа Мвани. Улица Ривер-роуд. Тараканий ганец. Романы. ♦	
В. Черный. — Б. И. Краснобаев. Русская культура второй половины XVII — начала XIX в. ♦	
А. Валентинов. — Станислав Михал. Вечный двигатель вчера и сегодня. ♦	
Александр Калугин. — В. М. Меньшиков, П. В. Меньшиков. «Силы быстрого развергивания» во внешней политике США	265
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

АЛИМ КЕШКОВ

* * *

Солнцу верная, в час заветный,
Как в веках повелось неспроста,
То вечерней зарей, то рассветной
Даль земная окрасит уста.

Подступает трава ли к порогу,
Замять желтая белый ли снег,
На восходе — пускайтесь в дорогу,
На закате — ищите ночлег.

Как все просто, извечно и мудро:
Мчит с вершины поток, как гонец,
И улыбчива киноварь утра,
И печален закатный багрец.

И для истины в мире не ново
Об отваге, любви и добре
Ранним утром рожденное слово
Поверить на вечерней заре.

Лег в опаловой мгле, разливаясь,
Красный отсвет на горле ручья.
Заклинаю годам не сдаваясь,
Ненаглядную женщину я:

— Не забудь, когда звездные очи
Обратишь на седого меня:
Пламень утренний вышел из ночи,
А вечерний — из белого дня.

Скажи-ка, весна, мне на милость...

Светает. Гляжу на вершины.
Оттуда, где солнце и снег,
Как будто потоков стремнины,
Берут мои мысли разбег.

Несуетны и светоносны
Они в окружении гор
И к ночи мерпают, как звезды
На дне потемневших озер.

И снова над звонкой Шалушкой,
Где кругом идет голова,
Мне облако стало подушкой
И царской постелью трава.

Летя среди каменных граней,
Небес отразившие лик,
Моих и надежд и желаний
Ручьи изучили язык.

Скажи-ка, весна, мне на милость:
Кто скачет по небу верхом —
Не тот ли, чья старость укрылась,
Как сумрак в ущелье глухом?

Не ты ли, скажи с моей песней
Ближайшая в мире родня?
И, в гору всходя по тропе с ней,
Не ты ль окликаешь меня?

* * *

Где вагонетка не по рельсам,
А по стальной плывет струне,
В горах над белым эдельвейсом
Ручей родился по весне.

Иным поэтам не в укор ли
Скажу, восторга не тая,
Что песня собственная в горле
Звенит у этого ручья.

И над собой презрев опеку,
Еще с другими наравне.
Она должна ворваться в реку,
Родившаяся в вышине.

И вдаль полет сумев направить,
Запомнит отчие места,
Где колыбель ее не зря ведь
В горах качала высота.

* * *

Не раз вблизи вершин отвесных
Я думал глядячи во тьму:
Расположенье звезд небесных
Так постояннс почему?

О как загадочна их доля
Мерцать незыблемо во мгле.
Чей это промысел чья воля?
Никто не знает на земле.

Через полночное пространство
Плывет луна и лишь одна
Проникла в тайну постоянства
Расположенья звезд она.

По звездам путь в чужие страны
Держали мест родных вдали
Через пустыню — караваны
И через море — корабли.

Да что корабль! Порою веку
Путь указуя молодой,
Случалось в мире человеку
Быть не кометой, а звездой.

Река обмелеет и в русле широком,
Когда со своим не сольется притоком.
Как десны, ее берега обнажатся,
Погибельно рыба начнет задыхаться.

Я женщину знаю, она одинока
Подобно реке, что лишилась притока,
Хоть кто-то давал ей когда-то зарок:
«Мы будем с тобой, как река и приток!»

Вот в поле чинара стоит одиноко,
От леса отстав, что поднялся высоко.
Одна против ветра стоит поневоле,
И не с кем ей словом обмолвиться в поле.

Один человек в поле тоже не воин,
Отшельник за участь свою не спокоен.
Товарищ нам нужен во все времена,
И сказано: «Смерть на миру лишь красна!»

Хоть в поле чинара полна загляденья,
Она не дубрава и кров не селенье,
Когда он вельнем людей или рока
Вдали от селенья стоит одиноко.

Пусть речка к реке устремляется снова,
С молвою стоустой сливается слово
И остается, повенчаный веком.
С людьми — человек и народ — с человеком!

Перевел с кабардинского ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ.



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ



МИРОЗДАНИЕ ПО ДЫМКОВУ*

От автора

Никого не должны смущать ни приводимые ниже, местами нулевой научной ценности, сведения о принципиальном устройстве мироздания, полученные лично студентом Н. В. Втюриным от ангела Дымкова, пусть даже побывавшего по служебной надобности за пределами нашей Вселенной (что и по нашему мнению крайне маловероятно), ни криминальная библейская лексика апокрифа о поистине фатальной, в канун создания человека, размовке предвечных антиподов — по книге тоже весьма не достоверного Еноха, будто бы еще прижизненно вознесенного на небеса. Правда, любой на моржовом клыке нацарапанный миф является равноправным уравнищем с тем еще преимуществом, что алгебраическая абракадабра заменена там наглядной символикой простонародного мышленья.

С той же критической осторожностью следует воспринимать инфермальную личность вскользь упоминаемого здесь профессора Сатаницкого, автора знаменитой «К о с м и с т и к и», где, разоблачая суеверие всех веков и народов с гипнотизмом во главе, он мощно опровергнул свое собственное существование. И впрямь, надо полагать, ни один отдел кагров самого провинциального вуза не пропустил бы столь видного представителя нечистой силы в деканы — наставники нашей чуткой передовой молодежи. Все же, невзирая на доводы просвещения, в тайниках мировой души доныне гнездится гревняя плесень поверья в сон и чих, рыбий глаз и вороний грай, а поверх них вдобавок живут иррациональные страх и надежда на какое-то главное чудо впереди. Не исключено также, что, как не раз случалось в прошлом, пытливые потомки однажды подведут железный фундамент под какую-нибудь вчерашнюю ересь. Вряд ли уместно запрещать им даже сомнительные открытия на основе покамест не существующих наук.

Всего лишь фабульные характеристики перечисленных персонажей из еще не законченного повествования, они публикуются досрочно в качестве необязательного подсобного матерьяла для раздумья об исподней сущности нынешнего момента, как он может представиться нам под влиянием впечатляющих обстоятельств.

Крайнее ничтожество, за каких-нибудь полгода постигшее ангела Дымкова, заставляет всерьез призадуматься о нем в смысле его иррациональной достоверности. По отсутствию классических примет ангельства вроде летательных конечностей на спине выяснению его личности может помочь лишь анализ его сущности изнутри. Суще-

* Фрагмент из романа.

ству супернатуральному полагается особо проникновенное знание вещей, ускользающих от нашего смертного понимания, равно как умственный ранг мыслящей особи лучше всего распознается по ее суждениям о наиболее темных при кажущейся общедоступности тайнах неба и бытия.

Таким оселком представляется инженерная схема мироздания, слышанная студентом второго курса Никанором Втюриным непосредственно от испытуемого, к слову, настолько путаная, даже начальная местами, что распубликование ее в полном виде могло бы бросить тень на книгопечатание. Но как мыслителя средней руки меня подкупила завлекательная с виду простота излагаемой теории — без головоломной цифири и лексических барьеров, охраняющих алтари наук от посягательства черни. Когда-то, платя дань исканьям юношеского возраста, я шибко интересовался всякими неприступными тайнами, в частности вместе со сверстниками вопрошал небеса насчет святой универсальной правды, пока не выяснился шанс получить ответ на интеллектуальном уровне поставленного вопроса. И если в школьные годы составлял родословную античных богов и их земного потомства для уяснения логики древних, то позже, на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе, я средствами домашней самодеятельности стремился постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве. В земных печалаях та лишь и представлена нам крохотная утеха чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе-малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю я».

Для начала Никанор решительно осудил надменную спесь некоторых наук, чья ограниченность по его словам, проступает в упорном самообольщении, будто оверрируют они с абсолютной истиной. Меж тем последняя, в силу содержащегося в ней понятия окончательности рассчитанная не весь наш маршрут от колыбели до могилы, не может раскрываться ранее прибытия к месту назначения, откуда мир как бы с гималайских высот просматривается взад и вперед, без границ и горизонтов. Даже сделал предположение, что ничтожная, в общем то, дистанция от разума муравейного до нашего вообще не соизмерима с расстоянием до истины. Однако при очевидных изъянах Никанорова предисловия некоторые соображения о характере научного процесса показали мне достойными вниманья.

Нельзя было бы не согласиться, например, что сознание наше — мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида, не рассчитано на полный охват мироздания за явной ненадобностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. По той же причине боги как правило, беседуют с людьми их же языком, на умственном уровне эпохи. Любое мировоззрение строится на какой-нибудь дюжине констант из множества нам неизвестных. Отсюда выявление новых или оказавшихся ложными всегда доставляло известные неудобства состоящим при истине должностным лицам, в чем они и черпали моральное право на сожжение еретиков... Всплески же большой обзорной мысли легко возникают среди ночи во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребывание и, удовлетворяясь в чем-то снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя ни очертаний колыбели, где дремлем. Таким образом, разновременные домыслы о ней суть лишь собственные возрастные наши отражения в бездонном зеркале вечности.

Неудивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламарионовы шарики, арифметично курсировавшие по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвались

и бешено понеслись куда-то, — кто знает, сколько еще раз предстанет эта Вселенная перед потомками в совсем немыслимой перспективе. Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения также нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано ухватить сущее в его окончательном облике? Если Евклиду нынешнее знание показалось бы бормотанием пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозрения, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед? Всегда бывало, что уже разгаданное становилось лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно не похожих на прежние, но тоже транзитных — в направлении к сущностям высшей емкости, пока и те, одновременно обогащаясь и упрощаясь по логике диалектических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного нам порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозрением с последующим переходом в поэтическое восхищение, чтобы завершиться благоговейным созерцанием...

По дерзости подобного вступленья с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя пока непознанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретенье, тоже нулевой научной значимости из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента. Ожиданья сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если доколе создание принципиального образа Большой Вселенной затруднялось недостижимостью ее для целостного охвата, то здесь она была усмотрена вся, извне сущего с некоей сверхкрылатой высоты. По Никанору, для постижения инженерной конструкции предмета в масштабе метagalактики лучше всего положить его на ладонь и по-детски, без догматических предубеждений вникнуть в первичный иероглиф замысла. Самые сложные явления легче постигаются в их детском рисунке, в обратном же направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум лобирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным шупом в виде звездного луча, а много ли океана углядишь через прокол лиаметром в геометрическую точку? Словом налицо был тот случай, когда большой науке вряд ли следует из престижной щепетильности отказываться от сотрудничества с бывалым лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь не таскаться на улитках по беспредельностям космоса.

— Иногда крупина истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнания! — наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распускается в логическую нитку, как бабушкин клубок.

Мимоходом к главному стоит коснуться кое-каких теоретических соображений профессора Сатаницкого, высказанных при нашем свиданье у него на кафедре, куда меня привела надежда хотя бы окольным путем проникнуть в лоскутовскую тайну и заодно проверить молву о его собственной причастности к высшей адской камарилье. Беспощадный разоблачитель всяческой чертовщины, он наотрез отрицал наличие каких-либо существ потустороннего профиля и в загадочном пришельце оттуда склонен был усматривать обыкновенного разведчика из смежной суперцивилизации, заброшенного к нам под видом чудаковатого ангела, чем в случае провала ему обеспечивалось хотя бы временное убежище у верующих. По мнению самого корифея естественных наук, как почтительно именовала Сатаницкого наша пытливая общественность, всего проще уличить самозванца было бы сразу по прибытии на Землю, наблюдая его поведение в незнакомой среде. Ибо всякая материальность, по его словам, образуемая взаимодействием лишь физических законов, без ве-

щественных признаков для опознания, будет в лучшем случае представляться им пламенеющим завихреньем силовых линий. Таким образом, мнимый ангел, не обладающий пятерней нашего чувственного восприятия, которою мы, слепые, обшариваем Вселенную вокруг себя, при встрече с людьми стал бы мучительно и близоруко вглядываться в мерцающий перед ним ступок энергии, сияясь различить вписанного туда человека. Но, к сожалению, по независимости от него причинам студент Никанор отсутствовал на месте происшествия, а за те полчаса, пока его из края в край таскала над Москвой нечистая сила, воплотившийся призрак успел приспособиться к реальной земной обстановке. Словом, у нас не остается иного средства добиться правды кроме как представить создавшееся недоразумение на суд виднейших столпов науки. Было бы благородно с их стороны, чтобы они в опровержение нижеизложенной дымковской ахинеи насчет мироздания популярно обрисовали трудящимся, как оно там устроено в действительности.

Оказалось, невнятную доктрину свою Дымков сообщил друзьям в первой же совместной прогулке по столице, когда те знакомили гостя с наиболее выдающимися диковинками нашей цивилизации. К вечеру, вдоволь покатавшись в метро и нагулявшись среди чудес зоопарка, они забрели в планетарий по соседству, где как раз на лекции по мироустройству Дымков неуместными вслух замечаниями неоднократно вызывал шиканье публики. В оправдание себе он по выходе из здания еще во дворе и прямо пальцем по свежавшему снежку накидал спутникам принципиальную схемку звездной механики — как она, насквозь видная снаружи в своей помрачительной наглядности, запомнится, наверно, каждому, кому доведется по делам службы вроде него побывать за пределами Вселенной. Чертеж состоял из кинокасадной серии равнобедренных треугольников, которые, вонзаясь вверх острием, в каждом кадре постепенно сплющивались по медиане вплоть до исчезновения на некоем критическом рубеже, после чего, претерпев геометрический перекувырк и постепенно восстанавливаясь в прежней форме, замедляли свой бег уже острием назад, в зеркально-обратном начертании. В обоснование этой метаморфозы Никанор сослался на свидетельство двух покойных профессоров заграничного происхождения о том, что всякое сверхбыстро летящее тело укорачивается по оси движения соразмерно своему разгону в пределах дозволенного наукой. Дымковская же поправка к ихнему постулату раскрывала катастрофические для объекта последствия в случае весьма сомнительного достижения им некоей абсолютной скорости.

Очевидное тут расхождение с учебниками может объясняться и тем еще, что студент сразу не догадался закрепить на клочке бумаги услышанное от ангела Дымкова, отчего по дороге домой полovina улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом досадной отсебятины. Головоломные открытия, которыми сопровождалось приподнятие завесы, излагаются дальше в порядке относительной легкости для их опровержения.

Уложенная на ладонь Вселенная выглядела символическим кружком из двух, внутри, близнецов-головастиков, как у древних китайцев обозначалась структура неразрывного и равноправного единства противоположностей — света и тьмы зимы и лета, плюса и минуса в данном случае. Соприкасаясь по разделявшей их синусоиде, они сообщались лишь через мощные протоки, стихийно возникавшие всякий раз, когда отбившие свой век огненные гиганты, с захватом звездной мелочи из окрестностей и закручиваясь на лету, исчезали из нашей видимости, проваливаясь куда-то, но не просто в глубь себя, а в смежную половину на переплав в свою диалектическую ипостась. Иначе, успокою меня Никанор во избежание пессимизма, застрявшие в собственных ямах-ловушках светила небесные навсег-

да остались бы в них, и тогда отведенный нам на жительство прелестный уголок превратился бы в свалку замороженного утиля. На полном разгоне прорываясь в свое иррациональное состояние сквозь знаменитое табу предельной скорости, материя в тот мнимый момент (как бы протестуя против столь невежественного обращения с нею) радиоревом раздираемого Самсоном льва оглашает безмолвие космоса. Кстати, при переходе через нуль подосная метаморфоза должна уложиться в некое абсолютное мгновение, куда запросто вместятся тысячи людских поколений, целые геологические эпохи, что позволяет судить о мимолетности нашего эфемерного существования на шкале космического времени... Зато порадовала своей изобретательностью мать природа, как она экономным переливанием избыточного вещества из пустого в порожнее обеспечивает вечную гармонию и молодость мироздания. Значительно расширила мой кругозор и ценная студентова догадка насчет помянутых звездных могил, которые в действительности не имеют дна так что слепительные ядра, наблюдаемые посередке разных возрастом и порою все еще вращающихся галактик, суть не что иное, как яростные выплески плазмы по ту сторону синусоиды. Но отрадней всего было узнать про наш любимый Млечный Путь, который не сгинет в неведомых просторах антимира, а, напротив, по миновании обязательных фаз эволюции снова станет оазисом прогресса и цивилизации, правда с сомнительным по части этики и физиологии комфортом в том зеркальном его отображении, где все вывернется наизнанку.

На беду мою, изложение дымковской теории велось так беспорядочно, с частыми пробелами и перескоками с одного на другое, что никак не удавалось мне свести сообщаемые сведения в стройную законченную систему. Будто бы, например, со школьной скамьи известные нам физические законы далеко не обязательны для всех этапов мироздания, и если в привычном нашему мышлению, масштабном ограниченном пространстве радиусом не свыше какой-нибудь тысячи парсеков материя выглядит несколько иначе, нежели в смежном микрообъеме атома, то как же она будет отличаться от самой себя по мере возрастания своих параметров, с удалением в макробеспредельность, где все чаще уму и телескопам открываются устрашающие научно немыслимые бездны с диковинками светимостью чуть ли не в миллион солнц? Как видно, подобные глубины простираются во все стороны, так что, ступенчато спустившись в одну из них и нигде не возвращаясь вспять, можно прямиком, сквозь круговую анфиладу вселенных, выбраться наружу в прежней точке пространства и времени, от которой еще недавно наука и религия каждая своим кодом вели отсчет бытия. Парадоксальная заумь нашей мысленной прогулки объясняется лишь тем, что кольцевой маршрут ее является силовой орбитой атома высшего ранга, повергающего разум в смирение. Словом, в основе сущего лежит циклическая повторяемость, подтверждающая указание, что все зримое на свете обязано своим бытием мелкоэлектрическим кубарикам, которые даже ночью крутятся в нас самих, но мы привыкли и не замечаем. И как бы в подражание им целые галактики, невзирая на свою громоздкость, тоже пребывают в непрестанном коловращении, так что при внешней сложности вся механика Вселенной сводится к заурядному меж двух полярных крайностей качанию маятника, четким пульсом коего гарантируется упругое постоянство то есть вещь ная ясности машины, а фазовым его состоянием мерится поэтапно разный возраст никогда не умирающей Вселенной. Тут по невозможности описать процесс во всей его протяженности лектор прибегнул к опыту чисто житейской практики: е ж е л и левое плечо некоего единства поднимается, то, по закону коромысла, столько же его с правой стороны опускается. В особенностях, говорят это заметно на примере всякого слишком быстро летящего предмета, когда самая даже ничтожная на старте масса его

с приближением к максимальной скорости безгранично возрастает за счет чего-то полностью исчезающего на финише, ибо ничто не может взяться ниоткуда. Нет сомнения, речь явно идет о времени, за ненадобностью переставшем быть на окраине бытия, по авторитетному свидетельству Большого ангела из Апокалипсиса. Не значит ли это, что именно оно явилось той самой доматериальной, сверхъемкой сущностью, из которой излилось все?

В частности, время у Никанора подразумевалось отнюдь не циферблатное, каким пользуются при отсчете пульса либо для варки яиц, а то абсолютное время античной теологии, обозначаемое именем Хрона, от семени которого произошли стихии, боги, звезды, зародыши всякой живности земноводной. Недаром в равноправной триаде сущего — пространство-время-материя (где, заумно разъяснил Никанор, первое неправоммерно без чего-то в нем размещенного, чья длительность определяется посредством второго, и, таким образом, обе ипостаси являлись бы производными от третьей, кабы сами не обеспечивали ее бытие) именно оно значилось на первом месте — посреди. Однако начисто исчезающее в перевальной точке, время само должно было подвергнуться немыслимому для реальности сжатию в математическую точку праматеринской субстанции, которой предстояло из стадии первозданного бешенства выродиться в обыкновенную звездную плазму, чтобы, остывая дальше, вступить в пору плодоношения высших чудес — музыки, мышления и, скажем, моря, для чего, наверное, и было в се затеяно. Невыполнимая задача вместить обширную небесную подвижность в некий взрывающийся шар нулевого диаметра задолго до нас толкала людей на признание надмирной персональной воли, по Никанору же, за блуждение разрешается простой заменой одноразового вселенского цикла вечным кружением с постоянной многомиллиардной орбитой, так что сверхтитаническое взрывное происшествие, почитаемое одними за акт божественного миротворения и принятое другими в качестве отсчетной точки для исчисления возраста Вселенной, на деле всего лишь рядовая искра энергетического переключения в смежно-полярный потенциал. А хрестоматийный библейский сказ с привлечением малоизвестных подробностей по Еноху, как оказалось впоследствии, представлялся моему просветителю всего лишь пригодной схемой для наглядного осмысления истории людей.

На ощупь и оступаясь, словно в дремучем Дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки наваждения, мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости желанного клада, который без терпенья не дается никому. Однако колдовская одурь понемногу уступала место робкому сомнению — не дурачит ли меня этот с очевидными задатками провинциальный увалень, из которого его шеф, признанный мастер философского носовождения, растит пророка какой-то еще неведомой миру, в качестве панацеи ото всех бед, сумасбродной идеи?.. Осведомленный по Книге судеб о фантастической будущности своего питомца, он совершал сие с обязательной при изготовленьи адской машинки предосторожностью — самому не взорваться на ней, — чем и объяснялся, видимо, их странный симбиоз. Не без оскомины вспомнилось тут, чего стоило мне избавиться от подаренного при первом же знакомстве в качестве развлечения на досуге изобретеньица, оказавшего столь прилипчивым, — как единым мановеньем пальца распутать мир в ничто. И вообще, с виду достаточно безумная, как нынче требуется от научных сенсаций, а на деле ребячий пустячок, дымковская концепция в передаче рассказчика все больше, по мере углубленья в тему, приобретала отпечаток его подпольной личности, способной завести в опасный тупик доверчивого простака.

Теперь, невзирая на мое стесненное состоянье, он принялся **взламывать общеизвестный тезис иллюзорного, якобы спектрального сме-**

щения, обусловленного будто бы не ускорением взрывных разлетающихся брызг и осколков, а меняющимся соотношением возрастающей массы за счет убывающего времени. Другими словами, наблюдаемый эффект красного смещения диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а напротив — один и тот же неизменный отрезок пути преодолевается за укороченную единицу длительности. То есть движение всюду остается равномерным, но пройденное расстояние исчисляется за меньшее время, стремительно сокращающееся с приближением к финалу. Означенный парадокс уподоблялся у Никанора нередкому в рыночном обиходе усыханию гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижаются вес и объем товара с прежней ценой на этикетке. Отвергая гипотезу разбегания галактик, он в особенности горячо осудил допускаемое кое-кем сосуществование разноименных, зачастую перенаселенных живностью миров, которые подобно баржам со взрывчаткой свободно плавают в одном и том же фазовом поле.

— Сердце кровью обливается при мысли о возможных последствиях такого допущения,— с полной серьезностью сказал он, глядя куда-то вглубь и как бы созерцая уже разразившийся катаклизм.

— Понимаю... но что же в такой степени волнует вас, милый Никанор Васильевич? — не сдержался я, тронутый его заботой об участи многочисленных жителей, обрекаемых неправильной гипотезой на верную однажды гибель.

Несмотря на те боевые годы, когда все было возможно, ни разу не доводилось мне не только наблюдать, но и слышать о только что столкнувшихся галактиках. И чтобы вернуть беднягу в русло гражданского оптимизма, я указал ему на огромную, по счастью, протяженность Млечного Пути, так что в случае малейшего соприкосновения космических объектов местные начальники, необычным небесным фейерверком оповещенные о грозящей опасности, успеют без паники наличными средствами уладить дело.

— Ах, вовсе не то, тут вещи поважнее! — отмахнулся он, имея в виду неизбежность жертв в такого рода событиях, и вдруг оказалось, что отнюдь не судьба материнства-младенчества и заслуженных пенсионеров тревожила его, а именно долгая и безаварийная среди стольких спилл и харибд навигация нашего звездного корабля немислимая без верховного логмана нарицаемого у них Демиургом мироздания. — А ведь вера в него и есть тот опаснейший опиум для трудящихся, как метко обозначена она в современной библии человечества. не так ли?

Он испытующе уставился в меня и, почудилось, даже подмигнул мне как будущему сообщнику в каком-то неблагоприятном предприятии. По условиям места и года разговор велся полунамеками ввиду возможных наших разногласий по коренному вопросу — чем именно, помимо паспорта в кармане, отличается обыкновенный кусок мяса от человека. Угадывая коварный финт ходом коня и чтобы не получилось что-либо нежелательное, я воздержался от прямого ответа.

К чести лектора он охотно соглашался, что покамест дымковская модель мироздания годится разве только для умственной гимнастики и сравнительно с нею концепция Козьмы Индикоплова о Вселенной на трех китах может показаться кое-кому венцом математической смекалки. Однако благобразная и чопорная старина всегда, поворчав немного, почтительно сторонилась перед юной, непричесанной и напористой новизной. Отбиваясь от странного соблазна поддаться ей, я пытался сокрушить навеки главную ересь всей дымковской конструкции на манер того, как знаменитые праведники поступали со всякими исчадьями преисподней. Крестом служила известная мне понаслышке и счастливо подвернувшаяся в памяти парольная пропись при входе в святилище современной астрофизики

сродни знаменитому Дантову заклятью на воротах ада. То была железная формула о запретности пресловутой абсолютной скорости для всего на свете, кроме фотона да мысли человеческой.

Мою неуклюжую пусть вылазку в защиту здравого смысла Втюрин воспринял почему-то как личное оскорбление.

— А не приходило вам в голову, могучий ньютоновец,— обрушился он на меня, захлебнувшись словами,— отчего и только ли по нехватке инструмента некоторые мудрецы, особенно с привязными бородами, так яростно отвергают незримую суть айсбергов, сокрытую в пучине бытия? Или зачем виднейший из них задавался вопросом, мог ли бог создать мир иначе? Или ради чего мир стал задумчиво оглядываться на отвалы шлака и мыслительного утиля за спиной?.. Равным образом пассажиру в ракете на той почти роковой скорости с километром девяток после запятой свойственно противиться дальнейшему разгону из страха по инерции при малейшей задержке безгранично разбухшей массы непременно разбиться о самого себя, без чего Ахиллес никогда не догонит свою черепаху. Не бойтесь возможного просчета: лобастые потомки уточнят, утрясут наши с вами неувязки на своих совершенных арифмометрах, приспособят тайну к пониманию малышей. У вас в ладони зерно завтрашних открытий о Вселенной, держите крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!

...И тогда все сказанное раньше оказалось лишь предлогом для еще более абсурдных обобщений, масштабность коих достигалась посредством необузданного детского воображенья, у кого имелось, разумеется. К примеру, в корне отрицающая божественность миротворенья, давность которого даже наукой исчисляется не свыше каких-нибудь двух-трех десятков миллиардолетий, дымковская теория низводила это сверхтитаническое происшествие в разряд проходного эпизода, энергетического щелчка, а истинный возраст сухого расширился до полной непостижимости. Не исключалось, впрочем, что и та всего лишь ничтожная долька иной, тоже не последней порядковой мегавечности.

Для лучшего постиженья своего чертежа студент предложил мне подняться на уровень условного Демиурга, для которого названная выше, всего с двадцатью нулями, ничтожность времени укладывается в миниемкость года, дня часа и наконец в стотысячную частицу земного мгновения. С помощью метафор, жеста и даже мимики в особо трудных местах он изобразил мне самый процесс — как описанные двадцатимиллиардные пульсации с уплотнением периодов постепенно сливаются в мерцающий туман едва узнаваемой бышней среды, какую становится бесконечно истончившаяся материя, которая в перспективе дальнейших превращений исчезнет и сама, оставив по себе лишь немеркнувшее не просто фотонное сияние, а тот свет предвечных народных сказаний, в котором рассеяны летучие пылинки миров, погребены давно прошедшие, вызревают неродившиеся и где-то там на своем млечном перышке — мы.

Во исполнение заветных чаяний человечества Никанор высказал твердую уверенность, что теперь уж скоро какой-нибудь отчаянный, Колумбова склада Прометей сумеет вернуть крюк в зияющую твердь небес и, на разведку подтянувшись ввысь, начертит для будущих смельчаков план тамошней мнимой пустоты с заветною, в окружении непролетных бездн, световую горой посреди, и на отвесной высоте с подножья, если голову закинуть побольней станет видна та желанная мечта всех изгнанников, Адамовых потомков в том числе,— неприступная цитадель...

— ...уразумели наконец чья я? — тоном искусителя справился он и опять шурким из-под нависшего века глазком подмигнул мне в знак особого расположения.

Разговор приобрел чрезмерную фамильярность касательно вещей,— вообще-то все неприкасаемых.

— ...и даже уразумел, совместно с кем предполагаете освоение этой целины,— на всякий случай поотстранился я от неположенных смертным знаний. — Все балуете меня всякими хитростями, Никанор Васильич! К прочим в придачу еще одна: загадочный подкоп в резиденцию всевышнего. Не вижу смысла, зачем мне она?

— А его сразу-то и не увидишь, тут глубже надо копать! — посмеялся он на мою недогадливость.— Дело в том, что последнее время мыслители с хозяйственным уклоном стали задумываться, к чему атеизм... И ежели для него не имеется особых, непубликуемых причин, то стоит ли тратить столько бумаги, усилий и просто государственных средств на опровержение чего-то заведомо несуществующего? Вся суть якобы в том, что, вдохновляемый техническими успехами, все резвей становится заложенный в человеческой природе ген овладения миром.

И опять не удержался я от искушенья ознакомиться мимоходом, что за ген такой и откуда взялся, чтобы отягчать и без того суровую нынче судьбу людей.

К сожаленью, новая тайна оказалась из постигаемых разве только с помощью аналогии. По отсутствию в передовых науках подходящего средства для надежного, потустороннего к тому же, проникновения в такую глубь естества и впрямь лучше всего годилась панорамная библейская схема. Столь документированное свидетельство о создании человека по отповскому образу и подобию позволяло ставить вопрос о законных для седеющего сына юридических правах (а на древнем Востоке и о сроках, его державной преемственности, к чему с вавилонских еще времен стремился заждавшийся наследник. Подобные династические узлы нередко разрубались там ночным внутридворцовым способом вплоть до радикальной, по Гесиоду, расправы над злосчастным должжителем. В философско-нравственном аспекте это маскировалось мотивом воцаренья разума на престоле Вселенной, а у нас после революции приобрело особую популярность под девизом даешь небо, подразумевавшим покамест неотложную задачу отечественного воздухоплавания. В пору зрелости человечество в борьбе за свое господство уже не может обольщаться успехами чисто практического безбожия, ибо сколько дохлых кошек в верх ни закидывай, они неизбежно валяются на головы озорникам по недолету до адресата. Нынешние, с риском вызвать на себя пламень гнева воинствующие тамтамы под окнами всевышнего применяются уже не с целью испытать долготерпенье старика, а впрямую — раскрыть дислокацию небесной обороны. Даже последовала студентова приблизительная пока наметка операции по овладенью ближними высотами, однако с такой местами поэтапно-штабной обработкой, словно студент из-за плеча своего шефа подсмотрел секретный документ на его рабочем столе. Рассказчик не сомневался в окончательной победе разума, правда несколько односторонней и даже не без существенных огорчений коренную причину коих усматривал не в поспешности одних срочно и на полном ходу прогресса поменять отжитую общественную структуру или в эгоистическом стремлении других отстоять ее, будто бы испытанную веками цивилизации, а, как ни странно, в трагической природе божественного статуса.

С присущим его возрасту замахом Никанор исходил из того, что творцу ничего, в сущности, не стоило слегка, перстами чуда, развести, разомкнуть нулевое ничто, чтобы между ними вспыхнула, сверкнула, заструилась слепительная дуга мироздания. Меж тем безграничная для любой царственной особы доступность всех даже не подозреваемых нами блаженств бытия в их наивысшем совершенстве полностью исключает самую сытность обладания ими. Подобно

тому как солью выявляется вкус пищи, так и умственной болью при- дается радость мукам творчества — от изнурительного вызревания образа и такого же поиска достойной ему формы, тоже не всегда венчаемых сладчайшей усталостью при виде завершеного рукоде- лия, что и отразилось в придуманной для него Моисеем святой субботы абсолютного покоя. Парадокс несовместимости обоих состоя- ний разрешался у Никанора ответом на впервые поставленный им вопрос — а зачем богу, потенциально имевшему все, кроме потребно- стей и желаний, понадобились дерзкие, грешные и смертные люди?

Получалось, будто бы омрачавшее творца бессилие преобразо- ваться хоть на один, вверх или вниз, порядок совершенства, продлить себе вечность или убавить ограничительное изобилие толкнуло его поделиться с кем-то своим могуществом в обмен на глоток горечи от неудачи. Стремление вырваться на простор вероятности из пересы- щенного чудом царственного одиночества и выразилось созданием промежуточной между собою и армадой небесных сил рабочей ипо- стаси, правой руки своей, с обязательным, по Еноху, подчинением ангельских контингентов новорожденному Адаму — отражению сво- ему в капле земной росы, отныне делающему Творца доступным для созерцания без риска слепоты. Видимо, просчет бога заключался не иначе как в даровании человеку несовместного с телесностью гена власти над вечностью, что, казалось бы, свидетельствует о наконец- то достигнутых, мучительных и желанных, творческих поисках. Смерть людей — очевидное доказательство его донныне не прекратив- шихся поисков державного себе заместителя, что уподобляет творца взыскательному гончару, который в погоне за ускользящим при- зраком шедевра сминает и возвращает назад, в яму, уже мыслящие, напрасно аплодирующие ему модели. Поневоле приходилось согла- ситься, что именно роковая г л и н а, избранная быть основой нашего тела, в качестве нераздельного отныне родства духа и материи, стала косвенным расколом сушего на Добро и Зло.

Если пророческое бормотание Еноха в том загадочном конфлик- те расшифровать в фабульном плане, то нужно представить себе, как озабоченный слухами о предстоящей передаче сил небесных под начало неведомого хозяина главный их маршал вошел в мастер- скую божественного ваятеля и застал его за работой. Ожидавшее одухотворения тело человека лежало на столе в наготе черновой готовности. Естественно, впервые содеянное планоно, без посредства чуда, оно и должно было содержать кое-какие прискорбные недоче- ты, так что архангел не смог удержаться от содрогания. После бег- лого ознакомления со своим будущим шефом взволнованный Сата- ниил позволил себе неуместные в присутствии высокого автора кри- тические замечания, а поводом к разладу послужил вовсе оскорби- тельный по надменности, буквальный в тексте апокрифа вопрос — «как можешь ты созданных из огня отдавать во власть созданиям из глины?». Лишь тогда терпеливое вначале молчание властелина разра- зилось бурей гнева с низвержением агггельских отныне легионов в крошечную ссылку за пределы сушего... Отсюда, диктуемая го- речью утраты своего первенства в обители Света и жаждой мести соперникам, и возникла деятельная и дальновидная неприязнь их к людям, за которую апостол увенчал владыку Тьмы заслуженным про- звищем ч е л о в е к о у б и й ц ы. И не потому ли с тех пор при наличии закаленных кадров, сжигаемых надеждой вернуться на прежние вы- соты, не произошло ни одной с его стороны попытки реванша, что де- монской гордыне требовалось, чтобы в о з л ю б л е н н ы е, прежним фаворитам предпочтенные детки по собственному почину подняли меч и бич против Отца и дарованной им жизни и, смытаясь в небытие, с а м и черным ветром ненависти подмели бы догола замусоренную планету? Согласно изложенной доктрине было бы для мстителей оп- лошностью упустить нынешний неповторимый шанс сделать челове-

чество единовременно полем битвы, трофеем, ударной силой против самого себя.

Высказанное сопровождалось обещанием будущего светоча Никанора показать мне чуть позже, как печальные и с виду вполне беспочвенные фантазии выглядят в натуральную величину.

— Хотите отправить меня туда, в д а л ь н ю ю разведку? — с тайной надеждой на отсрочку пытался отшутиться я.

— А что же, в походе на розыск земли обетованной нет должности почетней, чем соглядатай грядущего, — сказал он и рикошетом, по недосказанному поводу, резко отозвался о волюющей беспечности современников в отношении своей репутации у потомков, от которых будет зависеть судьба великих идей. — Судя по почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты. Правда, ни подобающей шедеврам вечности, ни оваций читательских посулить автору не смогу... ничего, кроме крупнокалиберного разноса вроде того, что привел вас однажды к нам на Старо-Федосеевский погост. Не исключено, впрочем, что фатальная ситуация разразится досрочно, и тогда возвращаться оттуда станет незачем да и некуда, пожалуй...

— Если так скоро, то кому нужен будет подвиг мой... разве только уцелевшим?

— Не уцелевшим, а еще живым! — поправил мою догадку на глазах у меня вдруг повзрослевший молодой человек. — Книга ваша была бы им как прощальный с птичьего полета и за мгновение до черного ветра человеческий взор на миражные в тихом летнем закатце, уже обреченные города Земли. А заплутавшему путнику на исходе души воспоминание о бывшем стократ дорожке глотка утренней росы в пустыне. Не сопротивляйтесь же, коллега... — И, выполняя обещание, преподнес мне пару-тройку весьма впечатляющих эпизодов, наугад взятых из коллекции Дуниных видений и тотчас органично вписавшихся в сюжетную канву моего повествования.

— Похоже, преуспевающий госстипендиат Никанор Втюрин сам верит в реальность этих галлюцинаций? — осудил я преступный в наше время пессимизм в столь масштабном развороте, да еще с инферальной подсветкой.

В доказательство своей правоты Никанор выдвинул несомненную аксиому, что наше восприятие вещей и событий целиком определяется не только умственным кругозором или психическим настроением наблюдателя, но и состоянием действительности, которая в момент ужаса и поиска норы самосохранения может представиться ему в самом первобытном аспекте. Благодаря успехам просвещения мы даже солнышко разжаловали в захолустную звезду со ссылкой на окраину системы но кто знает, не вознесет ли его когда-нибудь обратно в ранг сурового и милосердного божества потрясенное сознание наше? Генеральная перестройка человечества, помимо прочих причин обусловленная все возрастающей теснотой множества, лишь началась на планете и вряд ли обойдется без крупных социально-сейсмических подвижек которым исступленное людское отчаяние неминуемо придаст эсхатологическое толкование. Как бы ни обернулось дело, все равно послезавтрашний мир будет решительно не похож на позавчерашний Отсюда, подобно тому как положенная на ладонь Вселенная впрощает постижение мироздания по Дымкову, такую же, пусть условную философскую обзорность приобретает и будущность по Никанору на меркаторской сетке апокрифа.

В качестве компаса для ориентировки в той безбрежной неизвестности собеседник предложил не менее вольнодумную касательно прогресса концепцию, правда с благоприятной концовкой... Впрочем, вот приблизительная логика его рассуждений. С райских времен люди, как дети, в особенности тянулись к запретным дарам при-

роды, и неспроста народный эпос поручил самой отборной сказочной нечисти охранять последние — не для утайки их от тех, ради кого создавались, а в защиту самих людей от обычных последствий ребячьего баловства со спичками. И почему-то с выходом наук на магистраль самых благодетельных с виду, но обнаруживающих вдруг обоюдоострую двоякость открытий рогатая охрана все чаще стала оставлять без присмотра не только запасенные на черный день склады ширпотреба, но и пульта управления сокровенными механизмами жизни и смерти. И так как нравственная зрелость ныне действующего поколения значительно отстает от уровня его технической оснащенности, то не мудрено, если кое-какие неопробованные на себе находки уважаемых кладоискателей по прошествии времени окажутся пакетом мин замедленного действия, так сказать, сувениром доброго дедушки на рождественскую елку внучатам.

Внезапная подмена ужасной, зато лишь мыслительной версии мирокрушения другою, уже планетарного масштаба, устрасала в смысле его непосредственной близости. Ничего лишнего не было сказано пока, но, значит, было подумано, если Никанор свернул с главного на колею смежного варианта, и, к стыду моему, поддавшись наваждёнью момента, я ощутил жуткий холодок чьего-то незримого присутствия у себя за спиной. В свете этой единственно вероятной догадки меня буквально обожгло воспоминанье о моем сверхудачном визите в деканат корифея всех наук. И если его тогдашний, с первого захода, щедрый дар в виде желанной лоскутовской фабулы выглядел как аванс за необозначенные услуги, то непрошенная откровенность его подопечного насчет секретов преисподнего ведомства вовсе смахивала на посвященье завербованного в некую вредную авантюру. Иначе, как и в случае моего отказа от сотрудничества, разглашенье хозяйских замыслов грозило серьезными последствиями для нас обоих. Словом, игра зашла в ту опасную крайность, когда следовало выяснить, на кого работает мой собеседник.

К утру наше ночное ощущение действительности настолько сроднилось, что мы без труда понимали друг друга.

— Не опасайтесь того, что сейчас у вас на уме, — прочел он мои мысли. — Есть основания полагать, что распространенное мнение об их неземных возможностях шибко преувеличено. По природе своей зная все наперед, они не в силах откровенно вмешиваться в предназначенное и потому предпочитают осуществлять свои делишки руками человек. В данном случае, — вполголоса, доверительным тоном посредника заговорил Никанор, — стремясь заранее во исполнение надежд снискать симпатии у трудящихся, подразумеваемый господин жаждет любой оказией предстать перед нами в более современном, нежели у Еноха, атеистическом облике вожака, основоположника борьбы с небесной тиранией...

— Ну и пусть предстает, если выдержит! — оборонялся я от соблазна заглянуть на тот берег через приоткрывшуюся щель.

— ...простите, я недосказал! — перебил тот. — Только что вы правильно истолковали успех своего визита в контору корифея. Ваше участие сводится всего лишь к публикации новой схемы небесного раскола, которая будет сообщена вам по ходу дальнейших встреч. Все происходит на основе добровольности без малейшего принуждения даже напротив! Раскрытая в ключе наших с вами прелпосылок лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закоsmических обобщений и при достаточно искусной мотивировке сработала бы в плане избавления его от болезненных разочарований.

— Хорошо — мысленно поскрежетав зубами, согласился я выслушать соблазнительное для автора предложенье. — Пожалуйста, если не секрет, расшифруйте ваш намек!

— Хотелось бы по возможности срочно и наглядно предупредить род людской о генеральной яме на его столбовой дороге к так назы-

ваемым звездам,— кратчайше сформулировал он, предоставляя остальное моей догадке.

— Тогда в каком аспекте... точнее, которая из обрисованных вами ям... та предвечная, или нынешняя глобальная, или обе сразу имеют в виду?

— В том именно, как она выявляется нам сегодня,— отвечал неистощимый путаник мой и в теплых словах, несколько туманно пожелал человечеству успешного сопротивления любым козням зла.

В итоге получилось, что хотя впереди по минованию бурь и ям ждет людей единственно спасительная эра без сорных профессий и потребностей, также без порочных мечтаний, некогда служивших дрожжевой закваской при вызревании великих творений духа,— пусть даже эра вовсе беспамятная в плане большой истории, которая всегда писалась черными и красными литерами горя народного, эра некоторого измельчания, обусловленного необходимостью разместить любое стихийно возрастающее множество в некоем постоянном объеме, с обязательной интеллектуальной и габаритной подгонкой особей, чтобы места и пищи хватило на всех,— все же не следует торопиться с возвращением назад, под крыло матери природы...

— Впрочем,— утешительно добавил Никанор Втюрин,— океану не придется делать мучительный выбор, стоит ли ему перемещаться в незнакомое геологически приуроченное лоно...

Похоже, дело сводилось к желанной наконец-то замене низменного, донныне правившего цивилизацией стимула личной корысти благодетельным инстинктом единой для всех судьбы и выгоды — с правом каждого на посильное ему духовное обогащение, разумеется. Равное для всех регламентированное счастье было, по Никанору, достойнее человеческого звания, нежели прежняя беспощадная, из-за угла умственного превосходства охота на ближнего. Правда, это было связано с той неминуемой перестройкой порядком ниже, какую обеспечивает в природе биологическое бессмертие вида, уходящего в свою безбрежную, навеки беззакатную утопическую даль... Словом, здесь особо сказалось генетическое, во имя жизни, приспособление к грядущему бытию, с помощью которого эволюция гарантирует благополучие потомков, возвращенных на горькой и жгучей золе отпылавших поколений.

Чтобы вернуть чересчур смышленного юнца в русло благоразумия, я напомнил ему постройке, что в суровые исторические времена безобидный прогноз плохой погоды может кому-то под горячую руку показаться клеветой на светлую будущность человечества.

— Вот и жаль, что в повседневной загрузке наши люди не имеют времени интересоваться последствиями совершаемых ошибок,— мальчишески поворчал он и вдруг, смутясь моего пристального молчания, согласился нехотя, что мы и в самом деле малость отклонились не туда от нашей первоначальной темы.

Впрочем, ввиду зловещего облачка, появившегося на современном горизонте, ничто не может снизить важность затронутого вопроса. По всем признакам человечество вступило на переломный порог своего исторического бытия. Коль скоро весь зримый мир пропущен за минувшие века через мысль и руки наши, он является твореньем человека, начертанным на мерцающем экране еще не исследованных стихий, и генетическое уничтожение наше полностью совпало бы с церковным концом света. В случае чего мы угаснем вместе с нашим удивительным шедевром. Иначе допущение дальнейшего существования чудовищной вселенской машины, продолжающей свою работу уже ни для кого, способного охватить ее разумом, означало бы признание других иррациональных реальностей за пределами нашего сознания.

Не исключено, однако, подобного рода рассуждения покажутся скептикам слишком вольной импровизацией на щекотливую тему. Бывают такие прочные оптимисты — уж ворон бедняге глаза клюет,

а он и не чувствует. Дьявол слишком хитер, чтобы оставлять следы на месте преступления. Знаменитые пожары прошлого возникали от обыкновенной людской спички, которая сгорала в первую очередь, заодно с поджигателем. Наиболее подходящим предлогом к такому развороту событий, не теперь, так в следующий раз, могло бы послужить подоспевшее, на вполне логическом перепутье, противостояние полярных социальных систем. Все станет возможно в запале, когда элита богачей, встревоженная близостью грядущих перемен, рискнет на отчаянную вылазку с применением адских, высшей убийности новинок, вроде: поджечь океан у берегов противника, либо, проломив защитный купол озоносферы, обрушить рентгеновскую бездну на его территорию, словом, собственной головой швырнуть в ненавистную мишень. Легко представить недолговременное счастье знати, отсидевшейся в подземных норах от необратимых последствий катастрофы. Уцелевшие от боли и безумия, они будут сдыхать от крыс, смрада и кровавой рвоты при виде повсюду разлагающейся человечины. Ибо даже для прежней могущественной цивилизации было бы непосильно в пределах санитарной срочности предать земле многомиллионный, по первому заходу, укос смерти. Кабы мы, люди, догадались заблаговременно, сложив всю свою поганую взрывчатку промеж надежных горных хребтов, шарахнуть ее разом к чертовой бабушке, то, конечно, малость закачался бы на орбите шар земной. Однако находящиеся на достаточной глубине в шахтных укрытиях ученые-наблюдатели разгадали бы наконец, что не от потопа или голода померли несчастные динозавры, а от чрезмерных для живой твари сердечных переживаний. И присяжные скептики сквозь землю напрямки, в пламенном зените над собою опознали бы личность истинного вдохновителя назревающей самоубийственной эйфории.

...Тем временем совсем рассвело. Сквозь пыльное окошко, затянутое паутинкой с прошлогодней мушиной шелухой, пробившийся лучик высветил в дальнем углу тряпичную, от прежних жильцов, зацелованную матрешку с раскинутыми руками. Потянуло скорей наружу из нежилой тесноты с рваными обоями на стенах и обвисшей с потолка электропроводкой. Выключив свет, мы спустились с заднего аблаевского крыльца отдохнуть под сиренью возледомика со ставнями. В утреннем падымке радужно искрилась сизая от росы трава. Без единой соринки тишина распологала к молчанью о предмете состоявшегося ночного бдения,— вселенная! Теперь можно было сравнить дымковский портрет с оригиналом.

Ни промышленный дым из окрестных труб, ни тучка, ни даже птица на пролете — ничто покамест не засоряло зеленовато-порозовевшую над головою синь. Любое мечтанье свободно вписывалось в девственно чистое, без ничьих следов пространство, будто ничего там не бывало прежде. Издревле населяемая виденьями пророков и поэтов небесная пустыня вновь была готова принять еще более сложные караваны призраков, что из края в край пройдут по ней транзитом после нас. И тогда по сравнению с ними модель мироздания по Дымкову, ныне предаваемая огласке в качестве следственного материала к распознаванию последнего, покажется потомкам лишь примером наивного верхозгляда.

Впрочем, что касается меня лично, то я с самого начала не сомневался в дымковском ангельстве.

МИХАИЛ ДУДИН



ИЗ ЦИКЛА «ЗАПИСИ НА ПАМЯТЬ»

И я, как все, возмездья не избег.

Данте.

Еще одно напоминание .

Мир от тревоги сир и сер,
Тяжел, как плаха.
И держит в мире Мир барьер
Слепого страха.

Будь жизни часовым! Замри
На том барьере.
Война — проклятие земли
Стоит у двери.

Стихи перед зеркалом

Безумен мир или спокоен —
В миру, как в собственном дому,
Ты жить по вольной воле волен,
Не подчиняясь никому.

Ты волен в горький миг соблазна
Не отличить от меда яд,
Идти по миру сообразно
Туда, куда глаза глядят.

Ты волен песни вольной волей
Весь мир на смертный вызвать бой
И защитить его от болей
Своею собственной судьбой.

Стихи из письма И. А. Халифману

Над прошлым — мрак.
Над будущим — туман.
Погрязло человечество в обмане.
Для жизни ищет мудрый Халифман
Закон родства затерянный в тумане.

Идет, не ожидая похвалы,
За тем что рядом но от нас сокрыто,
Таинственной дорогою пчелы,
Путем неистребимого термита.

Идет по следу стершихся примет,
 Через мосты, раскинутые шатко,
 Чтоб в толще лет
 Увидеть четкий след
 Гармонии разумного порядка.

**Стихи, написанные после концерта
 Владимира Федотова**

Грустный мастер во фраке с чужого плеча,
 Открывая любви очарованный берег,
 Разгораясь, колеблется словно свеча
 Над кончиною века истошных истерик.

И поет его флейта над чашей души,
 Переполненной истинной радости медом.
 И в природе, в ее глубочайшей тиши,
 Открываются выходы тайным свободам.

Растворись в этой музыке и воспари
 Возрождения верой, рожденной в Адаме,
 И почувствуй как жизни твоей пустыри
 В час рассвета уже зеленеют садами.

Вспоминая Неаполь

Есть в человеческих затеях
 Незавершенность и просчет.
 Двадцатый век живет в Помпеях,
 Его отчаянье печет.

Он от потерь не образумел,
 Он, в расточительности щедр,
 Построил сам себе Везувий
 И вызвал дьявола из недр.

Дымится кратер тучей пепла,
 И над землей клубится страх.
 Надежда робкая ослепла,
 И гений прячется в кустах.

**Стихи, написанные в самолете
 на пути в Америку**

Над Гулливером меч
 Заносит лилипут.
 И не предостеречь
 Предательских минут.

Нет ни надежд, ни вер,
 В душе Земли — зима.
 Спит Гулливер,
 А Свифт — сошел с ума.

* * *

Двадцатый век. Кровавый век.
 Что ты наделал человек?!
 Твоя жена рожать не хочет.
 Твоя жена дрожать не хочет
 Над грешным ужасом калек.

СЕРГЕЙ ОБРАЗЦОВ

★

ПО СТУПЕНЬКАМ ПАМЯТИ*

«Мама, выключи!»

Иа всех билетах у нас напечатано: «Дети до 5 лет на спектакли не допускаются». Это я так придумал. Я за это отвечаю, несмотря на негодование многих мам, уверяющих меня, что им, мамам, лучше знать, что полезно их детям, а что нет. Ошибаются мамы. Мне лучше знать.

В спектакле «Кот в сапогах» есть великан-людоед, которого смелостью да хитростью кот побеждает. Этого великана играет человек в маске. Рядом с маленьким котом он кажется невероятно огромным и страшным. Но он очень смешной и глупый, и зрители наши, которым шесть, восемь, десять лет, встречают его изумленным «ой», но вовсе не испугом.

А какая-то мама, не знаю, каким образом избежав бдительности контролерши, пришла на спектакль с трехлетней дочкой и села в четвертом ряду в самой середине партера. Не знаю, что понимала дочка в самом начале спектакля, но когда над ширмой появился великан и схватил своей огромной лапой маленького кота, девочка закричала на весь зал: «Мама, выключи!» Выключить мама не могла, схватила свою навзрыд плачущую дочку и, пробравшись сквозь весь ряд, убежала из зала. И в фойе и в раздевалке девочка продолжала рыдать.

Что будет вечером, когда эта несчастная мама станет укладывать дочку спать? Я знаю, что будет: «Мама, посиди около меня, мне страшно».

Ничего, кроме вреда, не принес этой девочке наш спектакль. Что он, плохой, что ли? Да нет. Хороший и добрый. Только не для трехлеток.

Эмоциональное воздействие искусства очень сильно, и обращаться с ним надо осторожно. Очень осторожно. Это должен знать каждый, создающий произведения искусства. Кому и зачем? — без ответа на эти вопросы нельзя работать в искусстве и нельзя им пользоваться.

Вторая «Чайка»

Написала Нина Гернет пьесу. По сказке из «Тысячи и одной ночи» — «Волшебная лампа Аладина». Хорошая пьеса. Такой хорошей Гернет еще не писала. И драматургически очень точно построена, и литературно очень хороша, просто поют фразы. Слова переставить нельзя. Молодец, Нина Владимировна!

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Но вот только как ее сыграть? Пьеса романтико-героическая! Есть в ней смешные персонажи. Султан, например, смелой, стражники. Но сам Аладин не смешной и принцесса Будур не смешная. Трогательная, смелая, любящая, но не смешная. А отдельные эпизоды прямо-таки трагические. Когда Аладин в тюрьме в цепи закован, когда с двумя стражниками насмерть сражается.

Как же куклам на пальцах сыграть Аладина, или принцессу Будур, или визирия? Ничего не выйдет. Еще по-смешному лирическими такие куклы могут быть, как мои обезьянки, например, как царевна Несмеяна. По-смешному злыми, как царь в «Щучьем веленье», но героическими, романтическими, хоть убей, не могут. Телосложение у них не героическое. Нельзя из лягушонка сделать ни дьявола, ни ангела, каким бы симпатичным этот лягушонок ни был.

Я очень люблю перчаточных кукол. Они самые живые, самые тонкие актеры, но сыграть ими героиню невозможно.

И вот если бы до нас Ефимовы не пробили дорогу кукле на тростях, не получилась бы у нас «Волшебная лампа Аладина».

Ефимовы показали мне отрывок из «Макбета», назвав свое представление «Леди Макбет». Я был поражен новыми возможностями кукол, которых не совсем правильно они назвали яванскими. Не совсем правильно, потому что они только похожи на яванских, а устроены все-таки по-другому. Но, в общем, не в этом суть. Суть в тростях. В возможностях большого, широкого жеста.

Тузлуков, по эскизам которого делались наши куклы, упростил их устройство и трости прикрепил к запястьям, а не к локтям, как у Ефимовых. Действительно, героические получились куклы. С такими великолепными возможностями, что мы не переставали радоваться, а когда принцесса Будур пошла впервые на зрителях танцевать под восточный бубен, зрительный зал просто разрывался от аплодисментов.

И если Ефимовы открыли дорогу тростевым куклам, то мы своей «Лампой Аладина» и другими спектаклями, в которых играем куклами этой системы, расширили эту дорогу и заразили ею другие театры — сперва нашей страны, потом Европы, потом и Америки, — но вряд ли кто-нибудь из работников этих театров знает, откуда пришли к нам тростевые куклы и тем более вряд ли догадываются благодарить за этот «подарок феи» Нину Яковлевну Симанович-Ефимову.

Репетировали мы «Лампу» сравнительно недолго. Лето. Она как-то сразу удалась, хотя и были репетиции эти осложнены неожиданным обстоятельством.

Дело в том, что я договорился с садом «Эрмитаж» выступать в течение месячной программы в летнем эстрадном театре, но простудился и заболел. Ангина. Петь не могу. Осталось допеть всего пять дей, а я не могу. Дирекция сада умоляет. Я ведь красной строкой. Заменить трудно. Продолжаю петь. Через боль. Через силу. Кое-как допел. Пошел к Александру Исидоровичу Фельдману. Я у него с двадцатилетнего возраста горло лечу. Он сейчас ничего сказать не может. Кровоизлияние. Когда спадет, будет видно.

Кончилось кровоизлияние. Видно. Узел. Надо снимать. Ходил каждый день к Фельдману. Каждый день он анестезировал, примельгся и не снимал. Потом вдруг сказал: «Молчите. Ни одного слова на связках. Только слабым шепотом или пишете на бумажке. Целый месяц молчите».

А мне репетировать! Как же репетировать? Привык кричать электрикам, дирижеру, актерам. Я же в центре зала сижу. Разве шепотом докричишься? И все-таки только шепотом или пишу. Молчащий режиссер. Мистика какая-то.

А спектакль удался. Поставили мы его в сороковом году. Сейчас восемьдесят четвертый. А все идет! Сорок четыре года! Объехал

сотни наших городов и десятки стран мира. Больше трех тысяч раз сыграли и еще будем играть. Не за что снимать.

Мы его считаем нашей второй «Чайкой» (у каждого театра своя «Чайка» есть). Первая наша «Чайка» — это «По щучьему веленью» (как видите, не птица, а рыба, но разве это важно? И рыба может быть «чайкой»). А вторая «Чайка» — «Лампа Аладина». Это потому, что на нее стали взрослые ходить. Без детей. То ли это были бездетные родители, то ли решили детей дома оставить, чтобы не мешали, я уж не знаю, но как только мы это заметили, так и решили специально ставить спектакли для взрослых.

Солнцев

Удивительный человек работает в нашем театре. Солнцев. Мастер кукол. Нигде не учился, рисовать не умеет, а скульптор по дереву и выдумщик — каких нету.

Это он вырезал все головки и руки для нашего спектакля «Волшебная лампа Аладина», головы моих Кармен и Хосе, придумал очень хитрое устройство, чтобы лошадь, запряженная в королевскую карету, перебирала ногами, и очень многое другое.

Но не только этим удивителен Николай Федорович, а еще своими рассказами, в которых все правда и все невероятно.

Я вам один рассказ постараюсь поточнее передать, у него ведь свой, особый язык, хитрый, что называется, под дурачка.

«Знаете, Сергей Владимирович, какой у меня случай произошел? Приходит ко мне человек. Ответственный, председатель чего-то. Не сказал чего.

Приходит и говорит: сделай с меня бюст, я хочу себе в кабинете поставить.

Я подумал и отвечаю: приходите ко мне домой, я наперво с вас маску сыму. А сам-то решил: сыму я с него маску, отолью гипсовое лицо, а уж затылок-то, да шею, да плечи не хитро доделать. Важно, чтобы морда похожа была. Пришел, значит, он. В пинжаке, при галстукке. Я говорю: ложитесь на стол. Он чистый. А это, говорю, мой ассистент. Приятеля я позвал в помощь.

Ну, лег он, этот председатель. Лежит, улыбается. Интересно ему. А мы с приятелем выбили у картонной коробки дно и округ головы положили, чтобы гипс не растекался.

Что в нос надо мундштуки от папирос втыкать, чтобы было ему через что дышать, это я знал, а вот что голову надо платком или чем-ничем завязать, чтобы гипс в волосы не затек, того не знал. И вазелином щеки его не намазал. Тоже не знал.

Ну, нашлепал я ему на физиономию жидкий гипс как надо. В уши не попал. Порядок.

Лежит он, сопит сквозь мундштуки. Я спрашиваю: как себя чувствуете? Он мычит, сказать не может, но вроде ничего мычит.

Подождали мы, пока гипс нагрелся и остывать стал. Схватился, значит. Застыл. Постучал я пальцем — крепко. Стал сымать, а он не сымается. Зацепился за что-то. А председатель мычит. Слов не разобрать. Челюсть-то у него гипсом прихвачена. И руками размахивает. Я говорю — не волнуйтесь, говорю, сейчас сымем, а он вскочил и давай мордой об стол да о косяк дверной. Как он его сослепу разыскал, не знаю, а только разбил он гипс, отодрал от лица.

Ну, конечно, кусочки волос в гипсе застряли, а кусочки гипса в волосах.

Ассистент мой убежал, а мне бежать некуда, я дома. Извиняюсь, конечно, говорю, все равно, говорю, я расколотый гипс соберу и вам бюст сделаю. Не извольте, говорю, беспокоиться. А он меня матом на все лады. Ну я ему, конечно, говорю, зачем вы так выражаетесь

при моей матушке. Все-таки, говорю, она женщина. А он схватил пальто и в дверь.

Я все осколки аккуратно склеил, лицо гипсовое отлил, затылок и плечи приделал, а он чево-то не идет. Раздумал, что ли?»

И еще один солнцевский рассказ вспомнил.

Прихожу как-то утром в мастерскую, а Николай Федорович говорит: «А вот скажите, Сергей Владимырьч, что, по-вашему, футуристы — это художники или не художники?»

Я отвечаю — художники, среди футуристов есть замечательные художники.

А Николай Федорович говорит: «Никакие они не художники, а просто прохиндеи, я вам это могу документально доказать».

«Как это документально?»

«А очень просто. Была о прошлом годе выставка футуристов. Я пошел на комиссию посмотреть, какие они картины принимают. Смотрю, принесли картины такие, какие кто хошь нарисовать может. Пошел я домой, взял десять листов кровельного железа — у нас в доме ремонт был, — взял красок масляных, кисти. Вынес все во двор, позвал мальчишек и говорю: мажьте что хотите. Ну они и взялись раскрашивать разными картинками. А один малец споткнулся и упал задом (он тут другое слово сказал) на свое художество. Высушил я на крыше все эти листы да и отнес их на комиссию.

Так там шесть штук на выставку отобрали, а про тот лист, на котором этот пацан свою задницу (тут он опять другое слово сказал) отпечатал, они говорят — гениально.

Не верите, так я вам каталог покажу».

И дает мне каталог, и в нем названия картин под номерами, и против шести номеров шесть раз напечатано — Н. Ф. Солнцев.

Война

Габай. Это фамилия владельца знаменитой табачной фабрики. У него была дача в излучине Москвы-реки. Дача эта стала домом отдыха железнодорожников, но название у нее такое и осталось — Габай.

Папа с мамой там часто отдыхали. День-два. В воскресенье 22 июня я поехал их навестить. Стоим перед дачей на площадке. Солнце. Синее небо, и вдруг по радио невероятное, непонятное слово — вой на. Началась война. Немцы сбросили бомбы на Киев. Неужели это может быть? Что-то надо делать... А что? Война.

На следующий день в театре решили, что будем готовить специальную антифашистскую программу, чтобы выступать на призывных пунктах. Необходимо, чтобы мы были нужны. Солдаты нужны, инженеры нужны, врачи нужны — а мы с нашими куклами не нужны? Совсем не нужны? Так нельзя думать. Так нельзя жить.

Стали звонить сатирикам — Арго, Адуеву, разным. Стали встречаться обсуждать, придумывать, начали срочно делать кукол. В общем, довольно интересно многое придумали. «Сон Гитлера» (ему Наполеон приснился), смешную оперетту «Над крышами Берлина» в исполнении кошек, очень смешное заседание в рейхсканцелярии, где выступают только собаки: бульдог — Муссолини, пудель — Петен, болонка — Тисо, беспородный черный пес — Хорти, а немецкая овчарка с усиками над верхней губой и клоком волос между глазами — Гитлер. Никто не говорит, все только выразительно лают и подбострастно визжат. Гитлер делает доклад. Грозный, решительный, лающий.

Все бы хорошо, да грызет сомнение. А понадобится ли это? Не тешим ли себя, не успокаиваем ли свою совесть? Нужны ли мы? Нужны ли?...

Госпиталь

Немцы идут лавиной. Они уже и в Минске, и в Смоленске, и в Вязьме. Госпитали заполнены ранеными. Составленный из номеров нашей антифашистской программы и из моих сольных номеров, идет концерт в госпитальном клубе. Раненые в серых халатах с голубыми отворотами, врачи, сестры, сиделки, санитары в белых халатах.

Если не входить в зал, а слышать реакцию зала из коридора, то покажется, что в зале абсолютно здоровые люди. Громкий, заразительный мужской молодой хохот, громкие аплодисменты.

А если войти в зал, то видны перевязанные головы, ампутированные ноги, а иногда и руки. У двоих по одной руке на каждого, но они азартно аплодируют, ударяя ладошкой одного об ладошку другого. Им весело, а смотреть на это страшно. Молодые, лет по двадцать.

А в коляске совсем мальчик. У него ни рук, ни ног, а он смотрит на то, как мой Тяпа сосет пустышку, и заливается смехом.

В палатах много таких, которые не могут прийти в клуб, и которых нельзя привезти в коляске, но они слышат и музыку, и смех, и аплодисменты и просят, чтобы мы пришли в палаты.

Ну как отказать? Да и врач говорит, что это нужно, что для многих это нужнее лекарства, что они и есть будут лучше и спать крепче.

И мы идем по палатам и в каждой даем концерт под баян. В этот день у меня получилось одиннадцать выступлений.

В одной палате стонал раненый. Я спросил врача: может, в этой палате не надо? Он сказал: «Наоборот, ему-то надо больше всего». А в другой палате были только двое. И они должны умереть. Они безнадежны, но врач очень просит меня не миновать эту палату. Непременно для них выступить. И я пою для них, и показываю кукол, и вижу их живые, веселые лица. Никогда ни до, ни после этого я не выступал для двоих, но никогда ни до, ни после этого я не ощущал себя до такой степени нужным.

На крыше с Юткевичем

«Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Сирена, долгая, воющая, наводящая ужас сирена.

Вечер. Мы с женой в нашей квартире на улице Немировича-Данченко. У нас в гостях актриса Театра имени Моссовета знаменитая Серафима Бирман.

«Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Мы знаем, что надо делать. Женщинам скорее идти в бомбоубежище в подвал Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, а мне бежать на крышу нашего дома.

Жена прощается и говорит, что она меня любит, это на случай, если мы больше не встретимся. Женщины бегут по лестнице вниз, я наверх, на крышу. Там уже ждет меня кинорежиссер Сергей Юткевич. Ему ближе, он живет на последнем этаже.

Мы дежурные по крыше. В нашем распоряжении пожарный шланг, чтобы заливать огонь в случае пожара, и большие клещи, чтобы хватать ими зажигательные бомбы, если они попадут на нашу крышу.

По черному небу мечутся длинные лучи прожекторов. Ищут немецкие самолеты и как только найдут маленькую серебряную стрекозу и поведут ее, по небу летят к этой стрекозе пунктиры трассирующих пуль. Не долетают. Не долетают.

Дым, огонь, грохот взрыва. Сперва видно, потом слышно. Дым, огонь, взрыв. Взрывы, взрывы, мечущиеся огни пожаров. Дымы, как красные облака, ползут по небу, и лезут в голову слова: «Шумел, го-

рел пожар московский, дым расстился по реке». Только не по реке, а по крышам.

Я москвич, родился в Москве, и каждый взрыв, каждый огненный столб регистрирует память. Это у Белорусского, это где-то на Красной Пресне, это на Каланчевке, а вот тот в Китай-городе.

Серебряные стрекозы выбросили парашюты с подвешенными к ним лампами, чтобы видно было, куда бросать бомбу. Качаются в небе и медленно опускаются светящиеся абажуры. На крышах соседних домов, как муравьи, бегают силуэты людей. Такие же дежурные, как мы с Юткевичем.

Неожиданно в небе огромная светящаяся виноградная гроздь. Только успел подумать: «Красиво», как весь этот виноград посыпался на нашу крышу. Зажигалки. Схватил шланг, включил воду, шланг перегнулся и лопнул. Вода захлестала водопадом по лестнице. Хорошо, что есть вторые лестницы. Хватаем горящие зажигалки и сбрасываем на улицу. Много. Не десять, не двадцать, а, наверное, штук пятьдесят или больше. Все сбросили.

Выкинь стрекоза эту сверкающую гроздь долей секунды позже — и попали бы зажигалки прямо на стоящие в нашем дворе грузовики со снарядами для зениток. Ничего бы не осталось от нашего дома, и не писал бы я сейчас то, что вы читаете.

Светлеет. Скоро утро. Я смотрю на кружащие над Москвой самолеты и думаю: кто они, эти летчики, бросающие на нас смерть? Неужели это те самые веселые, белобрысые, добрые немецкие мальчишки, с которыми я играл на бульваре Шарлоттенбурга. Им тогда было пять, шесть, семь лет. Прошло с тех пор шестнадцать. Значит, это они.

Что же случилось? Откуда взялась эта уверенная сознательная злоба?

Тогда по Фазаненштрассе промчался мотоциклист со свастикой на рукаве. Он все вскидывал и протягивал вперед руку. Никто не обращал на него внимания. Не было ответов на его фашистское приветствие. А вот как все обернулось. Неестественно. Непонятно.

Сирена «скорой помощи». Хватит ли у этой помощи автомобилей и врачей? Ведь сотни, а может, и тысячи убитых и раненых.

«Граждане, опасность воздушного нападения миновала. Отбой. Граждане, опасность воздушного нападения миновала. Отбой».

Небо голубеет. Ползут по нему дымы, где розовые от пожаров, где черные. По мокрой лестнице мы с Юткевичем спускаемся в свои квартиры. Ему рядом. Она на девятом этаже. Мне подальше. Я на третьем.

Звоню маме с папой на Бахметьевскую. Они живы. Дочка моя в Казахстане вместе с эвакуированными туда семьями академиков. Сын в Ленинграде, курсант военно-морского инженерно-строительного училища. Значит, пока все живы, а война не может быть долгой. Ну месяц, ну полтора. Не больше.

Вернулась жена с Серафимой Германовной. Пьем кофе и молчим. Почему-то молчим. А в голове все та же сверлящая мысль: кто же они, эти немцы, эти люди, бросавшие на Москву бомбы, убившие за эту ночь столько москвичей — и детей и взрослых, не сделавших им никакого зла? Кто они и как все это может быть?

Непонятно.

Осколок в кресле

Поздним вечером 24 июля воздушная тревога застала нас с женой в театре. Сперва спустились в полуподвальный этаж, но на бомбоубежище это не похоже, а взрывы такие, будто совсем рядом. Так и есть, рядом. Посыпалась штукатурка с потолка, и зазвенели разбившиеся в фойе оконные стекла. Мы выскочили наружу, перебежа-

ли переулочек и встали в подворотне, но там уж и вовсе страшно. От чего она спасет, эта подворотня?

Схватившись за руки, чтобы не потеряться, побежали через площадь Маяковского в метро. Темнота. Под ногами то поваленные взрывами троллейбусные мачты, то перекрученные провода. Над головами пунктиры зенитных очередей, в небе качаются из стороны в сторону лучи прожекторов, ловят вражеские самолеты. Розовые дымы из-за крыш, небо все в горячем зареве, а под ногами темно.

Наконец добежали. Боимся, что дверь заперта. Нет, милиционер любезно нам ее отворяет и говорит: «Входите, входите, товарищи».

Входим, спускаемся по неподвижному эскалатору. Внизу на рельсах, как птицы на телеграфных проводах, сидят актеры Театра сатиры, смеются: «А, кукольники, добро пожаловать!..» Мне не до смеху. Они, наверно, давно здесь сидят и не знают, что там, наверху, творится, а я думаю: стоит наш театр или его уже нет? Садимся и мы на рельсы. Сидим и час, и два, и три. Наконец: «Граждане, опасность воздушного нападения миновала. Отбой».

Выходим на площадь. Светлое хорошее утро. Дом против нашего театра (тот, в котором сейчас ресторан «София») дал трещину с крыши до фундамента, а у дверей театра лежит убитый человек.

Я зашел в театр. Балки потолка в зрительном зале треснули и прогнулись, а в спинке кресла в моем кабинете торчит осколок.

Осколок — это пустяки. А вот потолок не пустяки.

Играть в театре нельзя

На речном трамвае

Театру дали маленький речной трамвай «Комсомолец». Чистый, красивый, похож на дачу. Дали вместе с капитаном и всей командой. Бессрочно. И все мы туда погрузились — актеры, музыканты, рабочие сцены. С женами, детьми, с домашним скarbом, подушками, одеялами, одеждой и со всеми декорациями наших спектаклей: «Волшебной лампы», «По щучьему веленью», «Ночи перед рождеством», «Волшебной калоши», антифашистской концертной программы... Как все влезло в это несчастное суденышко — одному богу известно. Я до сих пор не понимаю, как это получилось.

Отчалили от набережной около Киевского вокзала и поплыли вниз по течению неизвестно куда. Юридически — в гости по городам Волги, Камы, вплоть до Уфы.

Отчалили под вечер.

Проплыли километров десять, может, чуть больше — «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!». Пристали к берегу. Выскочили. Побежали по полю и залезли в какую-то не слишком глубокую канаву. Глупо и стыдно. Над Москвой видны взрывы, над Москвой зарево. Розовое облако. В Москве мама и папа, а я сижу в какой-то дурацкой канаве.

Вылезли из канавы. Плыдем дальше. Укладываемся спать. Где кто может. Я на палубе, за трубой. На небе звезды. Все больше и больше. По привычке разыскиваю Большую Медведицу, от нее вбок Полярную звезду. Вот она.

А в стороне Москвы все еще розовый отсвет пожаров. Я чувствую себя дезертиром, но не ехать-то не мог! Я же руководитель, а в театре играть нельзя. Нет, ехать надо было. Конечно, надо.

Утром нагнали огромную плоскую баржу с эвакуированными из Москвы детьми. Нас узнали. Попросили сыграть им спектакль. Мы обрадовались. Вытащили из трюма ширму, поставили на железном полу баржи и сыграли «Волшебную калошу».

Как дети радовались, это даже представить себе нельзя было. Многие из них знали наш театр. Они же москвичи. Да и те, кто в первый раз, все равно радовались. Они небось всю ночь слезы лили.

Ведь впервые в жизни и без мам, и без пап, и неизвестно на сколько времени... Слава богу, что не догадываются, что без пап-то многие уже навсегда.

Так они нас благодарили, так хлопали, так прощались с нами!.. Хорошо, что и здесь мы оказались нужны. Очень нужны. Действительно очень нужны.

В Новосибирске

Театр направлен в Новосибирск. Все расселились в гостинице «Красная», а меня с женой приютил у себя Дрейден Симон Давыдович. Театровед. Мой друг. Мы подружились с ним и с Зинаидой Ивановной Донцовой, его женой, в Евпатории, куда я был приглашен на гастроли, а они просто были на курорте. И свершилось это знакомство много лет назад, в год нашей с Олей женитьбы.

Вот с тех пор и дружим с Дрейденом, и вряд ли дружба эта когда-нибудь разрушится, потому что она на абсолютном человеческом доверии заложена.

Место для сна нам отведено на полу около батареи.

В корзине лежит ребенок. Зовут его Сережа. Это в мою честь. Недавно родился. Месяца нет.

Дрейдену надо какую-нибудь медаль выдать. Он, наверное, единственный отец во всей Европе, который первым увидел своего ребенка. Начались схватки. Вызвали по телефону «скорую помощь». На чем она приедет? Автомобилей-то нету. На телеге ехала. Ну и опоздала, конечно. Дрейден ребенка принял. Ножницы в одеколон опустил, пуповину перерезал и ниточкой перевязал.

Врачиха приехала, сказала — все правильно.

Ночь. Пищит маленький Сережа. Слабенький. Пищит еле слышно. Мать встала. Накормила. Слышно, как он чмокает.

А мои где? Наталочка с дедушкой и бабушкой в Боровом. Туда академики эвакуированы. Алексей — курсант военно-морского училища в Ярославле. Оно туда из Ленинграда эвакуировано. В Москве в нашей квартире живут какие-то артисты. О чем ни подумаешь, ни на что ответа нет. Будущее в густом, густом тумане. Немцы в Малоярославце, в Можайске. Это же Москва. В это нельзя поверить, но ведь это так. Когда прощался с папой, он сказал: «Ничего-ничего — встретимся».

Солдаты с куклами

Командование Сибирского военного округа попросило меня обучить четырнадцать бригад из четырнадцати сибирских дивизий играть куклами, чтобы они создали антифашистские кукольные программы. Я согласился, и к нам в Новосибирск приехали из каждой дивизии пять солдат — четыре будущих актера и баянист.

Четверо должны были уметь петь, то есть обладать слухом а пятый играть по нотам. Дивизия — это дивизия и найти там людей с этими свойствами несложно. Из такого-то количества. Мы проверили. Ребята хорошие, действительно со слухом, а баянисты действительно музыкальны.

Но прежде всего надо было сделать кукол. Четырнадцать Гитлеров видящих сон, четырнадцать Гитлеров-собак, четырнадцать просто Муссолини, четырнадцать Муссолини-собак и т. д. Уйму кукол. Достали глину. Стали лепить под руководством Тереховой.

Ребята увлеклись. Весело лепили. Делали папье-маше Левкасили. Раскрашивали. Шили костюмы. Конечно, им помогали, но в основном все они делали сами.

Потом долго и очень азартно репетировали. Потом была официальная сдача. Приехала комиссия. Штабные генералы. Состоялся спектакль и принят был комиссией с благодарностью. Ребята распро-

щались с нами, разъехались по своим дивизиям, и я потерял с ними всякую связь.

По правде сказать, не думал, что из этого что-нибудь путное выйдет. Но недавно в каком-то городе — не помню в каком — ко мне подошел высокий человек с седыми волосами и седеющей бородой. Подошел и сказал: «Здравствуйте, товарищ Образцов». Я сказал: «Здравствуйте». «Вы меня узнаете?» — «Простите, что-то не могу вспомнить...» — «Вы меня в Новосибирске куклами играть учили...» — «Господи, как же я могу вспомнить, когда это было больше сорока лет назад, и вы были не седой и без бороды!.. Скажите, а пригодилось это вам на войне?» — «Еще как пригодилось! Мы по всему Западному фронту разъезжали. Сами еще номера придумали и кукол сделали. Благодарностей сколько!..»

Очень был я рад. Вот уж не ожидал, что так будет. Приятно. Недаром, значит, мы тогда все это делали.

Когда работа не пропадает, это удивительно приятно.

На фронте

Летом сорок второго из Новосибирска группа актеров и я среди них выехали на фронт. Легко сказать — выехали. Для того чтобы достать билет на поезд из Новосибирска в Москву, нужно принести справку из санпропускника. Иначе не дадут билет. Я принес. Вот она: «Дана сия заслуженному артисту Республики Образцову С. В. в том, что при обследовании на вшивость у него вшей не оказалось». В общем, даже как-то не очень понятно — это хорошо, что не оказалось, или плохо? Ну, так или иначе, и у меня не оказалось, и у всех наших артистов не оказалось, значит, нам продали билеты, и мы поехали в Москву. Пустую безлюдную Москву. Дорогую, любимую, родную Москву. Холодную, настороженную. Чужую.

Много совсем разбитых домов. Много домов с разбитыми окнами. Смотрят черными дырами, а те, что не разбиты, мистически заклеены бумажными крестами.

В моей квартире живут чужие люди. Хорошие. Очень хорошие. Она актриса Оперной студии Станиславского, он певец Большого театра. Очень хорошие, да чужие, спят на наших кроватях и кормят нашу канарейку. Это хорошо, что кормят. Напоили меня чаем. Сделали яичницу.

На следующий день посадили нас, всех приехавших, на грузовик и повезли на фронт. Он рядом. Совсем рядом. Под Малоярославцем. Просто непонятно, как это может быть.

Едем по знакомым местам. Я же москвич. Подмосковье все знаю — и речки и деревни. Только деревень-то нет. Одни белые трубы от русских печей торчат. Их дождь вымыл. А избы сгорели. С одной стороны дороги несколько труб и с другой несколько труб. Это деревня. Была деревня.

Опрокинутый железный мост через речку, а рядом новый, свежий, деревянный. Переехали, и шофер говорит, что мы на фронте.

Странно. Как на фронте, когда поле ржи и васильки? Какой же это фронт? Шофер улыбается: «Самый настоящий, танковый корпус». Непонятно. Какой же это танковый корпус, когда по обочине тропинки, которой ведут нас к лесу, красная земляника и никаких танков? Из леса возникает солдат. Шофер говорит ему какое-то слово, и мы идем дальше. Ага, теперь понятно. Видны покрытые лапником шалаши и танки. Подходим к очень трогательной, срубленной из тоненьких бревнышек маленькой избушке. Внутри марлевые занавески и в гильзе из-под снаряда ромашки. Это нам медсестра готовила. Тут мы будем спать. Такие избушки в детских книжках бывают, в них должны жить кот, лиса и петух, а может, семеро козлят, а будем мы.

Нужно идти доложиться в штаб. Мне объясняют, как пройти: «Пойдете по Крещатику, дойдете до угла Невского, свернете налево — и тут будет штаб». Я пошел по кривым лесным тропинкам и на перекрестках читал надписи на прибитых к деревьям дощечках: «Крещатик», «Садовая», «Набережная», «Дерибасовская», «Невский» — вот он, штаб.

Люди пришли в этот лес из разных городов нашей страны и называли тропинки именами разных улиц. Что же тут удивительного? Ведь они всю страну защищать пришли. Ленинград в блокаде. Киев под немцами, а концерт наш идет на углу Крещатики и Невского.

Танкисты сидели прямо на траве, на круглой поляне, среди елового леса. Наша ширма на другой стороне поляны. Сзади нас кусты малины и овраг. Сыграли оперетку Теплицкого. Очень танкисты смеялись на поющих немецких кошек. Потом Муссолини заказывал Гитлеру обед. Шашлык кавказский. Гитлер послал адъютанта, тот вернулся весь перебинтованный. Гитлер спрашивает: «Что это у тебя в руке?» — «Это от шашлыка палочка». — «А шашлык где?» — «А шашлык они себе оставили». Опять очень радовались наши зрители.

Потом было заседание в рейхсканцелярии. Гитлер — немецкая овчарка с усиками — делал доклад целой собачьей своре. Очень темпераментно лаял и рычал, а вся свора подобострастно повизгивала. И тут неожиданно в небе со страшным грохотом появился наш истребитель. Артист Самодур не растерялся. Собака-Гитлер поднял голову, проводил взглядом советский самолет и, когда тот скрылся за деревьями, почесал лапой в затылке.

Кто-то из солдат крикнул: «Что? Не нравится?» И тогда раздался такой хохот, которого я никогда в жизни не слышал.

Когда кончился наш концерт, к нам подошел генерал и сказал: «Большое вам спасибо. Нам завтра в бой, а сегодня солдаты будут крепче спать. Хорошее настроение перед боем — это очень важно».

Мы были рады и, по правде сказать, долго не могли заснуть в нашей игрушечной избушке. А проснулись рано. Потому что с рассветом стали лязгать гусеницы танков все сильнее и сильнее.

Корпус шел на передовую. Кто из наших зрителей останется жив после сегодняшнего боя? Об этом трудно думать. А не думать почти невозможно. Ведь помнишь веселые лица. Счастливые глаза.

Надолго ли сохранятся дощечки на стволах елового леса, последнего пристанища танкового корпуса, и опустевшая избушка, в которой должны жить кот, лиса и петух?

Алексей в Ярославле

Еду в Новосибирск. По дороге Ярославль. Там мой сын Алексей. Я вышел на перрон. Потом вернулся в вагон, взял вещи и ушел в город.

Разыскал Управление дороги. У меня все-таки есть блат, вернее, надежда на блат. Мой отец — академик по железнодорожному делу, полный генерал, да и не в генерале дело, он столько лет профессор, чуть ли не все железнодорожники его ученики, бывшие его студенты. А те, кто не ученики, все равно его знают и любят.

Пришел в управление. Приняли меня как родного, даже комнату в управлении отвели и койку поставили.

Узнал адрес эвакуированного училища. пошел к начальнику. Он полковник. Тоже очень сочувственно меня встретил и отпустил мне сына до вечера. Пошли на базар, купили мяса, картошки, капусты, свеклы. Все это по-мужски, то есть кое-как, намыли, очистили, нарежали, сварили и очень вкусно съели.

Потом на лодке по Волге катались. Ему двадцать, мне сорок один, а в общем, мы одинаковые, скорее два брата, два друга, чем отец с сыном.

Рассказал он мне про эвакуацию через Ладогу, и получилось, что то, что мы с ним на лодке катаемся, это чистая случайность. По-настоящему-то он давно уже был бы мертвый, вернее, исчез бы, и никто даже его тела никогда бы не нашел.

Большими группами через озеро по льду идти было нельзя. Шли по двое, по трое. Он вдвоем с товарищем шел. Ночью. Провалились в полынью. Еле вылезли. Одежда обледенела.

Солдат какой-то ехал порожняком на санях из Ленинграда, довольствие туда возил. Он говорит: «Двоих не могу, а один садись». Товарищ сел, а Алексей пошел обледенелый. Говорит самое трудное было заставить себя идти. Не хотелось. Хотелось сесть и заснуть. Все-таки дошел. А товарищ обмерз и попал в госпиталь. Потому и обмерз, что не шел, а лежал обледенелый.

Вернул я сына начальнику. Попрощался. Их скоро будут куда-то отправлять.

Утром вышел на балкон, а курсанты прямо под балконом идут на учение. Все сверху одинаковые: белые бескозырки с лентами, синие воротники с кантами. В ногу идут: раз, раз, раз, раз... Где он, мой сын? Где-то тут, среди них. Я рукой машу. Никто в ответ рукой не машет. То ли он меня не видит, то ли не полагается. Грустно очень. Очень грустно, а ничего не поделаешь. Мне нужно через несколько часов на поезд в Новосибирск. А ему? Не знаю, что с ним будет.

Два дня в Москве

Июль сорок второго. Я опять в Москве. По делам театра. Два дня. Только два дня и три ночи.

Вечером вместе с моими жильцами пьем чай. Моя канарейка покрыта салфеткой, чтобы спала. Они ее любят.

Не поймешь — наша квартира или чужая. И зачем эти книги, эти картины?

Много книг. Очень хороших, полные комплекты журналов «Весы», «Старые годы», «Аполлон», все двадцать томов «Театра и искусства» Кугеля. Пять огромных томов народных картинок Равинского с экслибрисом Жемчужниковых. Я купил эти пудовые книги на вес в тридцатые годы в Ленинграде на Литейном. Там их положили на тарелку весов, на другую гири, помножили фунты на рубли и отдали задарма абсолютную драгоценность.

Очень много книг по русскому искусству, по иностранному, по сатире и карикатуре, по народному творчеству. Три стены шкафов. От пола до потолка. Наверное, тысячи четыре томов, а может, и больше.

А в столовой картины. Замечательные картины. Две — ван Остаде. «Кабачки». Купил в Ленинграде на Невском, числились они как неподписанные голландцы, а в Москве замечательный художник и реставратор Павел Корин снял старый лак, а там подписи: «Ван Остаде фецит» («Ван Остаде сделал»). И еще один голландец — Корнелис де Бега, и удивительный героический пейзаж Дюге, и огромный городской пейзаж Бордоне. Два метра на полтора. Венецианец, XVI век. Я его в тридцать восьмом году в Столешниковом купил. И очень интересные любительские поделки XVIII, XIX веков. Вырезки из бумаги, вышитые волосом пейзажи, цветы, могилы. И еще всякие часы с поющими и прыгающими птицами, с обезьянами, играющими на разных инструментах.

Какое большое собрание человеческих талантов. И писателей, и живописцев, и графиков, и механиков, и рукодельниц-любительниц, а вот смотрю на все это и не пойму — зачем? Кому нужны эти картины, играющие обезьяны, книги? Кому? Какое это все имеет значение какой смысл, если война? Если немцы в Можайске? Если в блокаде Ленинград, и там умирают люди от голода и замерзают от

мороза? Если каждый вечер: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!»? Это единственная правда, единственная реальность. Конкретная, точная, а книги, картины, часы — никакого смысла в них нет. Никакого. Они как сон. Даже смотреть на них странно. Зачем они?

Пропал сын

Февраль сорок третьего. Театр еще в Новосибирске, а я в Москве. Вызвали. И жена со мной. Жильцы наши уехали в свою квартиру. А сын? Сын давно воюет. С октября сорок второго. На Западном фронте. Рядовым сапером. Сперва получал от него письма, а потом нет и нет. И месяц нет и два.

Я написал в часть и получил очень любезное письмо от его начальника, полковника Алексева. «Ваш сын писать не может, надеюсь, что все кончится хорошо». Не очень-то успокаивающий ответ.

Потом уже от сына узнал, что его как сапера в декабре сорок второго перебросили через линию фронта производить диверсии, взрывать вражеские поезда, железнодорожные линии, мосты. Не одного перебросили, а семьдесят человек. Назад вернулись только десять. Остальные погибли.

Месяцы, месяцы тянулись — и вдруг телеграмма: «Ваш сын Алексей вернулся представлен награде днями будет Москве по гвардии сержанту Образцову будет равнять часть». Счастье.

Но проходит и неделя, и две, и месяц, а Алексея все нет. Ночью с каждым звуком идущего лифта я вскакиваю. Нет, не к нам. Опять сплю. Опять лифт. Опять вскакиваю. Опять мимо. Как-то заснул под вечер, и вдруг голос жены: «Смотри, кого я тебе привела». Открываю глаза. Темно. Ничего не видно. Жена щелкает выключателем, и передо мной Алексей. Загорелый, в обожженной шинели и смеется. Растегнул шинель, чтобы снять, а там блестит медаль «За отвагу».

Скорее в ванну и есть. «Голодный?» — «Ага». — «Ну мойся. Кофе будешь?» — «Ага».

Вымылся, поел, напился кофе и сразу за свой письменный стол. Стал открывать ящики и вытаскивать солдатиков, которых еще в детстве рисовал и вырезал из картона. Целая дивизия. И солдаты, и офицеры, и генералы. Стал проверять, все ли полки на месте. Кажется, все.

Смешно. Вернулся с фронта, был ранен, а сейчас на письменном столе внимательно расставляет картонных солдатиков.

Только вчера мы с ним виделись и об этом вспомнили. Сейчас ему уже больше шестидесяти. Это другое сейчас, не то, про которое я только что говорил. У него уже два сына старше, чем он был во время войны. Мало того, он уже дедушка, а я, следовательно, прадедушка.

Удивительно. Неужели все, что я написал, с нами было?

Быть того не может.

Смешение языков

Сорок третий год. Нас с женой вместе с другими актерами отправили в Иран давать концерты расположенным там частям Советской Армии. Да и иранцам, и союзникам. Там ведь сейчас и английские войска, и отдельно американские белые, и американские черные (в разных лагерях), и поляки.

Из строгой, серьезной, военной Москвы летим через леса, степи, горы, море, снежный горный хребет прямо в Тегеран. Непонятный город. То ли Европа — вон какие шикарные «бьюики» да «мерседесы» мчатся, — то ли сверх-Азия. Верблюд, похожий на помесь медведя с лебедем, важно шагает, презрительно глядя сверху на ослика,

везущего на своих точеных ножках толстеного дядьку в полосатом халате. Как эти ножки выдерживают такую тяжесть — непонятно. Улицы асфальтированы, а по бокам текут арыки, и голый шоколадный мальчик гонит стайку гусей.

Идет молодая женщина в военной форме, в коротких штанах до колен, в пробковом шлеме и с револьвером на боку. А ей навстречу тоже женщина, и возраст ее неизвестен, так как по одному испуганному глазу определить его невозможно, а все остальное, кроме этого глаза, закутано во что-то похожее на цветную простыню.

Несколько концертов в Тегеране — и опять в самолет. Летим над горами. Потом под самолетом две синих змейки. Что это за речки? Переводчик говорит: «Тигр и Евфрат». Господи, я думал, что они текут только в кроссворде да в Библии, а оказывается, они действительно текут.

Садимся в пекло. В настоящее пекло. Воздух не просто теплый, а горячий. Абадан. Голоногие, загорелые иностранцы в пробковых шлемах щелкают лейками, а потом говорят: «Здравствуйте, товарищ Яхонтов, здравствуйте, товарищ Хрусталева, здравствуйте, товарищ Образцов!..»

Оказывается. наши летчики и корреспонденты.

Живем мы в каких-то боксах, похожих на половинки больших железных консервных банок. Все время бегаем под душ. В день каждый должен выпить десять литров воды, иначе изойдешь потом и высохнешь. Играем для союзников. Территория лагеря разгорожена. Отдельно англичане, отдельно американцы, отдельно негры. Играет скрипачка Козолупова. Стою сзади и смотрю, дойдет ли огромный жук-рогач по ее платью до голой спины или нет. Если доползет, она завизжит и уронит скрипку, а скрипка ведь Гварнери из Государственного фонда. Нет, слава богу, не дополз. Улетел.

На обратном пути из Абадана забрались в треугольник между Арменией и Турцией. Маку. Весь город стоит по уступам горы. Даем концерты в бывшем гареме какого-то хана, которого, говорят, Реза-шах убил. Ну, может, и легенда это. Удивительно безвкусный гарем.

Есть в этом треугольнике огромное Мертвое озеро. Если лошадь войдет хоть на минуту, ей смерть. А о человеке и говорить не приходится.

И еще там есть удивительная вещь, о которой я ничего не слышал и нигде не читал. На скалах высечена целая многофигурная сцена, как персидский шах Кир подносит дары Александру Македонскому. Около того и другого свита.

Проехали мы по всей Мазандаранской долине от Пехлеви до Тебриза, где убили Грибоедова. Каспийское море. На той стороне — Баку.

Перед отъездом в офицерском клубе прощальный ужин с декорированными дамами и пловыми. Голые спины дам искусаны москитами, а пловы вкусные.

В пять утра вылетаем из Тегерана, а в шесть вечера в Москве. Ужинаем. Спать почему-то не хочется. Сажу до рассвета и думаю о театре. Как-то там, в Новосибирске? Надо поскорее ехать.

Светает. Видно, как опускаются аэростаты заграждения. Днем эти огромные серебряные рыбы спят на московских бульварах.

Повезло

Сорок четвертый год. Весь коллектив театра в Москве. Заканчивается ремонт здания. Скоро начнем играть. А война идет.

Неужели Гитлеру не ясно, что она им проиграна? Неужели не ясно? Неужели для этого нужно, чтобы наши дошли до Берлина?

Ну если наших не жалко, то своих-то мог бы пожалеть. Они ведь тоже люди. Также люди, а гибнут каждый день. Каждый день

тысячи убитых, раненых. Каждый день тысячи новых вдов и сирот.

А вот этим повезло. Они убивали, а сами остались живы. Это на их совести тысячи смертей наших солдат, наших мирных жителей. Их руками убитых.

Пятьдесят семь тысяч пленных идет под конвоем по улице Горького, мимо нашего театра. Война для них кончилась, они остались живы, а убитые ими сотни тысяч русских не воскреснут. И у раненых ноги и руки не прирастут. Понимает ли это каждый из этих пятидесяти семи тысяч? Нет, он и убийцей себя не считает. Приказывали, вот и стрелял.

Неужели все они фашисты? Вряд ли. А те бывшие мальчики, с которыми я в Берлине на бульваре играл, негритенка им показывал, — неужели и они тут? А те, кто бомбы на Москву бросал — и вот на этот дом бросил, мимо которого идут? А тот, что на мотоцикле с фашистским знаком в двадцать пятом по Берлину ехал? Если тут, то, наверное, до генерала дослужился. Только не поймешь, погоны-то у генералов сорваны. Свои же и сорвали...

Подумать только, до самой Москвы победно дошли. До Ховри-на. На Москву в восторге в бинокли глядели: «Завтра наша будет», а теперь вот бредут по Москве-победительнице.

Ну что ж, повезло им. Живые. Напишут женам, дадут адреса лагерей. А там, глядишь, и вернутся. Повезло.

«Выходила на берег Катюша»

Весна сорок пятого. Мы с женой опять включены в группу советских актеров, едущих с концертами в Румынию. Болгарию и Югославию. Возглавляет нас Валерия Владимировна Барсова.

Летим через Киев. Крепостик весь в руинах: ни одного целого дома. Еле-еле смогли перейти на другую сторону, спали все вповалку в какой-то канцелярии на столах.

Румынский аэродром. Ну буквально ничего нельзя понять. Советский офицер дает прикурить румынскому офицеру, и потом мирно беседуют, уж на каком языке — не знаю, но только очень дружно и весело.

Концерт принимают замечательно. Кричат, аплодируют. Это не наигранно, это искренно. Как это все согласовать одно с другим?

Наградили нас орденами. И меня в том числе. Называется орден «Офицер культуры». Кто наградил? Юридически — король Михай. Очень красивый орден. Крестом. Потом Михай отрекся от престола и уехал из Румынии. Ордена нам поменяли.

Потом я буду много раз бывать в этой прекрасной стране, познакомлюсь с людьми. С кукольным театром Цэндэрикэ, с его руководительницей Маргаретой Никулеску. Буду жить целый месяц в летнем дворце Михая. Мне просто отдадут от него ключ, и по утрам здороваться со мной будут приходиться павлины. Объеду много городов Румынии, но все это будет потом, потом, а сейчас ничего не понятно. Перед дворцом Михая марширует отряд королевской гвардии в сверкающих на солнце касках с конскими хвостами, а на улице шарманщик крутит шарманку, и та играет «Катюшу». Когда ему успели набить новый валик? Это ведь не так-то легко. Невольно подпеваешь: «Выходила, песню заводила про степного сизого орла...», — а королевские солдаты печатают по асфальту шаги: рраз-рраз-рраз.

В стране Георгия Димитрова

Перед тем как вылететь на Балканы, мы всей группой во главе с Барсовой отправились на Якиманку, теперешнюю улицу Димитрова, на которой Георгий Димитров тогда жил.

Тот самый Георгий Димитров, который сидел в фашистской тюрьме, тот самый Димитров, которого фашисты судили за то, что он поджег рейхстаг, хотя они сами его подожгли, для того чтобы осудить Димитрова и казнить.

Из суда этого у фашистов ничего не вышло. Из обвиняемого Димитров превратился в обвинителя, пришлось его отпустить, и стал он народным героем.

Вот мы к нему и пришли сказать, что едем в его страну, будем давать там концерты и просим его благословить нас на эту поездку.

Димитров очень просто и очень по-доброму нас встретил, угостил чаем и рассказал о том, что болгары всегда любили русских, что любовь эта идет с той поры, когда русские освободили болгар от турецкого ига, что это очень-очень бедная страна, что немецкие фашисты буквально заставили болгарского короля объявить советской России войну, что теперь болгары опомнились, перешли на нашу сторону и воюют вместе с нами.

Одним словом, очень много очень важного и нужного он нам рассказал о своей стране, и, когда мы из Бухареста приехали в Софию, нам уже казалось, что мы приехали если не к родным, так к очень близким людям.

А в Софии в это время шел Славянский собор. Весь город был в сплошном празднике. На улицах демонстрации, лозунги, украшенные автомобили. Наши концерты да и мои сольные концерты стали частью этого праздника. После каждого спектакля на сцене буквально толпа благодарных зрителей, а после одного из моих концертов для писателей, актеров, художников я больше часа отвечаю на вопросы обо всем: о наших театрах, о наших кинофильмах, о том, как передвигаются дома на Тверской.

Перед оперным театром конная охрана. Там идет суд над фашистскими преступниками, а фронт близко. Просто рядом, и болгарские женщины носят своим мужьям на фронт еду и табак, как в средневековье.

Пришла ко мне молодая женщина. Ее раненый муж лежит в постели в их маленьком домике. Он ранен только что и, узнав, что в городе русские, очень хочет видеть русского. Никогда он русского близко не видел. Я пошел. Лежит худой, небритый, а глаза уже здоровые.

Он был рад. Поговорили через переводчика. Слова-то у нас похожие, а как в фразу сложились, так ничего не понятно. Ну, в общем, хорошо поговорили. Даже посмеялись вдвоём.

И в Болгарии я был потом много, много раз. Подружился с созданным там театром кукол. Положил венок у мавзолея Георгия Димитрова, ездил на целую ночь в горы, в Родопы, на праздник песни. Пятьсот деревень прислали своих певцов. Пятьсот шалашей стояло по долине. Пятьсот костров горело. Ел я у костра вареную баранину, запивал красным вином и целую ночь слушал деревенских певцов под аккомпанемент волюнок. Но все это будет потом.

А сейчас, как только вернулись с Балкан, опять пришли к Димитрову и все-все ему подробно рассказали.

Удивительный он был человек. Вот если не знать про него ничего так и догадаться нельзя, что он герой, да еще какой герой. Абсолютно бесстрашный.

Только что по телевизору шла замечательная передача. Эльдар Рязанов разговаривал с Борисом Васильевым о героях его фильмов, и Васильев сказал, что настоящий герой никогда не знает, что он герой. Никогда. Вот и Георгий Димитров такой, и я счастлив, что два раза встретился с ним и много раз был в его стране.

Невозможно забыть

По-настоящему описать поездку в Югославию весной сорок пятого года невозможно. Не хватит нервов. Буду сдерживать себя насколько смогу.

В Белграде мы живем в гостинице «Москва». На ее стене написано крупными буквами: «Мин нет. Семенов». Если на улице встречающийся человек (все равно — мужчина или женщина) догадывается, что мы русские, то кидается обнимать и целовать.

На двух машинах едем в Скопле. Через горы. На передней машине Барсова. На каждом повороте — исковерканные фашистские танки. Это их подстерegli на поворотах партизаны.

Снег. Метель. Первая машина заблудилась.

Проезжаем какой-то город. На площади нас встречает толпа. Вся площадь восторженно кричит. Вышел на балкон второго этажа офицер и сказал, что пропала одна машина и что это плохо, потому что, сбившись с дороги, она может пересечь границу Греции.

И толпа замолчала. Вся площадь замолчала. Я знаю, хорошо знаю, что такое крик толпы, но молчание толпы я слышал первый раз в жизни.

Машина нашлась. Мы приехали в Скопле. На площади разбитое здание банка. Черные шторы на окнах полощутся на ветру черными флагами. Стоят люди с яблоками, грушами, компотом. Это для нас. Очень просят не ходить в гостиницу, а идти к ним. Быть их гостями. И мы расходимся по домам.

Вышитая разноцветными нитками картинка, которую нам подарила приютившая нас хозяйка, до сих пор висит в нашей спальне, а вырезанный из дерева голубь, святой дух, висит там же под лампой.

Когда после гастролей в Белграде я должен был говорить прощальную речь, то из этого почти что ничего не получилось. Мешали слезы. Я просто плакал. Да и зрители в зале плакали.

Были мы на приеме у Иосипа Броз Тито, и многих из нас наградили орденами. Меня в том числе. И мою жену.

Много раз потом я был в Югославии. Во многих городах: в Любляне, Сплите, Новом Саде, в самом удивительном городе мира — Дубровнике. Не город он, а музейная драгоценность, обнесенная крепостной стеной. Хочется его весь под стеклянный колпак поставить.

Подружились с кукольными театрами Белграда, Любляны.

А в 1983 году театр участвовал в фестивале кукольных театров на Ядране в Шибенеке. Купались в Адриатическом море, вспоминали наш Крым, но первый приезд в Югославию я никогда не забуду. Нельзя такое забыть. Невозможно.

Из тысячи орудий

Говорит Москва. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту.

Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года в Берлине представителями германского верховного командования подписан Акт безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. В ознаменование полной победы над Германией сегодня, девятого мая, в день победы, в двадцать два часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Кончилась война. Все москвичи на улицах, а кто не на улице,

тот, значит, прилип к окну или на крыше. Я на крыше, на той самой, на которой гасил зажигалки. Вот как события-то поворачиваются. Опять красота, только уже не трагическая, а сверхрадостная, переполняющая тебя до краев. Тридцать раз из тысячи орудий. Как это они умудряются одновременно стрелять? Наверное, по какому-то сигналу. И сейчас же после ахового залпа во всех концах Москвы взлетают снопы фейерверков. Трещат, рассеиваются зонтиками, меняют цвета. Зеленые, золотые, синие, красные звезды падают на крыши домов, чтобы со следующим залпом опять с треском взлетать, освещая город разноцветьем своих огней. Тридцать раз. С черными дырками темноты между ними. Здорово и очень радостно. Сердце захватывает.

На Красной площади будет парад Победы, а после него, наверное, прием в Кремле. Не знаю, будет или нет. Хорошо, если бы был, и если бы там был концерт, и если бы меня пригласили с моими куклами,— вот тогда бы я понял, что все стало на свои места.

В конце июня я вынул из почтового ящика маленький билетик: «Тов. Образцов С. В. Правительство Союза ССР приглашает вас на прием в честь участников парада Победы. Прием состоится в Большом Кремлевском Дворце 25 июня 1945 года. Георгиевский зал».

На следующий день мне позвонил устроитель концерта и сказал, чтобы я взял ширму и кукол.

Жду в маленькой проходной комнате перед выходом в зал. Меня объявили. Вышел, поставил ширму, жена села за рояль. Прямо передо мною Сталин и Ворошилов, оба в форме, Молотов, Калинин. Все улыбаются. Совсем не изменились. Такие же, как всегда. Все сбылось. Все как я мечтал. Спустился в зрительный зал. Он сегодня золотой. Весь золотой. Блестят золотые имена георгиевских кавалеров на мраморных стенах зала, золотом блестят огромные люстры, золото в бокалах шампанского, золото на погонах, орденах и медалях на парадных формах генералов и офицеров. Орденов у каждого так много, что они не помещаются на груди, а переходят на бока. Все-все — весь зал в золоте сегодня.

За столом, куда мы с женой сели, сидит генерал. Молодой, красивый. Герой Советского Союза. Очень на кого-то похож. Смотрит на меня и почему-то хитро улыбается. «Глеб, это вы?» — «Я думаю, узнаете или не узнаете». Глеб, тот самый Глеб Бакланов, коновод всех мальчишек во дворе на Новой Басманной, про которого я написал. «Ну что ж, Глеб, давайте выпьем за вас». — «Почему за меня?» — «Да потому что, если бы не было таких вот, как вы, таких вот, как они, что за этими столиками сидят, были бы мы сейчас все просто рабами или нас совсем не было бы. Давайте за вас выпьем». — «За меня не согласен, а за всех нас, воевавших,— с радостью. Наливайте».

Музыка

Сейчас, когда я пишу воспоминания о каких-то очень давних эпизодах моей жизни, декабрь 1983 года.

Вроде как не о себе пишу, а о приснившемся мне человеке, носящем мое имя.

Открыта дверь на балкон, потому что очень тепло. Где-то в не очень большом далеке лает собака. Это за оврагом. Ей настойчиво отвечает другая. Совсем далеко. Может, в Абабуровке. Это деревня такая.

А наш пес, вытянув лапы, лежит на полу будто мертвый. Огромная московская сторожевая. Если подходит к столу, голову поднимать не надо. Она над столом. Бери что хочешь, если позволят.

Сейчас спит. Сон какой-то видит. Ноги дрыгаются. Догоняет кого-то или удирает. Да вряд ли удирает. Такой огромный кобель — ко-го он бояться будет?

Мы на даче во Внукове, в поселке московских писателей. Моя комната наверху, в мансарде. Внизу жена играет на рояле. Как все-таки замечательно, что на свете существует такое непостижимое искусство, как музыка.

Играет негромко. Для себя. Слушателей нет. Я не в счет. Замечательно, если на рояле или на гитаре человек играет для себя. Для собственного удовольствия. Он тогда удивительно это делает. Ничего не уменьшает, не увеличивает. Ничего не показывает.

Сами музыкальные фразы движутся, спорят, разговаривают на своем непроизносимом и таком понятном языке.

Одна музыкальная комментаторша сказала, что у Шопена слышно, как трава растет. Неправда это, никакая трава у Шопена не растет. Это даже оскорбительно для него.

А вот движутся какие-то внутренние чувства в человеке, который слышит Шопена. Что-то музыка его вроде спрашивает, на что-то жалуется, чем-то огорчается. Утверждает, возражает, требует, просит. Просто о чем-то с грустью беседует.

О чем? То-то и прекрасно, что словами это не скажешь. Если бы можно словами, так и музыка не нужна. Вот я и слушаю. И писать перестал.

Менуэт Куперена. XVIII век, а как все ясно и по-детски трогательно. «Весна» Грига. Тоже больше ста лет прошло. Вагнер...

И вдруг неожиданно — английский народный танец ламдбертвок. Смешно. Мы его в Лондоне в нашем посольстве танцевали. С при топом и прихлопом. Нас наша переводчица Анна Максимовна учила. Я про нее еще напишу.

Кончила жена играть. Наверное, пошла обед готовить. Гречневую кашу. Я ее больше всего люблю.

Пора приниматься за новую ступеньку памяти. Их еще много осталось. Я тороплюсь. Хочется скорее все написать, а свободного времени от театра, да и от всяких общественных дел остается мало.

«Необыкновенный концерт»

Из Новосибирска привезли с собой поставленного еще в Новосибирске «Короля-оленья» Сперанского по Гоцци. Заделали-то мы его еще до войны. Спектакль имеет успех. Сперанский играет Труффальдино удивительно.

Что же будем ставить дальше? Режиссер Виктор Алексеевич Громов, с которым мы вместе ставили «Короля», мечтает о Шекспире, о «Сне в летнюю ночь». И вся первая группа (труппа у нас на две самостоятельные группы разбита) тоже об этом мечтает. Вообще о романтике, о романтической трагедии.

А я совсем об этом не мечтаю. Хочу сегодняшнее. Кто-то сказал, что у классиков надо учиться быть такими же современными, какими они были в свое время. Замечательно сказано.

А раз так, то, учась у Шекспира, необязательно ставить Шекспира. Он же Аристофана не ставил. Если б ставил, не был бы Шекспиром.

Хочу учиться быть таким же современным, каким был Чехов. Значит, не буду ставить Чехова. Таким же, каким был Чаплин. Значит, не буду подражать Чаплину. Хочу быть их последователем, а не подражателем.

А «Сон в летнюю ночь»? Я, по правде сказать, даже не понимаю, о чем это. Тему не понимаю. Хочу сегодня, хочу смешное, хочу озорную комедию или сатиру. Хочу, чтобы взрослые пришли и сказали не «как это культурно», а «вот здорово. Смешно и все правда».

Фронтальная программа раскрыла для меня сатиру. Вот бы ее и продолжить, но уже не на военную тему. Война-то кончилась.

На что же сатиру? На штампованных исполнителей сборных концертов. Я эстражник. Я знаю их наизусть. И конференсье, и чечеточников, и классических певцов, и эстрадное танго, и хоровые ансамбли, и малолетних вундеркиндов, и дрессированных собак, и фокусников.

Чуть не каждый день ко мне домой приходят Семен Соломонович Самодур, Зиновий Ефимович Гердт и вернувшийся с войны молодой актер Володя Кусов. Сидим и выдумываем, выдумываем номер за номером, а артист и писатель Александр Михайлович Бонди сочиняет для будущей роли конференсье очень смешные объявления придуманных нами номеров «Колоратурное сопрано Вероника Несмыкальская» — каждый звук она повторяет неисчислимое количество раз, получая от этого художественное наслаждение.

Ставим спектакль мы с Самодуром.

Поставили. Показали в Доме писателей на сплошных аплодисментах.

Поехали на гастроли в Ленинград. Один из самых талантливых художников и режиссеров, руководитель Ленинградского театра комедии Николай Акимов, прислал телеграмму: «Поздравляю и подло завидую».

Сейчас, когда я пишу про эту ступеньку моей памяти, наш «Необыкновенный концерт» мы сыграли больше шести тысяч раз и продолжаем играть.

За это время он пополнился новыми современными номерами, новыми штампами концертной эстрады: латиноамериканским трио, страдающей французской певицей, шумовым оркестром «конкретной музыки».

Смотрели «Необыкновенный концерт» в сотнях городов нашей страны и в тридцати восьми иностранных государствах. Исполнители роли конференсье наловчились конферировать и по-английски, и по-немецки, и по-фински, и по-венгерски, и по-словенски, и по-хорватски, и по-болгарски — в общем, на двадцати четырех языках мира. Играли даже и по-японски, и на хинди, и на фарси.

Мы показали этот спектакль чуть ли не всему миру, и он показал нам чуть ли не весь мир.

Почему это так вышло? Потому что он сегодняшний.

Художник и хирург

Заболел Борис Дмитриевич Тузлуков. Главный художник нашего театра. Создатель таких спектаклей, как «Кот в сапогах», «Волшебная лампа Аладина», «Король-олень». Фактический основатель всей художественной культуры советского театра кукол.

Замечательный художник и замечательный человек, добрый, благородный и по-настоящему профессиональный. Именно потому по-настоящему, что профессию-то эту он сам и создал.

Никаких художественных школ не кончал. С нуля начал. С нуля. Любитель.

Мой отец, несмотря на то, что был академиком, говорил мне, что новое и в науке и в искусстве чаще всего открывают любители, потому что у нового нет профессии. Паровозник вряд ли изобретет электровоз. Он все время будет улучшать отдельные части парового двигателя, а любитель догадается воткнуть электромотор. Станиславский — любитель, и Эдисон, и Циолковский, и Форд. В общем, профессионал, выросший из любительства, чаще всего новатор.

Вот и Борис Дмитриевич — новатор и великолепный профессионал.

Он еще в Куйбышевe в эвакуации заболел. Язва. Мы думали, не выживет. До сих пор помню, как он упал в коридоре гостиницы от страшной боли. Лежал на полу.

Темно. Пробки в гостинице перегорели. Ничего не видно. Кто-то зажег свечу, накапал на пол стеарину и приклеил свечку рядом с Тузлуковым.

Совсем страшно. Мистика какая-то. Будто бы уже умер. Глаза закрыты, только слышно, как дышит, да и то еле-еле. Обошлось тогда. А вот теперь уже без операции не обойтись, хоть и не хочется ему очень. Надо везти к Склифосовскому. Там Юдин. Знаменитый Юдин. Лучший хирург в Советском Союзе. Да, может, и в мире лучший.

Приехали мы с Борисом Дмитриевичем в больницу. Ждем в приемной Юдина. Он на операции.

Пришла сестра, говорит: «Сергей Владимирович, вас профессор просит зайти на операцию». Надели на меня халат. Завязали лицо по самые глаза и повели. Привели. На ку-клукс-клан похоже. Все в белом. У всех одни глаза торчат. Окружили стол, на котором лежит что-то покрытое простынями. Посередине простынь нет, а есть красные кишки.

Юдин кивнул мне глазами, потом взял резиновыми руками желудок, положил в какое-то точное место. Сказал: «Зашивайте» — и раскинул, как Христос, руки. Две сестры содрали с рук желтую резину.

Уже живая, а не резиновая рука постучала по простыне: «Как себя чувствуете?» В простыне раздалось неуверенное «м-мм». Юдин сказал: «Испугался».

Кончилась операция. Юдин снял с лица повязку и сразу из кукуклуксклановца превратился в нормального человека с лицом художавым и немножко озорным.

Пошли к Тузлукову. Он заждался. Волнуется. Юдин говорит: «Надо сперва рентгеновский снимок сделать. Тогда решу насчет операции. Рентген займет минут десять, а мы с Образцовым пока по палатам пройдемся».

Идем из палаты в палату. Юдин больных показывает и так гордится, будто он их сам сделал. И любит каждого. А они на него как на мать, как на отца родного смотрят.

И действительно он их сделал. Все они сожгли себе пищеводы. И взрослые и дети. Кто травился, а кто по ошибке соляной кислоты глотнул. И это уже не жизнь, а мука. В живот трубка вставлена. Через нее жидкую пищу человек прямо в себя вливает. Так вот Юдин каждому из его же кишки новый пищевод сделал. Прямо под кожей.

В детскую палату привел. Говорит: «Где Нинка?» Привели курносую трехлетнюю Нинку. «Дайте ей каши». Дали каши. Нинка смеется и ест. И Юдин смеется. Говорит: «Все Нинки очень жрать любят».

Идем коридором к Тузлукову. В углу двое молодых. Она в больничном, он в белом, коротком, не по росту халате для посетителей. За руки держатся. Юдин совсем счастлив: «От любви травилась. Каждый день к ней ходит. На свадьбу зовут».

Вот оно, докторское счастье. И вылечил. И любовь вернул. Завидная профессия. Ежедневное ощущение нужности.

Пришли к Тузлукову. «Слушайте, у вас тут целых три язвы, да еще в очень неудобном месте. Первый раз такое вижу. Конечно, можно и отложить до мая, но тогда уже вальдшнепы прилетят. Тяга. Сами понимаете, что для охотника тяга. Естественно, я и тогда операции делать буду, но все-таки это не то. Лучше ложитесь сейчас. Когда вальдшнепы прилетят, вы уже селедку есть будете да пивом запивать». Тузлуков улыбается. Остался.

Операция прошла хорошо. Навсегда от своих язв Тузлуков избавился. Да иначе и быть не могло: Юдин.

Орден Улыбки

Осенью сорок восьмого года театр направили на гастроли в Польшу и Чехословакию. Такое впечатление, что мы — это не мы, не кукольный театр, а по крайней мере правительственная делегация на самом высоком уровне, а я — это не я, а глава этой делегации и, значит, по меньшей мере Председатель Совета Министров.

На вокзале, на улице, на гостинице, на ресторанных столиках флаги и флажки Советского Союза. Нас встречают оркестры гимназии, нас приветствуют через микрофон. И все это звучит на всю Варшаву. Обнимают, целуют. Торжественно, с флажками везут через город. Еще не начался концерт, еще только вышел на сцену ведущий, а уже радость такая, будто будет выступать Шалапин. Крики, аплодисменты. Это потому, что мы советские. Это потому, что советские войска освободили поляков. Не видеть, не понимать это невозможно. **Всюду, буквально всюду** могилы, могилы, могилы наших бойцов — и безымянные и с фамилиями. Русскими, таджикскими, узбекскими, украинскими, белорусскими, еврейскими, грузинскими, армянскими, литовскими — всех национальностей, живущих в Советском Союзе, пришедших, чтобы защитить тех, кто нас сейчас встречает.

И я говорю через микрофон. Значит, и мой голос звучит во всем городе. Едем в гостиницу через центр. Это чтобы показать Варшаву. Всегда слышал про прекрасную Маршалковскую. А ее-то фактически и нет. Вся разрушена, вся в руинах. Всегда слышал про красоту стариннейшего Старо Место. И его нет. Есть осколки стен, зажатые досками, чтобы хоть они-то сохранились. Образцы того, что было. И везде написано — отбудуем, отбудуем, отбудуем (это значит отстроим).

И отбудували. Действительно отбудували. Много раз я потом был в Варшаве. Маршалковская просто великолепна. Старо Место все наново выстроено по старым чертежам, рисункам, фотографиям, остаткам стен.

У меня в Варшаве полно друзей, тем более что в ней много лет был секретариат УНИМА, а секретарем — большой мой друг пан Юрковский.

Но самое удивительное и, можно даже сказать, невероятное — это то, что я был награжден польским орденом Улыбки. Он окончательно привязал мое сердце к Варшаве.

Это особенный орден. Награждают им дети. Польские дети.

История ордена такова. Лежащий в больнице польский мальчик сказал одной писательнице: почему это людей награждают за храбрость, за большой труд и не награждают тех, которые делают людей счастливыми, веселыми? Писательница рассказала про это в редакции газеты «Курьер польский», и там решили учредить орден Улыбки.

Каждый год газета делает опрос польских детей кого они хотели бы наградить. Дети пишут. Называют разных людей — писателей, актеров, учителей, художников, и тот человек, который получил большинство ребячьих предложений, становится кавалером ордена Улыбки.

Очень красивый орден. На синем фоне круглое золотое смеющееся солнце. Эскиз тоже выбран по ребячьему конкурсу.

И вот первым иностранцем, награжденным польскими ребятами таким орденом, оказался я.

Об этом я узнал в Москве. Мне сообщили, что редактор «Курьера польского» приедет для вручения ордена. Приехал и сказал что вручение по ритуалу, опять-таки придуманному самими детьми, должно быть обставлено торжественно.

Так оно и произошло. После детского спектакля я вышел на сцену. С другой стороны вышел мальчик с жезлом (по правде сказать, это была просто здоровенная палка), три раза стукнул этим «жезлом»

об пол и протянул стакан с выжатым из лимона соком. Я должен был выпить его и не поморщиться. Если поморщусь — недостойн я ордена Улыбки.

Ну, естественно, я не поморщился, и редактор прицепил мне на грудь орден. Ребята в зрительном зале очень смеялись — это когда я сок пил и не морщился, а потом очень аплодировали — это когда заблестело на моей груди золотое смеющееся солнце.

А через год польские кавалеры ордена Улыбки пригласили меня с женой в гости. Мы приехали. Полковник Червьиньский, тоже кавалер этого ордена, повез нас в детский дом для детей-сирот. Были там дети и постарше и совсем маленькие. Сперва стеснялись, а потом разошлись, развеселились, и один совсем маленький мальчик в одной рубашонке залез мне на колени. Рубашонка задралась. Животик голый, круглый, как арбуз. Я стал что-то напевать и по животу в ритм хлопать. Очень ему это понравилось. Он вскочил, обнял меня, поцеловал в щеку и сказал: «Мама». Трудно мне объяснить, как это для меня прозвучало. Ведь он был сирота. Ни папы, ни мамы у него не было. Значит, слово «мама» для него как бы вмещало такие определения, как дорогой, любимый, родной.

Польские дети наградили меня прекрасным орденом Улыбки, а польский мальчик — нежным словом «мама».

Йозеф Скупа

Наш поезд подходит к перрону Пражского вокзала. Гремит выстроенный на перроне оркестр. Толпа встречающих. В небе полощутся государственные флаги — наши и чешские. Выходим из вагона. Всматриваюсь и среди встречающих узнаю Неедлы. Мы знакомы с ним по Славянскому комитету. И да, конечно, это он, Йозеф Скупа. Знаю его по фотографии в журнале «Лоуткарш».

Он отделяется от группы встречающих и идет ко мне, а я невольно отделяюсь от наших и иду по перрону к нему. И тогда почему-то наступает полная тишина. Как будто что-то должно случиться. Скупа улыбается, но идет не очень торопясь, а как-то вроде торжественно. Расстояние между нами небольшое. Может, метров двадцать, а время вроде остановилось.

Но вот Скупа уже подошел, зачалил меня левой рукой, бьет кулаком по спине и говорит: «Сэрошка! Сэрошка! Сэрошка!..» И тут все начинают аплодировать. И чехи и наши.

Встреча состоялась. Встреча, о которой я мечтал несколько лет. А как же! Легендарный Скупа, которого знает и любит вся Чехословакия, все чехословацкие дети! Скупа, создавший Спейбла и Гурвинека, любимцев всех и чешских и словацких детей. Наконец-то я увижу их живыми в руках Скупы. Наконец-то!

То, что я увидел и услышал, оказалось куда больше, чем то, что я ожидал. Скупа был с нами в течение всех гастролей, чуть ли не каждый день. Во всем нам помогал. Это был эталонный человек. Предельно талантливый, предельно добрый, предельно честный, предельно искренний.

Мы увидели живых кукол Спейбла и Гурвинека. В полном смысле слова живых. Их вырезали из дерева. Спейбла — Носек-отец, а Гурвинека — Носек-сын. А души вдохнул в них Скупа. Да какие души! Абсолютно точные. Такие, какие вдыхают настоящие писатели в своих героев. Такие живые души, как у Чичикова, как у Хлестакова, как у Остапа Бендера, такие души, как у героев, которым, как людям, можно поставить памятники.

Вот так на бульварах Праги или Братиславы можно поставить памятники Спейблу и Гурвинеку на радость всем детям, потому что

Спейбл и Гурвинек — народные детские герои. Слава художнику, создавшему образ народного героя. Слава Йозефу Скупе!

Он играет в этом дуэте и Спейбла и Гурвинека, но ведет Гурвинека пани Скупова. Это комические диалоги, сочиненные Скупой, очень смешные. Спейбл — резонер, пробующий поучать хитрого и смышленного Гурвинека. Голоса и у того, и у другого абсолютно разные. У Спейбла старческий бас, у Гурвинека детский альт. Как этого достигает Скупа — непонятно.

Месяц мы гастролировали в Чехословакии и месяц дружили со Скупой, а потом расстались, но дружили до самой его смерти, тем более что он был президентом УНИМА, а я его заместителем.

Похоронен Скупа в Пльзене, там, где родился. Там, где родились Спейбл и Гурвинек. В последнюю свою гастроль в Чехословакию я поехал в Пльзень и положил цветы на его могилу. На могильном камне высечены Спейбл и Гурвинек.

В Венгрии

Первый вечер в Венгрии. Ужин в ресторане гостиницы на острове Маргитсигет. Посредине Дуная. Налево Буда, направо Пешт. Заливается скрипка цыганского оркестра. Как ни вкусен венгерский гуляш, а хочется не есть, а слушать.

В руках черноглазого скрипача настоящий Амати и плачет, и смеется, и несется вскачь по ухабистым ритмам чардаша.

Я подружился со скрипачом и напел ему мотив старинной песни русских цыган: «Наглядитесь на меня, очи ясны, про запас». И уехал по городам Венгрии.

Вернулся на Маргитсигет. Пришел в ресторан ужинать, и вдруг запела, зашептала, разлилась скрипка: «Наглядитесь про запас...» До слез. А скрипач смотрит на меня веселыми, озорными глазами и как-то особенно торжественно держит своего великолепного Амати.

Это было давно.

С тех пор много раз театр приезжал на гастроли в Венгрию, да и я один приезжал на Венгерский конгресс в защиту мира. И каждый раз помогали мне прекрасные девушки: голубоглазая, светловолосая художница Марика и черноглазая, с волосами, как вороново крыло, киносценаристка Юдит. Сейчас и Марика и Юдит седые пожилые женщины, у обеих дети и обе все так же прекрасны.

В постоянной памяти моей о Венгрии живут еще два человека, олицетворяющих для меня эту страну. Один — руководитель Государственного венгерского театра кукол, мой товарищ по работе в президентуре Международной организации деятелей театра кукол УНИМА Деже Силади.

Конгрессы, конференции, фестивали УНИМА происходят в разных странах, и поэтому наши более чем дружеские встречи бывают не только в Будапеште, а и в Париже, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе, Праге, Бухаресте, Ленинграде, Москве, Ташкенте. По-венгерски я не говорю, изъясняемся мы с грехом пополам на немецком, но понимаем великолепно, потому что любим друг друга.

А второй человек — это Первый секретарь ВСРП Янош Кадар. Он полюбил наш театр и, когда приезжает в Москву, часто приходит к нам.

У меня в кабинете аквариум. Кадар пришел в антракте и спрашивает: «Почему у вас астронотус (есть такая аквариумная рыба) один плавает?» Я говорю: «Не могу достать самку». Он говорит: «Я вам привезу». И привез. У моих астронотусов появились мальки. Я их раздарил. И теперь у многих аквариумистов Москвы плавают эти коричневые с золотом медленные рыбы из Венгрии.

У немцев

Не хочу я ехать в Берлин. Ну не хочу! К немцам, к тем самым немцам, которые кидали бомбы на наши города. К тем, от которых в ленинградскую блокаду погибло столько ни в чем не повинных людей! Не хочу.

А Комитет по делам искусств заставляет. Организовал наши гастроли в Берлине и Лейпциге. Мне говорят, что это не Западный Берлин, а Восточный, что там нас ждут, что будет замечательный прием, «вот увидите». А что я увижу? Что в Восточном Берлине живут другие немцы? Они не воевали, что ли? Не стреляли? Глупости все это. Те же немцы, что и в Западном, те же самые.

Поехали. Встретили нас на вокзале с цветами и улыбками. Ну это еще ничего не доказывает.

Играем в большом хорошем театре «Необыкновенный концерт». Я за кулисами. Как будто принимают, хохот. Настоящий, веселый хохот. Вот плакать неискренне можно, а чтобы весь зал неискренне смеялся, это представить себе нельзя. А в финале настоящий успех. Просто очень, очень большой. Приятно и совсем неожиданно.

За кулисы пришел какой-то незнакомый человек, немец, и очень просит, чтобы я пришел к нему в гости выпить чашку чая. По профессии он театральный портной. «Морген нах дер форштеллунг». Ну как отказать? Согласился. «Данке. Данке филь маль».

Вот я и понял тогда: надо было ехать к немцам. Непременно надо.

Надо встречаться, надо ездить друг к другу, надо протягивать руки, надо смотреть в глаза.

Господин Барлок, когда он был директором театра в Западном Берлине, пригласил наш театр на гастроли. Приехали мы. Вышел я с переводчицей говорить вступительное слово. Господи ты боже мой, вряд ли будет успех. Фраки, крахмал, декольте, шеншеля, норки, серебристые лисы. Как они будут на красных коммунистов реагировать?

Начался спектакль. Нет, вроде бы ничего. Совсем вроде неплохо. Очень даже хорошо. Кончился спектакль. Нигде у нас такого успеха не было. Двадцать два раза занавес открывали и закрывали. А когда опустили толстый пожарный, пришлось открывать в нем калитку, и мы опять выходили кланяться.

Вы думаете, это потому, что мы как-то особенно хорошо играли? Нет. Не потому. А потому что никто, никто не хочет войны, и нигде так остро не ощущается ее возможность, как в Западном Берлине.

На следующий день в консервативной газете в хвалебной рецензии было написано: «Два часа русские и немцы жили одним сердцем. Разве нельзя назвать это счастьем?»

Не убивайте детей

У меня есть изданный в Германии фотоальбом разбитого Дрездена. Называется он «Камера клагт ан» — «Камера обвиняет». Без боли смотреть его невозможно.

Кого и в чем обвиняет камера? Тех, кто разбомбил Дрезден в самом конце войны, когда в этом не было никакой стратегической необходимости. До сих пор непонятно, зачем это сделала американо-английская авиация.

Я приехал в Дрезден в пятьдесят первом году. Жизнь была только на окраинах. Центр в руинах. Мы с женой завтракаем в маленьком кафе и разговариваем с двумя старыми дрезденцами — мужем и женой. Прошло уже больше пяти лет с той страшной ночи, а они, рассказывая о ней, плачут навзрыд.

Повели нас к большой витрине. Там за стеклом лежат, сидят, стоят детские куклы-игрушки. И тряпичные самодельные, и с фар-

форовыми головками, и совсем новые в шелковых платьях и бантах, и совсем старенькие с порванными платьицами и следами копоти и дыма.

А над витриной надпись: «Мы хотим, чтобы нами играли. Сделайте так, чтобы не убивали детей».

Этих кукол взяли из бомбоубежища сгоревшего рухнувшего дома. Их маленькие хозяйки, живые немецкие девочки, задохнулись от дыма, а куклы задохнуться не могут, вот они и остались жить неживыми.

Москва — Пекин

23 октября пятьдесят второго года специальный многовагонный поезд, до отказа набитый советскими актерами, отправился из Москвы в Пекин.

Накануне всем до единсго в спину вкололи чуму. Пережили это все по-разному. Я просто вроде и не заметил, у жены спина четыре дня болела, а партнер Улановой Кондратов заболел серьезно и приехал вместе с Галиной Сергеевной вдогонку на несколько дней позже.

Три дня ехали вполне благополучно, а 26-го опять-таки всем без исключения тут же в вагонах вкатили сразу тиф, холеру и еще что-то. Некоторые в обморок попадали, а мы с женой два дня валялись в жару с бредом, да к тому же еще и оспа распухла, о которой я забыл сказать. Ее нам, как и всем, перед отъездом привили. Ну, в общем, до станции Отпор, то есть до границы с Китаем, у всех все уже было в порядке, да это и естественно, ведь мы до этой самой границы восемь дней ехали.

Кто же эти «все без исключения», которым столько болезней сразу привили? Это, во-первых, два огромных ансамбля: Краснознаменный ансамбль песни и пляски Красной Армии и Русский народный хор имени Пятницкого; во-вторых, руководители этих ансамблей — Борис Александров и Владимир Захаров. Затем руководители всей поездки: заместитель председателя комитета по делам искусств Михаил Чулаки и писатель Николай Тихонов. Наконец, актеры: про балетную пару Галину Уланову с Юрием Кондратовым я уже сказал, за ними вторая балетная пара — Тамара Соколова и Петр Помозков; солист Большого театра, поразительный бас Максим Дормидонтович Михайлов, генор Иван Нечаев, сладчайший азербайджанский тенор Рашид Бейбутов; фокусник Дик Читашвили; скрипачи Леонид Коган и Ольга Каверзнева, пианистка Нина Емельянова; узбекская певица и танцовщица Тамара Ханум со своими бубнистами, со своим мужем, своим поваром и своей костюмершей: и, наконец, аккомпаниаторши Зайцева и Максимова. Видите, сколько людей, может, я и забыл кого. Пусть не обидятся. Давно это было. Да, вот вспомнил еще двоих. Вторая узбекская певица — Халима Насырова и украинская певица Зоя Гайдай.

Едем и не ждем никаких станций. Поезд-то только наш. Идет без расписания. Мимо больших городов проскакивает не останавливаясь, а если где и остановится то только по техническим надобностям: набрать угля, набрать воды, сменить паровоз, а то и всю паровозную бригаду.

За окном снег, снег, снег и на нем большие черные деревья. Сибирь. Долго едем вдоль свиного Байкала. Целыми часами он тянется среди безлесных берегов.

А в вагоне установился уютный семейный быт, вроде добрососедской коммунальной квартиры. Михайлов смешно рассказывает, как он был протодьяконом в храме Христа Спасителя и как неожиданно для себя самого из солиста храма божьего стал солистом хра-

ма человеческого, какие негласные состязания происходили между дьяконами на силу голоса. «От Матфея святого Евангелия чтение, вонмем». Вот это «вооонмем» должно было быть особенно мощным и круглым. А для этого, оказывается, надо есть соленые огурцы и дышать в холодную форточку.

Тихонов по-писательски здорово рассказывал о своей поездке в Индию. Знал он все ее прошлое и все настоящее, и раскрывалась в его рассказах Индия перед нами такой, какой мы ее совсем не знаем.

В промежутках между рассказами я диктую жене книгу «Моя профессия». Спешу. У меня обязательство перед издательством «Искусство». И жена печатает под мою диктовку на машинке. Она взяла ее с собой и каждый день ведет дневник нашей поездки.

Поезд стучит на стрелках, спроектированных моим отцом, все они лежали когда-то чертежами на полу его кабинета. Мы пьем чай, едим бутерброды, слушаем рассказы друг друга и поглядываем в окна, а там одно и то же — лес и лес на белом снегу, сверху тоже засыпанный снегом.

На девятый день — граница. Станция Отпор. Там, не вылезая из вагонов, ночуем, и на следующее утро, переехав границу, нас привозят уже на китайскую пограничную станцию Маньчжурия.

Вот тут-то и началось то невероятное, что длилось два месяца, останавливаясь только по ночам.

На перроне человек двести китайцев. Мало того что у всех одинаковые лица, так они еще все в одинаковых синих одеждах и что-то одинаково непонятное кричат.

Пионеры и пионерки в красных галстуках на огромной скорости бегут к нам и прицепляют на грудь каждого сверхвеликолепные шелковые цветы. Гудят не барабаны, а барабанищи, с каким-то завыванием звенят сверкающие медные тарелки, и начинается митинг. На крыше вокзала полно зрителей. На крыше вагона кинооператор.

После митинга всех нас ведут в вокзальный ресторан, усаживают в мягчайшие кресла, поят чаем и переселяют в китайский поезд с пуховыми одеялами, мягкими туфлями, цветами и фруктами. До Пекина нам в этом поезде ехать два дня, только не думайте, что просто ехать, посматривая в окошко.

В тот же день Харбин. Опять на перроне митинг. Потом в розовых и голубых костюмах танцы с лентами, под гром барабанов и воющий звон тарелок, а потом совершенно неожиданно на перрон выскакивает то ли танцор, то ли акробат и начинает делать невозможные кувырки в воздухе, держа в руке огненно-красный шар.

За ним второй такой же акробат, а за ними уж совершенно неизвестно откуда два большущих желто-зелено-красных льва со шкурой то ли из крашеного мочала, то ли из пакли, с огромными скалящимися мордами, а сзади скачут два таких же фантастических, но очень веселых озорных львенка. Не сразу понимаешь, как устроены эти сказочные животные, а потом догадываешься, что в каждом льве два акробата, а в двух львях — двое ребят. Наверное, мальчишки. Львица-мать облизывает своих отпрысков, лев-отец носится по кругу, акробаты кувыркаются, дразня львов огненными шарами, барабаны гудят, тарелки, захлебываясь, стонут, а мы визжим от восторга.

Вечером того же дня на перроне в Мукдене народу еще больше. Опять митинг и танцы с факелами, а на следующее утро снова митинг, но уже на цзяньцзинском перроне и наконец в два часа дня Пекин.

Идем по перрону сквозь коридор людей, обняв, как снопы, букеты цветов, под приветственные крики сотен людей. Непонятное чувство, похожее на стыд. Нас встречают так, будто мы герои какие-то, а ведь мы еще ничего не сделали, не спели ничего, не станцевали, не сыграли.

Выходим на площадь. Она вся залита народом. Мы на трибуне. Перед нами толпа. Впереди пионеры в красных галстуках, за ними народ в синем, бойцы Народно-освободительной армии в желтом.

Все стоящие на площади садятся на землю. Но происходит это просто удивительно. Я даже не сразу понял. Сперва садятся самые задние, за ними следующие, за ними следующие, за ними следующие. Идет волна, приближается, приближается, и вот сели те, что стояли самыми первыми. Начался митинг. Говорит Го Можо, нам его речь переводят на русский. Кончился митинг, и вот по знаку с трибуны все встают. Та же волна идет в обратном направлении. Сначала встают передние, потом следующие, следующие, и наконец вся площадь встала. Отроду не видел такой дисциплины толпы.

Нас ведут к машинам через всю площадь не по прямой, а крутыми зигзагами, чтобы как можно больше людей могли дотронуться до «старшего брата», так нас называют в Китае.

Сперва идти узким выходящим синим ущельем кажется страшно, а потом совсем не страшно, а замечательно. Прекрасно.

В гостинице чай, конфеты, шоколад, цветы, фрукты и шелковые одеяла.

Первая ночь в Пекине.

Китайский соловей

В Ленинграде в комиссионном магазине на Невском я купил маленькую французскую «золотую» клеточку. Нельзя сказать чтобы очень старинную, наверное, середины или конца XIX века. В клетке жердочка в виде буквы «Т». На середине жердочки сидит маленькая птичка с перышками колибри, золотыми, синими, зелеными. Под дном клетки ключик завода, а сбоку рычажок пуска.

Если завести ключиком завод и подвинуть рычажок — птичка начнет удивительно петь. Совсем как настоящая, да еще раскрывает клювик, машет крылышками и дергает хвостиком. Очень интересно.

Купил я эту птичку, принес домой, смотрю, слушаю и думаю, что, наверно, про такую вот птичку и написал сказку Андерсен. Будто подарили китайскому императору заводного соловья, и тогда настоящий живой соловей, певший в императорском саду, навсегда улетел от императора. Очень интересная сказка.

И вдруг здесь, в Пекине, во дворце китайского императора я понял, что это не сказка, а настоящая и очень страшная правда.

Осматриваем мы императорский дворец, приводят нас в комнаты с подарками, которые делали императору владыки иностранных государств — короли, цари, императоры, президенты, — и вижу я, что все это такие же заводные птицы, только куда шикарнее: с часами, с бьющими хрустальными фонтанами, со всякими музыками и китайскими и европейскими, вальсами да польками.

Множество мертвых соловьев машут крылышками с золотыми перышками, свистят, шебечут, а живой соловей, счастье китайского народа, улетел из Китая. Роздал император весь Китай по кусочкам иностранным владыкам, королям, императорам, царям, капиталу иностранному.

Подумать только — в городах Китая появились иностранные сеттльменты, куда вход китайцам запрещен! Мы ходили по такому сеттльменту в Шанхае.

Распродажа Китая продолжалась и при Чан Кайши.

Нам показывали довоенную карту Китая. Она вся испещрена условными обозначениями. Разноцветными косыми линиями заштрихованы сферы влияния разных иностранных государств, кружочками

отмечены иностранные септальменты и концессии тех же государств, звездочками — военно-морские базы и флажками — стоянки иностранных войск и в Пекине, и в Шанхае, и в Ханькоу, да и в других городах. Разные цвета железнодорожных линий говорят о том, что принадлежат они англичанам, французам или японцам, а аэродромы — американцам или немцам.

Ну как тут не улететь живому соловью? Кому он петь будет?

Тысячелетнее сегодня

Мне оказана большая честь, я буду гостем самого Ци Байши, знаменитого китайского художника, которому, наверное, сто лет.

Привез меня к нему переводчик, сказал, что я русский кукольник. Ци Байши долго в меня всматривался, потом улыбнулся и сказал переводчику, что вспомнил, что такое кукольник.

Я смотрю на большой квадратный стол, покрытый черным сукном. На столе фарфоровые чашечки с жидкой черной тушью, с жидкой красной тушью, с чистой водой, фарфоровые пестики, чтобы растирать тушь, и много разных кисточек — толстых и тоненьких.

Ци Байши внимательно глядит на меня, потом, по-видимому поняв мое любопытство, медленно подходит к столу, внимательно выбирает лист бумаги, проверяя его и на ощупь и на свет, кладет на сукно, берет кисть, и тут начинается что-то похожее на колдовство.

Ведет он кистью линию, и в конце получается клякса. Ну я понимаю — что с такого старого человека спрашивать? А его это нисколько не беспокоит. Стоящая рядом женщина осушила кляксу промокательной бумажкой, а Ци Байши прямо от этой кляксы ведет линию дальше и снова делает кляксу. Женщина ее снова промокает. В общем, довольно скоро выясняется, что это вовсе не кляксы, а утолщения на веточках.

Очень медленно работает художник, а картина возникает очень быстро. Веточки покрылись рыже-красными листьями и колючими шариками семян, а под веточками возникли три живых серых краба с прямо-таки шевелящимися лапками и толстыми клешнями.

Тоненькой кисточкой, той самой, которой Ци Байши обозначил коготки крабьих лапок, он иероглифами пишет мне посвящение и, внимательно выбрав место, прикладывает свою красную печать.

Эта рожденная на моих глазах драгоценность висит сейчас у меня в комнате около аквариума, с которым удивительно перекликается правда живого.

Традиционное искусство китайского театра. До того как я попал в Китай, мне казалось, что я его знаю. Ничего я о нем не знал, как не знают его большинство европейцев. Не знают потому, что для того, чтобы знать, надо сперва самым внимательным образом изучить его язык, его законы, его, так сказать, иероглифы. На одной ступеньке все это поместиться не может. Нужна целая лестница. И если кому-нибудь из моих читателей покажется это интересным, пусть он достанет в библиотеке мою книжку «Театр китайского народа»: там я постарался рассказать все, что узнал у организатора наших гастролей У Сюэ. Чуть ли не каждую ночь в течение двух месяцев он рассказывал мне о законах пекинской и шанхайской музыкальной драмы, которую европейцы абсолютно неправильно называют оперой.

Удивительны законы, в силу которых на сцене изображается и течение времени, и одновременность разных событий, и несуществующие лошади, и несуществующие лодки.

Самое удивительное, что любой китайский крестьянин знает все эти законы, и наслаждение, которое он получает от тысячелетней

традиции театра, не снобистское, совсем не похожее на наше увлечение всяческими ретро.

Я пересмотрел десятки представлений классического китайского театра, восхищаясь и красотой костюмов, и невероятным, буквально акробатическим мастерством актеров, а знаменитейший из них, Мэй Лань Фан, написал предисловие к переведенной на китайский язык и изданной в Пекине моей книге о китайском театре.

Актеры Пекинского музыкального театра, а потом и Шанхайского гастролировали в Москве и приходили к нам домой, пели до утра, а мы заказали для них в ресторане «Пекин» их национальную еду, и они ели палочками «серебрянные уши», плавники акулы и рассыпчатый китайский рис. Какие они красивые, какие скромные, какие веселые, какие милые!

Жаль только, что У Сюэ и Чжао Гоин не было с ними. Ну что ж поделаешь...

Пять тысяч лет и три года

В месяце тридцать дней. Это много или мало? Неизвестно, смотря по тому, каких дней, длинных или коротких.

В каждом дне двадцать четыре часа, только не часами длина человеческого дня меряется. Бывает, что уже и вечер наступил, а вспомнить день нечем. То ли был он, то ли нет. А бывает, оглянешься вечером на прошедший день и думаешь: неужели это все сегодня было? Огромный день.

И уж совсем удивительно, когда целых два месяца огромными днями заполнены. Нанизаны они, как шестьдесят бус на одну нитку. Считайте города: Пекин, Шанхай, Мукден, Кантон, Ченду, Чунцин, Ханчжоу, Тяньшуй, Ланьчжоу, Нанкин, Харбин, Цзяньцунь, Ханькоу. Боюсь, не забыл ли я еще какой-нибудь город, а может и два.

На самолетах, поездах, автомобилях переезжаем из города в город. В течение нескольких дней, а иногда и часов меняем осень на зиму, а зиму на лето. 7 декабря в Пекине кутаемся в шубы, а 9-го ходим в одних костюмах по солнечной набережной Кантона и купаемся в бассейне под открытым небом.

И ведь не просто прогуливаемся по этим городам, а в каждом даем концерты, встречаемся с рабочими, крестьянами, учителями, школьниками, актерами; смотрим спектакли, ходим в музеи, на заводы, фабрики.

Огромность наших дней определялась прежде всего тем, что Китай раскрывался перед нами сразу двумя своими сторонами. Самой древней и самой молодой.

Древнее Китая нет на земле государств. Его сверстники Ассирия, Вавилон, Карфаген давно переселились в учебники истории. Больше пяти тысяч лет Китаю, и древность его живет в пагодах, песнях, легендах, зрелищах. Каждый день, каждый час мы встречаемся с пятитысячелетним Китаем и каждый день, каждый час встречаемся мы с новым Китаем, самым молодым государством на земном шаре. Ему всего три года. Невероятных три года.

Поезд идет, пробираясь между блюдцами маленьких озер. Каждое выше другого. Из блюда в блюде переливаются маленькие водопадки. Это рисовые поля. Я не отрываясь смотрю в окно. Черный буйвол тянет соху, а за сохой по колено в холодной осенней воде идет крестьянин. Распахивает вязкое дно, как сотни, тысячи лет распахивали этот же кусочек земли его предки. Все это старый Китай. И черный буйвол, и деревянная соха, и рисовые поля.

Но это и новый Китай. Поле-то теперь не помещичье, а свое. За него не надо отдавать пятьдесят, шестьдесят, а то и восемьдесят процентов урожая. И буйвол не помещичий, а собственный. И соха пусть деревянная, да не помещичья. Вот так на одном кусочке рисового поля встретились два Китая.

Дождь. Я в плаще иду по деревне. И фотоаппарат мой под плащ спрятан. Дождь. Навстречу идет крестьянин тоже в плаще, только в особенном — из длинной соломы. Сотни, тысячи лет в таких плащах ходят китайские крестьяне.

Мой переводчик смеется: «Сергей Владимирович, вы не на то удивляетесь. Посмотрите на ноги. На ноги посмотрите! Они в башмаках, вот этого три года назад не могло быть. Босиком бы шел этот крестьянин под дождем. Впервые за пять тысяч лет у крестьянина ноги в теплых башмаках. Вот это и есть новый Китай».

В деревенской лавочке я покупаю мешочек орешков. Продащица — красивая маленькая женщина. Таких у нас называют девушками. В заспинном мешке у нее ребенок. Зовут ребенка Сюэ Шань, что в переводе значит Снежная Гора. Девочка. Три года назад рождение девочки считалось несчастьем — а сейчас? Я спрашиваю маму, рада ли она, что у нее девочка. Та через плечо скашивает глаза на Снежную Гору и так улыбается, что вопрос кажется просто нелепым. Это и есть новый Китай. Отец Сюэ Шань не продаст ее за долги в рабство помещику, а ведь во время аграрной реформы только у одного помещика были освобождены от рабства семьдесят женщин-рабынь.

Через мутную широкую полноводную реку плывет плот. Я такой впервые вижу. Он держится на надутых свиных бурдюках, а по реке движутся сотни рыбацких лодок. Наверное, очень много рыбы в этой реке. Видно, как рыбаки закидывают круглые сети и вытаскивают больших скользких рыб.

Только это не просто лодки, это лодки-жилища. На набережных Кантона и Шанхая в устьях Жемчужной и Янцзы тысячи таких лодок. В них живут рыбаки, и перевозчики, и портовые грузчики. Они родились в этих лодках, как родились и умерли в них их отцы, и деды, и прадеды.

Около лодок вбиты шесты. На шестах — плетеные клетки для кур. По утрам поют, перекликаясь, петухи; по вечерам над лодками дымок. Варится ужин. Старый Китай. Сотни, тысячи лет так живут люди, которым в буквальном смысле слова не нашлось места на земле.

Только это и новый Китай. Лодки-то теперь принадлежат рыбакам, а не помещикам, за них не надо платить арендную плату или проценты с улова. И за право вбить колышек у берега не надо ничего платить. И сети свои, а не арендованные.

Это новый Китай, вернее, широко открытая дверь в новый Китай, потому что уже много домов построено на берегу и много рыбацких семейств под звуки веселого оркестра переехали в эти дома и поселились на земле, которая сотни лет была для них только берегом.

Вечером в Цзинани неожиданно появился многометровый дракон. На длинных бамбуковых палках его несли одиннадцать человек. Внутри полупрозрачного змеиного тела горели свечи, а в огромной пасти красный светящийся шар.

Что это такое? Откуда? У Сюэ объясняет: «Когда долго нет дождя, когда засуха, в деревнях выходили с такими драконами заклинать бога дождя. Этой полуигре-полумолитве от роду тысячи лет. Ну а сейчас он почему появился? А сейчас это агитбригада. Агитирует за правила уличного движения».

В Мукдене такой дракон появился среди бела дня на площади прямо перед окнами нашей гостиницы. Естественно, я выскочил на улицу. Дракон извивался, свертывался в кольца, сжимался, стелился по земле, вытягивался вертикальной спиралью, поворачивая пасть

с красным шаром в зубах. У Сюэ спросил: «Вам нравится?» Я сказал: «Еще бы». «Тогда он ваш. Город Мукден вам его дарит».

Если кто-нибудь из читателей придет в Центральный театр кукол на Садовую-Самотечную, он увидит этого дракона. Мы прикрепили его вдоль входа в наш музей со стороны зимнего сада.

Такие же люди

В первый же приезд в Лондон в пятьдесят третьем году меня попросили выступить с моими куклами по телевидению. Я показал «Колыбельную» Мусоргского, романс «Мы только знакомы» с двумя болонками и «Хабанеру».

«Колыбельную» я пою перед ширмой с куклой Тяпой на руке. Это песенка из «Детского альбома» Мусоргского, которая так и называется «С куклой». Песенка наивная, трогательная. Мой Тяпа смешной, непослушный, лезет мне в рот своей ручкой, мешает петь, сосет пустышку, смотрит в зрительный зал и в конце концов засыпает, а я осторожно уношу его за ширму.

Сами понимаете, что никакой «политической декларации» в этом номере нет. «Колыбельная» и «Колыбельная». Нормальное поведение и отца и ребенка, безусловно любящих друг друга, а в то же время в чужой стране мой Тяпа работает как пропагандист общечеловеческого добра.

Редакция лондонского телевидения получила письмо от одной англичанки. Ей очень понравилась моя «Колыбельная», и она написала: «Оказывается, русские такие же люди, как мы».

И ведь это во всех странах, в которых выступил мой Тяпа, во всех сорока странах так. Трогательно-радостный прием. Вот и разберись теперь, что же такое советская пропаганда. Мусоргский-то со своим Тяпой получается пропагандист, самый настоящий пропагандист дружбы между народами.

А две шотландские девочки сестры Кокшот — одной, наверное, лет шесть, другой восемь или девять — тоже прислали письмо в редакцию Би-би-си с просьбой передать его мне. Пишут, что им очень понравились мои собачки, и посылают мне фотографию своей собаки.

Ну, естественно, что я из Москвы послал им фотографию нашей собаки. Очень тогда у нас была красивая рыжая сучонка — пудель Кора. Золотая медалистка. Девочки ответили, и завязалась веселая переписка.

Через несколько лет у меня был концерт недалеко от того шотландского городка, в котором жили девочки.

На улице ливень. В антракте в зал вбежали две длинные девицы. Одной лет одиннадцать-двенадцать, другой — тринадцать-четырнадцать. Промокшие, смешные. Кинулись ко мне и к жене. Обнимают, целуют, хохочут. Зрители, наверное, подумали — наши родственницы. А мы их в первый раз в жизни видим.

Просто они такие же люди, как мы.

Со священником по Англии

«Когда поезд придет в Манчестер?» Это я спрашиваю у контролера, который пробивает компостером наши билеты. «Простите, сэр, я не могу сказать, когда поезд придет в Манчестер, я могу сказать только, когда он должен прийти». Типичный английский юмор. Я очень люблю его.

Носильщик уронил мой чемодан с куклами. Я сказал: «Что было бы, если бы там была посуда?» Носильщик вежливо возразил: «Простите, сэр, вы должны были бы сказать: «Чего бы там не было, если бы там была посуда?»

Мы с женой сидим в купе и смотрим в окно на Англию. С нами в том же купе настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон. Англичане называют его красный дин.

Нас командировал в Англию Всесоюзный комитет защиты мира. Я член этого комитета. Выступаем на собраниях, организованных комитетом. В первом отделении антивоенную проповедь произносит Джонсон. Во втором говорю я и в заключение показываю кукол. Проповеди Джонсона и мои куклы имеют разный, но равный успех.

Через час Манчестер. Пьем чай. Мы с женой с лимоном. Хьюлетт по-английски — с молоком.

Разговорились. Естественно, на религиозные темы. Я говорю, что в Индии верят в переселение душ и душа умершего человека может стать душой животного. Джонсон говорит: «Да-да, конечно. Когда в моем саду после дождя на дорожку выползает червяк, я его несущу в грядку и говорю: „Бедный Гитлер“...»

Это тот же английский юмор. Хьюлетт — священник и, как христианин, обязан любить даже червяка, но Гитлера он ненавидит, поэтому в этого червяка переселил его душу.

Мы смеемся и допиваем чай. Замечательный английский липтонский. Скоро Манчестер. Поезд придет туда как раз тогда, когда должен прийти.

Романтический детектив

В Хельсинки заседания Бюро Всемирного Комитета защиты мира. Я не член Бюро, но член Всесоюзного комитета, и меня, как и многих таких же, как я, из разных стран мира, пригласили на эти заседания.

Это почетно и очень интересно. Но немножко стыдно, потому что своим пребыванием я на ход заседаний никакого влияния не оказываю. Голосую, конечно, как и все. Но и только.

А по природе своей я человек деятельный и поэтому с завистью смотрю на действительно активную, бурную и результативную деятельность на этом Бюро Эренбурга, Тихонова, Корнейчука и немки Блюм.

Подружился я с замечательным человеком — Назымом Хикметом, — иногда бродим с ним по улицам. Да только долго-то не побродишь. Мороз тридцать градусов, настоящий рождественский. Рождество на носу. В магазинных витринах оно уже наступило.

И вдруг всю тоску по бурной деятельности как метлой вымело. Наоборот, приходится защищаться. Меня просят лететь в Рим, чтобы от имени Всемирного Комитета защиты мира приветствовать Всеитальянский конгресс.

Почему меня, более чем рядового борца за мир? Эренбург говорит, что не может, потому что у него меховая шуба, а она в Риме на смех. Тихонов — потому что ему приснилось, как упал самолет. Правда, он в приметы не верит, но все-таки... Да, кроме того, он сам разваливается. А Корнейчук не может, потому что он член ЦК и там решат, что он везет инструкции. Одним словом, в результате такого просеивания на поверхности сита остался беспартийный Образцов. Итальянцы, социалисты Корона и Ломбарди, прибежали упрашивать.

Ладно, поезду, но нужен переводчик. Я ведь только по-английски, и то очень плохо. «Хорошо, дадим вам Катю». Катя молоденькая, опасно хорошенькая, и явно у нее какая-то личная заинтересованность в этой поездке. Кавалер у нее там. Тут сомнения нет.

Заполнила Катя анкету и не поехала. Оказывается, она знает только французский, а итальянского не знает. Значит, без Кати. Без языка. И на моем попечении еще двое — кутающаяся от холода в прозрачное сари индуска Омия, так быстро говорящая по-английски, что понять ее нет никакой возможности, и бразильский врач Кондор, пло-

хо говорящий по-английски, что меня вполне устраивает. Хорошо говорящих англичан, а тем более американцев, русскому уху понять невозможно, а плохо говорящих по-английски испанцев или немцев в конце концов понимаешь.

Но что же это получается? Я человек избалованный, привык, чтобы меня возили, сажали в самолет, доставали номер в гостинице, заказывали билеты, а тут все это должен делать сам. Да не только для себя, а еще двоих везти. Вот где позавидуешь нашему заместителю директора Науму Борисовичу Левинсону. Он прямо гений в таких делах.

Ну пока все ничего. Привезли нас в аэропорт, посадили в самолет. Только что не перекрестили.

Полетели. Хельсинки — Копенгаген. Там тепло. Даже пальто сняли. В аэропорту насмотрелись на всякий фарфор. Слушали объявления. На немецком, французском и английском. По сумме слагаемых поняли наконец, что это наш самолет Копенгаген — Цюрих.

Сели. Звезда экрана в виде стюардессы отвела нас троих в первый класс, воткнула перед каждым столик и накормила сказочным обедом — драй мартини, аперитив, закуски, сверхмягкий, сверхтолстый, сверхсочный бифштекс, белое вино, джин, сыр, коньяк, фрукты, мороженое, кофе.

Прилетели в Цюрих. Налюбовались на всякие часы — и браслетные, и кукушки, и настольные, — но тут нам объявили, что через Ниццу мы лететь не можем, а полетим с посадкой в Женеве. Ну что поделаешь! Слава богу, хоть моя Омия не очень в своем сари мерзнет. Коричневая она — не ясно, посинела или нет, но не дрожит. Улыбается. Смешно говорит: «Оль райт».

Долго сидели в Женеве и когда прилетели в Рим, то оказалось, во-первых, куда позднее, чем надо, а во-вторых, не в том аэропорту. Никто не встречает. Пассажиры все итальянцы, иностранцев только трое: бразилец, Омия в сари и я.

Посадили в автобус. Привезли в город. Какой-то базар. Ночь. Торгуют чесноком и петрушкой. Над прилавками висят лампочки. Контора. Телефон. Куда звонить? Комитет мира? Какой Комитет мира? В телефонной книжке нет такого комитета. «Амбасада советика». — «Амбасада советика?» — «Амбасада советика». — «А-а-а... Амбасада руса?» Ну, руса так руса. «Си, си, синьор». Соединили. «Товарищ Образцов? Это вы? Уже поехали вас встречать?»

Приехали. Погузил бразильца с индуской, сел сам. Все в порядке. Ну чем не Левинсон? Привезли в амбасаду русу. Приемная, обитая красным штофом, еще, наверное, при Александре III. На всех столах и диванах инвентарные номерки.

Из Комитета мира за нами приехал Буфо — молодой, приятный, кое-как говорит по-английски. «Катя уиз ю?» (Катя с вами?) А-а-а, вот к кому стремилась Катя. Ну что ж, она права. Жаль, конечно, что не с нами.

Повез нас в гостиницу. Для синьоры Омии забронирован номер и для синьора Образцова тоже, а для синьора Кондора почему-то нет. Ну что же, «синьор Кондор, кам уиз ми» (идем со мной). Стеют нам две постели. Светает, но мы ложимся досыпать ночь.

Отель на площади. Против отеля ратуша с часами и каждые четверть часа тяжелые удары колокола, причем сперва отсчитывается, сколько прошло часов — ну, положим, шесть, значит, шесть толстых ударов, — а потом три более высоких, это значит без четверти семь. И так каждые пятнадцать минут. Трудно заснуть. Я спрашиваю Кондора: «Уот из ит?» (что это?). Он отвечает: «Ром, сэр». То есть «это Рим». Все-таки заснули.

Назавтра митинг на площади. Я выступаю. Меня очень хорошо и очень быстро переводит итальянский коммунист. Каждую фразу мгновенно. Говорю я, конечно, без бумажки. Жарко. Продолжая го-

ворить, снимаю пиджак и за это почему-то получаю аплодисменты всей площади. Ухожу прямо-таки с большим успехом. Хлопают, хлопают. Я рад. Не подвел Илью Григорьевича. Он для меня непререкаемый учитель, недостижимый пример.

Завтра можно возвращаться.

Не тут-то было. Завтра нашего самолета нет. Есть послезавтра, да и то не наверняка. Предсказывают нелетную погоду. Ну что ж, буду смотреть Рим. Может, никогда больше не придется. Буфо обещал поводить по Риму.

Шесть дней никакой самолет не летит. Шесть дней хожу по Риму под дождем и один и с Буфо. Вот уж повезло так повезло! Столько всего за эти шесть дней видел, что и представить себе невозможно. И собор святого Петра, и набережные Тибра, который совсем не Тибр, а Тебере. И траттории, в которых едят совсем не макароны, а длиннющие спагетти и фрутти ди маре, всякую морскую очень вкусную нечисть. И ватиканский музей, и невероятный потолок Сикстинской капеллы, заполненный таким адским темпераментом, что непонятно, как он мог вмещаться в одном человеке. И фонтаны, римские фонтаны. И знаменитую площадь Испании. Как у меня хватило ног и сердца на все это, до сих пор не понимаю, тем более что я еще и по ночам бродил.

Это особые ощущения, когда ночью остаешься наедине с многовековым Римом. Только ты, Рим и кошки. Много кошек. И неизвестно, какой век.

В Колизее тоже кошки. Если вдруг ночью окажетесь в Колизее — захватите карманный фонарик. Пройдите сквозь арку внутрь, наклонитесь над одним из тех проходов, по которым выпускали львов. Зажгите фонарик и направьте его свет вниз, в львиный проход, и там загорятся, забегают огоньки парами, парами. Много огоньков. Это кошки. Римские кошки.

Напоследок Буфо сказал: «А теперь я покажу вам улицу, на которой не бывают туристы». Мы отправились на окраину. Акведук. Водопровод, «сработанный еще рабами Рима». Стена сплошных арок. Они забраны фанерками, картоном, железом. Там живут бездомные люди.

Мать готовит на маленьком костре детям обед. Очень сердито оглянулась на нас, вышридилась, позвала детей. Двое. Мальчик и девочка. Они весело прибежали и уселись обедать.

Наконец-то улетел. В Цюрихе пересадка. Сажу жду. Опять на трех языках что-то говорят. Называют номер моего самолета, а в чем дело, ничего не понятно. Иду в информейшн (справочная). И опять-таки ни на каком языке ничего не понимаю. Нет, я не Левинсон. Тот хоть по-немецки что-то соображает. «Ничего не понимаю». Эти слова произношу сам себе по-русски просто от отчаяния. Какой-то рядом стоящий полноватый господин с кольцом и сигарой говорит: «Вы русский?» — «Да». — «Куда вы летите?» — «В Москву». — «Вы советский?» — «Да». — «Разрешите вам помочь?» — «Пожалуйста». — «Давайте познакомимся. Румштейн Борис Самойлович, австрийский коммерсант, по происхождению русский из Херсона. Живу в Вене. Ваш самолет дальше не полетит из-за погоды. Аэрокомпания предлагает либо отправиться в отель и ждать изменения погоды, но это по прогнозу может быть несколько дней, либо вас могут поездом доставить в Вену. Оттуда, возможно, будет легче вылететь. Рекомендую соглашаться на поезд. Дайте телеграмму в посольство, вас встретят».

Я поблагодарил и телеграфировал в посольство. Борис Самойлович оказался предельно любезным. Повел меня в кино, потом в кафе. Не позволил платить. Помог сесть в поезд. Показал, какие замечательные игрушки он везет в подарок детям. Ведь сейчас рождество.

Утром подъезжаем к Вене. Подъезжать-то подъезжаем, да что-то стоим. Сломался паровоз. Уж что у него там сломалось, не знаю, а

только стоим и час и два. Борис Самойлович бегал смотреть. Прибежал, говорит — скоро поедем.

Приехали. Естественно, что никто не встретил. Борис Самойлович нанял мне такси и предупредил: «Только не говорите, что вы советский, а то, если попадетя бывший ваш пленный, может откататься везти».

Так и есть, попался, а как же ему не догадаться, кто я, когда прощались мы по-русски и везет он меня не куда-нибудь, а в советское посольство. Но только, оказывается, ему очень понравилось в плену. Он где-то в Крыму что-то строил. Говорит (по-русски говорит), что кормили хорошо.

Прибыл я в посольство. Поместили меня в чью-то квартиру, сразу повезли обедать на какую-то гору по канатной дороге в подвесном вагончике — есть венский шницель. И сказали, что завтра вместе со своим сотрудником отправят через границу в Прагу, а оттуда я уже сумею улететь самолетом. Там аэродром открыт.

Назавтра сели мы с товарищем в автомобиль, подъехали к границе. Съели в пограничном ресторанчике венский шницель, взяли чемоданчики и в сопровождении часового перешли границу. Там выпили чешского пива, сели в чешскую машину и отправились в Прагу.

Из отеля на Вацлавской Намести я поговорил по телефону с женой и на следующее утро вылетел в Москву.

Непонятно даже, было ли все то, что было.

Предисловие к следующей ступеньке

Получилось так, что я не написал о нескольких ступеньках моей памяти. Мне они показались не такими уж интересными, а сейчас, когда собрался писать следующую, понял, что без пропущенных обойтись нельзя. И хоть и разорваны они друг от друга многими годами, получится у меня целая лесенка. Первую-то ступеньку этой лесенки вы уже знаете. Она называлась «Синематограф», и рассказал я в ней о том, как мы с папой впервые были в синематографе и видели картину Люмьера «Прибытие поезда». Это казалось тогда чудом не только нам, а и всем, впервые увидевшим движущуюся фотографию.

Лет через пять пошли мы с папой в зоологический сад. Там на полянке стоял железнодорожный вагон. Около вагона — столб с колоколом. Точно такой, как на станции Расторгуево. На этой станции перед приходом поезда на платформу выходил мужик в фуражке и бил в колокол, чтобы пассажиры приготовились. Поезд-то стоял минуты две.

Вот и тут тоже такой же бородач в фуражке звонил в колокол. Первый звонок. Надо покупать в кассе билеты. Прямо как настоящие железнодорожные. Второй звонок — лезьте в вагон. Гимназисты, реалисты, кадеты, мамы, папы с малышами. И просто мужчины да женщины без всяких детей. Всем интересно. Третий звонок. Поехали.

Поперек вагона лавочки. Впереди белая простыня. Тогда я слово «экран» не знал, а может, его и не было еще.

Третий звонок. Вагон начал трястись, будто под ним колеса и он едет. Гудок паровоза — и на простыне бегут мимо нас поля, горы, озера, мосты. Иногда даже паровоз виден. Это значит, что наш поезд заворачивает. Из паровоза дым, из-под колес пар. И называлось все это «Швейцария». Здорово. Будто мы и впрямь на поезде ехали.

А потом совсем интересно получилось. Баба Капа разрешила в своей усадьбе снимать фильму. Я уже, кажется, говорил, что тогда «фильм» был женского рода. Из Бабы Капиного окна высунулась

женщина в ночной рубашке прямо над кустом жасмина рядом с балконом, под которым, как вы помните, я прятался. Стала размахивать голыми руками и кричать. А в клумбе перед балконом стоял человек, крутил ручку какого-то аппарата и еще громче кричал: «Хорошо, хорошо, очень хорошо!» Не помню, как называлась эта фильма. Какое-то «гнездо». Кажется, «орлиное».

Когда мы переехали жить в Сокольники, там в бывшем магазине рядом с посудной лавкой открылся синематограф «Америка». Я дружил с сыном хозяина этой «Америки», и он меня провел посмотреть картину «Свадьба». Она была «звуковая». Хитро придумано. Сзади простыни были актеры, которые старались совпадать с движениями гостей на этой простыне, топали ногами, хлопали в ладоши и пели. Всем очень нравилось.

Но «Америка» не выдержала конкуренции с другими, уже специально построенными синематографами. Прямо-таки рядом. На углу Ивановской — «Русь», на углу Гаврикова — «Наполеон», а чуть ли не напротив несчастной «Америки» — «Тиволи».

Тут уж проникновение синематографа в наши ребячьи сердца началось полное. Нас перестала удивлять «движущаяся фотография». Мы к этому привыкли. А вот сам сюжет, само содержание кинокартины волновало и восхищало чрезвычайно.

Ну, конечно, всякие там Максимовы да Веры Холодные нас, мальчишек, не касались. Это девчонки ревели на «Молчи, грусть, молчи», а вот разные Наты Пинкертоны да Дики Картеры, идущие из серии в серию, это да! Дух захватывает — и сыщики невозможно хитрые, да и бандиты замечательные. За одним гнались, а он в коридоре уперся руками и ногами в стенки и стал по очереди переставлять их все выше и выше. Вроде как мост получился. Сыщики, ничего не заметив, так под этим мостом и пробежали, а бандит спрыгнул и назад. Ну здорово!

Каждая серия так кончалась, что неизвестно кто кого. Вот и ждешь следующую серию, дожидаться не можешь. Куда интереснее, чем в каком-нибудь там театре.

А Мацист? Он сперва в картине «Кабирия» был рабом. Негр он. А потом целая картина так и называлась — «Мацист». Знаете, какие у него были бицепсы? Он прутья тюремной решетки запросто разогнул.

Так ведь не я один все эти картины смотрел, а разные мальчишки моего поколения в разных городах, в разных синематографах. Кто помоложе, кто постарше. Такие же, как я, никому не известные Эйзенштейны, Козинцевы, Александровы, Довженки, братья Васильевы (которые совсем не братья).

Смотрели, смотрели кто в той же Москве, кто в Киеве, кто в Петербурге, кто в Риге — кто где. Выросли и стали сами делать синематограф. И, несмотря на то, что собирались-то быть инженерами, художниками, физиками, создали такие кинокартины, как «Броненосец «Потемкин», «Чапаев», «Цирк», «Трилогия о Максиме», «Земля», — перечислять все не буду, вы и без меня их знаете. Это ведь целая страница в истории мировой кинематографии. Да еще какая!

А я? Я был только зрителем этих картин и никакого отношения к искусству киноэкрана не имел, пока не случилось неожиданное.

Внутри кинематографа

Написал я маленькую книжечку «О том, что я увидел, узнал и понял во время двух поездок в Лондон». Только она вышла из печати, как в Лондон приехала наша правительственная делегация, а с ней группа кинооператоров, чтобы снять приезд этой делегации и заодно жизнь Лондона. Захватили они с собой мою книжечку, и она

послужила им как бы сценарием. Привезли все снятое в Москву в Студию документальных фильмов, и директор студии позвонил мне, не соглашусь ли я написать закадровый текст к кинокартине «В Лондоне». Предложение как с неба свалилось.

Я пришел, посмотрел тысячи метров отснятой пленки, и так мне все понравилось, что захотелось не только сочинять этот самый текст, но и самому его говорить. Да и монтировать фильм самому, хоть я и представления не имел, как этот монтаж и закадровое озвучивание происходит. Но уж очень захотелось. И я прямо как в омут бухнулся.

И не только в том вопрос, что я из нормального кинозрителя становлюсь киноделателем, в самую, так сказать, «внутри» кинематографа влезаю, а еще и в другом не менее важном.

Я-то привык, работая в кукольном театре, иметь дело с изображением, да еще изображением метафорическим, а тут какое же изображение? Нет его. Есть показ, а не изображение. Показ факта. И образ возникает от встречи внеобразных документальных фактов. Целое открытие для меня.

Киношники-документалисты это давно знают, а я-то узнал впервые.

Стал смотреть всё. Даже весь отбракованный материал. И нашел там удивительные кадры. Драгоценные. Какой-то лондонский мальчишка, как все мальчишки, посмотрел прямо в аппарат. Кадр этот отбраковали, а для меня оказался он кладом. Ведь мальчишка этот подтверждает факт съемки. Документирует его правду.

А некоторые кадры пришлось самому отбраковать — слишком эффектно снято, с каким-то нарочитым ракурсом. Уничтожает правду факта. Художественная фотография — куда она годится, если хочешь говорить правду.

Удивителен, опять-таки для меня как новичка, оказался монтаж контрастных документов. Неожиданно высекается образ.

Вот кусочек такого монтажа с моим текстом.

(По берегу пруда бегают дети.)

«Они веселы, эти ребята. Ведь небо для них — это только солнце, радуга и облака. Они знают, что с неба падает дождь».

(Скелеты разбитых войной домов — общий план.)

«Они не видели, как взрывались и горели вот эти дома, руины которых до сих пор стоят в Лондоне».

(Девочка катается на роликах.)

«И эта вот бегущая на роликах девочка».

(Панорама на мальчика.)

«И этот мальчик, что идет сейчас по тому самому месту, где стоял дом. Они совсем не думают о том, сколько матерей и таких же, как они, детей здесь погибло. Они счастливы, эти дети».

Каждое утро я бежал в Студию документальных фильмов, благо что близко (минут десять ходу, а бегу-то и того меньше). Садился за трескучую мавиолу (монтажных столов тогда не было), и каждый день происходили для меня открытия внутри кинематографа.

Естественно, что, монтируя отдельные эпизоды, я уже думал о тексте, который будет звучать за кадром. Думать было нетрудно и написать легко (ведь я перед этим целую книжку написал), но оказалось, что, когда я начинаю читать мною же написанный текст, получается очень фальшиво. Почему бы это?

Да потому что когда актер, играющий Яго (ну, предположим, это буду я), старается найти наиболее верную, наиболее правдивую интонацию, он ищет интонацию Яго, а не свою и, значит, не врет, а играет. А вот если я, заранее сочинив текст, потом ищу наиболее естественную интонацию, то неизбежно начну врать, играя свою искренность, играя самого себя.

Если молодой человек заранее выучит объяснение в любви и произнесет его девушке, она замуж за него не выйдет. Уж лучше бы он все нескладно, путаясь, говорил. Играть кого-то можно. Играть самого себя нельзя. Все будет фальшиво. Как часто мы с вами смотрим и слушаем по телевизору интервью какого-нибудь деятеля и понимаем, что якобы слушающий знал вопрос заранее, а якобы удивившийся ответу заранее знал этот ответ. Врут они. Потому что играют самих себя.

Я перестал писать текст. Склеивал кольцо эпизода (метров тридцать — сорок) и, глядя на экран, просто говорил. Конечно, делал дубли для гарантии, но дублировались не слова, а только смысл. Слова были почти всегда разные.

И вот тут-то выяснилось с какой-то неожиданной очевидностью, что глаз сильнее уха. И если я вижу одно, а говорю другое, то зритель слышать-то будет, но только слышать, а не понимать. Это опять-таки телевизор нам иногда наглядно демонстрирует.

Показывается первомайский парад на Красной площади. Идут районы, заводы, фабрики, тысячи, тысячи людей и молодых, и старых, и мужчин, и женщин. Счастливых, веселых, красивых. Конечно, заранее известно, какой район, какой завод идет за каким. По радио звучит оптимистический баритон диктора, говорящего о трудовых достижениях каждого района, каждой фабрики, каждого завода. А операторы снимают и снимают идущих людей.

И мы видим и слышим. Идет красивый парень. Курчавый, голубоглазый, несет на плече девчонку. Очень на отца похожа — тоже курчавая, тоже голубоглазая и тоже счастливая. Смеется. А как же не смеяться? Держит в руке веревочку с зеленым воздушным шариком. От папиных шагов да от ветра он мотается и все время ее по носу да по носу — очень смешно и весело. Молодец оператор — хорошо снял. А в это время дикторский баритон говорит: «Идет завод «Калибр». На целых двенадцать процентов он перевыполнил производственный план». Телезрители, конечно, слышат, да глаз перебил ухо. Девчонка и шарик — вот что они поняли, вот чему обрадовались, а не двенадцати процентам.

Озвучивая картину, я все время вспоминал этот телевизионный дуэт, и контрапункт текста и зрелища стал основной моей трудностью и основной радостью.

Ну и наконец самое важное. Сюжет картины ясен. Жизнь Лондона. А тема? Сюжет и тема не одно и то же.

Вы читали ступеньку, которая называлась «Такие же люди»? Это серьезная тема. Много стран я объехал, и почти в каждой меня спрашивали: какой народ больше понравился, кто лучше — англичане или французы, финны или испанцы? И всегда я отвечал: нет народов лучше или хуже. Правительства действительно бывают разные. И хорошие, и так себе, и совсем плохие. А люди — люди во всех странах такие же. Нет плохих национальностей, нет талантливых и бездарных народов, нет умных и глупых народов. Если кто-то думает иначе, значит, он расист. И когда я писал книжку о Лондоне, это, по существу, и было ее темой.

Мне повезло. У меня была замечательная переводчица Анна Максимовна Бар. И мать и отец ее русские евреи, давным-давно эмигрировавшие в Англию. Там она и родилась. Когда ей было одиннадцать месяцев, сидела на коленях у Ленина. Он тогда жил в Лондоне. Анна Максимовна любит Россию, хорошо говорит по-русски, но она и Англию любит. Все-таки она англичанка.

Это она мне Англию показывала, это она меня с людьми знакомила. И мной гордилась и своей страной гордилась. Не было бы Анны Максимовны, разве я столько бы узнал?

Книжка моя в переводе на английский вышла в Англии, и в рецензии на нее была смешная фраза: «Красный Сергей находит нас хо-

рошими». Но, конечно, в стиле жизни, обычаях, традициях Англия от нас отличается хотя бы потому, что это страна капиталистическая.

И все это картина показывает, и обо всем этом я рассказываю. И о деловом районе Сити, из которого вечером уходит больше миллиона человек, потому что это клерки оффисов. И о торговом районе Вест-Энд с роскошью магазинов и сверканьем реклам. И о биржевых маклерах, для которых действительно время — деньги, и о ежедневной церемонии смены караула у Букингемского дворца. Но всегда говорю прежде всего о людях.

Вот несколько фраз, которые я цитирую по так называемому монтажному листу. Я не писал эти фразы, я говорил их, глядя в экран:

«Ну а это уж никак нельзя назвать фешенебельным местом торговли. И богатых покупателей вряд ли здесь можно встретить. Это большой рынок в Ист-Энде Петтикоут лейн. Лейн — это значит переулок, а Петтикоут — нижняя юбка. Англичане шутя говорили мне, что рынок этот, помимо товаров, славится ворами и что они здесь такие ловкие, что, когда женщина с рынка уходит, ей уже предлагают купить ее же собственную нижнюю юбку, в которой она на этот рынок пришла»;

«А теперь посмотрите поближе на рабочих Лондона. Сейчас это легко сделать. У них небольшой перерыв, и они пьют свой кофе или чай в маленьких рабочих кафе. Вглядитесь в лица этих людей и запомните их. Среди них много, очень много настоящих наших друзей. Они доказали эту дружбу на деле. Ведь это лондонские рабочие в трудные годы рождения нашего государства сказали тем, кто хотел погубить молодую Советскую республику: «Руки прочь от России!» С их отцами и дедами встречался и со многими дружил Владимир Ильич Ленин, с их дедами и прадедами встречался и тоже с очень многими дружил Маркс»;

«Это памятник на его могиле»;

«Это хранящееся в библиотеке первое издание «Капитала» с пометками Энгельса на полях»;

«А за этим вот столом, сидя на этом стуле, Владимир Ильич Ленин в 1902 году редактировал газету „Искра“»;

«Это луга Шотландии. И сюда приехали наши операторы, чтобы около маленького города Эйр найти старый крестьянский дом. В этом доме двести лет назад родился великий поэт Шотландии Роберт Бёрнс»;

«Этого окна не было во времена Бёрнса. Тогда на окна был налог, и только две узенькие щелки мог сделать в своем доме отец поэта. А ведь в доме тогда жили и люди, и лошади, и коровы. Помните прекрасные строчки Бёрнса, так удивительно переведенные нашим поэтом Маршаком:

В деревне парень был рожден,
Но день, когда родился он,
В календари не занесен.
Кому был нужен Робин?

Зато отметил календарь,
Что был такой-то государь.
И в щели дома дул январь,
Когда родился Робин»;

«А это сад в небольшом местечке Эйот Сент-Лоуренс под Лондоном. Больше сорока лет здесь жил один из самых больших драматургов Англии — Бернард Шоу. Он встречался с Энгельсом, переписывался с Чеховым. Он был дружен с Горьким. Свое семидесятилетие он праздновал в Москве в 1931 году. Он был настоящим большим другом нашего народа. В этом кресле он умер девяноста четырех лет от роду. Его друзья точно выполнили его завещание. Тело Бернарда Шоу было сожжено, так же как и тело его жены, а пепел был рассыпан во время дождя среди посаженных им деревьев. Шоу любил жизнь, и

ему хотелось даже после смерти своей участвовать в этой жизни, стать травой, листьями, цветами своего сада».

В фильме шесть частей, идет он час. В конце, так же как и в начале, на экране моя физиономия.

«Ну вот, пожалуй, на этом можно было бы и закончить наш рассказ о Лондоне. Ведь мы показали вам все что могли. Вы видели и старые исторические здания, отражающие его прошлое, вы видели и сегодняшний Лондон. Но нам хотелось бы показать будущее Лондона. Это вовсе не такое уж отвлеченное понятие. Будущее можно взять в руки — и оно теплое. Будущему можно посмотреть прямо в глаза — и глаза эти живые, потому что будущее всех взрослых людей во всем мире — это их дети».

«Вот посмотрите на этого маленького лондонца. (Тут меня в кадре уже нет, а в шезлонге сидит женщина с ребенком.) Вот он и есть будущее Англии. И эта девочка, что так решительно везет свою колясочку».

«А это будущий автомобильный гонщик. Ну садись! Так! Поехали!»

«А уж эти мальчишки наверняка станут инженерами. Смотрите, какую они соорудили машину, и мотор надежный. Они веселы, эти ребята, играющие на бульварах Лондона».

«И в этот же самый день и час на бульварах Москвы играют их сверстники, наши советские дети».

«Смотрите! Вот это английские ребята.

А это наши, советские.

Эту девочку зовут Маргарет.

А эту — Наташа».

«Эта карусель вертится в Баттерси Плежер в Лондоне.

А эта у нас в Москве на Красной Пресне».

«Видите? Это наши наследники.

Наше будущее».

«Пожелаем же им всем, как и всем детям мира, счастья. Пусть никогда не увидят страшное лицо войны ни этот маленький москвич, ни этот лондонец».

«А ведь это зависит от нас, их родителей, от дружбы всех отцов и матерей всех стран».

Конец фильма.

Но мазер, но фазер...

В Калькутте, во время спектакля я пошел фотографировать городскую жизнь. Рикш, рабочих, торговцев. На улицах индийских городов много нищих, в том числе и детей. Всех иностранцев они почему-то считают американцами и поэтому всегда говорят одно и то же: «Но мазер, но фазер, но систер, но бразер» — «Ни матери, ни отца, ни сестры, ни брата». Одним словом, круглый сирота. Вероятно, это необязательно правда, но формула всегда одна и та же.

Ко мне подбежал очень красивый курчавый мальчишка и сказал: «Но мазер, но фазер...» Я продолжил, вопросительно сказав: «Но систер, но бразер?» Мальчишка засмеялся.

Он понял, что я хочу что-то фотографировать, и решил мне помогать, показывая более интересные, с его точки зрения, сюжеты, и был уверен, что я заплачу ему за это. Денег у меня с собой не было, и я повел его в театр.

Уже начался второй акт «Волшебной лампы Аладина». Я попросил администратора посадить куда-нибудь мальчишку, а сам пошел за кулисы.

В конце спектакля нас приветствовали, и на всех актеров надели гирлянды роз, а на мою шею досталось по крайней мере пять гирлянд, значит, не меньше чем пятьсот роз, да еще с какими-то золотыми украшениями.

Спектакль кончился, и я пошел к актерам. Через некоторое время циновки, отделявшие наше помещение от улицы, раздвинулись, и я увидел лицо моего спутника. Он рукой поманил меня к себе. Я вышел. Рядом с ним стоял другой мальчик, тоже с нищенской сумкой через плечо. По-видимому, тот мальчик не хотел верить ему, что он со мной знаком, что он видел спектакль с верблюдами, слонами и золотыми дворцами. И вот чтобы доказать, что все это так и было, он привел товарища ко мне.

Я притащил фрукты и набил ими сумки мальчиков. Мой новый знакомый был счастлив, а первого мне пришлось уговаривать. Наверное, ему не хотелось омрачать платой встречу со мной и с чудом, которое он видел на спектакле.

Холи

Говорят, один человек, увидев зебру, сказал: не может быть. Вот и я, увидев дворец в Джайпуре, сказал: не может быть. Невероятной красоты и удивительности дворец. Огромный, многоэтажный, розово-красный. Окна сквозные, и никто в этом дворце сотни лет не живет. Никто, кроме больших злых обезьян. Они хозяева дворца.

А подняться по внутренним лестницам на крышу хочется, чтобы полюбоваться оттуда на Джайпур.

Проводник взял здоровенную палку и набрал полные карманы камней. Шел впереди, стучал по стенам палкой и бросал камни, ни в кого не целясь. Обезьяны подглядывали из-за углов, как бандиты.

Благополучно поднялись и благополучно спустились. Сидим на лужайке перед гостиницей, греемся на солнышке.

Подходит незнакомый человек и говорит:

— Я помещик, моя усадьба недалеко от Джайпура. Приглашаю вас завтра вечером к себе на праздник холи. Это самый интересный праздник в Индии.

— Так ведь праздник послезавтра. Мы его в Дели праздновать будем.

— Нет, начнется он с завтрашнего вечера кострами и фейерверками.

— Спасибо за приглашение, только на чем мы к вам поедем?

— Я за вами машины пришлю. Но сперва скажите, какое холи вы хотите. Сухое или мокрое?

— А какое интереснее?

— Оба интересные, но мокрое с непривычки может не понравиться.

— Ну, значит, сухое.

— Хорошо, только все равно наденьте что-нибудь похуже.

— Наденем. Нам из Дели еще вчера одежду прислали.

На следующий день к вечеру оделись мы в эту одежду, сшитую из самой дешевой хлопчатобумажной белой материи. Мужчины надели штаны и рубахи навывпуск, женщины что-то вроде больничных халатов. Одевались, смеялись. Очень похоже на кладбищенские привидения. Прямо хоть «Жизель» танцевать.

Едем. Уже темно. Очень темно. В небе звезды. Где едем, не видно. Тридцать миль до усадьбы, и все время то здесь, то там костры. В чем дело? Почему костры? А потому, оказывается, что давным-давно жила злая женщина Холи, которая истязала своего племянника. И за это злодейство сожгли ее на костре. Вот с тех пор в ночь под 25 марта сжигают соломенных холи.

Интересно. Значит, и здесь, как в Европе, есть праздник костров. Я сам мальчишкой в ночь под Ивана Купалу через костер прыгал. Мы его в Бабы Капином лесу Тагане на берегу Гвоздни жгли. Очень весело было.

А еще, уже взрослым, во время гастролей в Финляндии тоже в ночь под Ивана Купалу плыли мы на лодке по огромному озеру. Острова, острова, острова. И большие и маленькие, и чуть ли не на каждом острове костер. Состязание костров. У какой финской провинции костер выше и какой дольше горит. Огромные костры. Каждый в зеркале воды отражается. Красиво до невозможности.

Ну что ж, наверное, у всех народов мира огонь в почете. У всех символичен.

Приехали в усадьбу. Горела целая копна соломы, взлетел в воздух фейерверк, и зажглись бенгальские огни. Никогда раньше не думал, откуда это название. А тут все ясно. Мы ведь только что в Бенгалии спектакли играли.

Вошли в ворота усадьбы, встретили нас хозяева и неожиданно обсыпали разноцветными порошками: зелеными, красными, синими, желтыми. Сыпали на лицо, на голову, на лысину тем, у кого эта лысина была.

Да и одежда наша стала разноцветной, превращая всех прямо-таки в попугаев. Нам хозяева тоже дали пакетики с красками, чтобы и мы их обсыпали, после чего они стали каждого обнимать.

Вот оно, оказывается, что значит, сухое холи.

Мокрое встретило нас на следующее утро по дороге в Дели. Мы так и остались в тех же разноцветных хламидах. И хорошо сделали. Не успел поезд тронуться от станции, как в открытое окно ворвались разноцветные струи воды. Из велосипедных насосов, из огромных бамбуковых самоделок, просто из ведер и кружек с веселыми криками мальчишки обдавали поезд мокрым холи. Только я успел закрыть окно, как в стекло ударила синяя струя разведенных чернил.

От вокзала до гостиницы ехали в автомобиле с плотно закрытыми стеклами под дождем разноцветных струй. Спрятались в гостинице, а наиболее смелые, в том числе и я с корреспондентом московской газеты, побежали на улицу.

Описать то, что там происходило, невозможно. Люди били в барабаны, плясали, пели, просто кричали и мазали друг друга и поливали друг друга всеми возможными красками, обнимались, обнимались, обнимались.

Вернулись мы в квартиру корреспондента раскрашенные, как шуты гороховые. Корреспондентская жена спрятала детей, чтобы их не напугал папа.

Минут сорок я стоял под горячим душем, мылся и смотрел, как стекают с меня разноцветные струи. Волосы так и не отмыл.

На следующий день в газетах прочел, что в президентский сад тоже набралась толпа и Неру, сам Неру играл в мокрое холи. И обливали его, и обсыпали его всякими разноцветными порошками. И он обливал, и он обсыпал пришедших и обнимался со всеми.

Вот тогда я и понял, почему так любим индийцами этот непостижимый разнузданно-раскрепощенный праздник.

Сейчас в Индии официально запрещено деление на касты. Юридически нет больше ни браминов, ни неприкасаемых, но столетиями выработанное ощущение кастовости уходит с трудом. И брамин считает себя выше человека, имеющего дело с кожей, и кожевник считает себя ниже не только брамина, но и прачки.

Нечего их упрекать за это. Среди европейцев, даже культурных, вы можете встретить человека, считающего негра или еврея ниже себя именно потому, что он негр или еврей. Отвратительно, но это так.

Трудно уходят из сознания людей ощущения, выработанные веками. Индия до сих пор больна кастовыми неравенствами.

Так вот холи тем и прекрасно, что в этот день все равны. Каждый может обсыпать веселыми разноцветными порошками каждого, будь он хоть помещик, хоть министр, хоть президент, хоть нищий, хоть неприкасаемый. Пусть только один день, но все равны.

«Эй ухнем!»

В центре Брюсселя четырехугольная площадь. Ратуша и все дома на площади по всем четырем сторонам в полном смысле слова золотые. И днем-то это прекрасно, а уж вечером под свечение фонарей площадь превращается просто в сказку.

Недалеко от этой площади находится Пале де Бозар — Дворец искусств. Огромное здание, в котором и театральные, и кинозалы, и большие экспозиционные для выставок картин, и скульптуры, и библиотека, и аудитории для лекций. Великолепное учреждение.

В первый приезд Центрального театра кукол в Бельгию мы играли в этом дворце, а его директором тогда был месье Виллемс. Поль Виллемс. Мы подружились и с ним, и с его женой Эльзой, и с их детьми, мальчиком и девочкой.

Несколько дней жили у Виллемсов в гостях в их родовой усадьбе, в большом старом доме, увитом розами.

Когда в первый раз Виллемс вез нас на машине к себе домой, мы проезжали через небольшой город.

Я спросил, как он называется. «Малин. Хотите послушать колокола? В Малине прекрасные карильоны. Это ведь в Малине ваш царь Петр Первый купил колокола для кремлевских часов». Вот, значит, почему мы говорим «малиновый звон». Конечно, хочу послушать. Мы остановились около скверика, в центре которого костел с высокой звонницей, и Виллемс ушел, чтобы отыскать своего знакомого музыканта-карильониста.

Сидим, ждем. И вдруг удар колокола, за ним второй. Затем запел целый аккорд. И тут мы поняли. Карильонист играет «Колокола» Рахманинова. На весь Малин.

По дорожкам скверика с азартом несутся мальчишки на велосипедах. По улице едут автомобили. Малин живет своей обычной городской жизнью, а в небе Рахманинов.

Последние аккорды. Тишина. Мальчишеский гам заполнил скверик. И опять неожиданно громко: «Бам, бам, бум, бооом. Бам, бам, бум, боом...» Колокола играют «Дубинушку»: «Э-эй ух-нееем. Э-эй ух-нееем...»

Королева

«Сергей, завтра на спектакле будет вдовствующая королева Елизавета». Это говорит мне Виллемс. Мы перешли с ним на «ты», и потому он меня называет просто по имени. «Мне нужно приветствовать ее со сцены?» — «Нет, это не официальный королевский визит, но встретить надо».

Я, конечно, встретил, тем более что уже был знаком с этой прекрасной женщиной. Она скрипачка, ученица выдающегося советского скрипача Михаила Ваймана, учредительница Международного конкурса скрипачей имени Изай в Брюсселе. Часто приезжала в Москву, бывала и в Московской консерватории, и в Музыкальном училище имени Гнесиных, и несколько раз была в нашем театре.

Я проводил королеву на ее место, и, пока мы шли по партеру, зрители тихо шептали: «Вив ля рэн!» («Да здравствует королева!»). Громко они говорить это не могли, ведь визит был неофициальный и королевы как бы и не было.

Она пригласила нас в гости. Мы пришли в ее загородный дворец. Большой особняк среди парка. В гостиной на рояле портреты Воронцова и Когана.

Сказочная королева. Прямо андерсеновская. Подарила мне пластинку с пением птиц в ее саду, а я в ответ — пластинку с пением наших подмосковных птиц. Соловьи там, зяблики, синицы, кукушки.

Эренбургу королева прислала в Москву луковицы лилий. Он ведь был большой знаток и мастер цветоводства.

И уж совсем необыкновенное рассказал мне Илья Григорьевич. Была в Брюсселе забастовка заводских рабочих. Брюссельцы, сочувствующие рабочим, помогли им кто чем мог.

Вот и королева захотела помочь. Поехала на машине к заводу и взяла несколько детей более нуждающихся рабочих, чтобы они жили у нее, пока идет забастовка.

Привезла в свой дворец, вкусно накормила, дала им бумагу и цветные карандаши: «Рисуйте что хотите». Ребята стали рисовать грузовики с красными флагами. «Что это вы рисуете?» — «Революцию». — «Ну рисуйте, рисуйте».

В последний раз мы с женой были у королевы, когда она уже не могла ходить. Совсем больная. Только глаза молодые. Сидела в кресле-каталке. Ноги покрыты синим бархатным пледом.

Мы недолго были у нее и, попрощавшись, пошли через большую зеленую лужайку к воротам парка.

Слышим, кто-то нас зовет. Обернулись. Фрейлина королевы подбежала и говорит: «Ее высочество просит вас вернуться». Вернулись. Королева поцеловала и перекрестила каждого. Оревуар. До свидания. Не знали мы тогда, что это было последнее свидание. Нет больше на свете андерсеновской королевы.

Опять в Нью-Йорке

На здании «Бродвей тизтр» крупными буквами написано: «ОБРАТСОВ» — это американцы так расправились с буквой «ц» в моей фамилии. Мы приглашены Соломоном Юроком на трехмесячные гастроли в Нью-Йорк и две недели в Вашингтон, потом поедem в Канаду. Всего будем за океаном целых четыре месяца.

Юрок очень симпатичный человек. По происхождению русский еврей из Краснодара. От погромов семнадцатилетним мальчишкой уехал в Америку. Безусловно, талантливый импресарио и человек, влюбленный в свое дело, в искусство, в театр, в своих гастролеров и, следовательно, сейчас в нас. Широкий, очень широкий, в чем-то наивный, очень много сделавший для наших культурных связей с американским народом. У меня о нем самые добрые воспоминания.

На премьере сидел за кулисами и волновался больше нас, после нескольких взрывов хохота весь просиял и сказал: «Ол райт, ол райт». Сияющим был и на банкете, который он в нашу честь устроил в ресторане шикарной гостиницы и пригласил на него всю нью-йоркскую театральную элиту. Успех у нас действительно большой и рецензии замечательные. За кулисами после спектакля всегда народ. Расспрашивают, удивляются.

Пришел однажды за кулисы небольшого роста, спортивного склада человек и попросил показать, как устроены куклы. Я показал. Он поблагодарил и сказал: «Вот будете в Вашингтоне, поклонитесь моему брату Джону». Я догадался, что это Эдвард Кеннеди, и спросил: «А разве президент придет к нам в театр?» Он ответил: «Конечно, и он, и Жаклин, и дети».

А через несколько дней мы с женой в магазине покупали рождественские открытки и вдруг услышали по радио слова «Тэксэс, Тэксэс» и еще слово «мердер». Мы ничего не поняли, но на лице продавца был явный испуг. Оказывается, в Техасе ранен Джон Кеннеди.

Мы выскочили из магазина, помчались в гостиницу. Кеннеди умер, пока мы ехали, а через несколько дней начались наши гастро-

ли в Вашингтоне. Официального и торжественного открытия гастролей не было, так как был траур. Никто из официальных лиц из Белого дома, из посольств, из министерств к нам прийти не мог, но зал все равно был полон.

Как только приехали, купили большие белые хризантемы, пошли на Арлингтонское кладбище к могиле Кеннеди, огражденной низеньким деревянным заборчиком. Шли один за другим цепочкой с белыми цветами в руках. И положили цветы на могилу.

Новый год

Канада. Сперва сверхморозный Вашингтон, а потом Монреаль, или Монреаль, это смотря с кем вы разговариваете, с тем, кто хочет, чтобы вы считали город французским, или с тем, кто считает его американским.

И полно русских. И в Виннипеге и в Монреале. Русских эмигрантов. И новенькие есть, заблудившиеся в результате войны, и дети эмигрантов, бежавших от революции. Дети потому, что сами бежавшие в большинстве своем уже умерли. И совсем древний слой — духоборы, дети и внуки, правнуки и праправнуки тех, которые еще при царе уезжали по религиозным соображениям. Отказывались кого бы то ни было убивать, служить в армии. Христос сказал «не убий». Им еще Толстой уехать помогал.

Все эти слои перемешались, переженились, а во время войны все испытали прилив патриотизма, и большинство приняло нас как родных.

Пришли мы в Монреале в русский клуб. Ну прямо будто в Москве. На стене портрет Ленина. На столе журнал «Огонек». Приготовили они нам все по-русски — водку, селедку, соленые огурцы, пирожки с капустой.

А потом пели русские песни. Трогательно пели. На три голоса, с акцентом: «Солофей сапель, затшелкол, прислонись к моей гхуди, ой ты нотшенька над Вольгой, походи, не уходи». Слезы на глазах. И у нас тоже. Для них Волга — легендарная река, которую они никогда не видели, а для нас — героическая, трагическая.

Да ведь, кроме того, мы страну нашу вместе с этой Волгой уже четыре месяца не видели. «Ой ты нотшенька над Вольгой, походи, не уходи». Маленькая девочка стоит возле поющей мамы, видит, что у нее неизвестно почему слезы на глазах, дергает ее за юбку и все время тихо говорит: «Мэм, мэм, а мэм».

Новый год встречали в Канаде. Нас наши новые знакомые, монреальские жители, разобрали по домам. После спектакля мы к ним пойдем. Но наш, московский Новый год наступит как раз тогда, когда мы будем играть «Волшебную лампу Аладина».

Я вышел перед спектаклем на сцену и сказал через переводчика об этом ребятам. Сказал, что к нам солнце приходит на много часов раньше и уходит раньше и вот тогда, когда у нас на сцене будет пустыня и выйдет лев, у нас в Москве наступит Новый год.

За кулисами мы приготовили бутылки с шампанским, чтобы сразу после спектакля чокнуться. Правда, это будет не одновременно с нашими родными в Москве, но почти одновременно. Во всяком случае, они еще из-за столов не встанут.

Начали спектакль. Играем. И, конечно, все про Москву думаем. Волнуемся очень. Поглядываем на часы. Началась пустыня. Появился лев. И вдруг из зала детские голоса. Сперва один, а потом два, а потом весь зал: «Хеппи Нью иер, хеппи Нью иер, хеппи Нью иер!» («С Новым годом, с Новым годом!..») Лев даже остановился и смотрит в зал. А ребята хохочут, радуются. Кончился спектакль. Отключались мы, как полагается. Даже больше чем всегда. И кинулись откупоривать бутылки с шампанским. С Новым годом! За жен, за

мужей, за детей, за всех, кто в Москве. За Москву. А после вечернего спектакля разошлись по гостям, по монреальским квартирам праздновать канадский Новый год.

На дорогах Америки

Еще когда мы уезжали из Нью-Йорка, пригласили нас с женой на гастроли по американским колледжам, и мы приехали втроем — нас двое и переводчица из Лондона наш друг Анна Максимовна Бар.

Объехали всю Новую Англию и от Нью-Йорка до Сент-Луиса. Все это на машине. Водитель — наш администратор. Очень интересная была поездка. Ведь во многих колледжах студенты не только впервые видели кукол, не только впервые видели русского актера, но вообще впервые видели русского, и поэтому помимо концерта интересными были их вопросы после концерта, причем иногда не только в зале, а у кого-нибудь из студентов в общезитии или в квартире профессора, куда тоже набивались студенты. Больше десяти тысяч километров сделали мы по дорогам Америки, и если в Канаде я видел Ниагару (а по-настоящему ее надо называть Найягара) с северной стороны, то в Нью Ингленд (Новой Англии) я смотрел на нее с южного берега.

А в Сент-Луисе я увидел реки, которые знал как литературные и очень любил: Миссисипи и Миссури. Реки, по которым, как при Томе Сойере, шли сплавные плоты.

Я был в домике Тома. Друга моего детства. Видел кухню тетушки Полли и лесенку, по которой Том сбегал, когда она его звала: «Том! Том!» Видел кухню тетушки Полли, ее кастрюли. Я был в маленьком домике напротив, где жила Бекки Тэчер. Первая девочка, в которую я был по-настоящему влюблен, и ревновал ее к Тому и мучился от ревности, когда он ее поцеловал. Я видел кровать, на стоящую кровать с одеялом и подушкой, на которой умерла старушка Бекки.

У озера Максин лейк

По дороге в Сент-Луис у нас был концерт в военном кавалерийском колледже. В конюшне стояли очень красивые вороные лошади. Моя жена попросила покататься. Ей выдали красивейшего жеребца, и в сопровождении не менее красивого офицера она проехала на нем сколько-то километров, о чем до сих пор вспоминает. Я не ездил, поскольку не умею. Зачем позориться?

В мотеле произошли два интереснейших события. Во-первых, на огромное озеро Максин лейк опустилось невероятное количество диких уток. Я столько никогда не видел. Тысячи. Вероятно, это был осенний перелет и утки сели на ночной отдых. Во всяком случае, на завтрашнее утро ни одной утки на озере не было. Исчезли так же неожиданно, как и появились.

Второе событие еще удивительнее и, с моей точки зрения, просто проекция в будущее. Нашим пристанищем и ночлегом во время поездки по колледжам обычно служили мотели. Их было много. Маленькие, как правило, двухместные домики, великолепно оборудованные, с ванной, уборной, горным солнцем, с трясущимся матрасом, который делает вам на ночь как бы массаж, с электроплиткой и, конечно, телевизором.

Вернувшись после концерта в мотель, я включил телевизор и не сразу понял, что происходит. Сидят в три четверти ко мне Эйзенхауэр, Голдуотер и еще кто-то, по-видимому сенатор, которого я не знаю, а прямо перед ними экран и на нем огромное лицо какого-то парня, который все время спрашивает: уай? уай? (почему? почему?).

Я побежал в соседний домик за Анной Максимовной.

Она еще не спала. Попросил ее прийти ко мне, чтобы помочь разобраться. Что-то очень интересное. Она прибежала. Оказывается, вот что: идет передача-интервью, которое Эйзенхауэр дает студентам Парижа, Лондона, Варшавы и еще какого-то южного города. Причем у студентов в Париже, Лондоне, Варшаве на экранах виден и слышен Эйзенхауэр. Получается фактически ничем не затрудненный разговор. Напрямую.

А мы, телезрители в разных странах мира, на своих экранах все это видим и слышим. Так сказать, при этом присутствуем. В то же самое время, в те же самые минуты и секунды. Чудо, да и только!

Вопросы все об одном и том же. Зачем американцы лезут во Вьетнам? Зачем? Вот это самое «уай», которое я сразу услышал. И английский студент, и французский, и польский — все это же самое: уай? пуркуа? для чего? Причем что особенно интересно: студенты-то в первый раз в своей жизни с президентом разговаривают, волнуются и, следовательно, выглядят очень искренними, а Эйзенхауэр и с королями и с президентами разговаривал, что ему студенты, и поэтому рядом с ними выглядит рассудочным, слишком старательно логичным и, следовательно, куда менее искренним.

Но самое главное для меня было не это, а то, что я присутствовал при акте контактного телевидения. В чем упрекают кино? В чем упрекают телевидение? В отсутствии контакта со зрителем. А, оказывается, этот контакт можно создать. Можно включить актера в реакцию зрительского восприятия.

Выступаю я, положим, в студии телевидения с моими куклами, и передают меня на экран в кинотеатре «Москва». А зрительный зал кинотеатра передают на экран мне в телестудию.

Я выхожу и обращаюсь к экрану (так, как Эйзенхауэр к студенту на экране), говорю: «Здравствуйте, товарищи!» А мне из зала зрители отвечают (как студенты на экране Эйзенхауэру): «Здравствуйте!» Я начинаю показывать кукол, зрители видят их лучше, чем на концерте, потому что оператор показывает их и крупным планом и общим. Укрупняет то одну куклу, то другую. А я слышу и смех, и шорох, и напряженность паузы, и аплодисменты.

Я в полном контакте и, значит, делаю это куда лучше, чем если бы меня снимали без зрителей или если бы я выступал просто в этом огромном зале, где моих кукол уже из пятнадцатого ряда плохо видно.

Нет, контактное телевидение возможно, я в этом уверен, я это видел в Америке вечером в мотеле у озера Максин лейк.

Борис Белостоцкий

Перед самым отлетом из Нью-Йорка в Москву пришел Белостоцкий Сказал. «Мне хочется, чтобы ты с женой зашел ко мне». «Конечно, Борис, придем». Пришли. Живет он в плохонькой гостинице. Постоянно снимает номер из двух комнат. Одна совсем маленькая, другая побольше. Оказывается, это все-таки дешевле, чем комната в румини хаузе, и уж тем более дешевле, чем в эпартамент хаузе.

Судя по тому, что в комнатах не очень-то уютно и мебель более чем скромная живет он, по-видимому, бедно. Зарабатывает тем, что поет по субботам и воскресеньям в хоре в православной церкви да еще дает уроки пения. Не знаю сколько их у него. Говорит, что нашел новый метод постановки голоса без «опоры на диафрагму». Это вечная тема всех преподавателей пения — открытие «нового метода» ставить голоса.

Подарил нам Белостоцкий под конец несколько патефонных пластинок, и мы стали уходить. Тут я заметил в углу комнаты сложенные в кучу театральные костюмы. Спросил, зачем они ему, и он, смущаясь, ответил, что это один знакомый просил его найти на них

покупателя. Бедный Борис, по-видимому, чтобы добыть деньги, занимается перепродажей вещей и получает комиссионные. А что делать? Жить-то нужно. В церковном хоре много не заработаешь.

На следующий день Белостоцкий принес мне магнитную пленку с записью его прощального слова бывшим своим товарищам — актерам Музыкальной студии Немировича-Данченко. И очень просил, чтобы я пришел в театр, рассказал о нем и дал бы им послушать эту его пленку, что я и выполнил. И все слушали и плакали.

Прочитайте стенограмму этой пленки. В ней не пропущено ни одного слова. Это очень серьезный и очень страшный документ. Помните, как Борис Белостоцкий, когда Музыкальная студия, выехав из Советского Союза, пересекла границу, сказал: «Кончились товарищи»? Как трагично обернулись для него эти слова.

Вот письмо Белостоцкого:

«Милые мои, дорогие мои! С вами говорит Борис Белостоцкий.

Здравствуйте, здравствуйте, мои забываемые, родные мои, далекие, такие близкие моему сердцу, а сердце мое всегда было с вами. Оно и сейчас там, у вас в театре, в Москве, дома, на родине.

Верьте мне, что дня не проходило, чтобы я не вспоминал всю мою жизнь, крепко и неразрывно связанную с вами, вспоминаю и теперь и не верю памяти: неужели то, что было, — было, неужели действительно была та прекрасная для всех нас жизнь — необходимая, серьезная, полная смысла?

Все эти долгие годы, пролетевшие как один день, меня не оставляла горечь разлуки ни на минуту. Верьте мне, что я жил только прошлым и ничем другим. Вечно о вас тоскую.

Приезда Сережи я ждал с величайшим нетерпением, и не только потому, что он друг моей юности, но ведь он — это вы, он живой свидетель и живой участник той жизни, которая в моем одиночестве представляется мне не бывшей и неправдоподобной, и в частые моменты вечерних размышлений я, как Настенька в «На дне», готов со слезами на глазах кричать: было, было, было... И, сказать по правде, я и кричал. Много раз.

Видеть Сережу для меня была настоящая огромная радость. В нем я увидел и друга и мою утраченную юность. Обнимая его, я обнимал всех вас, не то здороваясь, не то навеки прощаясь с чем-то бесконечно дорогим и светлым.

Родные мои!

Не поминайте меня лихом. Всех вас обнимаю, всех вас люблю, никого не выпущу из моего усталого сердца.

Будьте, родные мои, счастливы, будьте здоровы! До свидания!

До свидания, милая Надюша Кемарская, шлю тебе низкий поклон. До свидания, дорогой мой, добрый Сашенька Художников. До свидания, Леня Баратов, Митя Комерницкий, Женя Коренев. До свидания, дорогой Федечка Михальский. До свидания, милый, хороший Борис Львович Израилевский, Регина. Передайте привет Люсе Ильющенко, Тамаре Никитиной, Лене Утесову, Васе Топоркову, Юре Завадскому.

Привет дорогому другу Васе Цитриннику, Станицину — помнит ли он, кстати, мою американскую любовь на капустнике? Почему-то сейчас вспомнил.

Кланяйтесь Володе Ершову, Яншину, Грибову и, конечно, милой, умной Серафиме Германовне Бирман, Софье Владимировне Гиацинтовой. Всем кланяйтесь.

Сердечный привет моему жильцу Борису Вершилову, я шучу, он знает почему.

Я никогда, я повторяю — никогда, ни на один день, ни на одну минуту не забывал вас и жил только моей прошлой жизнью, здесь только существовал.

Земной вам поклон, поклон до земли Москве, поклон до земли театру, поклон до земли утерянной родине.

Родные мои! Не могу больше говорить и то, что я говорю, я написал черновик. Я так волнуюсь, что я бы ни слова не смог сказать.

Прощайте, родные мои, до свидания. Напишите мне, если можно. Для меня это будет великое, настоящее счастье.

Еще поклонитесь Саше Крынкину, Юле Райзману. Пусть Юля передаст привет всем, кто был нашими общими друзьями много лет тому назад.

Ну, еще раз обнимаю вас, прижимаю вас к своему сердцу. Будьте счастливы, родные. Помните, что далеко, далеко живет Борис Белостоцкий без сердца, а сердце — у вас и навсегда останется там.

До свидания, милые, до свидания, до свидания, до свидания...»

В чужом небе

Наш театр впервые в Париже. Сидели мы как-то утром за столиками на одном из многочисленных «съедобных» уголков парижских улиц, пили хороший кофе с круассанами — хрустящими рогаликами, такими, каких, как мне кажется, кроме Парижа, нигде нет, — и спрашиваю я молодую нашу актрису, что ее больше всего в Париже удивило, а она не задумываясь отвечает: «То, что меня до сих пор здесь не было». Все рассмеялись, а ведь правильно она сказала. Потому что каждый из нас раньше в Париже был. Непременно был. Из-за Мопассана, из-за песенок из-за слова «мерси», из-за моды на юбки, из-за Лориган Коти, из-за импрессионистов, из-за многочисленных открыток и альбомов. Если не каждый, конечно, не каждый, но многие из нас были в Париже, ни разу не побывав на Монпарнасе.

Меня Монпарнас удивил не тем, что оказался неожиданным, а тем, что было удивительно узнаваем. Все я узнавал. Ну буквально все.

И Монпарнас, и Елисейские, и Пляс де ля Конкорд, и бульвары, и Нотр Дам, и жареные каштаны, и уж, конечно, Эйфелеву башню. Даже пляс Пигаль показалась мне точно такой же.

Через весь Париж течет Сена. Ходят по ней пароходы, и стоят на берегу то тут, то там безнадежные рыболовы. Такие же безнадежные, как наши московские. Сколько я около и тех и других ни стоял, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь хоть уклею вытащил.

По обоим берегам Сены низенькие каменные парапеты, а к парапетам — опять-таки то тут, то там, но больше — подряд приделаны ящики. Ночью на замках, а с утра это просто пир букинистов. Сервирован он тут же на парапетах и тротуарах.

Старые книги, брошюры, открытки, плакаты, фотографии. Хотите Мери Пикфорд? Пожалуйста. Хотите учебник элементарной геометрии? Пожалуйста. Хотите всевозможные ню? На здоровье. Двадцать способов любви? Будьте любезны. Куроводство и кролиководство? Вот они. Нет двух страниц — так зато как дешево.

Купил афиши кукольных театров XIX века и большой красивый плакат, на котором изображен монгольфьер. Раз мы в нашем театре играем спектакль «Братья Монгольфье», как же не купить раскрашенный, разукрашенный воздушный шар в парижском небе и в красивой корзине человека. Первый человек в небе. Чудо.

Прошел по мосту, где безработные художники разноцветными мелками прямо у себя под ногами рисуют разные картины. И пейзажи, и голых дам, и абстракции. Ловко рисуют. Умеют. Жаль, что безработные. А их подруги тут же что-то мирно вяжут. Разложены на продажу самодельные побрякушки.

Пересек Сену и вышел к замечательным павильончикам. По правде сказать, я туда-то и шел. А в павильончиках и перед павильончиками клетки с курами, голубями (подумайте, с голубями, я же голубятник), с веселыми и грустными, скулящими и лающими щен-

ками. Толстый бело-рыжий сенбернар — месяц ему, а может, и того меньше. Любезно облизнул мне палец. Маленькая чивава, такая маленькая, что в карман посадить можно. Чивава — так зовут индейское племя, которое ее вывело. Дрожит. Холодно ей, наверное. Мохнатые тупоносые кошки без всякого выражения лица и их озорные, грызущие друг друга котята, как пуховые шаррики.

Несчастные обезьяны, до страшного похожие на нас, грешных. Все похоже, даже ногти. Вспомнил стихи из детской книжки: «Ваши предки, наши предки на одной качались ветке, а теперь сидим мы в клетке. Справедливо ль это, детки?» Поют канарейки и дудочным и нашим, русским, овсяночным напевом.

Тесно, прижавшись друг к другу, сидят рисовки, а под самым потолком, венчая все на свете, мечта моего детства. Синий бразильский попугай ара. Сидит вольно. Поверх клетки. И внимательно рассматривает свою толстую лапу.

Очень хочется купить. Всю жизнь мечтал. Да, наверное, бешеные деньги стоят. «Мсье кэс кэ сэ кут?» Не успел мне шустрый месье в белом халате ответить, как попугай раскрыл свои гигантские крылья и прямо надо мной и над белохалатным месье вылетел через широко открытые двери в парижское небо.

Я-то думал, что он вольно сидел, а оказывается, он растянул прутья клетки и выбрался из нее, не сразу поняв, что можно улететь.

Когда в XIX веке в парижском небе летел человек, это было чудо. Сейчас человек даже в космосе уже не чудо. Но синий бразильский попугай в небе Парижа в сегодняшнем XX веке — это чудо! Настоящее чудо. Только не прекрасное, как полет монгольфьера, а трагическое.

Вероятно, он счастлив сейчас, этот попугай. Наконец-то свободен, наконец-то не в клетке, наконец-то опять в безграничном пространстве неба, для которого и созданы его огромные крылья.

Говорят, что бразильские попугаи однолюбы. Всю жизнь брачная пара вместе. Может, надеется ара, может, уверен, что вот сейчас и обнаружит свою подругу, ведь он свободен, а внизу под ним не только река и дома, но и деревья бульваров.

Да фальшивая эта свобода, чужое небо. Все, что под этим небом, чужое. На бульваре Сан-Мишель не растут бананы, в Булонском лесу нет кокосов, а в Венсенском — авокадо. И во всем огромном парижском поднебесье не найдет он второй синей птицы.

Вслед за мной из балаганчика выскочил продавец в белом халате и спросил: «Он перелетел через Сену?» Я сказал: «Перелетел». Продавец кинулся к телефону звонить в полицию. Я спросил, при чем тут полиция. Он ответил: «Они найдут».

Мне рассказывали потом, что в Париже, если с большого дерева не может слезть котенок, можно позвонить в полицию, и котенка снимут.

Назавтра с утра побежал в этот зоопавильончик. Синий ара сидел в клетке, внимательно рассматривал свои толстые пальцы на лапе и мирно ворчал на своем попугаячьем языке. Я прислушался и вдруг понял. Язык-то оказался английским. Он говорил: олрррайт, олррррайт, — а было-то ему совсем не ол райт. Было просто плохо. Опять клетка. Нашли его ночью в густой кроне платана на острове Ситэ, накрыли тряпкой, чтобы не укусил.

Расхотелось мне покупать попугая, чтобы сидел он у меня в клетке, сложив крылья. Раскрыть-то их нельзя. Не поместятся. И что толку в крыльях, коли они не в небе.

Да не в чужом, а в своем бразильском.
Не буду я покупать попугая.

Страшная правда

«Упал дом. Жертв мало. Один человек. Ну а если этот один человек — ваш ребенок? Или ваша жена? Или ваш отец? Вы же не скажете тогда, что жертв мало? Может быть, это все, что есть в вашей жизни!»

Это мой голос за кадром, а на экране рушится дом, из-под обломков вытаскивают мертвого ребенка, потом женщину, потом несут на носилках мертвого мужчину. Группа людей взволнованно смотрит. Все это смонтировано из разных, неизвестно кому принадлежащих съемок, и все кадры как бы опережают мои слова.

«Один человек не меньше, чем два. Людей нельзя ни складывать, ни умножать. Каждый человек единствен и неповторим».

(Очень старая женщина кладет на могилу цветы.)

«Такого не было, пока он не родился, и не будет, если он умер».

Так начинается фильм «Кинокамера обвиняет», который мы с режиссером Исааком Григорьевичем Греком делали на Студии документальных фильмов.

Идея сделать этот фильм родилась у меня после того, как в Сокольниках на американской национальной выставке в 1959 году я увидел замечательную фотовыставку «Род человеческий», созданную Стейхеном. Пятьсот документальных фотографий показывали разных людей разных стран мира. В горе, в радости, в любви, в труде, в смерти. Выставка была добрая и говорила о том, что все люди вне зависимости от национальности, расы, цвета кожи имеют равные права на жизнь, на счастье.

Это правда. И очень многие конституции разных стран утверждают это равноправие. Каждый американец «имеет право» быть избранным президентом. Только ведь не в одном только конституционном праве дело. Надо еще иметь равные возможности осуществить это право. Без этого такое право ничего не стоит. Попробуй стать президентом без миллионов.

Я объехал много стран, я видел собственными глазами и безнадежную нищету, и голод, и богатство. Я бывал в домах миллионеров, и я много раз видел, как ночью полуголые дети зарываются в мусор и бумагу, чтобы переспать ночь. В южных странах бывают большие перепады температуры. Днем тридцать — тридцать пять, ночью восемь. А для голого это мороз.

Несправедливо роздано людям счастье на земле.

Вот об этом и говорит наша картина. Она очень страшная, но в ней только правда, потому что состоит она из кинодокументов, взятых нами из Госфильмофонда СССР Центрального государственного архива фотодокументов СССР, польского агентства Теле арт, Королевской синематеки Бельгии нидерландского киномузея, фильмотеки Пате Синема. Это позволило нам в одном временном эпизоде скрестить и тем самым противопоставить кадры, снятые разными операторами разных стран. И эпизоды эти приобрели неожиданную по остроте убедительность.

В картине есть и любовь, и проституция, и счастливые дети, и дети-рабы, и роскошь фешенебельных отелей, и голод, полный, абсолютный голод, когда и взрослые и дети падают и умирают прямо на улице. и война. и фашистские концлагеря, и притоны, и тюрьмы, и богослужения. и пытки.

Вот несколько эпизодов из этой картины.

«Смотреть на то, что вы сейчас увидите, очень неприятно, но это надо знать».

(Человек в эстрадном смокинге прокалывает иглами щеки и язык, потом оттягивает кожу на горле, протыкает ее большой иглой, продевает в образовавшуюся дыру крепкий шнур, завязывает его узлом, а другой конец шнура привязывает к бамперу автомобиля.)

«Выдержит кожа, если тянуть автомобиль».

(Лица многочисленных зрителей. Кто морщится, кто улыбается. Кожа натянулась. Автомобиль медленно движется.)

«Ну, за это можно дать человеку и пять, и десять, и пятнадцать центов, а можно ничего не давать. Посмотрел и пошел дальше».

(Японский офицер деловито объясняет молодым летчикам-камикадзе, как надо вертикально направлять самолет на американский корабль, чтобы, взорвавшись самому, взорвать корабль.)

«Последняя в их жизни чашка саке».

(Взлетели. Палуба американского военного корабля. Трассирующие пули летят в небо.)

«Вот она, война в Тихом океане».

(В воздухе запылал японский самолет. Кувыркаясь, падает в воду. Фонтан воды. Второй несется прямо на корабль. По вертикали. Так, как объяснял офицер. Мимо. Столб воды. В воздухе взрывы, взрывы американских снарядов. Пожар на корабле. Солдаты спасаются. Прыгают в лодки. Кувыркаясь в дыму, падают и падают самолеты камикадзе.)

Океан прибил к берегу трупы.)

«А ведь это были люди. Такие, как мы с вами. С таким же живым телом и видящими глазами. У них были жены и дети, как и у нас с вами».

(Японские женщины, кланяясь, берут у офицера белые коробки с прахом убитых.)

«То, что осталось от мужа, брата, любимого. То, что осталось».

(Большие ножницы отрезают косу.)

«Эта девушка решила отречься от всего мирского и стать христовой невестой».

(Девушки-монахини принимают облатки причастия.)

«У меня нет никакого права сомневаться в том, что все эти сестры во Христе верят в бога и хотят людям добра. Но если бы только знали они, какие страшные преступления совершаются сегодня, сейчас именем креста господня».

(Пылает огромный ку-клукс-клановский крест.)

«Сжигайте негров и всех, кто заступается за негров».

(Два кукуклуксклановца вытаскивают из машины негра. Тащат убивать. У горящего креста ждет третий кукуклуксклановец с факелом.)

«Негр не человек, он черный».

(Гитлер.)

«А это бог фашистов. И первой заповедью этого бога было «убий». Только немец, только ариец человек».

(Раздеваются пленные. Взрослые, дети, совсем маленькие дети.)

«Уничтожайте евреев. Сжигайте в печах. Мужчин, женщин, детей! Они же не люди, они семиты».

(Идут фашистские танки.)

«Бейте поляков, белорусов, украинцев, русских. Они не люди. Они славяне. Только ариец человек».

(Идут русские дети по полю.)

«Кончилась война. Вот уже больше четверти века поет жаворонок над мирными полями Европы».

Но война идет. Циничная, ничем не оправданная, никому не нужная.

(Горит лес, горят дома. Морской десант американских солдат. Летят самолеты.)

«Нет, она нужна американскому капиталу. Растут акции военной промышленности. Помните слова Маркса: „Капитал источает из всех своих пор кровь и грязь. С головы до ног“».

(Американский солдат пытается электричеством вьетнамского партизана. Другого партизана топят в реке на глазах его жены и маленьких испуганных детей.)

«Эти кадры сняты кинооператорами Японии. Как это может быть? Но это есть и этого не должно быть. Не должно быть войны никакой, ни атомной, ни неатомной. Не должны люди делиться на черных и белых. Не должны деньги владеть людьми. Нельзя больше позволять издеваться над человеком».

(Крупные лица: мужчины, девушки, другого мужчины, еще лицо девушки, лицо старика.)

«Потому что у каждого жизнь одна и второй не будет. И каждый должен иметь равное со всеми право на счастье с самого детства».

(Бежит голенький мальчишка по песку. Смеется. Бежит группа веселых смеющихся ребят.)

«Так будет. Так будет во всем мире: не сегодня, значит, завтра. И чтобы это завтра пришло скорее, каждому надо знать и помнить. Сегодня, сейчас горит земля. И плачет мальчик».

(Горько рыдает маленький мальчик, вытирает слезы кулачками и опять кричит и кричит.)

Крика не слышно, потому что кадр не озвучен и озвучивать его было нельзя. И так очень больно и страшно за мальчика. Это ведь не инсценировка, не художественный фильм. Это правда. Очень страшная правда. От нее не спрячешься.

Чудо на Садовой-Самотечной

Как мы ни радовались нашему новоселью на площади Маяковского, как ни считали наш новый дом прямс-таки дворцом после подвала на улице Воровского, но настало время, когда мы почувствовали, что и тут нам тесно. Некуда складывать декорации, а их уже накопилось порядочно, негде расположиться мастерским.

Брожу по Москве, смотрю на разные дома и думаю, какой бы нам дом подошел. Может, этот? Может, этот? Особенно подходящим казалось недостроенное здание на Садовой-Самотечной. Строилось оно для театра-студии Станиславского, но Станиславский умер и строительство замерло. На крыше выросла березка, а в нижнем этаже расположились театральные мастерские и контора Москонцерта. Желаящих достраивать здание не нашлось. По простой причине. Для профессионального театра оно не годилось. При великолепной сцене — двадцать метров на десять — очень маленький зал. Всего на пятьсот мест. Нерентабельно. Вот и предложили этот театр нам. Это, что называется, повезло.

Реконструкцией и перестройкой занялись архитекторы Уткин и Мелихов под руководством Шевердяева. Зал нам очень хорош, больше не надо. А сцена велика. Ее перегородили по продольной оси, и получились две сцены, смстрящие в разные стороны. К этой второй сцене спроектировали и построили второй зрительный зал на двести тридцать мест для детей и второе фойе.

Лучше не придумаешь. Днем, когда в малом зале идет детский спектакль, можно репетировать в большом зале. Вечером, когда в большом зале идут спектакли для взрослых, можно репетировать в малом. Сцены-то у них одинаковые.

Вы не можете себе представить, как интересно вместе с архитекторами сочинять театр, а потом вместе со строителями каждый день его строить.

Захотелось сделать зрительный зал с раздвижными стенками — и мы его сделали; захотелось сделать в этих стенках открывающиеся раздвижные окна, чтобы можно было, если захотим, весь зал, всех зрителей окружить куклами, — и это сделали. Захотели сделать на фасаде часы с куклами — и скульпторы Шимес и Шаховской спроектировали нам такие часы, а конструктор Кальмансон выдумал их конструкцию, и на фасаде у нас появились огромные часы. Четыре

метра на три. В центре циферблат с золотыми стрелками и золотыми цифрами. Сверху большой петух с золотыми перьями, с золотым гребнем и золотой бородкой, а вокруг двенадцать железных домиков с золотым орнаментом. Каждый час бьют часы, поворачивается петух, хлопает крыльями, поет на всю Садовую, открывается домик, и из него выходит кукла. А в двенадцать часов открываются все двенадцать домиков и выходят все двенадцать кукол: медведь, козел, сова, ворона, заяц, лиса, обезьяна, кот, баран, поросенок, коза и волк. Играет музыка «Во саду ли, в огороде», а куклы танцуют.

И хотя театр был готов даже раньше срока, мы не открывали его, пока не были готовы часы. Я имел тогда юридическое право определять сроки открытия, так как уже больше двадцати лет совмещал две должности — директора и главного режиссера.

Честное слово, быть директором куда легче, чем быть под директором.

Перепутаница

Для того чтобы у меня появился внук, нужно было, чтобы мой сын Алексей женился. Что он и сделал. Я сам отвез его жену Галю в родильный дом, где она благополучно родила сына Петю, моего внука.

Но затем, как это нередко теперь случается, сын мой развелся, женился на Юле и еще родил сына. Сережу, моего второго внука. Галя же вышла замуж за Глеба Борисовича. У Пети получился помимо отца еще и отчим.

Общественное мнение сейчас не очень осуждает такие семейные катаклизмы, хоть и не очень приветствует. Но когда я приезжаю в гости к сыну, его вторая жена, Юля, звонит первой жене, Гале, и говорит: «Галя, приезжай к нам, дедушка приехал» — и Галя приезжает, причем Галин муж Глеб Борисович ничего против этого не имеет.

Единокровные, но не единокровные братья дружат и ощущают себя нормальными братьями. Старший брат, то есть первый сын моего сына, женился. Была свадьба. Он химик, только что окончил университет, и гостями были в основном его сокурсники. Пировали в саду на даче родителей невесты. Веселая молодая свадьба.

Тамада Глеб Борисович, второй муж первой жены моего сына, поднял тост за здоровье родителей жениха. Встали мой сын и его первая жена, то есть жена тамады. Алексей налил бокал и сказал: «Так как полжизни Петя прожил с Глебом Борисовичем, значит, Глеб Борисович исполнял отцовские обязанности. Пусть тоже встанет». А Галя (первая жена сына и мать жениха) сказала: «Так как летом Петя жил обычно у отца, то есть у Юли, пусть и Юля встанет». Получилось у Пети четверо родителей. Гости смеялись и кричали «ура».

У Пети (он уже кандидат наук) и Любы (это его жена) родилась дочка Анечка, а Сережа (он архитектор) тоже женился (на Наташе), и у них родился сын Алеша. Анечке из-за границы я привез коляску, но ей уже теперь стукнуло два года, и поэтому коляска перешла к Алеше.

Обе бабушки, и Галя и Юля, продолжают дружить, и часто обеих можно встретить и у внучки и у внука. У моих, так сказать, правнуков.

И никаких комплексов.

Золотая Звезда

1971 год, 5 июля. Мне семьдесят. Возраст, можно сказать, приличный, хотя я, по правде сказать, не очень-то его замечаю. Разве вот только лень бывает за гуфлями под кровать лезть, а в остальном все в порядке. На улице, на тротуаре обычно я прохожих обгоняю, редко кто меня, разве уж если кто шибко торопится.

Седой я абсолютно, целиком белый, но понимаю это только тогда, когда бреюсь и в зеркало гляжу, а в остальное время не думаю, что седой, и не думаю, что старый.

Вечер. Сажу один в квартире. Читаю довольно скучную театроведческую статью в журнале. Жена на даче. Кукушка прокуковала восемь раз.

Звонок по телефону. «Сергей Владимирович?» — «Я». — «В девять включайте телевизор. Объявят, что вы Герой Социалистического Труда». — «Кто говорит?» — «Не важно, кто... Из «Известий». — «Разыгрываете?» — «Ничего я не разыгрываю, не хотите включить — не включайте. Завтра в газете прочтете. Мы сейчас текст в набор сдали».

Положил трубку. На всякий случай включу. Надо жене на дачу позвонить. Пусть и она включит. И сыну позвоню.

Если действительно это правда, так начнут меня разные знакомые поздравлять по телефону. Надо приготовиться. Достал из шкафа недопитую бутылку водки и рюмку. Поставил и то и другое в передней у телефона, а сам в кабинете смотрю телевизор.

Девять часов — «Новости». Уборка колосовых на Украине. Интересно, конечно, но это не про меня. Рекордная добыча угля в Донбассе. Тоже интересно, но тоже я тут ни при чем. Разыграли, конечно, меня. Нет, погодите. Кажется, не разыграли.

Очень красивым баритоном диктор говорит: «Указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Социалистического Труда (неужели про меня?) с вручением медали «Серп и Молот» главному режиссеру Центрального театра кукол (про меня!) народному артисту СССР Сергею Владимировичу Образцову (быть не может!) за выдающиеся заслуги в развитии советского театрального искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения».

В передней звонит телефон. Наливаю рюмку и снимаю трубку. Жена. Не меньше меня и удивлена и рада. Чокнулся с трубкой и только успел налить вторую рюмку, снова трещит телефон. Сын. Опять чокнулся с трубкой. Звонок в дверь. Дочь пришла. Просто так пришла. Проведать. Я ей говорю, она не верит. Телефон. «Возьми трубку!» Взяла и хохочет, говорит: «Давай и мне рюмку».

Звонок за звонком, звонок за звонком... И родственники, и знакомые, и совсем незнакомые. Пить некогда.

И вот что удивительно, даже невероятно. Ведь еще ни один актер, ни один режиссер ни драмы, ни оперы, ни балета Героя не получал. Кукольник получил первым. Чудо. Просто чудо.

На следующее утро брился. Смотрел в зеркало. Лицо как лицо. Ну ничего нет в нем героического.

Золотая Звезда! Подумать только!

Кому он нужен, этот Васька?

Я получаю очень много писем. Чересчур много. Вероятно, потому что моя физиономия слишком часто появляется на экране телевизора. Я в этом не виноват. Само собой так получается. Снимают для телевидения наши спектакли — неизбежно перед началом передачи я говорю какие-то вступительные слова. В «Мире животных» тоже несколько раз о чем-то рассказывал, потому что очень люблю и собак, и рыб, и голубей, и канареек. Даже лягушек люблю. Да еще в чьих-нибудь юбилейных чествованиях попадаешься. Вот и получается много.

А человеку, физиономия которого часто возникает на экране, обязательно пишут. Особенно актерам да актрисам. Профессия-то у них, так сказать, душевная, а людям часто нужно излить кому-нибудь свою душу, посоветоваться по какому-нибудь волнующему вопросу. И взрослым и подросткам нужно.

«Я прошу маму, чтобы она подарила мне собаку, а она не хочет. Напишите ей, пожалуйста, она вас послушает».

«Ребята говорят, что счастье — это благополучие, а я говорю, что счастье — это борьба. Напишите, кто прав».

«Что мне делать? Муж моей дочери пьет и ругается матом при ребенке, а уйти я не могу. Не могу жить без внука».

«Напишите, пожалуйста, что, певица Образцова — это ваша дочь? Мы поспорили. Я говорю — ваша».

«Папа подарил мне рыбок гуппи. Напишите, чем их кормить и как часто надо менять воду».

«Посылаю вам мое стихотворение, прошу напечатать в каком-нибудь журнале».

Стараюсь отвечать на все письма, кроме явно графоманских (такие тоже попадают). Но бывает так, что ответить нельзя. Надо, да нельзя.

Прислала девочка письмо и пишет, что подобрала на улице маленького котенка, назвала Васькой, накормила, уложила на тряпочку спать и пошла в школу. Вернулась — и в канаве увидела своего котенка с отрубленной головой. Прибежала к маме, а та сказала, что это она сделала. «Кому он нужен, этот Васька?»

Вот девочка и пишет: «Что мне делать? Я не люблю маму».

Как тут ответишь, хоть и адрес есть на конверте. Прочтет мама, и девочке будет совсем плохо. А вопрос-то серьезный. Нужен этот Васька или не нужен?

Рассказал я об этом кинорежиссеру Владимиру Рытченкову, и мы решили ответить кинофильмом. Нужна ли людям дружба с животными? И детям и взрослым?

По телевидению я рассказал о письме телезрителям. Только сказал, что это мне мальчик написал про котенка. Для того чтобы мать девочки, увидев фильм, не избилась свою дочь. (Сейчас если и догадается, то дочка-то небось и сама мамой стала.)

Рассказал телезрителям про эту детскую трагедию и попросил их написать мне, у кого какие есть животные, за что они их любят, какие они знают случаи жестокого обращения с животными и что они по этому поводу думают.

Получил четыре тысячи писем. Прочитали мы с Рытченковым четыре тысячи, разобрали по темам и определили адреса, по которым надо ехать съемочной группе и снимать тех людей, которые нам написали. Долго ездили и снимали. Задавали разным людям вопросы, и они сразу, глядя прямо в камеру, отвечали.

Получилась сумма интереснейших монологов. Литературно часто довольно корявых и даже иногда не очень грамотных, но всегда абсолютно искренних и правдивых. Очень часто рядом с этими людьми были их любимцы.

Нашла женщина в лесу в канаве маленького лосенка, выкормила — и стал он большой лосихой Ласочкой.

«Сколько слез пролила, все растила, растила (большая лосиха стоит рядом и тычется мягкими губами в хозяйкино плечо). Бывало, уйдет в лес, думаю — заблудится, здесь ямы такие большущие с водой, они два метра глубиной, думаешь, утонет. (Лосиха ушами шевелит, будто слушает.) Волоку, волоку из кустов, и плачу, и бранюсь всякий раз, а она маленькая, ну чего понимает? Глупая же совсем, нисколько не понимает. (Лосиха прямо на аппарат смотрит, а потом повернула голову и опять на хозяйку глядит.) Так и выросла у нас Ласочка, хорошая, большая, послушная. Она у нас умница. (Лосиха совсем близко к хозяйке подошла и все в плечо тычется.) Ласочка ты моя!»

Снимали мы этот эпизод в деревне Псковской области. Колхозницу зовут Вера Александровна Пушкина.

Вот вы и спросите у Веры Александровны, нужна ей Ласочка или не нужна.

Комната в старом ленинградском доме. В кресле сидит старая женщина, держит на коленях маленькую собачку и тихо рассказывает зрителям (потому что говорит-то она мне, а я стою сзади киноаппарата) о том, что эта собачка — ее друг, что она делится с ней всеми своими мыслями.

Когда Варвара Дмитриевна Черняховская выходит с собачкой на улицу погулять, то часто от прохожих слышит: «Лучше бы с внуком гуляла», «Дама с собачкой». А не знают они, что эта «дама с собачкой» всю первую мировую войну, когда ей девятнадцать лет было, проработала в полевых госпиталях сестрой милосердия, а во вторую мировую, Отечественную войну... «Я ушла на фронт. Пять лет пробыла на фронте, вернулась после победы из Берлина и снова поступила на работу. Через пять лет в один год я потеряла своего мужа и единственного дорогого сына. После их смерти я осталась совершенно одна. И мне принесли несчастную, брошенную собачку. И я, конечно, приютила ее у себя и бесконечно рада, что я ее взяла. Она скрашивает мое одиночество, доставляет мне много радости. Она утешает меня в тяжелые и грустные моменты моей жизни. Она понимает меня. Встречает меня всегда лаской, старается не отходить от меня и, мне кажется, понимает все, что я переживаю. И если бы она могла говорить, она много бы мне сказала хороших слов».

Так кому нужна эта ее собачка? Ей нужна. Бесконечно нужна. Есть, не знаю, кем сочиненный, романс «Вот вспыхнуло утро». Родился он после огромного успеха чеховской «Чайки» в Художественном театре. И сюжет романа повторяет сюжет пьесы.

Есть в этом романсе такие слова:

Но что это! Выстрел. Нет чайки прелестной.
Она умерла, трепеща в камышах.
Шути ее ранил охотник безвестный.
Не глядя на жертву, он скрылся в горах.

Вот так же, какая-то сволочь — «охотник безвестный», — идя по улице, взял и выстрелил в собаку. И, «не глядя на жертву», скрылся. Только не в горах, а на улице Омска.

Собаку любили все дети дома, во дворе которого она жила. Мы оттуда и письмо получили. Снимать было трудно и монтировать больно, да и зрители нашего фильма плачут, потому что прямо с экрана дети смотрят в зал и не могут говорить без слез. Не хотят плакать, а подбородки трясутся. «Когда мы пришли с демонстрации, тетя Валя сказала, что Шарик ранен. Я пошла за дом...» Дальше девочка говорить не могла. Мальчик говорит: «...до этого он меня спас. Тоже Первого мая было. Мы с ребятами пошли купаться на озеро. Маму не спросили, я еще плавать не умел. Залез первым в воду. Тут песок подо мной провалился — и я в яму. Начал кричать, тонуть. Тогда Шарик ко мне подплыл. Я его схватил за шерсть, и он меня вытащил. Когда я увидел, что Шарик ранен...» И он дальше тоже не мог говорить. Говорили потом и мальчики и девочки. Говорили и плакали, а одна девочка, самая маленькая ничего не могла сказать. Пыталась, пыталась, да не вышло. Только терла глаза.

Шарик умер. Так кому он был нужен этот Шарик?

Детям нужен. Бесконечно нужен. Это трагедия добрых. А человек должен быть добрым. Иначе другие не могут жить.

С детства воспитывается дсброта, с самого раннего детства. Конечно, не каждый мальчишка который мучает котенка, станет бандитом, но каждый бандит начинал с этого. Не бывает так, чтобы человек жил добрый-добрый, а потом в сорок лет ударил ночью на бульваре молотком старушку, чтобы снять с нее часы. Может это сделать только тот, у кого атрофировано чувство жалости.

В старой русской деревне не говорили: «У нее хороший сын. Он мать любит». Говорили: «Хороший сын. Он мать жалеет». Любовь без жалости — не любовь. С детства эта жалость воспитывается. С году, если не раньше.

И безжалостность — атрофия биологического чувства жалости — воспитывается тоже с детства. Яснее всего это проявляется по отношению к слабым, по отношению к животным. Доказательство тому — кадры из нашего фильма.

Разговорился я как-то на эту тему с одним следователем, а он сказал, что у них в тюрьме сидят три молодых уголовника, у которых эта вот самая безжалостность, как он понимает, как раз от мучительства животных и развилась и в конце концов привела к преступлению.

Мы с Рытченковым пришли в камеру и спросили: «Так это у вас произошло?» Они сказали: «Так». Мы сказали: «А можете вы про это кинозрителям рассказать, чтобы другие по вашей дороге не пошли?» Они сказали: «Можем».

И спокойно, будто ничего особенного в этом нет, прямо смотря с экрана в глаза кинозрителям, говорят.

Один: «Я издевался над животными. Любил, когда они, ну, кричат там, когда кровь у них льется, любил кошек ловить. Поймаю ее и или порежу, или пушу там в речку и стреляю по ней из ружья».

Другой: «Пришли ребята ко мне, сказали: «Давай собаку спалим». Ну, привели тут же собаку, привязали, облили из ведра бензином полностью, запалили, ну, она сгорела».

Третий: «Мы любили ходить на кладбище, у нас кладбище рядом, через забор перелезть — и кладбище. Ну, мы любили поймать кошку, привязать ее к кресту, в виде как распятие, и стреляли из рогаток, выбивали глаза, ну, куда кто попадет, нам это нравилось».

И снова первый заключенный: «Я избил человека, ну и попал в тюрьму».

С детства воспитывается и безжалостность и жалость. Мамы и папы, научите ваших детей любить все живое, научите жалеть слабого.

И решил я написать эту ступеньку, потому что недавно закончился судебный процесс и состоялся суд над тремя молодыми, но вполне взрослыми людьми, которые в городе Видном, украв сенбернара, перочинным ножом сдирали с него с живого шкуру, чтобы дать скорняку на изготовление шапок. Уверен, что любой из них легко убьет или искалечит человека. Тюрьма может наказать их, и с испугу они поостерегутся делать то, что делали, но вылечить их уже невозможно. У них атрофия жалости, а это неизлечимо.

Вот про это, про воспитание доброты, мы с Рытченковым и сделали фильм.

Этот Васька нужен. Очень нужен, все равно, кто он — котенок, щенок, канарейка или даже рыбка в аквариуме.

Мария Анжелес Эстеве

Вместе с театром был я в Испании. Память глаз хранит красоту Мадрида, а Толедо так прекрасен, так удивительны стены его крепости, его улицы, церкви, что кажется просто чудом. Прадо — одна из лучших картинных галерей мира. Такого собрания Эль Греко нет нигде.

А что же хранит память чувств? Бой быков? Нет. На корриду я не ходил. Не хочу смотреть и ждать, кто кого убьет. Бык человека или человек ни в чем не повинного быка.

Нет, в памяти чувств — деревенский двор. Работница чулочной фабрики в Барселоне Мария Анжелес Эстеве. Позвала нас в гости

в свою деревню. Устроила прямо-таки пир, пригласив всех своих соседей. Так было прекрасно, так дружно — рассказать невозможно. Уже сколько лет переписывается она с моей женой. Последнее письмо пришло совсем недавно. Вот оно в переводе на русский:

«Дорогие друзья Ольга и Сергей!

Я получила вашу красивую открытку и очень вас благодарю. Я очень огорчена вашей простудой и очень надеюсь, что вы теперь уже здоровы.

Дорогая Ольга! Я вас очень люблю всегда, но, когда я получаю ваши письма, я вас люблю еще больше и я себя ругаю, называю плохой женщиной, потому что давно не писала. Извините меня!

Я рада, что ваш театр имеет хороший успех во всем мире. Я мечтала каждый день приехать, чтобы повидать вас, но теперь это трудно, потому что я купила себе машину в рассрочку, то есть я выплачивала четыре года, и я думала, что совершу путешествие в Москву, чтобы вас увидеть, но, к несчастью, когда я почти выплатила всю сумму, какие-то воры ее забрали и не знаю зачем сожгли, и когда я ее нашла, почти ничего не осталось от этой машины, которую я купила с такими мечтами.

Но... я не грущу. У меня еще есть мои друзья, и я могу надеяться, что мы опять когда-нибудь встретимся, не так ли?

Дорогая Ольга, я не хочу говорить вам до свидания без того, чтобы поздравить вас с Международным днем женщины. Я узнала об этом дне от вас, и теперь о нем начинают говорить и в нашей стране.

Итак, дорогие друзья, я желаю вам хороших гастролей и жду поскорее ваших новостей.

Ваш друг, которая вас любит,— Мария Анжелес Эстеве».

Преступное наслаждение

В Индии — то ли в Дели, то ли в Джайпуре, сейчас уже не помню, в каком городе,— молодой индеец зарабатывал деньги тем, что рисковал жизнью. За риск ему платили разнообразные иностранные туристы в шортах и пробковых шлемах, с фотоаппаратами в руках, платили рупиями или центами.

Индеец забирался на высокую, многометровую кирпичную стенку, то ли монастырскую, то ли крепостную, и прыгал с этой стены в выкопанную под стеной яму метра два на два в квадрате, наполненную водой. Прыгал вниз головой. Отпихнись он ногами чуть сильнее или чуть послабее — и промах неизбежен. Тогда смерть. Череп такого не выдержит.

Я не осуждаю этого парня. Жить-то надо. Ну а те, кто платит ему за это, считают себя благодетелями. Дали заработать бедному человеку, а по существу — они просто сволочи. Им интересно, промахнется он мимо ямы или нет.

Когда он выныривал из грязной воды, они весело аплодировали. Молодец, не промахнулся. Удивительно. Уандерфул.

На таком вот зрительском интересе к чужой опасности или к чужой боли построено много зрелищ в разных странах. В Нью-Йорке по телевидению видел организованные на стадионе автомобильные катастрофы. Автомобили наезжали на косую платформу, откуда падали, кувыряясь, налетали друг на друга, загорались, взрывались. И из них вытаскивали обожженных водителей. Зрители переполненного стадиона вскрикивали, вскакивали, хватались за головы, но никто не уходил. Ведь за наслаждение чужой опасностью, чужим риском, чужой болью они загладили деньги. За даром, что ли? Знали, за что платят, знали, на что идут смотреть. Преступление это. Порождающее такие зрелища, делающее их рентабельными.

Два раза я был в Испании. Ни разу не пошел на корриду. Не хочу смерти ни тореадору, ни несчастному быку. Один раз видел корриду в Мадриде по телевизору. Отвратительное, безнравственное зрелище. Преступное наслаждение.

Папа

28 ноября 1949 года в железнодорожной больнице на окраине Москвы умер от рака мой отец. Было ему семьдесят четыре года. За несколько дней до его смерти мама привезла в больницу шампанское, и они отпраздновали свою золотую свадьбу. Пятьдесят лет. Папа выпил несколько глотков. Последние, самые последние слова он сказал маме: «Держи себя в руках».

Он очень любил маму. Всю жизнь любил. Это была его первая и единственная любовь. И мама его любила. Всю жизнь.

У нее было очень слабое здоровье. Она часто болела, а получилось так, что на целых десять лет она пережила папу.

Именем моего отца названы бывшая Бахметьевская улица, на которой мы жили, Институт инженеров транспорта в Ленинграде, в котором он учился, и техникум в Николаеве, городе, в котором он родился.

Похоронен папа на Новодевичьем кладбище. В этой же могиле через десять лет захоронена и урна мамы.

В 1974 году МИИТ (Московский институт инженеров транспорта) отмечал столетие со дня рождения моего отца. Три дня проходила юбилейная научная конференция.

Доклады о деятельности профессора, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, академика, члена президиума Академии наук, директора ее филиала в Коми АССР, генерал-полковника движения Владимира Николаевича Образцова сделали профессор института Никитин и Земблинов, которых я знал еще студентами папы.

И вот только на этой конференции я узнал, каким большим ученым был мой отец. Вот что о нем говорилось: «целая эпоха в транспортно-научной науке», «основоположник научного проектирования железнодорожных станций и узлов», «пионер комплексного развития и комбинированного использования всех видов транспорта», создатель целого ряда транспортных наук, которые стали в дальнейшем факультетами и даже учебными заведениями. Например, таких наук, как промышленный транспорт и городской транспорт, включающий все его виды, что до моего отца никогда не изучалось комплексно. По его проектам построены станции и узлы в Никитовке, Вязьме, Вологде, Запорожье, Нижнем Новгороде, Сызрани, Рязани, Саратове, Москве, Магнитогорске, Баку, Свердловске, Ташкенте.

И еще я узнал, что начальник московско-архангельского жандармского управления 4 декабря 1906 года докладывал департаменту полиции: «Образцов Владимир Николаевич, инженер в техническом управлении службы пути, член стачечного комитета, опасный агитатор. Сообщено охранному отделению».

Так вот, значит о чем рассказывал мой папа, когда приехал из Москвы в Потапово и, постукивая пальцами по столу, говорил: «И так далее».

Умер большой ученый академик Образцов. И умер мой папа. Совсем не ученый, совсем не академик. Просто папа, а для моих детей и сына моего брата дедушка.

Умер самый прекрасный человек в мире. Я никогда таких прекрасных, как папа, в своей жизни не встречал. Эталонный человек. Большой, высокий. Предельно добрый. Никогда у него не было плохого настроения, то есть, наверно, было, но он никогда этого не показывал. Не было так, что «папа не в духе». Никогда за всю мою

детскую и взрослую жизнь не было так, чтобы мама с папой поссорились, не разговаривали. В семье моего товарища я видел, как ссорились его родители, а в другой семье слышал, как отец сказал матери: «Не приставай». Я очень удивился. Никогда папа не мог сказать маме «не приставай» или «не мешай». Никогда.

Работать он мог в любых условиях. Для этого ему не надо было ни тишины, ни специального места. Он мог писать на кончике обеденного стола, и тут же могли шуметь и возиться его внуки. Не мешало ему это.

Он всегда напевал или тихо насвистывал украинские песни. Отдыхая, любил читать детские книжки, грызть подсолнухи. Когда днем ложился на кровать, по нему ползали внуки, и он им рассказывал или сказки, которые сам придумывал, или про Мюнхгаузена, про Гулливера, «Одиссею» и «Илиаду».

Когда мы с братом были маленькие, мы тоже по нему ползали, рассматривали инженерские пуговицы с молоточками и топориками, и он нам про них сказки сочинял. Этими топориками гномики дрова рубили.

Ничего он не понимал ни в мебели, ни в цвете обоев, ни в галстуках, ни в носках, ни в костюмах. Всем этим мама заведовала. Брала его с собой в магазин и покупала что надо. Один раз он сам купил соломенную шляпу. Приехал домой в этой шляпе, а у нее на полях цена болтается. Мы, конечно, засмеялись, а он говорит: «Вот почему в трамвае все, глядя на меня, улыбаются. А я-то думал, какие все сегодня веселые». Он был очень рассеянным, а когда мы ему об этом говорили, он, смеясь, отвечал: «Я не рассеянный, я сосредоточенный».

Очень многим людям он денежно помогал, и у нас часто в квартире жил какой-нибудь бездомный студент.

Советскую власть он признал сейчас же и навсегда и, будучи беспартийным, был членом ВЦИКа и дважды избирался ртищевцами депутатом Верховного Совета.

Папа не курил и не пил. Не от ханжества и не «по убеждению». Мог в гостях и водку выпить, но дома у нас ни к обеду, ни к ужину водка не ставилась.

Очень хорошо плавал саженками. Мог Буг переплыть, а под Николаевом Буг шириной больше километра.

В сорок втором и сорок третьем годах получил Государственную премию и все деньги отдал в фонд обороны. На них был построен самолет-истребитель. Летчик Лавренев сделал на нем сто боевых вылетов и стал Героем Советского Союза. Погиб он около Сиваша 26 марта сорок четвертого года. Последнее письмо папе он написал за неделю до смерти.

Удивительный человек был папа. Во время войны правительство ему подарило машину. Он от нее отказался. Сказал — во время войны нельзя барствовать. Только не думайте, что это он «декларировал». Нет, просто так думал, и все. Ханжества тут вовсе не было.

Я как-то сказал: «Папа, у нас слишком много книг, в шкафах не помещаются. Давай продадим, которые не нужны». Папа как-то огорчился даже. «Разве у нас такая профессия — продавать? Если нам не нужны, можем подарить, кому нужны. Зачем продавать?»

Сергей Владимирович Земблинов рассказывал мне, что папины лекции очень любили все студенты, потому что лекции эти всегда были живыми и интересными.

В день папиного семидесятилетия я слушал, как папа в конце его чествования в МИИТе отвечал на адресованные ему приветствия. И тут еще и еще раз убедился в том, что он совсем не видит себя, не думает о том, как он говорит, как выглядит. Очень мало людей не видят себя, не смотрят на себя. Этим свойством обладают только предельно искренние люди.

Рассказывал мне папа, что когда окончил гимназию в Николаеве, то мечтал быть историком. Оpozдал на экзамены и пошел сдавать в Петербургский институт инженеров транспорта, тот самый, которому сейчас присвоено его имя.

Историю папа знал замечательно. Были в моей жизни три дня, когда мы с папой жили только вдвоем в санатории Узкое. Я сказал: «Папа, расскажи мне про первый, второй и третий век. Древнюю историю я более или менее знаю, средневековье тоже, а вот эти века у меня в тумане».

И вот за три дня папа мне рассказал всю историю человечества — и древнюю, и среднюю, и новую. По эпохам, по годам, по странам. Даже всех китайских императоров перечислил.

Как жалко, что я ни в чем не похож на папу. Ни ростом, ни цветом глаз и волос, ни характером.

Теперь я тоже старший в семье. Также дедушка, даже прадедушка. Но разве я могу быть для моих внуков и правнуков таким дедушкой, каким был мой папа?

Вавилонское столпотворение

«Лучше б было, лучше б было не ходить, лучше б было, лучше б было не любить». Все время крутится в голове эта песенка. Лучше б было, лучше б было, если бы моя мама семьдесят четыре года назад не дарила бы мне Бибабошку. Тогда шестьдесят лет назад не сделал бы я негритенка. Значит, не родились бы от него разные другие куклы, и, значит, не стал бы я их показывать на концертах, и не предложили бы мне сорок пять лет назад организовать кукольный театр. И был бы я нормальным художником, писал бы по госзаказам колхозников и ударников труда, иллюстрировал чужие книжки. И никакой суеты.

Конечно, и тогда могли бы быть разные профессиональные волнения. так не такие же масштабные. Самум иначе не назовешь.

Это я, конечно, зря сержусь. Потому что по существу-то это счастье, огромное счастье, вроде итога жизненного пути. Но на самум похоже. Только невероятного масштаба, действительно невероятного.

Подумать только — по всему фасаду нового здания МХАТа порусски, по-немецки, по-французски, по-английски написано «XII конгресс УНИМА». УНИМА — это Международная организация деятелей театра кукол. И вот эти самые деятели, то есть кукольники всех мастей — актеры, режиссеры, художники, драматурги, критики, педагоги, едут в Москву буквально со всех земных континентов. Из Европы, Азии, Австралии, Африки и двух Америк. На самолетах, поездах, автобусах, грузовиках и легковых автомобилях мчатся, летят, плывут, едут. Везут в сумках, мешках, ящиках, контейнерах кукол, декорации, реквизит, световую и радиоаппаратуру.

Я многолетний вице-президент УНИМА и президент Советского центра УНИМА. Так сказать, представитель принимающей стороны, вроде как хозяин, а значит, за все отвечаю, в том числе и за встречу гостей Их много. Очень много. Больше тысячи. Если точно, так 1023, делегаты из тридцати восьми стран мира.

Всех надо встречать. Естественно, что один я их встретить не могу. Встречают члены президиума Советского центра во главе с генеральными секретарями этого центра Ленсрой Шпет и Ириной Жаровцевой (для большинства просто Ирой). Да еще многочисленные помощники из ВТО и Министерства культуры. Важно вовремя быть и в Шереметьевском аэропорту, и во Внуковском, и на перронах московских вокзалов.

Что значит вовремя? И поезда-то часто опаздывают, а уж про самолеты и говорить нечего. Бывает и на час и на пять, а то и на сутки. А встретить надо. Не встретить нельзя. Ну как без нас добе-

дутся до своих гостиниц впервые прилетевшие в Москву из Ганы, Алжира, Нигерии, Шри Ланки, Венесуэлы, Мексики?

С утра до вечера и с вечера до утра приезжают и прилетают. С утра до вечера и с вечера до утра, сменяя друг друга, мы их встречаем. Круглые сутки.

1 июня 1976 года, половина десятого утра, по широкой мхатовской лестнице поднимаются разноязычные, разноплеменные, разноцветные, разно одетые люди. И все веселые. И почти все друг друга знают. По международным фестивалям, по конференциям, по симпозиумам в Лондоне, Париже, Риме, Берлине, Брюсселе, Будапеште, Варшаве.

Хэлло, Джон! Хау ду ю ду, мисс Хогарт! Хау ар ю, мистер Кавадзири! Бон жур, месье Карон! Добре дошли, Николина! Дзень добры, Хенрих! Добр дан, какосте товарищ Станкович! Буоно джорно, синьора Синьорелли!

Огромный зал наливается как-то изнутри все гуще и гуще, а когда налился, то похоже на кипящий гороховый суп, нет, пожалуй, на овощной, потому что лето, хоть и дождь, а тепло и все разноцветно.

Торжественно появился президиум. Зал заплодировал и вышел из берегов. Сели.

Постараюсь перечислить президиум — это важно. Боюсь только кого-нибудь забыть. Итак: Джон Бассел — президент УНИМА и президент Английского центра УНИМА; Хенрик Юрковский (Польша) — генеральный секретарь УНИМА; Царев — председатель Всероссийского театрального общества (ВТО) и вице-президент Советского центра МИТа (Международного института театра); Раду Белиган (Румыния) — президент МИТа; Деже Силади — президент Венгерского центра УНИМА; Маргарета Никулеску — президент Румынского центра УНИМА; Ленора Шпет — генеральный секретарь Советского центра УНИМА; Ули Бальмер — президент Швейцарского центра УНИМА; Ганс Пуршке — ФРГ; Ральф Мезер — ГДР, директор музея театра кукол; Мехер Кантрактор — вице-президент УНИМА и президент Индийского центра УНИМА; Микаэл Мешке — вице-президент УНИМА и президент Шведского центра УНИМА; Молли Фалькенштейн (США) — вице-президент УНИМА; месье Карон — Франция; Николина Георгиева — президент Болгарского центра УНИМА; Кавадзири — президент Японского центра УНИМА; Ян Малик — почетный президент УНИМА; Сергей Образцов (я) — президент Советского центра УНИМА и вице-президент УНИМА.

Пусть простят мне те, кого забыл.

Как вице-президент, я сижу рядом с Басселом и волнуюсь. Мне предстоит сделать доклад об общественном значении театра кукол. Он с середины XX века набирает силы, особенно в нашей стране и в странах социализма. Да и в капиталистических странах кривая все время идет вверх.

У этого много самых неожиданных и интересных причин. Я старательно написал весь доклад. Потом понял, что по бумажке читать не сумею (пропадает азарт, фразы станут мертвыми, литературными), и составил тезисный конспект. Каждый тезис на отдельной бумажке.

Вышел на трибуну, и через три минуты все тезисы полетели к чертовой матери. Не умею я в тезисы заглядывать. Мысль рвется. Но, в общем, все прошло благополучно. Хлопали хорошо.

Можно от эшафота — кафедры — вернуться на свое место, выдохнуть воздух волнения и выпить стакан пузырчатого нарзана.

После доклада отчет генерального секретаря Хенрика Юрковского и ревизионной комиссии. Программа выполнена. Бассел говорит: «Сенк ю, вери мач», зал трещит аплодисментами, потом закипает и с невероятной быстрой выливается в фойе.

Быстрота понятна, начинается международный кросс по пересеченной местности московских улиц. Ведь помимо конгресса есть еще и фестиваль. Кукольные спектакли разных стран, в разных театрах. В 2.30 и 5.30 парижане играют в Театре имени Станиславского на улице Горького; в 4.30 и 8 вечера — эстонцы в Театре имени Ленинского комсомола, а на Садовой-Самотечной, опять-таки в 2.30 и 8 вечера, — поляки. Вот и бегают разноязычные стайки с улицы Горького на улицу Чехова, а оттуда на Самотеку, а другие с Самотеки на Горького, а с Горького на Чехова.

На следующий день на конгрессе заседают секции, а с 2.30 — опять беготня по спектаклям. Те, у кого хватило сил и здоровья, увидели двадцать один спектакль (Москвы, Ленинграда, Харькова, Горького, Фрунзе, Еревана, ГДР, Чехословакии, Румынии, Югославии, Болгарии, Польши, Франции, ФРГ, Швеции, Индии, Австралии, Соединенных Штатов, Японии).

Закончились и конгресс и фестиваль. Последние зрители вышли с последних трех спектаклей. Кукольники разных стран упаковали кукол в баулы, сумки, контейнеры и разъехались и разлетелись по своим континентам.

На последнем заседании конгресса определили город и страну, в которой через четыре года будет следующий конгресс (Вашингтон, Соединенные Штаты), и выбрали новый исполком.

Вот тут-то и произошло неожиданное. По не очень понятным причинам жена Джона Бассела Энн Хогарт, фактическая создательница театра, потребовала от мужа, чтобы тот отказался быть президентом.

Это как гром под занавес... Бассел был прекрасным президентом и хотел им остаться. Плакал, фактически плакал, но сказал, что, если он согласится на президентство, это равносильно разрыву с женой. Ну что делать? Прямо-таки трагедия. И тогда Маргарета Никулеску, представительница Румынии, предложила в качестве кандидата меня. И вообще-то я этого не ожидал, а уж от Маргареты тем более. Это мы потом с ней очень подружились, а тогда мне казалось, что она меня недолюбливает.

И вдруг все успокоились. Бассел кинулся меня целовать, да и другие обрадовались выходу из положения. И стал я президентом УНИМА. Прямо сказать, ни с того ни с сего.

Дон Жуан

Сегодня состоялась премьера «Дон Жуана-76». Почему семьдесят шесть? Потому что сегодня семьдесят шестой год. Значит, наш «Дон Жуан» — не классический, не исторический, а современный. На следующий год мы напишем в программке «Дон Жуан-77», а если он и дальше будет жить, значит, назовется «Дон Жуан-78, 79, 80...». Одним словом, сегодняшней «Дон Жуан».

Прямо-таки на ура прошла премьера. Успех. Настоящий успех с криками «браво». Не знаю, сколько раз открывали занавес, сколько раз кланялись.

Это сатира на мюзикл. Почему мне захотелось высмеять мюзикл? Потому что он стал модой. И в театре, и в кино, и на телевидении. Это плохо. Направление в искусстве может быть и хорошим и плохим. Мода во всяком искусстве, не только театральном всегда плохо. Всегда штамп. А что в искусстве может быть опаснее штампа? Это ведь злокачественная опухоль. Рак. Надо удалять. Я не министр. Административным ножом не владею. Я режиссер и могу делать такую операцию только ножом сатиры. Хороший нож, острый.

Что такое модный мюзикл? Берется какое-нибудь классическое литературное произведение, ужимается до сюжетного примитива, и все время поют. Целуются — поют, убивают — поют, умирают — поют.

Героем мы взяли Дон Жуана потому, что это сверхклассический герой. Даже тот, кто никогда никакого «Дон Жуана» не читал, знает, кто он такой. Это очень красивый мужчина, который губит женщин, отчего они счастливы.

Работал я над этим спектаклем вместе с Владимиром Кусовым. Вы знакомы с ним по другим ступенькам.

Сюжет приключений Дон Жуана сочинили Гарри Бардин и Василий Ливанов, а язык, на котором говорят наши герои, придумал наш актер Зиновий Гердт.

Зачем надо было придумывать этот язык? Дело в том, что особенный успех у молодежи имеют мюзиклы на иностранном языке. Сатира так сатира. Значит, и все герои нашего спектакля должны говорить непонятные слова, чтобы для любых зрителей язык был «иностранным».

А что же тогда поймут зрители? Все поймут.

Что бы ни сказал Дон Жуан донне Анне, по страстности его речи понятно, что он просит у нее любви.

Что бы ни ответила она ему, по покорной влюбленности ее ответа ясно, что она согласна.

Очень интересно мы с Кусовым работали. Весело. Помимо авторов много смешного придумали. Каждая картина получилась как бы самостоятельным видом штампованного мюзикла. Первая картина — пролог. XVI век. Роман с донной Анной, встреча с мстительным Командором (исторический мюзикл). Потом ад. Грешники кипят в котле и поют трагическим хором (мюзикл кошмаров, очень модный жанр). Из ада в современную Америку (детективно-мордобойный мюзикл). Из Америки в Россию (сувенирный мюзикл типа «Березки»). Оттуда в Италию (неореализм). Оттуда в Персию (ориентальный мюзикл). Затем на Таяти (экзотический мюзикл — питоны, страусы, кактусы). Оттуда в Мексику (вестерн). Затем в Японию (трагический мюзикл с харакири оскорбленного мужа). И наконец назад, в Испанию, где преследовавшие Дон Жуана гангстеры его убивают. Спускается ангел и забирает донжуанскую душу на небо.

В финале огромный памятник Дон Жуану. «Загубленные» им женщины кладут к подножию памятника цветы. Женщинам в нашем спектакле он дарил только любовь.

Композитор Геннадий Гладков написал очень интересную музыку и записал ее оркестрами самых различных музыкальных составов (в зависимости от стран). А голос Дон Жуана — это голос любимца советских девушек Михаила Боярского. Ловко он поет. Заразительно. Но у нас даже вестернские лошади поют квинтетом. Мюзикл так мюзикл.

Удача! Это очень хорошо, когда в театре удача. Она к тому же двойная. Спектакль-то получился еще и выездной, заграничный. Больше тридцати стран мы объехали и возили всюду «Необыкновенный концерт» да «Необыкновенный концерт». А теперь повезем и «Дон Жуана». Из-за текстовой абракадабры он для всех одинаково «иностранный».

Сейчас, когда я пишу эту ступеньку, «Дон Жуан-83» уже побывал в Германии, Югославии и Японии, а «Дон Жуан-84» собирается во Францию. Правда, тогда он уже будет «Дон Жуан-85».

Ну что же, если эпидемия мюзиклов не спадет, мы надеемся, что будем играть и «Дон Жуана-90».

Диалектика

Советская власть отобрала землю и усадьбы у помещиков. Это естественно. Но, значит, и у Бабы Капы. А это хоть и логично, а как-то неестественно. Потапово. Мое любимое Потапово. Все детство в нем прошло. И потом, разве это имение? Разве это усадьба? Нет, конечно, имение. Очень маленькое, но все-таки имение. Дальний лес Боронник давно продан. Остается лес Таган. Он растет вдоль речки Гвоздни, сразу за полем и идет до монастыря, до Сухановской пустыни. В усадьбе маленький дом с мезонином, летняя дача, изба кучера Гаврилы с его семьей, конюшня с двумя лошадьми, коровник с двумя коровами. Сарай, в котором стоят дрожки и розвальни. Сад с яблонями и вишнями.

Нет теперь ничего этого. Надо уходить Бабе Капе из своего дома.

Она взяла палку с кривой ручкой и ушла не оглядываясь пешком в Расторгуево. Это недалеко, четыре версты с лишним. Прошла мимо избы, где когда-то жил Гаврила, мимо дачки, мимо березового лесочка, сбегающего от ворот по косогору прямо к Гвоздне, перешла поле с двумя курганами. Прошла через бывший свой Таган, мимо пустыни, в которой уже не было монахов, и пришла в Расторгуево, маленький поселок при станции. Там и поселилась в доме, где жила ее дочь Софья Петровна Волжанская, врач расторгуевской больницы.

Я приезжал к Бабе Капе. Жаль, что редко, надо бы чаще. Ну да теперь это непоправимо. Баба Капа умерла. Встречала она меня всегда очень по-доброму. Никогда о Потапове не говорила и обиженной не выглядела.

Как-то сказала: «Я тебя по радио слышала из Колонного зала. Ты хорошо пел романс «Мы только знакомы», а публика почему-то смеялась. Что-нибудь там случилось с тобой?»—«Да нет, Баба Капа, это я кукол показывал. Там у меня две болонки в это время на ширме хвостами виляют».— «Ну покажи как-нибудь мне».— «Обязательно покажу». Да не пришлось показать. Все собирался приехать, да не успел. Умерла Баба Капа.

Сын Бабы Капиного кучера Гаврилы Вася каждый год собирает у себя дома «внуков Бабы Капы». Он очень любил ее и себя считал тоже внуком. Молодец Вася, Василий Гаврилович. Он полковник в отставке, профессор. кандидат наук.

Приходят к нему мало знающие друг друга «внуки», рассказывают, кто чем занимается, вспоминают Бабу Капу. Больше всех рассказываю я, потому что я старше и помню больше.

Помню столовую. Стены ее из смолистых обтесанных бревен. Проконопачены паклей между бревен. Пакля — как скрученные серебряные валики.

Круглый обеденный стол, обитый клеенкой. Такой же стол, только куда шикарнее. я видел потом в доме Репина.

Центр стола вертится, и вокруг этого центра широкая полоса. На ней тарелки ложки, ножи, вилки. На вращающемся кругу хлеб, соль, масло, молско. Хлеб домашний — потаповский. Очень вкусно. И молоко свое в крынке. Если кто чего хочет, верти круг — и все к тебе придет.

Жена кучера Гаврилы, Васина мама, Аннушка приносит суп. Баба Капа наливает тарелку и ставит на круг, а тот, кому тарелка адресована, вертит ее к себе.

Поэт Эллис, Лева Кобылинский, дурит. Ногой останавливает круг, говорит: «Где сидит Лева, там станция Бирюлево» — и забирает себе чужую тарелку.

После обеда Баба Капа убирает все со стола, сажает меня посередине прямо под керосиновой лампой, которая висит над столом, и катает на круге. Это обязательно.

Я расту. Мы с дядей Левой ходим на курганы, и он мне там рассказывает страшные сказки. Я же говорил, что он поэт.

За обедом и ужином собираются все герои чеховского «Вишневого сада» и «Чайки». Вот я сейчас перечислю сидящих: дочери Бабы Капы — теть Соня и теть Вера (теть Соня — врач, теть Вера — агроном), моя мать — городская учительница, мой отец — инженер, его институтский товарищ, тоже инженер, Леонид Красин, будущий нарком путей сообщения, теть Маня Дурасова, племянница Бабы Капы, молодая актриса Художественного театра. У Дурасовых имение на Пахре. В нем вишневый сад. Они имение продали, и новый хозяин вишневый сад вырубил. На сцене, где играет Маня, тоже рубят вишневый сад. Ну чем не Чехов?

Нет теперь ничего этого. Ни Потапова нет, ни Бабы Капы. Только что же получается? Коли не наступила бы советская власть, не ушла бы и Баба Капа из своего имения, но ведь тогда и Вася не был бы ни профессором, ни кандидатом наук.

Об этом никогда никто из «внуков» не говорил на встречах у Васи, а я всегда думал об этом.

Я очень любил Бабу Капу, очень любил Потапово, но диалектическая правда в том, что надо выбирать либо Потапово, либо судьбу Васи. Не одного Васи, а всех детей кучеров и кухарок.

Голуби

Голуби. Опять у меня, как в детстве, голуби. Много голубей. Сто двадцать. Шестьдесят пар. В детстве больше шести-семи пар не было.

Замечательная голубятня на столбах. Во втором этаже гнезда вроде шкафиков с отделениями. На третьем этаже большой выгул. Десять квадратных метров. С хитрым вылетом. Выпущу утром всех голубей, кроме, конечно, тех, что на яйцах сидят, налажу вылет так, что войти в голубятню могут, а выйти не могут. Как это устроено, долго объяснять, тем более что у большинства из вас, читателей, голубей нет, значит, вам это ни к чему, а у кого есть, те и сами знают, как это устроено.

Разные у меня голуби. Я постараюсь породы перечислить голубятникам на зависть. Павлины белые и черные. Грудь надутая, голова затылком на спине лежит. Хвост веером. (На Всесоюзной выставке — золотая медаль.) Драконы черные и белые, шеи длинные, вокруг глаз и на клюве наросты (серебряные медали). Карьеры — коричневые, шеи еще длиннее, а наросты еще больше. Якобины — коричневые, с такими шалевыми воротниками, что только клюв торчит, а голова вся в воротник ушла (на модную даму похоже). Чайки с такими коротенькими клювами, что выкормить детей они не могут (их «кормилки» выкармливают. Я им от чаек яйца подкладываю.). Снегири архангельские, бронзовые, с черными крыльями. Жаворонки с розовой грудью (мне их в Германии подарили). Варшавские — «ясные», светло-светло-серые, с длинной шеей и узкой головой (замечательные летуны). Римские, я их в Брюсселе на рынке купил. Огромные голуби (крылья в размахе — метр). Чергаши березовые, с удивительными по графике рисунками на крыльях. Мне они по наследству достались от умершего дворника на улице Чехова. Неповторимый был человек, прямо-таки поэт голубиный.

Были у меня, конечно, и чернохвостые монахи и краснохвостые монахи, ленточные, палевые, черно-чистые, красно-чистые, а в общем, сто двадцать летунов. Значит, по крайней мере пятьдесят — шестьдесят в небе.

Непередаваемое счастье. Свободные, вольные, красивые, счастливые, а мои, мои. Все прилетят, сядут на крышу голубятни, потом по очереди на приполк. Прощелкают сквозь проволочные прутьки хит-

рого окошечка и войдут в голубятню. Я по лестнице туда же. Протяну ладонь с подсевом, и будут они доверчиво клевать с моей ладони зерно.

Надо все гнезда просмотреть, где на яйцах сидят. Подсунешь руку под голубя или голубку — они по очереди сидят, — а она или он гудит, сердится, клюется. Осторожно надо. Только ведь посмотреть, как там с яйцами дела. Может, уже проклюнулись голубята.

А на десятый день на лапку голубенку надо осторожно кольцо надеть с номером. Радость.

Только вот беда. Враги голубиные неизвестно когда с неба свалятся — ястреб, сокол.

Один раз при мне ястреб в небе на партию мою голубиную налетел. Ну, естественно, голуби сразу вверх. Снизу он схватить не может. Якобин замешкался, да и вообще якобины летят хуже, чем чистые, варшавские и монахи. Я видел, как вытянулись ястребиные лапы, как полетели перья, как взмыл ястреб вверх и скрылся за березой.

Потом в овраге за дачным участком под елкой я нашел много коричневых перьев и целое крыло моего якобина. Значит, ястреб его тут же или съел, или от перьев очистил и в свое гнездо своим птенцам отнес.

А один раз налетело сразу пять соколов. Под осень. Это, наверно, вся семья соколиная — и мать, и отец, и дети. Голуби на крыше голубятни сидели. Сразу все врассыпную. Один сокол за монахом погнался. Тот от него зигзагами вдоль лужайки и в перелесок. Сокол за ним, догнал, конечно.

Остальные голуби уже в небе. Почти в точки превратились и там целый час круги делали. Потом все ниже, ниже. Еще, наверно, с полчаса кругами спускались.

Когда, щелкая окошечком, вошли в голубятню, я их сосчитал. Кроме монаха, еще четверых недосчитался: ленточного, варшавского, черного дракона и чайки. На следующий день вернулись дракон и варшавский, через день — якобин и чайка, а на пятый день, смотрю, в купалке монах ванну принимает. Брызгается. Не догнал его, значит, сокол в перелеске. Да и понятно — размах крыльев у сокола куда больше, чем у голубя. Значит, монах легче между деревьями шнырял.

Все хорошо, да вот только появились у меня на лбу какие-то красные пятна. А потом начала и температура подыматься. Утром пойду в голубятню, а вечером 39,5, и трясет как в малярии. Зубы стучат. Ни под каким одеялом согреться не могу. Аллергия. Аллергологи — странные врачи. Один у них способ лечения. Устранить аллерген. От кошки аллергия — убрать кошку. От книг — убрать книги. Говорят, у одного больного врач установил аллергию от жены. Наверно, они с мужем друзьями были.

Ну а у меня и устанавливать нечего — от голубей. Убрать голубей.

Подарил я все сто двадцать друзьям-голубятникам. Настоящим знатокам-любителям. Поручить кому-нибудь продать на Птичьем рынке, хотя это и деньги большие, не хотелось. Мало ли они к кому попадут, мои варшавские, чайки, драконы, карьеры. Мало ли кому достанутся.

Сижу я сейчас на даче, смотрю в окно на мою пустую голубятню, на пустое небо, и, конечно, мне не очень весело.

Недавно был в Ленинграде. Жил в гостинице против вокзала. Уезжал в Москву. Перешел площадь. Вечер. Солнце зашло. Посмотрел на небо, а там восемь голубей поднимаются. Каждый голубь, трепеща, свой кружочек делает. Это высоколетные. Они на четыре, на пять, на восемь часов в небо уходят. Все выше, выше темненькие точки. И вдруг загорелись звездами. Это они уходящее солнце поймали. А потом и звездочки исчезли.

Вот так и мое голубиное счастье исчезло. Только ленинградские-то летуны к утру вернутся, а мои давно в чужом небе летают. Под моими облаками их нет и не будет. Жалко.

В Японии

Два раза гастролировал наш театр в Японии. Два раза по два месяца. Мы играли в четырнадцать городах. Проехали на автобусах, пролетели на самолетах через всю Японию. От самого южного острова до самого северного. У меня там было тридцать сольных концертов, и на всех моей переводчицей была Муха. Мы так прозвали эту маленькую черноволосую женщину. А настоящее ее имя Комичи. Удивительный человек во всем. Предельно культурна, предельно добра, очень остроумна и очень талантлива. К тому же еще и хороший художник-карикатурист.

Вспоминаю Японию. Первое, что возникает в памяти чувств,— это Муха. Она для меня символ этой удивительной страны, в которой непостижиможивает абсолютно современная передовая техническая культура (лучшие в мире автомобили, лучшие в мире фотоаппараты, лучшая в мире радио- и кинотехника, лучшие в мире телевизоры) с трогательной любовью к традиционному домашнему быту, национальному костюму и чисто японским праздникам: праздник цветения вишни, праздник матери, праздник сыновей, праздник девочек. Может быть, еще я вспоминаю Комичи и потому, что через нее происходили контакты со зрителями. А контакты эти забыть невозможно. Каждый спектакль и каждый концерт, естественно, завершался моими прощальными словами и ответной реакцией зрителей. В Хиросиме я пожелал счастья всем моим зрителям и особенно их детям. Пусть никогда не придется испытать им того, что испытали их бабушки и дедушки! Пусть дети не боятся неба! Пусть с него будет светить солнце и никогда не упадет смерть! И тут вдруг в первом ряду встал юноша и посмотрел на девушку, сидевшую рядом с ним. Девушка смущенно поднялась, и он погладил ее живот. Это была его жена. Беременная. Юноша смотрел на меня и гладил живот своей молодой жены, а по ее щекам текли слезы. Значит, я пожелал счастья еще не родившемуся японцу. Вот и живут в моем сердце Муха и два молодых японца из Хиросимы. Они для меня весь народ Японии, которому я желаю счастья и мира!

Ай лав ю

Палуба прогулочного теплохода. Плышет он по московскому каналу. Солнце, синее-синее небо и белые-белые кудряшки облаков. Медленные зеленые берега.

На палубе стоят, держась за поручни, ходят, сидят на скамейках итальянцы и русские. Пробуют разговаривать неизвестно на каком языке — кто на французском, кто на английском. Мало что получается, и потому в основном молчат и улыбаются.

Русские — это актеры театра, киноактеры, писатели. Итальянцы — это актеры кино, приехавшие на фестиваль итальянского фильма. Пароходной прогулкой по московскому каналу угощает ВОКС — Всеобщее общество культурной связи с заграницей.

В шезлонге, большими глазами глядя прямо в небо и сложив на груди руки, лежит Джульетта Мазина.

Подумать только, сама Джульетта Мазина. Та самая, которую я видел в «Дороге» и в «Ночах Кабирии». Видел и любил за правду маленького человека.

Сердечную правду как эстафету доброты передают нам маленькие люди, занимающие среди нас самое незначительное место и совсем не думающие о том, что они-то и есть эталоны человеческой доброты.

Перед отъездом из Москвы деятелей итальянского кино посольство Италии устроило в их честь прием. Меня тоже на этот прием пригласили.

Все было красиво, все было вкусно. Я налил себе в бокал кьянти и подошел с ним к Мазине. Рискнул подойти и на очень плохом английском стал ей объяснять, почему я ее люблю. Мазина тоже не очень-то на английском говорит, но все-таки мы взялись разговаривать. И я сказал ей, что люблю ее за то, что она делает людей добрее. Всех своих зрителей делает добрее. И это очень важно и очень нужно, и поэтому она для меня самая прекрасная киноактриса в мире.

Перед отъездом Мазина отвечала на вопросы корреспондента. Он спросил ее, что ей больше всего понравилось в Москве. Она сказала: «Образцов».

Наш театр приехал в Рим. Мазина пришла на премьеру и потом пригласила всех актеров к себе в гости. Мы пришли. Какая она была веселая. Повязалась по-русски платочком, угощала каждого, наливая вино и разнося всякие яства, плясала и водила с нами хоровод.

Совсем недавно театр опять приехал в Италию. Играли в Пизе, Неаполе, Милане. Очень обидно, что в этот раз не были в Риме. Я из Милана позвонил Мазине. Подошла, наверное, горничная, спросила, кто спрашивает синьору. Я сказал: «Образцов». Мазина взяла трубку, а говорить-то нам по телефону на английском трудно. И мне и ей. «Сергей?» — «Си, си, Джульетта». А дальше мы, смеясь и радуясь, повторяли одно и то же: «Ай лав ю. Ай лав ю. Ай лав ю»...

Удивление

Конечно, таких удивлений, о которых я хочу рассказать, было у меня куда больше за всю-то мою жизнь. Расскажу только о некоторых. О разных.

Мне было мало лет. Не знаю сколько. Может, шесть, может, восемь. Поймал я лягушку. Никогда не боялся ни ужей, ни лягушек. Поймаю, посмотрю, как она дышит, какие у нее маленькие пальчики, какой животик, и выпущу. Долго-то лягушек, особенно лягушат, держать в руке нельзя. Вредно им. Слизь с них руками стирается. Кожа сохнет.

Ну так вот — поймал я маленькую лягушку. Не лягушонка, а просто маленькую. Перевернул на ладони и ахнул. Невероятно. Ну просто невероятной красоты живот. Ярко-красно-оранжевый с черным. Как-то по-особенному переплетены оранжевые и черные разводы. Значит, зачем-то нужен ей такой невидимый сверху живот. То ли рыбы на него любят, когда она в воде плывет. То ли она нарочно зачем-то животом опрокидывается, кого-то пугает или обманывает. Удивительный, невероятный живот у простой серенькой лягушки. Сколько десятилетий с того удивления прошло, а я до сих пор его забыть не могу.

И опять не помню, когда это произошло. Постарше я был. Свистит и свистит какая-то птица в Бабы Капином саду и в березняке за забором. Не зяблик, не скворец, не синица и уж, конечно, не соловей. Я их свисты знаю. Нет, другая какая-то птица. Не пение, а короткий, совсем короткий посвист. Надо все-таки разыскать ее где-то в листве. Интересно же.

Разыскал. Невероятно, ну просто невероятная райская птица. Грудь не просто желтая, а прямо-таки золотая, а крылья черные, как уголь. Сколько весен я рядом с этой птицей жил. Совсем рядом, в одном лесу, в одном саду, а не знал, не предполагал даже, что она «райская» и что зовут ее иволга.

А на Бабы Капином огороде растет репейник. Колючий, с по-особенному вырезанными листьями и красными цветами. Ну, в общем, репейник и репейник. И вдруг на этом репейнике сидит птица. Ростом с воробья, но разноцветная до удивительности. Красное, белое, черное.

Такая красота. Стой! Так ведь это же щегол. Обыкновенный щегол. Сколько раз я его на Трубной на Птичьем рынке видел, да и у Кольки, моего товарища по двору, тоже дома такой щегол в клетке прыгает.

Так ведь это в клетке, там даже и попугаи бывают, а тут просто в огороде на репейнике сидит такая красота и что-то там выклевывает. На огороде.

Удивляюсь, каждый раз удивляюсь, когда на закате из-за гряды облаков расходятся веером лучи невидимого солнца, а облака окантованы светом. Там бог, совершенно ясно, что там бог. А его там нету, потому что его вообще нету. Обидно прямо. Так великолепно приготовлена декорация, а спектакля нет. Никогда не перестану удивляться.

Когда бреюсь, естественно, смотрю в зеркало и почти всегда вспоминаю толстовскую княжну Марью. Ей все говорили, что у нее красивые глаза. Она подходила к зеркалу, смотрела на свои глаза и ничего красивого в них не находила.

Почему это так? Да потому что была она очень добрая, и, когда смотрела на людей, глаза у нее были добрые и от этого красивые, а когда в зеркало на себя смотрела, так доброты-то этой в глазах не было. Они сами на себя смотрели, да еще придиричиво.

Как это так удивительно Толстой догадался. Оказывается, глаза бывают такими, какими они в чужих глазах отражаются, а в зеркале-то они никакие. Удивительно. Хотя чему, собственно, удивляться, ведь это же Толстой. Он людей внутри видел, внутри понимал.

Вот и Распутин людей внутри видит. Как невероятно, как удивительно он нам их показывает в «Последнем сроке». Как постепенно, как неожиданно раскрывает. Думаешь сперва — плохой человек, совсем плохой, а оказывается — хороший, да еще какой хороший, какой мудрый, какой по-настоящему, по-простому добрый. Удивительный писатель Распутин.

Недавно по телевизору мюзикл «Небесные ласточки» смотрел. Многое не понравилось. Не поймешь, в насмешку красиво или режиссер взаправду это красивым считает. Ну да бог с ними, с этими ласточками. Вспомнил я про них только потому, что там в очень коротенькой роли прожженной содержанки актриса Гурченко была. Удивительная. Опять удивительная. В каждой доле секунды удивительная.

А на следующий день дал мне приятель прочитать книжку Гурченко «Мое взрослое детство». Она давно вышла, но как-то мне не подавалась.

С вечера до утра я ее прочитал и был просто потрясен. Про себя пишет, всю правду пишет и нигде ни в одной строчке собой не торгует, не хвалится, хоть вроде и есть чем похвалиться.

А как она про отца написала. Как его жаргонным языком целые страницы написаны. Это настоящая большая литература. И добрая, очень добрая. Так неожиданна, так удивительна была для меня эта книга. Вот, значит, она какая — Гурченко!

Смещение времен

1909

Мне восемь лет. Мама говорит, что мы с ней поедем к какой-то графине Шереметевой. Мама будет меня ей показывать.

Оказывается, моя мама дворянская сирота, а у дворянских сирот были покровительницы. Так вот, покровительницей моей мамы была эта самая графиня Шереметева, и теперь она хочет видеть, что моя мама родила. Ну, в общем, на меня хочет посмотреть.

Живет графиня в своем переулке. Он так и называется — Шереметевский. Я никогда не знал, что у целого переулка может быть один хозяин. Вот мы живем в 4-м Полевом переулке, в доме Эйгеля.

Это понятно — фамилия хозяина Эйгель, а тут все дома в переулке принадлежат графине Шереметевой, и в них сдаются квартиры.

И там же графский дворец, который построен во время Екатерины Великой, а может, и еще раньше. Это мне папа сказал. Только мы в этот дворец не поедem, потому что там теперь какой-то охотничий клуб. Папа говорит, что встречаются там не охотники, а просто очень богатые люди.

А поедem мы на квартиру, где живет графиня. Все равно интересно. Я никогда живых графинь не видел. Знал только, что бывают какие-то графы. Наверное, они очень богатые, очень важные и очень шикарно одеты.

Ехали от Сокольнического круга на шестом номере до университета, а потом немножечко прошли вверх по Воздвиженке до Шереметевского переулка.

Графиня меня поцеловала и дала конфетку. Я думал, что графиня будет вся в золоте и комната будет шикарная, а ничего этого не было. Мы втроем пили чай в круглой маленькой комнате, а графиня — нормальная старушка в черном. Вот так графиня!

Со мной она говорила по-русски, а с мамой почему-то по-французски. Я не знал, что мама может так быстро по-французски говорить.

Мы недолго сидели у графини. На прощанье она опять меня поцеловала и засунула мне в карман две конфетки, очень вкусные. Я потом одну Боре отдал.

Назад до Театральной площади пешком. Мама сказала: «Давай пройдемся». Уже темнело. Фонарщик с большой лестницей зажигал фонари. Жаль, что лавки в Охотном ряду закрыты. Я люблю смотреть, как там вниз головой висят зайцы, куропатки, тетерева, рябчики, стоят бочонки с селедкой и бочка с маленькими-маленькими рыбками, которые почему-то называются снетки.

1919

Мне восемнадцать лет. Ничто по Москве не ездит. Ни трамваи, ни извозчики. Папа иногда задерживается на работе допоздна, и, чтобы можно было переночевать в центре, ему дали комнату в Шереметевском переулке, в бывшем доходном доме графов Шереметевых. Квартира пустая, холодная. Никакого отопления нет. Мы купили турецкий диван — так называются диваны с мягкой стенкой и валиками по бокам. У нас ключ от квартиры. Если идти с Большой Никитской по Шереметевскому переулку, то это серый дом по левой стороне. Третий этаж. Я, бывает, тоже ночью в этой комнате, когда лень ночью топать в Сокольники из университета. Редко, но бывает. Сплю на турецком диване, не снимая ни валенок, ни полушубка.

1938

Мне тридцать семь лет. Москва ждет папанинцев. Героических полярников. Их, конечно, будут встречать, и, может быть, даже будет торжественный прием в Георгиевском зале с концертом, и, может быть, меня пригласят участвовать в этом концерте. Все это только может быть, но вдруг да случится. Тогда хорошо бы приготовить какой-нибудь специальный номер, посвященный Папанину.

Купил в комиссионке старый, пожелтевший горностаевый палантин. Сделал большую голову медведя, надевающуюся на мою голову, и две огромные лапы. Перефразировал старый романс: «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы, вы руку жали мне, промчался без возврата тот сладкий миг, его забыли вы».

Получилось так: «Глядя на луч полярного заката, сидели мы у самой кромки льда, вы лапу жали мне, промчались без возврата часы любви, исчезли навсегда».

Сочинил я это вместе с сатириком Владимиром Поляковым, который тогда писал для нас смешную детскую пьесу. К сожалению, впоследствии наше сотрудничество разрушилось, но тогда мы были дружны.

«Медвежий романс» очень удался и кончался так: «Вернись, я все прошу, Папа-Папа-Папанин, мне холодно на льдине без тебя».

Все «может быть» отпали, в Георгиевском зале Кремля будет торжественный прием в честь папанинцев. После приема будет концерт, и я включен в программу этого концерта.

Как-то пройдет мой «Папанинский медведь». Ведь он не проверен по-настоящему, не обкатан на других концертах, как «Хабанера» или «С тобою мне побыть хотелось».

Я один из последних номеров программы. В первом ряду папанинцы и члены правительства. Бог его знает как пройдет «Медведь». А прошел замечательно. Я вышел из-за ширмы на поклон. Папанин, Кренкель, Ширшов прямо-таки покатываются со смеху.

1983

Мне восемьдесят два года. Я болен. Несильно, но все-таки меня уложили на проверку и поправку. Окно моей палаты глядит в сад прямо перед дворцом графов Шереметевых, в котором когда-то был охотничий клуб, а сейчас столовая.

Если выйти из моей палаты в коридор, то окна по всей его длине выходят на Большую Воздвиженку и смотрят прямо на Библиотеку Ленина. В правом конце коридора окно. Смотрит на угловой дом с белыми пилястрами, тот самый, в который мама водила меня на показ графине, а за стеной в такой же палате, как моя,— Папанин. Ему девяносто лет. Он очень веселый, и мы часто ходим с ним по длинному коридору и болтаем о том о сем. Когда я хожу один — сто сорок шагов, а когда с Иваном Дмитриевичем — двести десять...



ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ



ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Время

Мчатся секунды, минуты, часы
необратимо и строго.
Самые точные наши весы —
время, работа, дорога...
Время бесстрастно. Рассудит, как друг.
Бег его точен и резок.
Для человечества — вечности круг,
для человека — отрезок...
Не обмануть его, не удлинить —
честно осилить идущим.
Этот отрезок — незримая нить:
прошлое свяжет с грядущим...
Утром встаешь, на работу идешь —
строишь, рыбачишь иль сеешь.
Важно не то, сколько ты проживешь, —
сколько ты сделать успеешь.
В этом и есть наивысшая суть
жизни, не знающей тлена,
чтобы в глаза смог ты смело взглянуть
людям, пришедшим на смену.

Хатанга

В. Остапенко.

Здесь солнце полярное светит,
и воды блестят чешуей.
Тяжелые, полные сети
скользят день и ночь над
водой.

Река ляжет лентою длинной
и к устью меня приведет...
На Хатанге нынче путина.
Расплавился северный лед.

Здесь белые ночи — подарком.
Сигналят друг другу суда.

И полные рыбою барки
проходят туда и сюда...

Вот острова серая глыба.
Палатки стоят над водой.
Река, как огромная рыба,
стальной изогнулась спиной.

В руках загорелого парня
сеть кажется даже легка...
Как хлебом пропахла пекарня,
так рыбой пропахла река.

ВЛАДИМИР ЦЫБИН

* * *

Так хочу тебе присниться,
чтобы нежно я вплывал
под высокие ресницы
не таким, каким я стал.

Не таким, как я — с уроном,
а как двадцать лет назад,
бешабашным, забубенным,
полюбившим наугад.

Наших встреч любую дату
я запомнил навсегда,

хоть стекли по циферблату
не минуты, а года.

Молодой и смелой силе
мы учились как могли.
Все рассветы — наши были,
все печали — мимо плыли,
все заботы — мимо шли.

Расстилала свои ветви
все обманней бузина.
И на целом белом свете
я — один и ты — одна...

Ноябрь без тебя

Переливчивым ветром рассыпан в лесах листопад,
и в скворчьиные гнезда забрались ночевать холода.
Наступает на ощупь ноябрь, туманом объят,
осторожной ногою, на кромку оплывшего льда.

Без тебя эти дни неподвижны теперь и пусты,
без тебя мои думы в ноябрьский холод вросли,
перезрелые тучи сорвутся вот-вот с высоты,
и тепло отскверкнется в перебежке прощальной росы.

Без тебя эти дни умирают, упав в холода,
прижимаются к сердцу беспросветные терпкие сны,
и на теплой земле я к тебе обращен навсегда.
Все рассветы твои — надо мной, а другие давно не нужны.

Ломкий иней повсюду развесил свою кисею,
и остужены ветром предзимья леса.
Только отсветы снов, перекрашенных в горечь мою,
только красные отсветы лета вбегают в глаза.

Обещание мутной погоды, обещание вздыбленных вьюг,
на ноябрьской стыни вмерзает в меня тишина.
И на этой земле нет ни смерти, ни зла, ни разлук.
Я бессмертен, покуда бессмертна весна.

* * *

В своем сердце уже ничего не умею спасти.
Стала боль неживой, только ложь не проходит живая,
потому говорю, потому отрекаюсь — прости! —
потому ты прощаешь, безвинно меня забывая.

Я с собой уносил непонятную зыбкую речь
опустившихся плеч, будто это не ты, а другая.
Ничего не сумел я с собой из прощанья завлечь,
из всего, что я проклял, в разлуку безвольно сбегая.

Я старался вовсю что-нибудь уберечь и спасти —
эти добрые руки,
перезрелого августа шорох,
фотокарточку, где ты
всего лет пяти иль шести,
тень твою, что сломалась на сдвинутых шторах.

Я старался спасти от стыда, от забвенья, от мук,
я себя уговаривал: «Помню!»
А в груди отдавалось: «Не с нею!»
И висела луна надо мной как бессильный спасательный круг,
до которого я дотянуться с земли не умею.

* * *

Откуда в тебе это всесилье?
Ты вплеснула в глаза мне разгонную даль.
Я знаю: ты — птица, ты белые крылья
от меня отпустила в снега и январь.

И вот ищу я косые шрамы
в заплечье, где еще остывает взмах,
встывший в твои сны упрямо...
И сны умирают на твоих зрачках.

И я, как вьюга, снегами, снегами
в простор января расстался и вмерз —
и горькая нежность сбывается с нами,
и дальше, все дальше с тобой мы от звезд.

Я голову кверху не вскину, я трушу —
мне страшно звездам взглянуть в глаза,
мне страшно вспомнить покорную душу
травы, где сгорела наша гроза.

Я торжествую губ самовластье,
памяти вздох, бессонницы груз;
пульс свой в твои вжимаю запястья —
и разрывает галактику пульс.

Мир в нас с тобой прозревает странный,
деревья покорно вмерзают в тишь.
А я боюсь, что с болью гортанной
ты вытянешь руки — и полетишь.
И — полетишь...

Раздаю

Сердце отдал я родному краю,
потому на всю судьбу свою
ничего себе не оставляю,
все, что я имею, раздаю.

Отдаю себя дороге тряской,
ничего на завтра не храня,
отдаю себя рябине красной,
чтобы только помнила меня,

чтоб звенела, чтобы гнулась туго,
чтоб стояла выше и густей
и отважно зажигалась вьюга
от ее рассыпчатых кистей.

Расплатиться мне со всеми есть чем,
потому от сердца раздаю
все свои улыбки — птицам певчим,
вдох душевный — каждому ручью,

чтобы вдохновенно, без печали
и при ясном утре и во мгле
пели, и без умолку журчали,
и не забывали обо мне.

И, вступая в возраст високосный,
нежность отдаю я и весь пыл
той девчонке пепельноволосяй,
о которой помнить позабыл.

Раздаю себя я дням грядущим,
ждушим там за стороной дневной,
доброй сказке, ребятишкам русым —
до секунды малой до одной.

Пусть меня бесстрашием опáлит,
пусть прихлынет ближе мир к глазам,
оставляю вместе с сердцем память
всем любимым, всем своим друзьям.

Раздаю себя с душою ясной
оттого, что рощею сквозной,
птицами, ручьем, рябиной красной
я любимый на земле родной.

Переселение

Я совсем не знаю, что это со мною,
что это в сердце мое легло.
Словно я материк, скрытый за мглою,
еще не открытый, где нет никого.

Я слышу в заботе тревожной и вещей,
как в сердце мое с зеленой земли
переселяются люди и вещи,
переселяются дороги и корабли.

Переселяются в прощании грустном,
оставив громам моторов раскат,
все самолеты — на запад курсом,
те, что в войну не дождались назад.

В меня переселились, и болью стали,
и до сих пор воскресают во мне
мать и отец под кривыми крестами,
все, кого нет давно на земле.

И тот паром, мелкий и валкий,
серый Иртыш степной стороны,
слепой баянист на слепой рыбалке
вместе с женой у безвольной волны..

В меня переселяются каждое слово
песни — горлу наперехват! —
и табунные переплески ночного
рукопожатья певца, и любимой взгляд.

Я принимаю все, что неожиданно,
я принимаю в сердце свое
переселенье в низины тумана,
переселение дум из забытья в забытье...

Переселяется степь под распластанным ветром,
к каменной выси откочевка весны —
все, что было со мною, и веком,
и сердцем моим, и сердцем страны.

Я принимаю переселенье
людей, и птиц, и эпохи самой.
Память мою, сердцебиенье
пускай мир озвучивает собой!..



А. КАШТАНОВ

★

ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

Повесть

1

В них было по пять тысяч в чемоданах и пиджаках, точнее — шестнадцать двести на троих. В Гомеле взяли билеты на ночной поезд. В ожидании его зашли к Шкутю, знакомому шоферу, по дружбе решили поправить ему сарайчик (там за яблонями был большой задворок до самого обрыва к Сожу), и Петя Гирявин, совершенно трезвый, как и все они без надобности усевшись в кабину хозяйского «ЗИЛа», прижал задним бортом к стене Володю Котова.

Старший их, Волкомич, работал тут же. Он сам едва успел отскочить. А у Володи в руках была пятиметровая доска сороковка.

Он продолжал стоять на ящике, выронив доску, держась за живот, а когда Волкомич и Гирявин к нему кинулись, сказал Гирявину:

— Отойди...

Тот был блее Володи. Увидел, что друг цел, и обмяк:

— Фу ты... ну и перетрухал я... Думал, кранты.

Бледность его сошла, а Володя все белел и белел.

— В больницу не надо... Отлежусь до поезда.

Дотронуться до себя не давал. Волкомич кликнул Шкутя, и пока они, подхватив под мышки, волокли Володю в машину, тот все бормотал, что перележал бы, не надо в больницу, поезд же скоро. А Волкомич повторял:

— Молчи, Володенька...

Он видел, что дело плохо.

В больнице, в приемном покое Котова положили на кушетку. Дежурный врач задрал рубашку, шупал, а Волкомич думал о том, что у него было предчувствие. Слишком уж им везло все лето с работой, погодой, людьми. Молодых постоянная удача разогревает, а в сорок пять она может выматывать. Сердце израсходовалось, просило отдыха, это, видимо, и было предчувствием.

Врач сел к столу писать бумаги, смотрел паспорт, спрашивал. Волкомич спросил его про ребра, врач ответил неохотно, что целы. Поинтересовался:

— Драка?

Волкомич подробно объяснил, не выделяя, кто сидел за рулем. Он считал, что врачу должно быть важно, как пришелся удар, чем и в какое место, и показывал. А тот слушал невнимательно, писал свое. Возраста он был, как Володя, лет тридцати пяти. С журавлиными ногами, лысеющий.

— Пьяный?

— Кто?

— Кто. Котов.

— За лето ни разу не выпил,— сказал Волкомич.

Списав все с паспорта, врач посмотрел и Володину трудовую книжку. В колхозе им отметили увольнение вчерашним днем. Волкомич там, имея в виду непрерывность стажа, просил, чтобы число всем троим поставил на месяц вперед, а председатель не согласился, и правильно сделал: попался бы сейчас с липой.

— Больничный ему первые пять дней не оплатят,— сказал врач.— Бытовая травма. В милицию сообщили?

Две санитарки прикатали больничную каталку. Волкомич и врач положили Володю на нее. Володя затих после укола, непонятно было, понимает ли он, кто перед ним. Его увезли на рентген.

Врач позвонил в милицию.

В доме Шкутя было готово угощение к окончанию работы. Когда Волкомич и Шкуть вернулись, хозяйка рассказала, что, едва они уехали, Гирявин вошел в залу, распечатал бутылку со стола, выпил стакан и тут же второй, потом, как волк, бегал по двору и куда-то делся.

— Что ж он совсем?..— закричал Шкуть.— Теперь пусть докажет, что за рулем не был под градусом! Кто ж ему теперь, охламону, поверит?

Волкомич тоже удивился. Хотя, конечно же, из озорства сесть в машину и задавить друга — и не такое можно совершить с собой, думал он. Он так и не узнал, что Гирявин напился не без расчета: тайком от бригадира они с Володей успели хлопнуть на вокзале по кружке пива, так что экспертиза показала бы алкоголь. А впрочем, так ли важна была эта экспертиза? И без того нагрешил, а семь бед — один ответ.

Приехали на мотоцикле капитан ГАИ и милицейский старший лейтенант. Волкомич снова рассказывал, как все случилось. Встал на ящик и держал доску, которую держал Володя. Показал, как разворачивался задом грузовик. На увядшей осенней траве сохранились следы шин.

Листая трудовую книжку (двадцать лет модельщиком на тракторном заводе, потом пошли шабашки в колхозах, то три месяца, то шесть месяцев, две странички «принят...— уволен...»), милиционер спросил:

— Плотники?

— Можно считать и плотники... Столяры... бетонщики...

— Не у Орловского работали?

— Работали и у Орловского,— сказал Волкомич.— Но не в этот раз. В этот раз у Куличенко Романа Михальча...

— И как вышло, к примеру, на человека?— любопытно спросил старший лейтенант.

И хоть старался Волкомич ради Гирявина расположить милиционера к себе, привычка не показывать заработок сработала:

— Не обидели.

— Не обидели, однако же вот напоследок еще захотелось рубль сшибить? — усмехнулся милиционер, возвращая книжку и железнодорожные билеты.

Шкуть заторопился:

— Так ведь не за гроши, товарищ старший лейтенант, помогли по-человечески, по-свойски...

Выгораживал их на тот случай, если дело сочтут незаконным.

Искали Гирявина, крикнули несколько раз. Его нигде не было. Пиджак и чемодан его исчезли. Смысл в поступках пьяного человека искать трудно, но чтобы не остался узнать о Володе?.. Да будь ты хоть трижды пьяный... Не мог Волкомич такого постичь.

Случилось это двадцать шестого сентября в ясный и теплый день бабьего лета. Двор Шкутя кончался кустами смородины на высоком и крутом склоне к Сожу. Внизу по склону желтели какие-то посад-

ки, другие участки, за ними голубела широкая река с баржей и пассажирским катером, за ней до горизонта — леса и поля, желтое и зеленое под огромным голубым небом. Волкомичу хотелось бы тут жить, посиживать вечерами на берегу, выпитывая в себя легкую голубизну.

Усмешка милиционера о ненасытности задела. Когда вез Володю в больницу, ждал, что тот именно этим попрекнет: все тебе, бригадир, мало, столько уж взяли, так еще рубли Шкутя пондобились... Володя никогда бы так ему не сказал, но какое-то право на это имел.

Шкутья собирался в рейс. Жена его видела, что Волкомич вытаскивал из комнаты чемоданы, но не предложила остаться и не спросила куда он. По асфальтированной, в яблоневых садах улице Волкомич дошел до автобусной остановки и около восьми вечера приехал в больницу.

В больничном дворике под старыми липами сидели на скамейках и прохаживались больные в лиловых пижамах. В приемной покой не пускали, однако двое дядек из больных Володю Котова уже знали, провели Волкомича к какой-то двери и остались сторожить чемоданы. Волкомич поднялся на второй этаж. Там его остановила нянечка, он сунул ей рубль, и она пропустила. Он добрался до самой палаты. В это время из нее вышел врач, тот, что принял Володю утром, тоже обругал и выгнал на лестничную клетку, однако и сам вышел следом.

— Ничего не могу вам сказать, — заявил врач.

— Может, ему кровь нужна или еще что? — спросил Волкомич.

— Все, что надо, мы ему даем.

— Может, жену вызвать...

Спросил уверенный, что врач рассмеется или рассердится, а тот повторил серьезно:

— Пока ничего не могу сказать.

И тогда Волкомич заново испугался.

Он спустился вниз, дождался, пока врач отойдет далеко, и, вернувшись, снова разыскал нянечку, сунул ей в карман белого халата пятерку:

— Мамаша, я тебя как человека... Володя Котов... Приглядывай за ним. Все, что нужно. Я в долгу не останусь.

Двоих дядек, показавших дорогу, он тоже попросил поглядывать. Один из них сказал:

— Будь спокоен, тут любых вытягивают, помереть не дадут.

Это подействовало.

Дома не знали, когда они вернуться. Решил не пугать Володину жену зазря и телеграмму ей не дал.

Отвез в камеру хранения чемоданы, а деньги свои и Володиные держал при себе в портфельчике. Они были десятками, десять пачек. Поездил по гостиницам. Мест не было. Гириявин бы как-нибудь договорился, с женщинами он умел. В одной из гостиниц Волкомич увидел себя в зеркале: небритый дядька в мятом плаще поверх мятого костюма... Такому только договариваться.

Он привык к вокзалам. Транзитный пассажир. Тепло, светло, можно спать, сидя на жесткой железнодорожной скамье. Около полуночи подошел к кассам и продал билеты. Голова отяжелела от шума и людского мелькания. В зале ожидания отыскал местечко между прикорнувшими людьми, сел и тотчас задремал. Очнулся — портфель рядом, потянул бы кто-нибудь к себе, и не почувствовал бы. Недолго и потерять.

Вышел на пустую площадь, мысли были ночные, легкие: бросить все к чертям, всех денег не заработаешь, а дети от тебя отвыкают, еще год-другой — и потеряешь их совсем. В общем-то, не новые мысли.

Неподалеку стояли на стоянке такси, несколько машин. Он забрался в первую. За рулем сидел молодой усатый парень в джинсовом костюме, с кольцами на руке. Волкомич сказал ему:

— Свези, парень, в такую гостиницу, где мне местечко найдется. Сверх счетчика пятерка.

Парень не торопясь скосил глаза, оглядел, подумал и поехал.

Эту ночь Волкомич спал в отдельном номере, на мягкой деревянной кровати. Проснувшись, лежать не мог. Побрился, почистил плащ и, не найдя чем еще себя занять, отправился к больнице. На пустых улицах стоял туман, вчерашние листья на асфальте отсырели. На скамейках в больничном дворе лежала роса.

Волкомич сел на одну из них. Дождался, пока начали хлопать двери. Санитарки в черных фланелевых халатах, накинутых поверх белых, выволакивали на улицу мусор в мешках, несли ведра и бидоны с черными номерами отделений на цинковых боках. Позднее забегали через двор молодые сестры — налегке, в шлепанцах и босоножках, с папками, с разными медицинскими склянками. Появились и больные в пижамах.

Он встал неподалеку от двери в отделение, чтобы его не миновали вчерашние знакомые или врач. Тот прошел мимо дважды. Первый раз кивнул в ответ, а второй шел с женщиной, смеялся, так и прошел не взглянув. Волкомич решил, что это не самый худший признак.

В начале одиннадцатого вышло из двери одновременно с десятком белых халатов. Знакомый врач был среди них. Поотстав от своих, сказал:

— Что ты тут загораешь? Котов тебе кто?

— Вместе работаем,— объяснил Волкомич.— Больше никто.

— Перитонит у него.

Волкомич приблизительно знал, что такое перитонит.

— Так... откачаете?

— Стараемся... Жену не вызвал? Ты не стой здесь, никто тебя в реанимацию не пустит.

Про жену врач спросил небрежно. Не дожидаясь ответа, по-журавлиному зашагал через газон, догоняя своих, входящих уже в другую дверь, и Волкомич понял, что надо давать телеграмму. Он отправил ее из вокзального отделения связи: «ВАЛЯ ВОЛОДЯ БОЛЬНИЦЕ ГОРОД ГОМЕЛЬ ПЕРИТОНИТ Я ГОСТИНИЦЕ СОЖ НИКОЛАЙ».

Вначале написал «приезжай», но подумал, что пусть сама решает, и первый бланк выбросил.

Он не знал, что утром к Вале явился Гирявин, который надеялся застать Володю уже дома. Не застав, Гирявин перепугался, все выложил Вале, пьяно всхлипывал и кричал, что он за Володю даст на куски себя резать и что никогда себе случившегося не простит. Валя чуть рассудок не потеряла, потому что сидела с больным малышом и не могла выйти из дома. Получив телеграмму, она обрадовалась, что Володя жив.

Волкомич же, выйдя из почты, подумал, что Валя, надеясь узнать побольше, может помчаться к нему домой и там, ничего не зная о нем, все перепугаются. Он вернулся и дал вторую телеграмму, жене: «ЗАДЕРЖАЛИСЬ ГОМЕЛЕ КОТОВ БОЛЬНИЦЕ Я ЗДОРОВ ГОСТИНИЦЕ СОЖ НИКОЛАЙ».

В зале ожидания он посмотрел расписание. Валя могла приехать только утром в девятом часу. Он прошелся по перрону, выясняя, можно ли встретить Валю, не зная ее вагона. Но где бы он ни стоял, возможность разминуться оставалась, потому что выходов было несколько. Поехал снова в больницу и около приемного покоя увидел «ЗИЛ» Шкутя. Тот только что вернулся из рейса. Шкутю тоже не удалось проникнуть внутрь. В справочной им сказали: тем-

пература тридцать восемь и пять. Кроме температуры, там ничего не знали.

— Это не температура,— бодро сказал Шкуть.— С такой могли бы и выписать.

Вчера он был напуган видом милицейских чинов в своем дворе. Тоже ведь не мог считать себя безгрешным, его был «ЗИЛ», его гость сел за его баранку. Теперь опасности не чувствовал и тянул к себе, заглаживая вчерашнюю трусость. Гостить у него Волкомич отказался, но попросил приехать утром на вокзал.

Сам он тоже мог не узнать Валю в толпе. Он видел ее всего лишь однажды, когда она провожала Володю на вокзале, зимой, в сильный мороз, она прятала лицо в воротник — много он не разглядел. А уж описать ее Шкутью и подавно не мог. Однако Шкуть как-то определил ее среди сотен людей, перехватил.

Ничего не спрашивала, молчала, шла, куда велели. В отделение ее тоже не пустили. Она безучастно ждала у двери в тени липы, когда Волкомич скажет, что она теперь должна делать. Шкуть сбегал в справочную, вернулся веселый:

— Тридцать восемь и две. Уже меньше. Еще день-два, переведут в общую палату, женка моя бульончик ему будет варить, вы, Валечка, в термосе ему отнесете...

Волкомич снова затряс дверь в отделение, которую только что перед ними закрыли. Вышла объяснить с ними красивая женщина в белом халате. Волкомич втолковывал: жена приехала, всю ночь в дороге, прямо с поезда, вот упадет сейчас тут...

— Я ее не вызывала,— сказала женщина.— И не знаю, кто вызывал.

— У меня ребенок дома больной с чужими людьми остался,— сказала Валя.

Женщина посмотрела внимательно. Похоже было, что в самом деле Валя может упасть.

— Ну что вы, милая,— сказала женщина.

Она повела в какой-то коридор, усадила Валю рядом с собой на диванчик, успокаивала ласково, но все же к Володе не пустила. Он в реанимации, сказала она, туда посторонних не пускают, кроме того, он спит, посмотрите на него — зачем? Только расстраиваться зря.

— А вы вон какая слабенькая,— сказала женщина.— И ночь, наверное, не спали. А если с вами что случится, кто будет за вами тут ухаживать, Володя ваш?

— Со мной ничего не случится,— дернулась Валя.— Можете быть уверены.

Волкомич отвел ее в гостиницу в свой номер и оставил отдыхать. Возможно, и не следовало оставлять ее одну, но не хотел навязываться. Часа три спустя они столкнулись друг с другом на вокзале. Валя там звонила по таксофону соседям, которым оставила сына. Потом вместе поехали в больницу и в восемь вечера узнали, что Володя умер.

Валя не заплакала и не закричала, она странно посмотрела на Волкомича, словно бы жалуюсь ему, и сказала:

— Вот так. Коля...

Он ждал упреков. О Володе он не думал в эту минуту, потому что нужно было думать о Вале и следить за ней, а Володе он уже был не нужен.

В гостинице Валя не захотела, чтобы он уходил. Она легла на его кровать, ей было холодно, стучала зубами. Он навалил на нее все тряпье, какое нашлось. Дежурная по этажу заглянула к ним и ахнула. Он вышел к ней в коридор, там было пусто. Засунул в ее карман деньги:

— У этой женщины муж сегодня умер в больнице. У вас есть муж? Помяните с ним завтра Володю Котова.

Дежурная от денег отказалась. Она принесла Вале горячий чай, заставила выпить какие-то лекарства, наверное снотворное и сердечное, в номере запахло мятой. Валя лежала, закрыв глаза. Волкомич не знал, спит она или нет. Горела настольная лампа. В свете ее поблескивало зеркало на стене у двери, в нем отражались часть кровати и лицо Вали. Волкомич увидел ненавидящие глаза. Они неотрывно смотрели на него. В глазах Вали губителем Володи должен был быть не Гирявин, а он, Волкомич, их старший,— как он мог оправдаться? Валя застонала, зашевелилась. Изображение в зеркале не качнулось. Волкомич всмотрелся— мутное, старое стекло, осыпавшаяся амальгама, ничего не разобрать. Да и не могла Валя туда смотреть. И очки ее лежат на столе в освещенном лампой круге. Не было в зеркале ничьих глаз, показалось.

Валя вздрогнула, приподнялась, огляделась безумно и закричала, упала на подушку, забилась. Прибежала дежурная, успокаивала, он бегал за водой, опять пахло мятой. Потом Валя затихла, он сидел рядом, гладил голову, как своим дочкам, когда болели в детстве. Только отошел — села в кровати.

— За что?.. Коля?.. За что.. Боже мой, что ему было нужно?!

— Судьба,— сказал Волкомич.

Он наконец нашел слово и все повторял его, чтобы успокоить себя и не задонуться, не сгореть от ненависти к Гирявину. Судьба, и никто не виноват, ни Гирявин, ни он. И не за рубли они взялись поправлять сарайчик, а потому, что хороший человек попросил, знакомый человек, надо было, судьба.

К утру Валя заснула. Мысли Волкомича мешались. Почему такая судьба выпала именно Володе, а не Гирявину или ему? Судьба — это случай, а он, прожив четыре с половиной десятка, знал и другое. Знал, что Володя вот так случайно едва ли убил бы человека, какой-то сторож в мозгу сработал бы и удержал движение руки, крутящей баранку, сбил бы азарт парня, обалдевшего от многих удач. Володя человека убить не мог, а Гирявин — мог. И убил. Это не судьба и в то же время — судьба.

Рассвело, проснулась гостиница, шумели в коридоре за дверью, шумели за окном машины, там разогнало туман, расчистилось небо, было уже девять часов.

Валя спала.

Волкомич спустился вниз. В вестибюле в углу сидел в кресле Ваня Шкуть, узколицый, толстогубый, с курчавыми цыганскими волосами. Дел было много, Ваня уже начал их раскручивать, ему нужны были деньги, нужно было выбрать гроб, и вот ждал, и Волкомич сел ожидать рядом.

— Приходили спрашивать про тебя,— многозначительно сказал Шкуть.— Я сказал, что в гостинице, но не знаю в какой.

— Разве ты не знал?

— А-а,— сказал Шкуть.— Нужен будешь — найдут.

Валя спустилась к ним в синем нарядном платье, с плащом через руку. Как будто в гости собралась. Волкомич сообразил: все вчерашнее измялось за ночь, потому и нарядилась так.

— Как Володя одет? — спросила Валя.

Мужчины оторопели. Одет? В чем работал — рубашка, штаны... В самом деле, одевать же нужно...

— В чемодане его костюм,— сказал Волкомич.

— Серый, что ли? Кто ж в сером хоронит? Какие-нибудь деньги-то он заработал же?

— Все целы...

Он поехал в камеру хранения, потом в больницу за справками, потом в похоронное бюро, там торчал Шкуть, договаривался о машине, в которой повезут Володю домой. Машину в такой прогон не давали, Шкуть поехал на свою автобазу просить помощи у началь-

ства, а Волкомич вернулся в больницу, и вовремя: пьяненькие бабки уже одели Володю и теперь отказывались переодевать его в то, что купила Валя, уговаривали, ленясь: да ты подойди посмотри, какой хорошенький лежит, жалко такую красоту портить. Он увел Валю и договорился с бабками...

Ехали всю ночь и под утро привезли Володю домой. Шел дождь. Волкомич с водителем переставили в комнате мебель, внесли и установили на табуретках гроб, и водитель уехал. Возникли соседки, у Вали появился платочек, который она подносила к глазам, причитая. Началось бабье дело. Мужчины тоже входили, говорили о скамейках, почему-то собирались взламывать сарай. Был там Володин двоюродный брат, который всем распоряжался, и Волкомич стал лишним. Все нехитрые денежные дела они с Валею обсудили дорогой.

Он с чемоданом и портфельчиком выбрался на лестничную клетку. Похороны начнутся через шесть-семь часов, не раньше. Покурил и пошел под дождь.

Его нагнал один из соседей:

— Тебя, что ли, Валентина зовет?

Она стояла на лестнице. Успела переодеться в черное, голову черным шарфом повязала, а очки почему-то сняла.

— Коля...

Увлекла на марш ниже, к почтовым ящикам, чтоб не мешали.

— Коля, ты с его работы кого-нибудь знаешь?

— Со старой-то?.. Нет, — сказал он. — Никого.

— Надо бы им сказать. Шесть лет он у них работал.

Он оставил у нее чемодан.

Дорогу он знал. Доехал трамваем до Восточной. Там была деревянная, ожидающая сноса окраина, за трамвайным кольцом — сразу переезд, шлагбаум, одноколейка к домостроительному комбинату, тут же проходная Володиноho предприятия, называлось оно — прочел на доске у зеленых стальных ворот — «Экспериментально-производственная площадка № 1 комбината производственных предприятий треста Спецстрой № 1».

Прошел мимо складов, через цех, столярный или модельный, там пахло нитролаком и сосной, стояли верстаки и простенькие станки, человек десять делали как будто бы, подумал он, ящики и что-то совсем уже непонятное, наверно, какую-нибудь опалубку специальную, не сразу догадался он.

Мастер этого цеха или участка, средних лет, полноватый, в сатиновом халате мужчина, поднимался в это время по железной лестнице на антресоли в свою конторку. Волкомичу показали его, и он поднялся следом.

— Вот те на, — сказал мастер. — Володя Котов. Как же не помнить? Я ж его еще не отпускал. Вот тебе пожалуйста.

Он, выбравшись из конторки, крикнул кому-то вниз:

— Лякишева позови!

Вернулся, сел, продолжая сокрушаться. Вошел человек в клетчатой рубашке и комбинезоне присел сбоку. Мастер сказал ему:

— Володю Котова помнишь? Умер. Володя. Машина задавила. Ночью привезли из Гомеля. Вот товарищ этот вместе с Валею.

Волкомич рассказал им, как все случилось. Мастер — Василием Григорьевичем его звали — сказал про Гирявина, что он таким вдвое, чем по закону положено, давал бы, а Лякишев, тоже средних лет и полноватый, заметил:

— Такие в шабашку и идут на легкий хлеб.

— Шабашили? — спросил его Волкомич.

— Я?!

— Ну раз вы знаете, что легкий.

Василий Григорьевич, пресекая спор, сказал:

— Так что мы, Лякишев, можем сделать?

— А что мы можем? Не наш ведь работник, какое мы имеем право? Жалко, конечно, Котову...

— Она меня послала, — сказал Волкомич. — Пригласить. Надо, наверно, говорит, чтоб люди знали. Простились чтоб, может быть, по-человечески, если захотят. Похороны в два, если с кладбищем договорятся.

— Да, — сказал Василий Григорьевич про Котова. — Вот тебе пожалуйста... Судьба.

— Вы автобус дайте на похороны, — попросил Волкомич, прикинув, много ли тут можно получить для Вали. — Ну и единовременное пособие какое-нибудь по линии профсоюза. Вы не говорите мне, что нет права. Есть право. Котов был вашим работником. Как пенсионеры, которых хоронят.

— Мы никого не хоронили.

— А я хоронил. У нас на тракторном так было.

Василий Григорьевич поинтересовался:

— Плотником работал?

— Модельщиком. Двадцать лет.

— Шел бы к нам, — вставил мимоходом Василий Григорьевич и записал адрес Вали на перекидном календаре.

Автобус дали. Василий Григорьевич сидел в нем рядом с Волкомичем. Он и речь произнес на кладбище. Больше было некому, от него ждали, и Валя подходила просила. Не чинясь влез на раскисшую под дождем, выброшенную из глубины глину и сказал все, что положено говорить. Дождь не переставал, опавшие листья плавали в глубоких лужах. Волкомич отметил, что двоюродный Володин брат — человек неделовой, взял место для могилы в низинке, сырое. Вторые похороны, которые приехали почти одновременно с ними, были в другой стороне, на холме, Волкомич ходил смотреть. Там, на холме, и душе было спокойнее, на пологом склоне за оградой росла полынь, за водяной пеленой угадывался лесок, уютно было. Дал бы брат десятку кому надо — и лежал бы Володя там. Володе, может, и все равно, а отцу с матерью ездить и ездить.

На поминках было человек тридцать, стиснулись на сколоченных скамейках, как-то поместились в восемнадцатиметровой комнате. Поминали Володю хорошо и тихо, пока один из соседей, Володин ровесник, вдруг не повысил голос, рассерженный другим соседом, забыв, где находится:

— А Володя на кого работал? На капиталиста? На таких же людей и работал, как ты. — Он отмахнулся от сдерживающей жены. — Или у него руки были хуже твоих?..

— Да что ты, — защищался тот, кому это говорилось, разводил руками, расстроенный тем, что думают, будто он плохо говорил о покойном. — Да ты что?.. Я ведь что?.. Я говорю, если б в цехе это случилось, Вале бы трест квартиру дал двухкомнатную, пенсию там, а теперь? Я ведь вот про что! Как вот ей теперь?

Василий Григорьевич покурил на лестнице с Волкомичем. Тот спросил, что за пирамиды они делают двухметровые, и оказалось, что в самом деле угадал — опалубка для нового объекта. Василий Григорьевич снова предложил идти к нему, у него, мол, и по триста зарабатывают.

2

Приходил Гирявин. Дома были дочери, они догадались, кто пришел, из своей комнаты прислушивались к разговору в прихожей. Волкомич провел Гирявина на кухню.

— Я думал, ты... это... — сказал он.

— Чего ж меня сажать, — возразил Гирявин. — Суд будет, тогда посадят. А сейчас не сбегу.

Распахнул пиджак, показал горлышко бутылки в кармане. Волкомич покачал головой. Гирявин не стал уговаривать. Сидел на табурете, жаловался:

— Работники, называется. Если бы мы с тобой так работали, как они. Я ему говорю, люфт был у этого Шкутя. Люфтила баранка. Такую машину в рейс выпускать! Их там разогнать всех надо! Я им это говорю — а они? Ты ж капитан ГАИ! Такое дело, ты ж перво-наперво машину на пломбу должен! Не так? А Шкуть потом на ней две смены гонял! За две смены можно до винтика разобрать и снова собрать! Ну виноват я, ну сел без прав, но ведь и машина неисправна! Степаныч! И машина неисправна, не так?

Волкомич молчал. Гирявин сник, сказал:

— Думаешь, мне Володьку не жалко? Я свое отсижу, но зачем мне чужое сидеть? У меня тоже баба с малым одна останется! Она-то чем виновата?

Волкомич не хотел в это вникать: любого человека можно пожалеть, и если есть охота, то всю жизнь только тем и занят будешь, что жалеть и жалеть. Гирявин всегда был ненадежным человеком и после смерти Володи продолжал вести себя как ненадежный человек. Она уже сказала, его ненадежность, — что ж еще? И все же ненависть выдохлась, и он не знал, как быть. Их бригада сколотилась два года назад: Волкомич сам, Володя, Гирявин и еще Суслов и Ладутько, которые прямо от Куличенко разъехали по домам убрать картошку. Володю все они любили больше, но и без Гирявина, если б вдруг ушел от них, тоже бы заскучали, он был самый из них живой. Волкомич, проводив его, остался с тяжестью на душе, не уверенный, что понимает свое чувство.

Младшая, шестиклассница Оля, примчалась на кухню:

— Пап, чего он приходил?

— Так... По делу.

— По делу? — Вытаращила глаза. — Пап?! Разве ты будешь с ним опять работать?

— Ты-то что тут? — рассердился он и выгнал ее из кухни.

Когда пришла Галя, дочери доложили ей, что был Гирявин. Галя тоже удивилась:

— Разве ж он не сидит? Отвертелся?

Волкомич не ответил. Что отвечать? Она, скинув на ходу туфли, оставившие на красных, истерзанных ее пальцах рубец, прошла с тяжелой сеткой, выгружала из нее картошку в ящик, перебирала, отбрасывая гниль, мысли у нее ворочались медленно:

— Что, уже снова работать собираетесь? Где же это?

Она решила, что Гирявин для этого и приходил. В постели осторожно завела разговор. Светке их в этом году школу кончать, учиться плохо, а язычок не дай бог, не знаешь, что и отвечать, а Олька дите, все на старшую сестру смотрит, начала с одних пятерок, и уже четверки появились, оно и понятно, прикрикнуть некому, отца, считай, нет... Пусть бы он хоть этот год рядом побыл...

— Что ж мне, на две сотни идти? — спросил он. — И те сразу не дадут. Я за три месяца пять четыреста взял. Вот и считай.

— Мне-то что с тех денег, — сказала. — У других и с двумя сотнями жизнь получается а мы с тысячами не живем.

— Что ж не живем?

— Всегда я одна с двумя малыши была, меня, как вдову какую, жалели. И в магазин и всюду сама. Кроме работы. А на тебя посмотреть? Иссох. В могилу, что ли, заберешь?

Прежде она никогда не пилила его, сторожилась. А теперь он даже не удивился ее вопросам, он сам их себе задавал и потому ответил:

— Приданое оставлю.

— А кто сейчас смотрит на приданое?— сказала Галя, и он впервые подумал, что какие-то вещи она знает лучше его, но, зная, терпит его незнание.— Сейчас другое смотрят.

— Что смотрят?

— Другое.

— Другое и всегда смотрели.

— Какая семья, смотрят.

Он насторожился:

— Связи какие, что ли? Так мне уж министром не быть. Уж какие есть.

— И связи и все. Сейчас все умные стали. А деньги... Какая им теперь цена...

Он-то ждал более путного. Зря слушал.

— Какая б ни была,— сказал он,— а тоже не помешают.

Конечно, им хотелось, чтоб он был с ними. Особенно младшей, нескладной толстухе с тяжелой косой. На кухне ли, у телевизора в комнате вертелась рядом, ласкалась, то прическу затевала ему делать, то щеку трогала — небрит,— волокла дневник и тетрадки, следила, чтобы страницы не пропустил, по математике у нее шли одни пятерки. Галя посмеивалась: это уж точно не в меня, это в папку пошла, он у нас способный. Старшая тоже норовила посидеть, поговорить, но старалась делать это незаметно. бросит словечко и следит, как он реагирует. Мать ей внушала, что все у нее от отца. и жесткие волосы и характер, и вот присматривалась, прислушивалась в надежде что-то для себя открыть. Он-то видел, что с ней уже все, она уже не его Светка, а ей казалось, просто отвыкла за лето, а привыкнет — будет папиной дочкой, как прежде.

В городском доме много занятий не найдешь, разве что ремонт. Побелил кухню, поменял прокладку в кране, еще кое-какую мелочь сделал — и все. Пора было снова думать о работе.

На тракторном двое давно просились к нему в бригаду. То есть просились многие, а думал он всерьез о двоих, правда, и они не совсем ему подходили, один был его возраста и казался по своей болезненности старым, а второй слишком молодым, того манило, что проходной не будет, что кочевая жизнь,— несерьезный интерес. С Володей Котывым и Гиравинным нельзя было и рядом поставить.

Волкомич шел на тракторный вместе с первой сменой, в толпе, ветер бил в лицо, северный, холодный, с дождевой пылью. В такую погоду плохо ставить дом, но хорошо и уютно начинать с перекура в запахе нитролака и стружки, в сухом и светлом цехе, как он начинал почти двадцать лет, проходя этой же самой дорогой. И показалось, хорошо ему тут было, но сказал себе: было хорошо — будет лучше, он от дождя не растает. Сунул руку в карман плаща, будто бы доставал пропуск, которого у него не было, и миновал охранника и вертушку.

С мастером деревомодельного отделения столкнулся в цеховой калитке. Тот пожал руку, будто вчера виделся.

— Степаныч? Назад пришел проситься?

— А возьмешь?

— С большим бы удовольствием на свое место,— сказал мастер.— Не с кем работать стало, Степаныч.

Постояли в тамбуре у ящика с песком. Опаздывающие из гардероба прошмыгивали мимо, мастер на них покрикивал, кое-кому грозил. Зачем Волкомич здесь, не захотел спросить. У него, мастера, с утра было много забот, он должен был раскрутить смену, но — столько не выдаться! — не торопился, курил, жаловался на теперешних модельщиков, мол, прежним, им, в подметки не годятся, а из прежних у него один Листов, так того язва замучила, тоже не работник.

— Такие и заработки, Степаныч. Двести тридцать — потолок. Расценки, нормы дожали до предела. Мы же сами и дожали. А показатели давай. Рост производительности, снижение себестоимости.

Три года назад Волкомич, увольняясь, слышал от этого человека бессильные угрозы и брань. Мол, будешь проситься назад — не возьму. Именно поэтому был уверен, что уж сюда-то он всегда сможет вернуться. За три года гнев мастера выдохся и забылся, а вот нужда в старом рабочем отпала, потому и приbedнялся, опасаясь, как бы Волкомич в самом деле к нему не запросился.

За верстаком Волкомича работал тезка, Коля Андрейчук, тот самый парень, который просился в бригаду. Волкомич подошел не сразу, немного постоял в отдалении, хотел посмотреть, как парень работает. Тот не спешил начинать. Открыл шкафчик, достал инструмент, вспыхнувший полированным хромом. Для расторопного пацана дело нехитрое: сбегал в гальваничку, попросил теток, те сунули в ванну с раствором, потом отполировал. Парень любил свои вещи, может, и не совсем это было без смысла. Коля, примерившись к чертежу, черкнул карандашом вдоль линейки по сосновой доске и пошел к ленточной пиле. Там трое стояли, ждали очереди...

Подошел, жал руку Листов, старый приятель, которого только что помянул мастер. Именно о нем и думал Волкомич, что староват для бригады. Как водится, попеняли друг другу, что ж, мол, не показала брашья, загордился, скоро, мол, узнавать не будешь. Язва мучила Листова пуще прежнего, он и курить бросил, но мало помогало, еще хуже стал. Волкомич видел, что прав мастер, не работник Листов. Здесь, в пехе, квалификация кое-как выручала, мастер ему что полегче подбрасывал, а в бригаде, где сила была нужна, он бы не потянул. И потому, рассказывая о себе, вспоминая летнюю работу, Волкомич теперь сам приbedнялся, как мастер с ним, подчеркнул, преувеличил сознательно:

— Ты ж понимаешь, чертежи у нас читать не надо. Бери больше, носи дальше — вот и вся наша грамота. За четырнадцать часов спину наломаешь...

— Ну так ведь и копейка...

— Не всякий такую копейку захочет, Митя. Пуп рвать.

— Само собой, — кивнул Листов. — Я так вот и не претендую. Куда мне сейчас.

Волкомичу было нехорошо: запугивал старого друга, — и тот его на этом поймал. Потеснив неуместное чувство — что ж ему оставалось делать, не брат же большого в бригаду, да и Листов не обиделся, взгляд его, перемешавшийся по полу, был вяло-равнодушный, — Волкомич покривил душой:

— Тебя-то я бы взял. Рамы вот придется вязать — кто мне повяжет? Ничего, Митя, ты водички какой попей в санатории — и давай к нам.

Листов усмехнулся — недорого совет стоил. Про Володю Котова Волкомич не стал рассказывать. Не хотел об этом наспех, как о минутном и пустом. И вот уже не о чем стало говорить, но тут Листова позвал контрольный мастер, разошлись. Волкомич, поглядев другу вслед, сказал себе, что тот пил, вот и язва. А он вовремя остановился и вот здоров. Хотелось так думать, чтобы не чувствовать вины за свое здоровье.

Коля Андрейчук все стоял с обрезком доски в очереди к пиле. Не мучился этим. Что ж ему мучиться, если время здесь недорого, оправдал парня Волкомич. Будет дорого — будет и бегать, понадобится — ножовкой отхватит. У него в бригаде Коля бы бегал.

— Как жизнь, Коля?

Тот обрадовался:

— Здравствуйте, Николай Степаныч.

Колин взгляд тоже был внимательным, остро скользнул по плащу и туфлям: плоховато был одет бригадир.

— Не надоело в цехе?

— Да как вам сказать... в общем... — затруднился.

Очередь к пиле подошла. Всего одно движение — вжиг! — доска отрезана по карандашной линии. На пальце блеснуло обручальное кольцо.

— Женился, что ли?

— Два месяца уже, Николай Степаныч.

— Вроде не собирался же?

Коля смущался.

— А чего ждать, Николай Степаныч? Так и всю жизнь прождешь. В примаках живу. Ничего, ладим.

— Молодец, — сказал Волкомич. — Целых два месяца ладите.

Коля хмыкнул.

— Теперь на кооператив надо зарабатывать, — подсказал Волкомич. — Ко мне в бригаду не хочешь? За лето на кооператив. Холостые мне не нужны, а женатых беру. Женатый старается больше.

— Если б не сейчас, — замялся Коля, — попозже...

— Жена не пустит?

— Обстоятельства всякие...

— Неужели уже рожать собирается?

— Если б попозже, — повторил Коля. — Сейчас я, Николай Степаныч, никак.

Что-то перестало ему везти, подумал Волкомич. Прежде людей в самом деле трудно было с места снять, но теперь-то народ подвижнее стал, казалось бы, только свистни, и вот свистнул, называется. Что-то не та пошла полоса.

Покрутился возле станочников, заглянул в ящик с отходами, выбрал себе несколько ломаных сверл и три сработанные фрезы. Им это отходы, ему руку приложить — и будет в самый раз. Сунул в карман, обернулся — стоит круглолицый парень. смотрит, улыбается. Как будто он украл. Оно-то отходы, а все-таки легированная сталь, в руке через проходную не понесешь.

— Что смотришь?

— Коля говорит, человека вам надо.

— И ты, значит, этот человек?

Парень ухмыльнулся:

— Вроде...

Отошли с проезда в угол. Лицо парня. открытое и улыбчивое, все же не располагало к себе. Не поддаваясь чувству, Волкомич расспрашивал. Три года после ГПТУ. Конечно, топориком тюкать такие не умеют, их чертежи читать учат, но здоровый был парень.

— У нас ведь как, — осторожно сказал Волкомич. — То работа есть, то ее нет. Можно и не заработать. Гарантированные сто двадцать, как здесь, тебя ждать не будут.

— Ну, — кивнул парень, все улыбаясь.

— Ну и потом, тебя учить еще. Раму ты мне не свяжешь, топор в руке тоже долго не удержишь. А плотник что? Плотник думает топором.

— Ну.

Со всем соглашался.

— Опять же, — продолжал Волкомич, — если у нас заработок больше, то ведь и расходы... Столовая тебе не всегда будет... Ночлег... Получишь, скажем, двести...

Парень не моргнул. И на двести был согласен.

— ...а из них...

Что-то ему не нравилось в парне.

— Ты чего мне людей сманиваешь? — Подошел мастер и крикнул на парня: — Ну-ка, Грибов, на рабочее место. Для тебя рабочий день не начался еще? Так я могу прогул поставить, если хочешь. Парень мешкал.

— Давай-давай, — подтолкнул мастер.

Волкомич показал парню, чтобы слушался. Мол, разберемся, а пока уйди. Тот нехотя побрел к верстакам, а Волкомич сказал мастеру:

— Ты их не криком, ты их зарплатой удерживай.

— Я б его тебе задаром отдал, — бросил мастер. — Шпана. Раньше ты поразборчивее был, Степаныч. Смотри, наколешься.

Сказал, и след простыл. А у Волкомича разом пропала всякая охота с кем-нибудь разговаривать и что-нибудь делать. Один раз он уже не а к о л о л с я, и тогда его тоже предупреждали, но отмахивался, он, мол, не девчонка, которая жениха выбирает, ему плотник нужен, и он знать ничего не хотел, пока однажды не прибежали за ними, и, вслед за деревенскими мальцами вломившись в освещенный перед клубом круг, он увидел кровь, залившую голову колхозного механика. Тот катался по земле у крыльца, закрыв лицо руками, Котов бросился поднимать, а они с Гирявиным — на этого сопляка, отобрали нож, скрутили руки. Гирявин и сам озверел, молотил кулаками по дикой роже. Снова нарваться на такого? Ведь и тот улыбочивый был и с пятым рядом. Стоило вспомнить — сердце начинало стучать. Гирявин отвел тогда душу, а его удар, видимо, остался за ним, вот и стучало.

Может быть, и наговорил мастер на парня, может, и не шпана, но как залезть в чужую душу? Что-то же не понравилось вот...

Он потерял сон. Старался, чтобы жена не заметила, стыдился: на здорового мужика эдакая бабья напасть. Лежал на спине, не шевелился, слышал неслышные днем щелчки выключателя за стеной, шаги и передвижение табуретки, начинала ныть поясница, он осторожно поворачивался на один бок, потом на другой и думал о том, что бригаду он сейчас не соберет и дело тут не в людях, которые ему попадают, а в нем самом: не хватает ему запала, чтобы увлекать людей. Прежде сами шли, а он выбирал. У него было чутье на человека. Теперь же он как собака, потерявшая нюх, он уже не доверяет себе, потому и нет запала.

Разогнав сон окончательно, шел на кухню курить и каждый раз думал, что надо бы проведать Валю Котову. Прав был тот умник на поминках, который говорил, что трест ей теперь не поможет. Трест не поможет — он, Волкомич, поможет.

После похорон прошло больше недели, когда он собрался. Светке захотелось часть дороги проехать с отцом. Детство свое ловила, в котором цеплялась за отцовскую руку. Шли к трамваю. Она болтала не переставая: кто-то из мальчишек фотографию ее украл, кто-то приглашал куда-то... Он слышал, косился, сомневался: неужели уж все без ума, некрасивая ведь, тощая, длинная, грудки неразвиты, личико стянуто все к носу...

Однако в трамвае через проход сидел не мальчишка и даже не парень — тридцатилетний, в ратиновом пальто и пышном красном шарфе малый, смотрел на Светку. Волкомич сидел у окна, Светка рядом тараторила, он повернулся и увидел мужской взгляд. И еще он увидел, что Светка приняла позу. Она говорила с отцом, но переливы голоса, смех не к месту предназначались не ему. На остановке вошли люди, загордели. Еще через остановку малый сошел, промелькнул под окнами. Поразило, что тридцатилетний. Ну пробует девчонка власть над сверстниками — еще ладно бы. Но эта рука на подоле, глупый смех ошеломили. Возле универсама Светка вышла, помахала ему рукой. Какой-то парень посмотрел, кому она машет.

В общем-то, рассудил он, ничего он не увидел такого, за что дают дочерям взбучку. Попробуй он поговорить с Галей — и рассказать-то нечего. Свыкаясь со всем этим, подумал о дочери: бедовая, в него, обжигаться ей и обжигаться.

Едва отыскал по памяти Валин дом. Подошел к подъезду, усомнился, этот ли, но увидел сложенные у стены скамейки, оставшиеся после Володиных поминок. Их еще не успели спрятать в сарай.

Валя спокойно поздоровалась.

Она была в теплой кофте и брюках, покрашенная, с подведенными глазами.

— Собираешься куда? — спросил Волкомич.

— В магазин. Ничего, успею.

Он снял плащ, скинул туфли. Отнес на кухню красивые баночки с детским питанием, которые дала с собой Галя. Сел в комнате на тахту. Годовалый или чуть постарше малыш возился на коврик в углу, поднял голову, понаблюдал недолго, опасности не почувствовал и продолжал свое — греметь погремушкой. Для начала поговорив про него, Волкомич сказал:

— Я вот подумал, Валя, если тебе что нужно...

Она смотрела на него, ждала.

— Ну, в общем, если что нужно, ты скажи.

Отвела взгляд.

— Хорошо.

Он был недоволен собой. Не этого она ждала. Этого она, наверно, слышала достаточно.

— Ясли тебе, между прочим, обязаны в райисполкоме без всякой очереди дать. А что он у тебя болеет, так, может, в яслях как раз болеть не будет. Бывает и так.

Это она тоже, наверно, лучше его знала. Запнувшись, сказала:

— Мне, Коля, может, за водкой сбежать?..

— Ну что ты, Валя, — сказал он.

— Не могу я.

Она понесла малыша на кухню. Волкомич тоже пошел туда. На огне что-то варилось.

— Я вам деньги должна.

— Какие деньги? Ничего ты мне не должна.

— Вы же тратились в Гомеле. И сюда везли. Это ж не копейки. Сотни, наверно.

— Про это забудь, — сказал он, испугавшись, как бы она не подумала, что он пришел за своими деньгами.

— У меня ж есть.

— Слава богу, что есть.

— Я работать пойду.

— Правильно, — сказал он. — Вот это правильно.

Сашка тянулся к баночкам на столе. Валя открыла одну, залезла ложкой, дала сыну. Тому понравилось, взял ложку сам, уписывал.

— Нравится...

Валя, глядя на сына, немного оттаяла.

— Где ж ты устраиваешься? — спросил Волкомич.

— Звали на старое место...

Оттаяв чуть-чуть, она уже дала себе волю, и тотчас полились слезы, тихие, медленные, не мешающие ей говорить о том, о чем думала и думала одна целыми днями:

— Я говорила ему... Но ему на меня всегда наплевать было...

Волкомич растерялся.

— Опомнись, Валя! Он же для вас с Сашкой...

— Неправда! — крикнула она. — Плевать ему было на меня! Не очень-то я и заработки его видела! Что у меня, золото, меха?

— Да что ты говоришь-то?! Опомнись!

Малыш перестал есть, готовился заплакать.

— Машину он хотел! «Жигули» ему снились! Не знаю зачем! Не меня возить! Меня он тут на замок готов был запереть!

Отвернулась. Плакала. Заревел малыш. Она прикрикнула:

— Стихни, паскуда!

Волкомич молчал подавленный, не знал, что говорить. Она обвиняла Володю как живого, ревновала и ненавидела его.

Сашка затих. Валя тоже успокоилась. Что-то стерла с лица полотенцем. Под одним глазом, потом под другим.

— Что из-за машины работал, — не выдержал Волкомич, — так это такая глупость, что я даже не знаю, как на нее и отвечать. Ты нашу работу не видела, а то бы так не сказала.

— Из-за чего же тогда?!

Он видел — она ждет. Пыталась, наверно, понять это ночами, а ночами не понимать надо, а спать; конечно же, запутала себя и теперь надеется, что он распутает.

— Для чего я вот работаю? — сказал он. — Дочки чужими стали, без надзора... Но все ж таки не для себя ведь, сколько мне там надо-то? Все ж таки для них, правда?

Нетерпеливо кивнула.

— Ну, допустим, останусь я в городе, устроюсь куда-нибудь перезимовать. Временно. Ну там куда-нибудь на полторы-две сотни, до лета...

Едва сказав это, понял, что так и надо сделать. А Валя почувствовала, что он думает о себе, и перестала слушать.

— Вот, — сказал он, чуть-чуть сжульничав, позволяя себе тон человека, объяснившего все. — Вот. Дело это не простое. Сейчас у нас с тобой не такое, понимаешь, настроение, чтобы такие вопросы решать...

Валя прятала глаза, скрывала нетерпение, хотела, чтобы он скорее ушел. Ничем он не помог, ничего не распутал, только хуже ей стало. Не надо было приходить, понял он, от добра добра не ищут. Будь сейчас здесь не он, а Галя, та нашла бы, чем помочь, да и просто поплакала бы — Вале бы и полегчало, а он с женщинами не умеет, от него в таких вещах проку нет.

3

Шмарин — такая фамилия была у Василия Григорьевича — осторожничал. Как будто бы и не он зазывал месяц назад. Тон по-прежнему был неслужебный, приятельский, а вопросы, как бы нечаянные, били в цель. Двадцать лет, значит, на тракторном, почему ж не снова туда? Почему вообще ушел, если все хорошо было?

— Ушел не сразу, — сказал Волкомич. — Сначала во время отпуска подрабатывал. Ну, вижу, есть смысл: пятьсот в месяц, шестьсот. Люди, опять же, подобрались. Конечно же, не сразу решил стаж ломать. А теперь зачем я им? Мою работу другие люди освоили, наука нехитрая. Конечно, на полторы сотни они бы меня в любое время взяли...

— Полторы — это не так уж плохо, — вскользь отметил Шмарин.

Хитрил мастер. Но и Волкомич хитрил. Нельзя было дать догадаться, что он только перезимовать. Сезонники тут не нужны. Кроме того, тут не срабатывал самый главный его козырь, тут не требовалась высокая квалификация. Значит, и рассчитывать на многое не приходилось. Если на тебя нет спроса, претензий предъявлять не к кому. Он достаточно поездил по городу и знал, что лучшего места себе не найдет.

— Вы же говорили, у вас триста.

— Не сразу такие деньги, Николай Степаныч, не сразу. Те, кто триста получает, за свое держатся. Их с места нелегко стронуть.

— Так ведь... может, и лучше, если человек разного попробовал?

— Я, Николай Степанович, между нами, считаю так: если человек уже сорвался с места, его и будет носить.

Волкомич сказал:

— Совсем не обязательно.

— Не обязательно,— согласился Шмарин.— Но возможно.

Он уже сделал вывод, принял решение, и тон стал другой, диктующий:

— Значит, так. Работа у нас сдельная. Сколько сделаешь, столько получишь. Но в пределах. Ты сам начальник, тебе объяснять не надо: у меня фонд зарплаты и число людей. Выйти из этого я не могу. Что у тебя было раньше, то было, а здесь мы тебя не знаем, наше знакомство, как говорится, еще впереди. Новый человек есть новый человек, сам понимаешь. И начинать надо сначала. А там посмотрим. Справедливо?

— Так это сколько же?

— Новому человеку мы обычно сотню даем. Ну а тебе уж, так сказать, учитывая фирму... ну, выработаешь полторы, дадим и полторы, это я тебе обещаю. А там видно будет. Кто работает, тех я не обижаю, Степаныч.

Оставалось или соглашаться, или уходить.

...Раздевался у своего шкафчика, приходя одним из первых, натягивал старую рубашку и брезентовую робу и шел на участок. Всего работало десять человек. Их работой, законченной и незаконченной, был заставлен весь участок, верстаки и проходы между ними. Волкомич присматривался, что тут делают. Кессоны, то есть опалубка,— фигурные многогранные ящики в человеческий рост, такие же большие, сложных профилей лекала, сосны на все это требовалось больше, чем умения. Делали тут также носилки и лопаты для снега. Заметил Волкомич и литейную модель. Видел и нехитрую мебель, тумбочки. На одном верстаке заметил буковые подлокотники, но это, решил он, кто-то втихомолку делал для себя, недаром и листом газеты прикрыл.

Его место было не здесь. В конце мастерской — стальные ворота. Нажмешь кнопку — они откатываются. Или же толкнешь прорезанную в них маленькую дверцу на пружине и попадаешь в полутемное складское помещение без окон, с прокопченными стенами и потолком, наполненное глухим гудением. Напротив ворот — печь, в которой сушится дерево. Перед печью в бетонном полу два приямка, в них всегда стоит вода. Она покрыта сверху слоем сажи и в слабом свете кажется тем же закопченным бетоном.

Освоившись в полутьме, замечаешь штабеля досок и щиты из них.

Этим-то Волкомич и занимался: склеивал щиты. Пропускал доски через фуговальный станок, смазывал отфугованные боковины клеем, укладывал на плиту, загонял два клина, чтобы прижались, и, пока сохло, шел собирать следующий щит. Вот и вся работа. Привели в первый день, показали, а уже через час прибежали, торопили. Щиты требовались и на кессоны и на лекала, ящики тоже сбивались из них, он должен был всех обеспечивать.

Побежав смену с досками, едва дотягивал до конца и все равно не успевал, кто-нибудь все время стоял над душой в ожидании щита или отфугованной доски.

На третий или четвертый день появился Шмарин:

— Ну как, Степаныч?

— Дело нехитрое...

Волкомич ничего не спросил. Он был уверен, что мастер хочет по очереди ставить его на все операции, как он и сам делал у себя в бригаде с новичками. Однако миновала неделя и шла вторая, а он по-прежнему копошился на складе в стороне от всех, бегал с досками у фуговального станка, мазал кистью клей, забивал клинья и ждал, когда вспомнит про него начальство. Бригадир подошел лишь однажды, ткнул контрольным шаблоном в торец доски, спросил:

— Толщину проверяешь?

— А кто мне сказал проверять?

— Ну вот говорю.

Ожидая случая, когда можно будет напомнить о себе мастеру, приглядываясь — не нравилось ему здесь, — Волкомич успокаивал себя: полгода можно потерпеть, а в июне он уже будет далеко отсюда ставить клуб Роману Куличенко, может быть, и кого-нибудь из этих десяти с собой уговорит.

Пока что никто из десятерых не привлекал. Большой рыхлый парень, Кусков, медлительный и вялый, делая простенькую литейную модель, загнал ее в брак и еще убеждал девушку-контролера, что сойдет и так. Прибежал Шмарин, кричал, что удержит брак из зарплаты Кускова, тот огрызался, не считая себя виноватым. Модель стояла на контрольной плите, несколько человек собрались вокруг, слушая спор.

— Ты у меня без штанов останешься! — крикнул напоследок Шмарин и ушел.

Кусков, запоровший модель не случайно — даром что здоровенный был детина, руки у него были приделаны не с того конца, и глаза смотрели не туда, — свято и безгрешно развел руками:

— Ну вот за что он меня облаял? Как я могу тут миллиметр пойма? Нарисовать в чертеже можно что угодно. Я тоже возьму и нарисую. А он пусть сделает.

Он, видимо, и не подозревал, что не линейкой или рулеткой тут ловить размер, а рисовать на бумаге, потом по рисунку вырезать шаблон из целлулоида и подгонять модель по нему. Те, кто стоял перед ним, двое или трое, тоже, видимо, не подозревали. Худой и высокий парень, верткий и быстрый, здешний шутник, сказал:

— Тебе б, Кусков, бутылку на троих делить, там бы ты без инструмента не ошибся, а? Микрон бы словил, точно?

— Когда я пил-то? — добавил к своей обиде Кусков и это. — Я уж и забыл, когда пил.

— А это зря, — сказал шутник. — Вот потому и разучился микроны ловить.

Его фамилия была Бородин. Это на его верстаке была халтура из бука, едва прикрытая газетой от глаз мастера, который, кстати, и сам не хотел ее замечать.

Обедали они в столовой домостроителей. Волкомич, никому в компанию не набиваясь, сидел за столиком один. Не выговорившийся, осмеянный Кусков подсел с подносом.

— Слышь, — продолжал он, найдя слушателя, о мастере, — деятель. Перед начальством он слова не скажет. Что сунут, то берет. Что я ему, модельщик? Я столяр. И пусть он только попробует удержаться с меня за брак...

За соседним столиком посмеялись. Там сидели Бородин, бригадир и еще один человек, Лякишев, тот, который запомнился со дня похорон Володи Котова, когда Волкомич приходил за помощью и он, этот Лякишев, в помощи хотел отказать. Волкомича он с тех пор не узнавал, смотрел мимо.

— Пропал теперь Шмарин, — сказал Бородин. — Что ж ты ему, Кусков, такое сотворишь?

— Сотворю. Все сотворю что надо. Заявление на стол — и будь здоров. Что я, работы не найду? Юмор.

Лякишев и бригадир только взглянули и продолжали есть, а Бородин отвлекли девчата с домостроительного, ввалились толпой в комбинезонах и теплых платках, у него с ними был свой интерес.

Кусков продолжал нудить. Мол, Бородину или Лякишеву мастер невыгодной работы не даст, а Кускову все можно дать, кто везет, на том и ездят, и вообще...

Волкомич отвел взгляд, чтобы не поощрять разговора. Подсел человек — не запретишь и не прогонишь, не в гости пришел, столик на четверых. Так получается, что к новому человеку первыми тянутся те, кем пренебрегают. Те же, кто в себе уверен, не торопятся, прис-

матриваются. Не слишком церемонясь — он здесь сам по себе, Кусков сам по себе, — недослушал, поднялся с подносом. По пути на участок его обогнал длинноногий Бородин, запрыгал козлом по кирпичам через грязь, иные из них совсем утопил.

Кусков потом приходил к Волкомичу на склад — остаток обеденного времени посидеть у печки. Слушая про надоевший миллиметр, Волкомич — как было смолчать, все же он был модельщик, а они столяры — поделился:

— Я, например, шаблончиком в таких случаях пользуюсь.

Кусков нахмурился, недовольный, что приходится вникать во что-то непонятное.

— Каким еще шаблончиком?

Волкомич объяснил, как кроить шаблон. Кусков не проникся идеей, не загорелся.

— Не понял юмора. Чего ж мне еще... шаблон какой-то кроить? Ну знаешь...

Володя Котов, бывало, светлел, когда вникал в новую идею. В нем все отзывалось радостью, мысль рождала мысль. Но не такие тут были люди. Волкомич пожал плечами.

— Дело хозяйское.

Он устал. Казалось бы, никто тут по-настоящему не выкладывался, но тот, кто клеил щиты до него, работать умел. Тот человек не ленился. Даже если сделать скидку на многолетний навык, все равно поворачивался на удивление быстро, наверно, двужильный был. Это не давало покоя.

— Кто до меня тут щиты клеил?

— А никто, — сказал Кусков.

— Готовые привозили?

— Откуда? Каждый сам себе клеил.

— А чего ж вдруг переменялось?

— А я почему знаю? Надо же им что-то выдумывать новое, оклады свои оправдывать. Вот и решили, чтобы один всем клеил.

Одна забота отлегла от души Волкомича: оказывается, он соревновался с человеком, которого на свете не было, а уж думал — постарел и ослаб. Не ослаб пока. Он, однако, понял и другое: Шмарин не собирался ставить его по очереди на разные операции. Определил в подсобники, вот и все. Но ведь Шмарин обещал сдельщину, а какая сдельщина могла быть у подсобника? Обманул мастер.

Смену Волкомич доработал до конца. Он поднялся на антресоли на следующий день утром. Шмарин вешал в шкаф мокрую нейлоновую куртку, надевал сатиновый халат. В это время позвонили по телефону. Видимо, звонило начальство и Шмарина распекали. Он, в наполовину натянутом халате, подняв трубку, первые слова слушал стоя, потом нащупал ногой стул, присел и начал багроветь, а голос оставался очень спокойным (объяснял все про ту же загубленную Кусковым модель). Трубку он положил уже совсем красный.

Волкомич сказал ему:

— Тут, Василий Григорьевич, видимо, я чего-то недопонял. Я чего-то так понимал, что меня брали сюда столяром-модельщиком.

— Правильно понимал, — сказал Шмарин, с трудом переключаясь на Волкомича.

— А работаю я подсобником.

— Каким подсобником? — искренне удивился Шмарин.

— А кем?

Шмарин, натянув халат и окончательно переключившись, сказал:

— У меня и должности такой нет — подсобник. У меня все тут столяры-модельщики.

— Так что? Я так и буду клеить все время?— спросил Волкомич. Не вовремя он пришел. Шмарин вдруг вспыхнул:

— Надо будет — будешь клеить! Это ты что же, уже права пришел ко мне качать? Неделю-то поработав?

Вошел Лякишев с бумагами, мельком взглянул, положил их мастеру на стол. Если бы Шмарин при нем продолжал кричать, тут же бы все, наверно, и кончилось. Но мастер успокоился и просительно сказал:

— Степаныч, не торопись ты, ей-богу. Погоди. Разберемся. Ты ж опытный человек...

Волкомич спустился по железной лестнице. Около нее на монтажной плите сидел перед своей злополучной моделью Кусков, толстые белые икры высывались из задравшихся штанин. Делать шаблон Кускову не хотелось, мысль о нем он отбросил как вредоносную. Надеаясь, что и так обойдется.

За своим верстаком стучал по стамеске Бородин. Хороший был стук, полный и чистый. Все удлиненное тело Бородина, спружиненное над левой, с зажатой стамеской, рукой, было в работе, разворачивалось вместе с линией, по которой двигался в твердом буке кончик инструмента. Бородин бросил стамеску, метнулся к инструментальному ящичку. Торопился. Все ему надо было успеть: и работу свою сделать, и халтуру, и с парнями покурить, и с девушками позубоскалить.

Бригадир прилаживал в кондукторе угол кессона, присев, прицеливался, ровно ли, поднял глаза: Волкомич идет от начальства. Зафиксировал это и снова взгляд вдоль кромки. Ничего не изменилось на хмурым лице.

Волкомич, толкнув калитку, выбрался через нее на склад и, выбивая клинья, чтобы снять последние вчерашние щиты, думал, что нет, так с ним нельзя, не выйдет. Конечно, до лета можно бы и на щитах перекантоваться, руки не отсохнут, но нельзя позволять обманывать себя, такую работу он себе всегда найдет, а такого модельщика, как он, пусть Шмарин поищет.

Поостыв, рассудил, что сам виноват. Где-то он ошибся. Надо было лучше договариваться с самого начала, устраиваясь. Он оказался простаком, а не обмануть простака — грех. Уволиться же — дело не долгое.

Ошибка дорого стоит, но уже ошибаясь, доказывать, что ты не дурак, стоит еще дороже, он это усвоил в шабашках. Тот, кто не умеет выждать, платит вдвойне. Когда в Докшицком районе председатель Рожков, с которым уже обо всем было договорено, вдруг, как бы опомнившись (увидев пятерых молодцов с чемоданами, вот они тут, перед ним, неужели же из-за такого пустяка назад завернут), не удержался от соблазна выгадать колхозные рубли и спохватился, что он имел в виду не только сараи, но за те же три тысячи еще и пару ворот на ферме и завалившийся флигелек, — тогда Волкомич тоже сказал себе, что так с ним не выйдет и что нельзя позволять обманывать себя. Они все пятеро повернули с порога, две недели сентября сидели без работы, пухли от сна, начали уже ссориться друг с другом, и тогда Волкомич и понял, что скупой платит дважды. Он разыскал Рожкова на картофельном поле, добравшись до него на попутном «ЗИЛе». «ЗИЛ» перед этим сел по самый дифференциал у птицефермы, его вытащили тросом, начало смеркаться. Волкомич с подножки соскочил на картофельную борозду, мимо студентов с корзинами прошел под холодным дождем к председателю, и тот сказал: «Я тебя не звал». Они сговорились вечером у того дома за столом, Рожков учил, как надо жить. Волкомич сунул сверток в председательский карман, придержал: «Обижаешь, Виктор Семенович, так заведено, твоя доля». Триста рублей были его собственными деньгами, он никому про них никогда не сказал, и невелика была бы поте-

ря, терял больше, и бог с ними, с деньгами, но с тех пор Рожков, после этих денег заскучавший, клянувший себя, что не сумел отказаться в нетрезвую минуту, избегал его, и он сам избегал Рожкова, не могли смотреть друг на друга, и все в ту осень шло наперекосы.

Он не подал заявление: раз уж попался, не трепыхайся, не смейся людей. К Шмарину не подходил. Дома Галя видела, что он на взводе, и, равнодушная к причине — никогда она не знала его причин и не пыталась о них судить,— следила лишь, чтобы дома не вспыхнуло, чтобы дочки не лезли к нему под руку, не завели. Он как-то спросил, почему Света не делает уроки. Ни разу не видел ее с книжкой, зато когда бы ни шел домой, всегда на лестнице торчали мальчишки и с ними Света в халатике — пасла свой табун. Заговорил об этом с Галей — отмахнулась, не его, мол, дело. Он взял дневник, там были одни тройки, даже по физкультуре.

— Интересно,— сказал он.— По математике успевать не всем дано, мозги нужны, коль их нет, так нет. Но ноги-то в коленках у тебя нормально гнутся? Что ж по физкультуре-то так?

Света молчала. Оторопела. Давно он ее не ругал.

— Что же молчишь-то?

Галя пожалела:

— Да ладно, Коля...

Чувствуя, что перегибает, он сказал:

— Будешь все праздники дома сидеть, уроки учить.

4

В тот вечер пришел Петро Ладутько. Они не виделись с двадцать шестого сентября, когда расстались на центральной усадьбе Романа Куличенко. Волкомич с Володей и Гириявиным уехали тогда на попутной в Гомель, а Ладутько и Суслов двинулись на запад, к Мозырю, в родные места копать картошку. Ладутько только что вернулся оттуда домой.

Днем он успел купить себе коричневое драповое пальто и коричневую шляпу, еще не сжился с обновками, они его стесняли. Да и пальто, хоть и выбирали его вдвоем с женой.— неизвестно, куда вдвоем смотрели,— оказалось слишком узкое и длинное, так что, открыв дверь, Волкомич в первую секунду решил, что приятель усох от какой-то болезни. Ладутько и без того был узкоплечим и сухим, эдакая обветренная добела старая жердь.

Заплаканная Света, услышав звонок, умчалась в свою комнату. Галя, не зная, накрывать ли для гостя, чем-то занялась на кухне. Ладутько сначала скинул обувь, потом пальто, потом шляпу, прошел в комнату, мучался, стесняясь там закурить.

Он впервые услышал про Володю.

— Судьба, Коля...

Наверно, ничего другого никто не мог сказать.

— Гириявин ждет суда,— сказал Волкомич.— Меньше трех лет не получит.

Ладутько не любил Гириявина, но никогда этого не показывал и сейчас не показал, посочувствовал:

— Меньше трех никак, это уж точно...

— Нет нашей бригады, Петро. Надо новую собирать, а?

Ладутько кивнул. Он привык, что решает бригадир. Куда тот, туда и он.

— До лета я не соберу,— сказал Волкомич.— Или ты кого посоветуешь?

— Кого ж...

Галя выглянула, Волкомич дал знак накрывать.

— Чаек, Петро... Или, может...

— Да чего там, Степаныч...

Попили чай, Волкомич рассказывал про работу: столярка как столярка, чтобы перекантоваться до лета — вполне. Работнички, конечно, те еще...

— Мы бы с тобой, Андреич, вдвоем всю их работу сделали, — основательно преувеличив, сказал он. — Вот куда я попал. Сглупил, понимаешь, а теперь уж что? Идти тебе к нам?.. Не знаю...

Ладутько ждал, что и в этом он решит за него. Не хотелось, чтобы приятель увидел его на складе клеящим щиты для молодых парней, и, приосанившись, мол, положись на меня, Волкомич пообещал:

— Потерпи, Петро, поищем получше.

Искать ему было трудно — днем работал, не мог. Кто-то подсказал, что есть место на станкостроительном, место было неплохое, ездили вдвоем с Ладутько, тому понравилось.

Володины сороковины пришлось на седьмое ноября. Подгадал Котов на самый праздник. Договорившись с Ладутько, Волкомич ждал приятеля на автостанции. День был ясный, люди возвращались с демонстрации, толклись плотно на площади среди желтых «Икарусов» и белых «ЗИЛов». Волкомич, всегда в толпе напряженный, вертел головой, чтобы не проглядеть в этой пестроте, уже ослепнув и одурев от мелькания, и вдруг увидел Гирявина.

Ладутько привел. Гирявин за месяц изменился страшно, опух, лицо стало сырым и тупым, вместо прежней нагловатой веселости дергалось в нем что-то судорожное. И приподнятость его была судорожной. Гирявин никак не мог уразуметь, что он чувствует и должен чувствовать сейчас, бросился к Волкомичу, перехлестывая в радости — бригадир, самый дорогой человек! — готов был прослезиться.

Отделяя от себя это большое и болящее, Волкомич — они уже шли к автобусу втроем, надо было не мешкать — срезал с маху:

— Ты куда ж собрался?

Гирявин и Ладутько насторожились.

— То есть... Степаныч...

— Не надо тебе ехать с нами.

Гирявин побледнел. На какую-то секунду Волкомич испугался того, что сделал. Убил он человека. Но не мог он его видеть.

— Коля... Коля, ты что ж меня затаптываешь-то? Я ведь живой человек, Коля. А за то я ведь дорого заплачу...

Гирявин еще боялся рассердить, он еще надеялся, что не конец это, что Волкомич передумает. Но Волкомич уже решил и, снова чувствуя внятнo, уже не жалел. Ладутько нахохлился, закурил.

— Лежачего не бьют, Коля. Лучше б ты меня ногой по морде... Ты когда-нибудь пожалеешь о своих словах. Хреновый ты друг, бригадир, вот что я тебе скажу...

Гирявин махнул рукой, побрел прочь от них мимо желтого навеса, убранного флажками, мимо автобусных кузовов. Ладутько молчал. Жалел.

Со времени Володиных похорон прибавилось четыре длинных ряда. У Володиного столбика, с двух сторон подпертого привядшими венками, на мокром песке лежали свежие астры, белые и синие, и рядом букет желтых хризантем. Наверно, здесь уже побывали утром и Володины родители и Валя. Волкомич и Ладутько постояли у столбика. По пути Волкомич в старых рядах видел скамейки и подумал, что надо бы и Володе сделать такую же, а то сесть негде. Земля разрыта, место низкое, в воде.

Открыли бутылку. Ладутько сказал надгробное слово:

— Хороший был хлопец Володька... Земля пухом...

Волкомич постоял, подыскивая слова:

— Эх, Володька... Пухом тебе...

Они отошли в сторону, отыскивали чью-то скамейку и сели на нее.

Ладутько рассказывал, что станкостроительный ему не понадобился, он устраивается в мастерские, мебель на заказ, свояк помог, туда так просто не попадешь. Они там нарасхват, зарабатывают столько, сколько хотят.

— Что там твой колхоз, Степаныч, нам такое и не снилось.

Оказалось, не пропал Ладутько без своего бригадира, устроился лучше прежнего.

— К Валентине-то Володиной не зайдем? — спросил он.

Волкомич помолчал. Он и без Ладутько думал о Вале больше, чем хотел. Помнил, как она билась на его кровати в гостинице. С тех пор все время таилась в нем нелепая мысль, что он для Вали такой же губитель, как Гирявин. Понимал, что глупость, и ничего не мог с собой сделать. Один раз предложил помощь — вышло нехорошо. Опять навязываться?..

— Не звала.

— Так ведь заглянем только. Вдруг чего надо.

Волкомич решился:

— Ну давай.

Он хотел видеть Валю. Сам не знал почему.

Зашли в магазин, купили коньяк и малышу шоколадку.

Введя их в комнату, Валя сказала:

— Вот... С Вододей работали...

За столом сидели два парня с женами, Володины школьные приятели. Потеснились. Разговор их возобновился не сразу, тихий, чтобы не разбудить малыша. Вспоминали про Володю. Валя задумалась, подперев кулаком подбородок, не слушала и невпопад сказала:

— Мы с Володей хорошо жили.

Должна была прийти к этому и вот пришла, потому что иначе как же ей можно было жить дальше.

— ...он Сашку очень любил. Мог доедать за ним. Я не могу, а он мог.

Один из парней, облокотясь о стол, продолжал вспоминать школьное. Он вел к тому, что в смысле способностей они все Володе в подметки не годились. Все кивали. Одна из жен сказала, что Володя самый решительный был, потому и рабочим пошел. Все и с этим согласились. Ладутько, деликатно крякнув, заметил:

— Так ведь... у Володи-то нашего... руки были жадные к работе...

Всегда умел Ладутько сказать в тон.

Для того и собрались — искать в себе хорошее, принимать сердцем и смерть и жизнь.

Вышли в темноте. Выпал туман, сизый, а то и розовый в свете иллюминации, было тепло. Стояли на остановке, вдыхая сырость. После коньяка и душевных разговоров Ладутько стал совсем блаженный.

— Хорошо помянули...

Волкомич не ответил. Отчего бы Ладутько и не чувствовать себя хорошо? Кто ему был Володя? Вале тоже надо было как-то смириться с бедой, чтобы жить дальше.

Но он сегодня, может быть, доконал Петю Гирявина, он очень много на себя взял, как же ему может быть хорошо?

Ладутько, думая о том же, решился:

— Такое дело... судьба... Помнишь, как у меня на клубе в Крупках? Еще бы чуть-чуть...

Волкомич помнил: ставили клуб, затягивали наверх стропильную балку, сорвалась, а он стоял внизу. Ухнула рядом. Ладутько напомнил из-за Гирявина. Со всяким, мол, может случиться... Что уж он так Гирявина полюбил? Прежде-то Гирявин донимал его насмешками, прежде не очень-то давал таким, как Ладутько, возможность себя любить. Только он, Волкомич, и мог приструнить парня.

— Чуть-чуть, Петро, не считается.

К концу ноября успевал сделать за день столько щитов, что некуда было ставить. Он уже не бегал с доской, вставляя ее с одной стороны фуговального станка и принимая с другой. Он отыскал на пилораме две тележки, соединил их и теперь только подавал в станок доски одну за другой, они сами падали на платформу из тележек, и когда собиралось достаточно, перевозил все разом и фуговал вторые боковины. Потом еще одну такую же платформу сделал.

Задерживало, что склеенные непросохшие щиты некуда было поставить, приходилось таскать их с места на место. Их по одному перевозили со склада на тележке, переделанной когда-то из отслужившего свой век электрокара. Он решил клеить щиты прямо на этой тележке, укладывая один на другой пятнадцать рядов. Для этого надо было только приварить по бокам ограничивающие стойки из труб, как ножки перевернутого стола. А на стойки набрасывать щеколды, разделяющие щиты.

Сам он такое сделать не мог. Требовался сварщик.

Помог случай: на участке появились два газосварщика, переделывали трубопровод. С одним из них, совсем молодым пареньком, Волкомич и договорился.

Он начал варить сам в обеденный перерыв, пока сварщики перекусывали. Бригадир Артюхов и Кусков увидели сполохи сварки и подошли посмотреть, что он делает.

Кусков сказал:

— Система земля — воздух.

Одна стойка, уже прихваченная в двух точках, торчала — в самом деле как ствол.

— Серьезно, Степаныч, — сказал Кусков, — чего это?

Подошли молодые парни вместе с Бородиным, и тот сказал то же:

— Система земля — воздух. Прячь, Кусков, задницу, сейчас рванет.

Кусков обиделся:

— Голову прячь, Бородин. Что уж моя задница рядом с твоей головой?

Щеколды удалось сделать лишь несколько дней спустя, и все эти дни, вкатывая тележку с очередным щитом на участок, Волкомич встречал внимательный взгляд бригадира. Любопытный был человек Артюхов, не любил, если не понимал чего-нибудь, четыре торчащих стойки не давали ему покоя, а спрашивать не хотел. Только когда щеколды были готовы и щиты легли один на другой все пятнадцать, сжатые с боков клиньями, бригадир разобрался, в чем дело, и успокоился.

Шмарин успел оценить платформу из тележек и приваренные стойки оценил тоже, постоял около них очень довольный, спросил:

— Отчего рацпредложение не подаешь? Оплатим...

— Что мне та десятка..

— Не нужна? Богатый? — прищурился мастер.

— Вы мне за работу платите, как договаривались.

Он впервые напомнил об этом после единственного их в конторке разговора. За ноябрь Шмарин заплатил ему сто тридцать рублей, даже меньше обещанного.

— Степаныч, моя бы воля... Торопишься ты. А⁺ куда? Времени нет?

Шмарин смотрел внимательно. Все тот же был прежний, невысказанный вопрос: надолго ли ты тут у нас, товарищ дорогой, задержался? Однако на невысказанный вопрос можно было не отвечать.

— Времени мне как раз девать некуда, — сказал Волкомич. — У меня щитов вон на два дня вперед.

Разговаривали они у тележки. Пространство возле печи, освобожденное от щитов, казалось теперь большим и голым. У теплой стенки сидели столяры, грелись и слушали.

— Да, Коля, будешь ли потом вспоминать, как работал в стройтресте номер один за сто тридцать,— «посочувствовал» Лякишев.

Кое-кто с готовностью рассмеялся: шкурные разговоры они не любили. Волкомич спросил:

— Где это я буду вспоминать?

— А кто тебя знает где.

— Так сделайте так, чтобы от вас люди не уходили. Кто ж уходит от хорошего к худому?

Лякишев не нашелся, а Шмарин посчитал нужным не оставить без ответа, нахмурился:

— Да, Степаныч, я вижу, порастерял ты на шабашках сознательность. Ты у нас второй месяц, а права уже качаешь. Почему я тебе должен платить больше, чем вот Сушко? Человек тут с первого дня и хоть бы раз мне слово про заработок сказал. А он мог бы скорее, чем ты, он на кессонах.

Сушко, худой и сутулый, самый неприметный и молчаливый из столяров, заерзал, оказавшись вдруг на виду.

— Значит, человеку нравится,— отвел Волкомич сравнение.

— Не нравится,— поправил Шмарин.— Сознательный.

— Не много ли сознательных? Лякишев сознательный, Сушко вот...

Кто-то хмыкнул. Шмарин сразу посуровел:

— Ты не зарывайся, Степаныч. Ишь ты.

— А что я сказал?

— Много говоришь.

Шмарин, повернувшись, пошел к станкам, позвал с собой Лякишева и кого-то из парней, что-то там надо было сделать.

Волкомич сел у печки, озадаченно припоминая, не сболтнул ли что-нибудь лишнее. Как будто нет. Шмарин не мог ответить ему, вот и пугал. Сушко, не по своей воле послуживший против Волкомича, подвинулся, освобождая место рядом, и вздохнул, как бы оправдываясь:

— Хе-хе... Нам-то грех жаловаться...

— Это в каком смысле грех?

— Так ведь... солить их, что ли?

Кончился перерыв, разошлись по рабочим местам. Волкомич клеил щиты впрок и, задетый разговором, недобро осматривался. Не нравилось ему здесь, очень не нравилось. Лякишев с карандашом за ухом, первый тут мастер, сидя за верстаком, изучал чертеж. Его лекала, к которым он никого не подпускал, любой модельщик тракторного сработал бы мигом между делом. Бородин мастерила халтурное кресло. Как же Шмарин план выполняет? Такой, значит, план. В то же время Сушко двигался как заведенный. Хоть и худой, силой он обделен не был, сорокакилограммовые стенки кессонов таскал резво. Годы однообразной работы отшлифовали его движения, и все же смотреть на него было тяжело, потому что, напрягаясь, он закатывал глаза, жутковато гримасничал, каркал, не думая о том, какой он со стороны, себя ощущая плохо. Волкомич не любил таких механических людей, не проверяющих себя сторонним взглядом.

К концу дня Сушко расходовался полностью, слеп и глух от крайности своих усилий. Все-таки за пятьдесят было человеку. Седые волосы, мокрые от пота, кончиками загибались кверху, прилипали к узкому черепу, открывая на макушке плешь. После душа Сушко долго сидел голый на скамейке, ожидая, пока вернутся силы.

— Ну что? — сел рядом Волкомич.— Грех жаловаться, говоришь? Солить собираешься?

Сушко покосился. Несмотря на тон, почувствовал, что не совсем шутка. Осторожно заметил:

— А чего ж...

— А жена у тебя кто?

— Медсестра.

— Восемьдесят получает?

— Почему? Сто пять.

— Я летом пять четыреста взял,— сказал Волкомич.— За три месяца. Вот и считай. Что ж твоя женка так плохо работает?

— Это ведь... что ж она?..— Сушко растерялся.— Это ж медицина... Да там хирург вон, как мы, получает. Так ты сравни работу.

— Значит, такая работа.

— Да ведь... хирург! Пусть бы меня сколько на это дело учили, я б ни за что! А вдруг рука чуть не так? Не дерево ж под ножом!

Сушко, наверно, очень живо представил себе, как он режет человека. Представив, содрогнулся.

— И такому человеку платят меньше, чем вот нам. Разве ж это правильно? Да ладно хирург, простая медсестра вроде моей женки — от нее ж... без сестры и хирург не вытянет больного! Она ж не виновата, что ей так платят!

Волкомич промолчал. Охота дразнить пропала. Не зря он таких всегда не любил. Вот бы Шмарину все такие, совсем мастеру делать было бы нечего. Работали бы все и работали.

— У них там готовый корпус стоит пустой,— сказал Сушко,— потому что нет санитарок и сестер. Не хотят на восемьдесят идти. Вот что тут делать?

— И что ж ты собираешься делать? — спросил Волкомич.

Сушко осекся.

— Я?

— Ты.

— Да что ж я... разве ж я решаю?

— Не ты? А я уж подумал, что ты.

— Я... Это министры решают. И, наверно, если б легко было решить, так уж решили бы как-нибудь. Значит, нет пока такой возможности, чтобы больше платить.

— Отчего ж так?

— Получать больше каждый хочет, а работать — так нет.

— Вот,— сказал Волкомич.— С этого и начинал бы. Работал бы ты иначе — и сестрам бы хватало. Что ж ты так работаешь?

Такого поворота Сушко не ожидал. Удивился:

— Как же я... это... работаю?

— Какая ж это работа?

— Ну знаешь,— сказал Сушко.— Как могу.

Подумал, покачал головой, но решил не обижаться.

У Волкомича испортилось настроение. Спорить с Сушко — как в вату бить кулаком. Для сушковских кессонов он, Волкомич, сделал бы нехитрый сборочный кондуктор вроде тех, какие стоят на тракторном, и пошла бы работа вдвое полечче, но ведь разве это надо Сушко? Ничего ж ему не надо!

Они шли в сумерках к трамвайному кольцу, слабо мела по шершавому льду поземка. Сушко, беззлобно удивляясь людской испорченности, рассказывал про соседа, который пытался сунуть рубль жене Сушко за то, что сделала его сынишке укол пенициллина:

— Я ему говорю: если б мой Сашок был живой, ты б мне отказал что-то для него, больного, сделать? Ты ж себя-то на мое место поставь!..

Что-то он из этого соседского рубля выводил для себя очень важное, как бы тревожащее его, а на самом деле утверждающее в себе.

Думая о сборочном кондукторе — на этот раз он обязательно предложение напишет! — Волкомич догадался: Шмарину не нужен

кондуктор и точно так же не нужен он, Волкомич, потому что ему не нужно, чтобы участок работал лучше. Возможно, двадцать девятого сентября, когда он звал Волкомича к себе, он считал, что ему понадобится модельщик, а потом что-то изменилось. Или же, наоборот, чего-то он ждал, и не случилось. План выполняется, премии идут, все спокойно, и, значит, ничего Шмарину не надо, а пока мастеру ничего не надо, ему, Волкомичу, рассчитывать не на что.

В подъезде навстречу ему скатился табун мальчишек. Самые первые, существующие тут в качестве подкрепления, узнавая отца Светы, весело посверкивали глазами, а последние, в джинсах и штроках, заметные, ухажеры, вежливо — не познакомлены — смотрели поверх его головы. Наверно, получили приказ исчезнуть при его появлении. Света с подружкой закрылась в комнате.

— Ты бы уроки делала, — сказал Волкомич из прихожей в глубину квартиры.

Девочки появились вдвоем. Подружка, Тамара из соседнего подъезда, годом старше Светы, ему не нравилась. Света всегда тянулась к ней, а в последний год особенно. Та кончала индустриальный техникум и, скороспелка, была взрослой, хоть и водилась с несмышленишками.

— Ай, дядя Коля, — сказала она, представляясь и сама несмышленишкой, играющим в куклы. — Нельзя же целый день заниматься, надо и отдохнуть.

Не отвечая ей, он сказал дочери:

— От троек своих переутомилась? Тамара-то техникум кончает, а ты куда денешься?

Света хотела ответить дерзко, Тамара не дала:

— А сейчас что техникум, что институт — конкурса нет, никто идти не хочет, дядь Коля. Сейчас народ умный стал.

Повторяя чужие слова, смотрела не мигая круглыми, обведенными черной каймой глазами — беседовала с ним о жизни, ни много ни мало.

— Конечно, — сказал он, — только дураки и учатся.

В самом деле, однако, странно получалось: Свете учиться не надо, ему не надо работать. Что ж тогда надо?

6

В конце года был суд над Гирявиным. Когда объявили пять лет, жена его закричала, братья успокаивали ее, одна из невесток, обливаясь слезами, обнимала мать Гирявина и давала ей понюхать какой-то пузырек. Во всем этом было много картинного, но горе оставалось горем. В узком коридоре толпились у дверей по другим делам, на улице косо несло снег, сырой и тающий в грязи, пробирало сильнее, чем стужа. Избывший свою свидетельскую обязанность. Волкомич вышел на улицу. Он не мог жить с невнятицей чувств, еще в сентябре сразу сказал себе, что Гирявин виноват, и с тех пор не допускал жалости. И вот Гирявин был наказан, закон жизни, по которому каждый получает свое, осуществился, и теперь Волкомич мог жалеть. Пока он шел под ветром к дому привычной дорогой — привычной потому, что здание суда было в двух кварталах от дома, у трамвайной остановки, он каждый день дважды проходил мимо, — он смог забыть, что Гирявин виноват, и теперь думал о том, что мальчишке Гирявина кончат школу без отца и без отца решать, что делать дальше, теперь, когда справедливость существовала, он мог соприкоснуться с чужим горем, почувствовал его и содрогнулся: вот беда так беда...

Вспомнил, как хорошо им работалось — они впятером, хоть и не все были столяры, могли бы сделать больше, чем весь участок Шмарина. И жилось им весело... Такой бригады у него уже не будет.

У Шмарина другие люди. Парней из ГПТУ по их молодости он

во внимание не принимал. Кусков и Лякишев для его дела никак не годились. Сушко, пожалуй, тоже — зачем ему плотник, которому не нужен заработок? Бригадир, он чувствовал, мог бы с ним работать, однако подойти к нему было непросто, они друг с другом за все время и десяти слов не сказали, человек этот не спешил раскрыться.

Длинногого, верткого Бородин Волкомич взял бы охотно. Забывал тот, как Лякишев или бригадир, да еще успевал сделать кое-что для себя. В курилке только его голос и слышен был, остальные при нем тушевались, смотрели ему в рот, ловили шуточки. Соображал он быстро, выучиться на плотника или каменщика ему не составило бы труда. Такой годился хоть куда.

Волкомич не торопился с разговором. Бородин начал сам, когда оказались по случаю рядом: оба ждали, пока освободится кран-балка, которую Кусков умудрился так загнать вместе с подвешенной плитой между станками, что не мог вытащить. Присев около Волкомича, Бородин — почему не использовать минуту безделья на то, чтобы расположить к себе человека? — подмигнул:

— Что, Степаныч, на шабашке такого не было, чтоб из-за одного охламона остальные загорали?

Волкомич понимал, что тот подлаживается, однако помедлил — нет ли в этом подлаживании еще и насмешки, у Бородина вполне хватало бы тонкости совместить.

— Всякое бывало...

— Скучно небось у нас?

— Почему?

— Я, между прочим, может, тоже когда-нибудь.. Меня дружок звал в Тюменскую область. Говорит, за лето — на «Жигуль».

Волкомич осторожно сказал:

— Бывает... Что там Тюмень — тут вон совсем рядом клуб предлагают ставить — тоже, пожалуй, на «Жигули» может получиться.

— Как — рядом?

— Под Гомелем.

— Может, я знаю? Я ж из тех же мест.

Волкомич не мог понять, какой у Бородина интерес, но какой-то интерес был, не одно лишь праздное любопытство.

— Есть один колхоз...

— Секрет, что ли? — сощурился Бородин.

— Куличенко Романа Михайловича знаешь?

— Кто ж его не знает! Земляк известный! Слушай, Степаныч, может, в случае чего свистнешь? Чур, я первый.

Бригадир, высвободив с Кусковым кран-балку, шел к ним. При нем оба не хотели продолжать.

— Можно и свистнуть... если, конечно, серьезно.

— Без балды, Степаныч. Все. Забито.— Бородин поспешил за кран-балкой.

К обеду или чуть позднее Волкомич заготавливал все щиты. Не затягивал работу — пусть видят, что свободен. Он стоял за верстаком Кускова и резал тому шаблончик, когда Шмарин, проходя, позвал к себе.

— Рулетка есть? — спросил мастер, надевая пальто.— Пойдешь со мной в управление.

Управление было неподалеку, чуть ближе к трамвайному кольцу, двухэтажный кирпичный дом, перестроенный из жилого в контору. В комнате планового отдела был только начальник, молодой и нервный.

— Показывай, Сережа,— сказал ему Шмарин,— что тебе требуется. Вот мастер пришел мерку снимать.

Требовался шкаф с антресолями на всю стену. Тут же взяли скоросшиватель, по нему прикинули ширину и высоту полок. Пока Вол-

комич, стоя на стуле, рулеткой измерял выступы балок, хозяин комнаты Сергей Иванович договаривался со Шмариным о другой работе, то есть Сергей Иванович навязывал, а Шмарин от работы отказывался:

— Серега, ты что, где я тебе людей возьму? Иди к начальству, пусть людей дают! Да и не мое это дело — модели, у меня столярный участок!..

Волкомич только диву давался, до чего естественно это получалось у Шмарина. Вся нехитрая хитрость мастера сводилась к тому, чтобы убедить, что план у него велик. Сергей Иванович все же навязал ему какую-то работу, и Шмарин возвращался на участок в плохом настроении, бурчал:

— Этот Серега за счет нас хочет план комбината выполнить. Пусть он мне деньги даст. У него там под боком сидит одна гримза: чуть лишний рубль заплатишь — стоп! Фонд! А ты говоришь, плати.

— Так ведь за работу деньги, я ж и сделаю больше, государству же выгода,— заметил Волкомич.

— Это ты у себя на шабашке можешь так рассуждать,— зло сказал Шмарин.— А здесь тебе не шабашка. А со шкафом не гони, а то Серега считает, что все само собой делается.

Со следующего дня Волкомич до обеда клеил щиты, а потом готовил для шкафа брусья, планки, дверцы и полки — то, что Шмарин в науку Сергею Ивановичу советовал делать не торопясь, но он торопился, гнал, иначе не умел.

В середине января все погрузили на «ЗИЛ» и отвезли в контору. Два дня Волкомич собирал шкаф, слушал разговоры в плановом отделе и стал кое-что понимать. Их столярку организовали, имея в виду какую-то особую опалубку — кессоны, какие-то стаканы и корыта, в которых почти во всех уже отпала нужда. Вместо этого — не распускать же людей — стали брать заказы со стороны, благо ездили и ездили просители с чертежами в портфелях, готовы были платить втридорога, лишь бы делали им литейные модели. Этим воспользовались сполна, план перевыполняли, и вот Шмарин стал уже бояться, что теперь план им повысят. Сергей Иванович заинтересованный в заказах, сталкивал его с толкачами. Один и прикатил из Москвы, особенно настырный, уговаривал Шмарина, намекал, что в долгу не останется. Шмарин сказал: «Не понял. Это ты про что? Взятку мне, что ли, сулишь?» Толкач на мгновение смутился, но тут же оправился: «Завод простаивает! Государство тысячные убытки несет, а ты... Есть у тебя совесть или нет?» «Совесть у меня есть,— сказал Шмарин.— У меня людей нет».

Шкаф стоял почти готовый, теплое, светлое излучение шло от березовых плоскостей и сосновых ребер, жалко было, что пропадет такая благодать под масляной краской. Шмарин, уходя, довольный, что сумел отбояриться, попробовал, как закрываются дверцы, погладил — хорошая работа, вот как мы, Сергей Иванович, для тебя стараемся, а ты еще нас ругаешь. Сергей Иванович, переживая из-за москвича, уткнулся в свои бумаги. Шмарин ушел, а он, не сразу подняв голову, посмотрел.

— Степаныч, неужели вы там все так уж перерабатываете? Волкомич пожал плечами.

— Не знаю. Кто как, а я не перерабатываю.

Начальник планового отдела глянул внимательнее.

— Вы до нас где были?

— Модельщиком на тракторном.

— Интересно. Что ж так: модели делает столяр, а шкафы — модельщик?

— Начальству виднее.

— Ну а все же?

— Так ведь если ж все равно план выполнится? Зачем, я так понимаю, работать, если можно с тем же успехом не работать?

— Понятно...— Озадаченный Сергей Иванович хотел еще что-то спросить, но передумал и снова занялся бумагами.

День спустя Шмарин, вернувшись из управления в конце обеденного перерыва, буркнул Волкомичу, чтобы тот шел за ним, и простучал ботинками по железной лестнице на антресоли в свой кабинет. Усевшись в пальто за стол и сдерживая себя, чтобы не выругаться, спросил:

— Что там у тебя в плановом отделе за разговор был? Со мной нельзя было решить?

— Не было никакого разговора. А что я модельщик, разве ж это секрет?

Шмарин все-таки выругался.

— Я тебе честно скажу. Промахнулся я. Осенью меня Серега припер с моделями, я думал, мне понадобится человек. Кто ж знал, что ты будешь такой настырный... Ты ведь к нам ненадолго, верно?

— Сколько надо будет,— сказал Волкомич.— Уволить меня не за что.

— Я к тебе, Степаныч, ничего не имею,— сменил тон Шмарин.— Но и ты меня пойми: это тебе не шабашка, где сделал — получил. И не тракторный, где на каждую хреновину свой ГОСТ и норматив. Есть работа выгодная и невыгодная. Есть фонд зарплаты. Есть потолок, в который я уже уперся обоими рогами. И у меня порядок. Сейчас все знают: Лякишеву надо три сотни, Кускову там двести двадцать... И все спокойны. Не буди лиха, пока оно тихо. Серега этот — безответственный товарищ.

Смотрел безнадежно: что поймет случайный этот человек в его делах? А Волкомич, слушая — заботу Шмарина понять было нетрудно,— думал свое: мастеру бы с Рожковым торговаться или с Романом Михайловичем Куличенко договариваться — вот тут бы он, Волкомич, на него посмотрел, а отбиваться от толкачей да задабривать выгодной работой горластых за счет тихих — дело нехитрое.

Волкомич молчал, и Шмарин вытащил из кармана многократно сложенный лиловый чертеж, кинул на стол.

— Сколько тут работы?

Волкомич развернул и, не думая долго — хотел показать тракторозаводскую выучку, она ему не даром досталась,— сказал:

— Две смены.

Потом недоволен был: чего уж так разбежался, за две смены с непривычки да на чужом верстаке никак не уложишься.

Утром Шмарин принес этот чертеж Лякишеву. Тот не спеша снял с верстака заготовку для лекала, смахнул стружку, освобождая место для чертежа. Сначала развернул его не полностью, внимательно прочел спецификацию и технические условия. Потом долго изучал весь чертеж. Он не шаманил, просто он, как и мастер, не был модельщиком и не знал, куда смотреть. Любой модельщик тракторного разобрался бы в минуту, а он все посапывал, говорил «тэ-эк», опираясь руками в синьку и переносил взгляд с одной проекции на другую. Ни дать ни взять полководец над картой сражений.

— Ну что,— сказал он, посмотрев чертеж.— У меня два лекала в работе и еще на две заготовки лежат... За месячишко сделаю.

— Н-да,— якобы задумался Шмарин.— Ну ничего, Степанычу дам.

7

Соорудили, расчистив кое-какой хлам в углу, верстак. За первой моделью пошла вторая и дальше — больше. Его была специальность, его работа, двадцать лет тракторного полностью шли в зачет.

Он был модельщиком, столяром, плотником, каменщиком. Кро-
вельщиком и печником иногда бывал тоже. Сварщиком и слесарем —
по случаю. Что и говорить, бывали у него дни, когда и солнце палило
нежарко, и кузнечики вокруг стрекотали, и ветерок гулял в душистой
траве, и руки делали свою работу сами, а мысли при этом были лег-
кие, случайные, приятные и не оставляли следа. В такие дни молоток
вгонял гвоздь по шляпку с одного удара, шутка ложилась на душу,
как слово в песне, и разговор, легкий и случайный, как мысли, помо-
гал работе. Такие дни — подарок судьбы, они в любой жизни редки и
помнятся долго. Обычно же разговор и случайная мысль мешали де-
лу. Он думал только о работе. Работу же, где думать было не нужно,
не любил, гнал ее как мог быстрее, чтобы избыть, занимая голову
счетом сделанного или счетом оставшихся минут. Выматываясь этой
нудой, вечером томился усталостью и плохо спал. Каждому свое.
Петру Ладутько любая работа была одинакова, Гирявин, управляясь
ловко, любил за работой болтать или петь, у него все зависело от на-
строения. А он, Волкомич, устроен был иначе. Он, прежде чем взять в
руки инструмент, продельвал работу мысленно, иногда не раз к ней
возвращаясь, что-то в ней улушшая.

Он был модельщиком, и в столярке это почувствовали сразу, по-
глядывали на верстак, на монтажную плиту, трогая его инструмент,
рассматривали шаблончики, признавая, что учиться есть чему, кое-
что ухватывая и без толку, его манеру держать штангель, например.
В феврале он заработал около трехсот рублей. Шмарин, подсчитав
озаботился:

— Многовато, Степаныч, пока что. Не возражаешь тридцатку
следующим месяцем закрыть?

— А у Лякишева сколько? — спросил он.

— У Лякишева... Лякишев десять лет тут. Торопишься.

Он не торопился, но ведь и не спать же. В марте перевалило за
триста. Он видел, на него начали коситься. Тоже ведь умели считать.
Как-то в столовой за соседним столиком Лякишев сказал громко, не
стесняясь, что он слышит:

— До лета перекантуется и снова на шабашку. Пусть хоть вдвое
нормы срежут, ему-то что? Свое получит — и привет семье. А кому-
то пахать.

Он не обернулся: пусть считается, что не слышит. Вместе с Ляки-
шевым сидели бригадир и Бородин, оба промолчали. После обеда, по-
дойдя к его верстаку, Артюхов сказал:

— Коля, тут такое дело, приболел Генка, надо бы завтра щиты
заготовить.

Генка, молодой паренек, клеил щиты вместо Волкомича, так что
звучало справедливо: кто клеил прежде, тот и продолжает, не учить
же еще кого-то. А означало и другое: бригадир сбивал заработок. Спо-
рить с ним Волкомич не хотел.

— Ладно. Будут тебе щиты.

Артюхов не отходил. Может быть, хотел загладить, что промол-
чал в столовой. Поинтересовался: мастер на обойной фабрике Волко-
мич — не родственник ли? Выяснив, что не родственник, продолжал
стоять, рассказал про этого мастера, Волкомича Антона, приятель,
мол, вместе служили, — то есть дал понять, что, предположив такое
родство, он ничего обидного для Волкомича в виду не имел, даже на-
против.

— Значит, Коля, договорились на завтра...

Бородин — тоже, может быть, открещивался от слов Лякишева —
нагнал по пути домой:

— Как жизнь, Степаныч? В мае — июне собираться?

— Уволишься, что ли?

— Месяц отпуска у меня есть? А дальше видно будет... Денек-то,
а, Степаныч? Весна!

Они в это время проходили по пустырю к трамвайному кольцу, подтаивало, вечернее солнце било в глаза сквозь мокрые черные ветки.

— Степаныч, ты, кроме работы, вообще-то хоть что-то в жизни знаешь? Ты вообще-то радоваться умеешь? Ну чего выворачивать себя наизнанку, скажи? Радоваться жизни надо, иначе и деньги зачем?

— Чему ж это радоваться?

— Жизни, Степаныч! Весна!

Бородин, махнув рукой, свернул на тропку вдоль заборов к комбинатскому управлению, там знакомая буфетчица оставляла ему мясные полуфабрикаты. Он тут же и забыл про Волкомича, а Волкомич как обидой ожегся: пустые слова, но попали на больное, совпали с всегдашней Галиной жалобой — трудный он человек, никакой в их жизни нет радости.

Что ж так?

Помятый людской толчеей, вышел из трамвая на своей остановке, миновал двухэтажный суд, обогнул вдоль зеленого высокого забора стройку. Поднималась над улицей светлая многоэтажная коробка. Трещала сварка, порожний бетоновоз, фырча, пытался разминуться с мазовским тягачом. В выходные, не зная, куда себя деть, Волкомич приходил сюда, пробирался по мусору в подъезды, поднимался по лестницам, смотрел, сколько сделано за неделю. Иногда и в будни заходил, его скорее всего принимали за строителя из своих. Пропуская перед собой тягач, он подумал: может быть, правда у него не все в порядке? Ему тогда только спокойно, когда заняты делом и голова и руки или когда устает до бесчувствия. Но ведь и не в щенячьем же он возрасте, чтобы радоваться без причины, ведь сорок пять. Пусть радуется Бородин себе на здоровье, его счастье, а он, Волкомич, другой человек, у него свое.

Бетоновоз, не вписавшись в просвет между «МАЗом» и тополем, черкнул бампером по стволу. С черных веток снялись две вороны, и тотчас с соседних деревьев тоже взмыли целой стаей. Кружили, хлопали крыльями, кричали, не зная, куда сесть, взбудораженные блеском внизу, нервные, ошалевшие от непривычного на вкус сырого воздуха, — попробуй не почувствуй ее, весну...

Кончился март, и вышло триста пятьдесят. Деньги Шмарин всегда выдавал в своей конторке. Едва он появлялся с ними, парни бросали работу, мчались по лестнице вверх, отпихивая друг друга, сцепившимся клубом вваливались в дверь, галдели — рады были поводу подурачиться. За ними тянулись остальные. В этот раз было так же. Шмарин расположился с ведомостью за столом, выстроилась очередь. Кусков почему-то получил меньше, чем рассчитывал, дурным голосом сокрушился, не слушая объяснения:

— Ты глянь, что делается, ну юмор...

Посмеивались:

— Что, Кусков, жена сегодня домой не пустит?

Кто-то из молодых парней, Генка или Юра, уже получив свое, заявил:

— Волкомичу дайте последнему, а то после него ничего не останется.

Он посмотрел — смеялись уважительно. Расписался в ведомости, отошел от стола, парни продолжали посмеиваться:

— Николай Степаныч, не тяжеловато тащить будет? Помощь не требуется?

И еще кто-то рвался:

— Дайте, Николай Степаныч, хоть поддержать.

Приятно и странно было. Он-то думал, они завидуют, как Лякишев. Оказалось, вовсе не так.

Незаметно все на участке стали поворачиваться быстрее. В середине апреля исчезли сухие доски, выработали все подчистую, перестала справляться сушильная печь. В тот день Шмарин, вернувшись из управления, накричал на девушку-контролера, которая принимала модели. Она, мол, ничего не делает, только книжки читает. Тыкал пальцем во все модели подряд, придираясь к пустякам, не стоящим внимания, к забоинам и сколам, к острым кромкам. Требовал, чтобы все переделали. Артюхов, поглядев на все это, махнул рукой, ушел к своему верстаку и работал, отвернувшись от всех.

Несколько дней подряд Шмарин не отлучался с участка, заставлял зализывать каждую доску. Новые заказы не приносил. Волкомич кончил свою модель, станину винторезного станка. Девушка-контролер почти смену обмеривала ее и все равно не решалась принять, позвала Шмарина, тот тоже мерил и осматривал со всех сторон. Не нашел, к чему придраться, показал рукой: годится, везите на покраску.

Волкомич спросил:

— Что теперь делать?

— Что ты за мной ходишь по пятам?— вспыхнул Шмарин.— Нечего делать? Возьми метлу и участок подмети вот!

Молодые парни стояли рядом, слушали.

— У меня-то руки от метлы не отсохнут,— сказал Волкомич.— А твое дело, Василий Григорьевич, обеспечить меня работой по квалификации.

— Мое дело такое,— сказал Шмарин с чувством, не желая затевать ссору при парнях,— что так меня и раззадок в хвост и в гриву кому не лень!

Парни засмеялись. Уж очень выразительно получилось у мастера, от души. Как было не посочувствовать. А ведь хитрил Шмарин, играл, изображая беспомощность. Волкомич, зная это, за метлу не взялся, а сел у лестницы на стенку кессона, но сидеть ему было стыдно. Незанятому человеку неловко среди работающих. Он ушел к курильщикам у пожарного щита, убеждая себя, что волнуется зря, его все это не касается, ему пора собирать бригаду.

Однако с бригадой тоже не ладилось.

Кто у него есть? Зимой окончательно отпал Коля Андрейчук с тракторного. Задержался в деревне под Мозырем Суслов, прислал поздравление к Новому году, писал, что хворает отец, предлагают, мол, плотником в колхозную мастерскую, не знает, что решить, спрашивал совета, а в марте написал, что все осел прочно, привет вашей супруге Гале от всей нашей семьи и вам, Николай Степанович, в том числе. Оставался Ладутько. Однако даже на него надеяться не приходилось.

Отгоняя сомнения, Волкомич сказал себе, что без бригады он не останется, зима прошла, зимой и барсук спит, а весеннее солнышко людей поманит, разбудит, кто-нибудь да прибьется к нему, надо только не терять времени...

Лякишев заглянул в коридорчик и крикнул:

— Волкомич, к Шмарину!

Шмарин разговаривал с толкачом — опять отваживал приезжего человека,— рассеянно посмотрел: чего, мол, явился.

— Вы ж звали.

— Ага,— вспомнил Шмарин.— А Витковский где? Идите в управление, там начальница лагеря с вами поговорит. Поедете готовить к сезону пионерлагерь.

— Почему я?

— А кто? Плотничать, дома ставить — ты ж у нас мастер. На две-три недели троих я должен послать. Лякишев поедет, Витковский и ты вот... Или что у тебя?

— Ничего у меня.

— Вот,— сказал Шмарин толкачу,— троих из десяти на месяц в пионерлагерь. Стройтрест, десятки плотников, а людей берут у меня. А план мне не снижают. А вы говорите. Рад бы, но сами видите.

На месяц он от Волкомича избавился. Волкомич спросил:

— Когда это — ехать?

— Может, с понедельника, может, после праздников, не знаю.

Спустившись по лестнице, Волкомич постоял у своего верстака, подумал. Не подвернись Шмарину пионерский лагерь, подоспело бы что-нибудь другое: шкаф в конторе, подшефный колхоз — нашлось бы что-нибудь всегда. Шмарин сейчас избавляется от него, а подай он заявление на увольнение — протянет полностью весь срок, который положен, такой он человек, так устроен — тянуть до последнего, знакомая выгучка. Значит, надо подавать заявление теперь. За время лагерной работы срок как раз и выйдет. Так что все и к лучшему.

Попробовал у девушки-контролера листок — та была вечерница, всегда при тетраджах,— написал, отнес. Толкач все еще сидел: приехавши за тридцать земель, быстро разговор не закончишь. Шмарин взглянул на листок, что-то на лице дрогнуло, но скрыл, протянул бумагу толкачу, вздохнул:

— Бегут люди, никто работать не хочет.

Как будто заявление подтвердило все, что он толкачу только что говорил. Выташил из стола папку, зашвырнул в нее листок и мимоходом, уже не толкачу, но и не Волкомичу, а так, никому, ни на кого не глядя, отметил нечто, давно им предсказанное:

— Сезон, значит, начинается.

Волкомич все стоял у стола.

— Иди,— сказал Шмарин.— Разберемся. Две недели держать имею право.

Слышалась в голосе и какая-то личная обида. Не любят люди, когда их оставляют. Даже какая-то усталость проглянула вдруг или растерянность: все же, наверно, мелькнула мысль, что заявление Волкомича — из-за пионерлагеря, от обиды, и, значит, он, Шмарин, тут перегнул, ошибся.

Да ведь так и было, потому что хоть Волкомич и рассчитал все, однако расчет расчетом, а обида жила сама по себе, листок он не опоздал бы отдать и утром, но торопился писать, рука дрожала, вышел от Шмарина — легче стало: ну вот, теперь все ясно, тут ему нечего делать, пора в дорогу, пора собирать людей.

Вечером поехал к Ладутько. Тот сразу понял, с каким делом он явился, однако оба не начинали, сидели в комнате перед включенным телевизором — хозяин на стуле, Волкомич на тахте. Жена Ладутько Неля что-то жарила на кухне, прислушивалась. Тоже понимала, о чем будет разговор, не одобряла. Поговорили о Романе Куличенко. Волкомич чувствовал, что Ладутько неинтересно. Тот все понижал голос, будто рядом за дверью спят. Там была комната дочери. Волкомич покосился:

— Спит?

— Занимается... Куда твоя собирается?

— Сама не знает,— сказал Волкомич.— Одни парни в голове.

— Моя сидит...

— Ну что. Петро. лето на носу. Колеса смазываешь?

— Куда мне.— Ладутько затруднился. Отказывать ему было непривычно. Напрягся.— Год такой, Степаныч. Аттестат зрелости, экзамены.

— Не тебе ж сдавать экзамены. Ты-то тут зачем?

— Ну как... все же.

Проверяя, в экзаменах дело или в чем-нибудь другом, Волкомич, будто бы убежденный, сказал:

— Ладно. Значит, договариваться с Романом на осень? Или на август, скажем?

- Так ведь... еще ж как сложится все...
- Петро, когда ж договариваться?
- Я понимаю.— Ладутько заерзал смущенно.
- Ну?

— Коля... Бабы мои крик поднимут, связываться с ними... Ну их в болото. Все равно, кого ты соберешь? Володи нет, Петрухи нет...

— Это моя забота, кого собрать.

— Погодить надо, Коля.

— Сколько ж ты там, в мастерской, имеешь?— спросил Волкомич.— В самом деле столько зарабатываете, сколько хотите? Тогда меня к себе возьми.

Ладутько насмешки не заметил, ответил всерьез:

— Так ведь... Меня вот как-то взяли, а вообще не берут, Коля. Я уж закидывал им про тебя. Думал, чем цыганская жизнь... ни в какое ведь сравнение, и копейка хорошая. Но не возьмут они тебя покамест.

Волкомич отметил, что Ладутько, который никогда при нем не решался первый рот раскрыть, взялся самостоятельно искать ему работу. Такое, значит, со стороны впечатление было? Ведь кому ж как не Ладутько его знать?

— В вашу шарагу идти?

Неля пришла накрывать на стол. Сердась, Волкомич пытался, однако, шутить:

— Неля, как ты живешь с таким тюфяком?

Она, чувствуя его злость, лишь для видимости притворную, вовсе в нем не неожиданную, поддержала, отвлекая от спора:

— А если ты на меня не смотришь, так чего мне?

— Я?! Разводись с ним, я мигом со своей старухой разведусь!

Смеялась, но он ее хорошо знал, видел: боится, что сманят ее Петра, успокоится, только когда закроется за гостем дверь.

Так он и не сумел собрать бригаду. Нужно было прибавиться к чужой. Его многие знали, три года назад он был нарасхват, теперь же, набравшись опыта, он к тому же еще шел не с пустыми руками, а с выгодной работой, которую придерживал для него Куличенко. Вернувшись от Ладутько, Волкомич полистал дома записную книжку и пошел звонить. Около продовольственного магазина выстроилось несколько телефонных будок, в них торчали девушки и парни. Было тепло, градусов двадцать, впервые в году на улице появились люди без пальто.

Откликнулся Костя Цыбулько. Костя был преподавателем в Политехническом, бригада его — сплошь аспиранты и кандидаты. Работали они только летом. Когда-то Цыбулько считал: будет у него Коля Волкомич — будет работа, без Коли нечего и братья.

Может быть, Волкомич позвонил не вовремя. Костя не втягивался в разговор, скущаяще мычал в ответ.

— Распалась моя бригада,— сказал Волкомич.— Володю Котова ты знал?

— Котова... М-мм... Нет вроде...

— Погиб Володя.

— М-мм... не знал вроде...

— Костя, у нас с тобой когда-то был один разговор.

Цыбулько долго молчал. Наконец неохотно выдавил:

— Да я еще не знаю, понимаешь, соберемся ли в этом году...

Что-то, знаешь...

— Жаль,— сказал Волкомич.— Жаль, а то мне в одном месте клуб предложили ставить.

Он почувствовал, как леска натянулась. Зацепился крючок. Цыбулько оживился: далеко ли, как с материалом, какой проект, сколько предлагают денег... Волкомич понимал, что главное дело — затравка, и, чего не знал, придумывал.

— Давай я твой телефончик запишу,— сказал Цыбулько.

— Нет у меня телефона, адреса возьми, домашний, рабочий...

— Что мне адрес,— охладел Цыбулько сразу и уже прежним, вялым тоном бросил:— Ну ладно, давай адрес...

Записал и сказал:

— Позванивай. Если соберемся, будем иметь в виду.

— Учти, Костя, нас двое, со мной парень — тридцать лет, хороший парень, плотник.

— Добре, Коля.

Надежда была слишком уж слабая. Если б всерьез заинтересовался Цыбулько, в первый же выходной помчался бы на машине в колхоз к Куличенко, чтобы не опередили.

На следующий день на участке появился краснолицый человек в шляпе, назвался Леонидом Тимофеевичем Усом, сказал, что от Цыбульки.

— Значит, плотничаем, землячки? — Такой у него был тон.

Разговаривали вместе с Бородиным, втроем, и Волкомичу никак не удавалось ухватить, что за человек перед ним. Услышав, например, что есть работа в Гомельской области, Ус разочарованно тянул:

— А-а, Гомельская область...

Мол, какая уж там, в Гомельской области, может быть работа. И так, не меняя брезгливой гримасы, тянул все время:

— А-а, клуб..

Даже услышав про Куличенко:

— А-а...

— Что, знакомый? — спросил Волкомич.

— Да вроде бы, кое-что слышал...

С такой брезгливой разочарованностью покупатель на базарах сбивают цену. Однако бригада у этого Уса была, парнями своими он гордился: бугаи, сказал он, один к одному, и работали они на Севере, ставили сборные дома, нужен был им человек.

Обменялись адресами, на том и расстались. Про то, что уезжает в лагерь, Волкомич промолчал и сам не спросил о многом. Впервые он договаривался с незнакомыми людьми, потому и не захотел слишком плотно наседать, оставил просвет и для случая, как будет, так будет. Он, Волкомич, кое-чего стоил, вон как — только кинул клич, на другой день примчались.

Все он сделал правильно, однако спокойствие не пришло, не такой он был человек, чтобы оставлять на случай слишком много.

8

С погодой им повезло, дни стояли сухие и жаркие. Обшивали досками верандочки и беседки, обивали скамейки для спортивных площадок, столы для настольного тенниса, заменяли, чинили, подновляли то, что было сломано или износилось в прошлом году. Девушки рядом красили стены, посыпали песком дорожки. Художницы, уложив фанерные щиты в траву, рисовали на них ярких зверюшек. Работали вполсилы, после обеда всех размаривало, уходили в молоденький ельник и там отдыхали.

Прежде чем заснуть, Волкомич лежал на спине, видел поверх елочек крыши отрядных домиков, а над ними в чистом небе провода и флагшток пионерской линейки. Это было похоже на армию тем, что выпавшая минута безделья не тревожила, — можно было отдаваться ей в ожидании команды на работу или еду, не отвечая перед собой за прожитый день и не заботясь днем завтрашним.

Тишина длилась недолго. Что-нибудь падало или хлопало, раздавался истошный женский оклик или смех. Первому голосу отвечал второй, потом присоединялись и другие, и становилось шумно. Иногда в девчат вселялись черти, начиналось дикое веселье, хохот и беготня.

К вечеру все становились нервными, чем-то томились. Ближе к ночи разжигали костер. Юра Витковский с парнями из СУ-5 убежал туда, а Волкомич с Лякишевым, улегшись на койки, еще долго слышали голоса и шаги за дощатой стенкой. Растревоженный Лякишев делался болтливым и вспоминал все ласки, которые ему достались в жизни.

Волкомич вставал, шел курить на крыльцо, ежась от ночного прохладного ветерка. В полусотне шагов мерцали красные головешки в костре, кто-то шевелил их, иногда подбрасывал хворост, и все вдруг вспыхивало, отбрасывало красный свет на фигуры в наброшенных курточках, свет исчезал, мелькали, шевелились тени, слышались приглушенные голоса, и опять казалось — солдатская, молодая его жизнь.

Одурел от безделья, думал он и отправлялся спать, однако не спалось. А как-то одна девчонка пришла к нему на крыльцо, попросила сигарету, курила рядом, касаясь холодным голым плечом, расспрашивала шепотом, кто такой, он не разглядел ее в темноте. И вот проворочался на койке всю ночь. Уж и Витковский спал, а он все думал о том, что глупее его жизни и вообразить ничего нельзя: жить, как рабочая пчела, — на это ума не надо. Гале не позавидуешь, решил он, не много она видела от него хорошего.

Утром их поднимала начальница лагеря, женщина крупная, цветущая, жена трестовского главного энергетика. Лякишев ее обхаживал и как-то за ужином сказал:

— Степаныч, вечером намечается мероприятие.

День был особенно душный, на западе громыхало, оттуда время от времени задувал ветерок. Ждали грозу. После ужина Волкомич посидел на досках, покурил. Подумал, что на случай грозы надо бы спрятать под крышу ящик с гвоздями и доски, но что-то ослабло в нем, тотчас об этой мысли забыл. Спустился в ложбинку, в заросли орешника, пошел вдоль ручейка вниз, пытаюсь угадать, куда ручей приведет его. Вырос по бокам высокий лес. Волкомич не заметил, как стемнело, и внезапно услышал идущий к нему поверху шелестящий шум дождя.

Пока выбрался к лагерю, хлестало вовсю, и едва различалась песчаная дорожка между домиками. На его кровати сидела начальница лагеря. Она и Лякишев обрадовались ему, сидеть вдвоем им было неловко. Они припасли две бутылки водки.

— Я думал, ты подшитый, — сказал Лякишев.

— Бог миловал.

Лякишев, выпив, хотел обниматься и бил себя в грудь в избытке чувств:

— Сейчас ты совсем иной человек, ей-богу, другой же разговор совсем, Степаныч! А когда начинаешь... ты, Степаныч, извини, но когда ты начинаешь...

— Ох, мужики, что-то у меня не пошло сегодня, — сказала, прислушиваясь к своим ощущениям, начальница лагеря. Упираясь расставленными руками в железный остов кровати, сидела, задумавшись. Подхватила, пошла к двери, открыла, ветер с дождем обрушились на нее. Преодолевая ветер, она захлопнула дверь, набросила крючок, села на прежнее место, борясь с тошнотой, терпеливо снося неинтересный мужской разговор.

Лякишева все больше и больше распирало от душевной щедрости, хотелось ему делиться:

— Ты, Степаныч, не так заезжаешь... Ты меня извини. Григорыч — человек. Он про тебя сразу сказал, этот, мол, будет у меня иметь больше вас всех. Знаешь, делиться с начальством, хмелить — этого у нас в помине нет. Не принято у нас. Шмарин — честнейший мужик. Но когда выступают — не любит. Выступать не надо. Поверь, Степаныч. Кому ты что доказал? Дурость ты свою доказал, а не сознательности! Все можно сделать, Степаныч, и путевку и все, надо только по-людски!..

Начальница лагеря незаметно заснула под шум дождя, а они все говорили про цеховые дела, и казалось, что все прошлые обиды были

недоразумением, а смотрят они на все одинаково. Пришел Витковский. Они вдруг спохватились, что тихо вокруг, а гром громыкает далеко на востоке. Волкомич вышел босиком на крыльцо и сразу озяб. Дождь в самом деле кончился. В непроглядной тьме капала, журчала вода. Хорошо, спокойно было на душе.

После этого лагерная тишина стала ему томительна, хотелось в город. У него покалывало справа в подреберье, он боялся, что желчный пузырь — когда-то признавали холецистит — подведет его на Севере, больше не пил и Лякишева сторонился. Бродил по лесу, майские запахи расслабляли, выводили из равновесия — то переполняла молодая, хмельная, быстро утомляющая радость, то тоска. Безделье оказалось не по нему, что-то лишнее поднималось в нем, росло, становилось неподвластным, мучили ненужные мысли, чего-то хотелось, и сам не знал чего, много курил, кашлял, плохо спал, чувствовал: еще немного — и станет для работы негодным.

9

Бородин избегал его, а он сразу не понял. Утром в гардеробе спросил, не искал ли его кто-нибудь. Бородин небрежно заметил:

— Да вроде бы нет, Степаныч, никто не искал... Ус этот как-то объявился...

— Ус? Что ж ты молчишь? Ну?

— Я тебе потом расскажу.

Как о пустяке. В обеденный перерыв, в конце, Бородин подошел, сел рядом на модельную плиту, ворчал недовольно про столовую и вообще про жизнь. Волкомич сразу увидел, что ворчание не случайное, и только тогда насторожился. Поворчав для разгона, Бородин спросил:

— Степаныч, ты умный человек, как тебе этот Ус показался? Волкомич пожал плечами. Он ждал, что же будет дальше.

— Тебе, Степаныч, конечно, идти к этим охламонам — ни с какого бока.

Бородин замолчал. Волкомич, подождав, спросил:

— Это, значит, как?

— Какие они, к черту, плотники? Битюги, бугаи, тащат на горбу по центнеру кто быстрее, молотят обухом по гвоздю семнадцать часов в сутки и довольны. В палатках, на сухомытке, под гнусом — нормальный человек там загнется! Я говорю, Степанычу эта маета даром, не нужна! Не так?

— Погоди-погоди, это что за разговор такой был?

— Ты ж только на клуб соглашался, разве нет?

— Зачем он приходил?

— А шут его знает.

— Погоди. Нужен им человек или нет?

— Вот я, Степаныч, и хотел про это с тобой. Они мне предлагают. Ты как советуешь? С одной стороны, я б там кое-какой сноровки поднабрался, а потом мы бы с тобой — на клуб... Вроде есть смысл, а?

— Так это что же? Без меня?

— Да вот видишь как получается! — Бородин, страдая, развел руками.

Волкомич наконец понял. Только не составлялось все вместе.

— Когда ехать?

Посмотрев на Волкомича, Бородин испугался:

— Степаныч, чего ты?

— Шустряк...

— Да что ты, ей-богу!

— Такие номера не проходят, — сказал Волкомич. — Ты еще сопляк.

— Какие номера? Я-то при чем?!

— Что я тебе про клуб говорил — забудь. Напрочь забудь, понял? Дай телефон.

— Какой телефон? Уса, что ли? Так у меня...

— Телефон дай.

Бородин, пожав плечами, вытащил записную книжку. Лицо он уже успел сделать обиженное.

— Пожалуйста. Можно подумать, в самом деле я тебя подставил.

Шмарина в конторке не было. Набирая номер, Волкомич видел через окно, как внизу Бородин вытащил пачку сигарет и топтался на месте, не зная, куда идти. Когда ж они с Усом сговорились? На клубе сошлись или на чем-нибудь другом? Подумал про себя: совсем, как старый пес, нюх потерял...

— Тимофеич? — крикнул он в трубку. — Это тебя Волкомич Николай. Что ж там такое, Тимофеич? Я чего-то не понял.

— Кто спрашивает? — Ус кого-то просил подождать, потом сказал (оказывается, все расслышал): — Степаныч, ты? Как жизнь?

— Да вот не пойму чего-то!

— Степаныч, ты не знаешь такого... — Ус назвал, Волкомич не расслышал, не тем была занята голова. — Я ему, Степаныч, про тебя говорил. Не разыскал он еще тебя? Я думал, вы уже сговорились! Отличный дядька, свояк мой!

— Тимофеич, я ж тебе не мальчишка.

— Степаныч, позвони через пять минут, а?

Вошел Бородин, сел за стол Шмарина, участливо спросил:

— Занято?

Выждав, Волкомич снова набрал номер.

— Так что ж, Степаныч, слушаю тебя, — сказал Ус.

— Ты ж просил через пять минут позвонить.

— Не знаю, что тебе сказать... Я поговорю с ребятами, но... Звони, в общем.

Бородин посмотрел, как он бросил трубку, все тем же участливым взглядом спросил: ну что? Волкомич не ответил, и он повторил:

— Я-то тут, Степаныч, при чем?

— Та-ак, — сказал Волкомич. — Бригадка подбирается что надо. Такие работнички нарабатывают...

Лишние были слова. Какие они работники, он знать не мог.

Возвращаясь домой, в тот день он повстречал Листова. Постояли, поговорили. Листов расхваливал какое-то лекарство — очень вроде бы помогло ему. Похвастал:

— Я теперь, Степаныч, как десяток годов сбросил, на День Победы бутылку у сына в гостях усидел и ни на завтра, ни потом — ничего. Погляди, как морда округлилась. Другой человек, а?

Волкомич соглашался, хоть какой уж там другой был Листов — все тот же, худой и морщинистый. Они были ровесниками, а выглядел Листов почти стариком. Поговорили, разошлись, и Волкомич внезапно устал. Удивился: отчего бы, ведь почти не работал сегодня. Сел на скамейку, не доходя до дома. Странная мысль сразила: для Уса он, вполне возможно, пара Листову, такой же старик. Со стороны-то виднее. Волкомич сразу ослабел от этой мысли. Такая усталость навалилась, будто руки и ноги отнялись.

Скамейка стояла у чужого дома в зеленеющих подстриженных кустах, вечер начинался тихий и теплый, кричали на детской площадке мальчишки, шумели на улице машины. Он представил, что ему подтаскивать, поднимать, крепить стено-щиты сутками напролет с короткими перерывами на мертвый сон-забытье, и ощутил непосильность этой жизни. Ус прав. Такая сумасшедшая работа хороша в молодости, и молодость хороша такой работой, а в его годы это мука, ярмо, казнь, в его возрасте износ идет другой, шарниры срываются за допуск.

Незнакомая женщина окликнула:

— Коля?

Секунду присматривалась: сидит человек согнувшись, опустив руки — не пьян ли? Он вспомнил, что когда-то где-то видел ее, но не мог припомнить, когда и где. Она разобралась, что не пьян, подошла, тараторила про мужа. Машину купил, теперь помешался на грибах, как дождь — на следующий день они в лес, а водочки ни-ни, до сих пор, до июня, считай, стоят прошлогодние маринованные маслята, зашел бы, Коля, закуски в доме — на ведро, ей-богу, самый дорогой был бы гость!

Что-то он сделал этой женщине или ее мужу хорошее, но не мог вспомнить. Жена кого-то из тех, с кем шабашил? Мужика ее от водки отвалил, к делу приспособил?.. Не помнил.

Поднялся: ладно, как-нибудь заглянет обязательно, супругу, значит, привет. Строящийся по соседству дом стоял остекленный, за май работа продвинулась, клеили обои, яркие куски их валялись у подъездов и на желтой песчаной дорожке, отутюженной бульдозером под асфальт. С северной стороны уже накатывалась асфальтовая полоса, полз каток. Из вагончика строителей выходили переодевшиеся, нарядные девушки-маляры.

Постоял. пошел домой и думал, что Ус дурак. Таких бригадиров он знал. Действовали нахрапом, рвали работу из-под носа у других, не таких проворных, как они; умели напоить кого нужно, и договориться с любимым, и в работе не ленились, но им всем Куличенко, Орловский, Рожков, Пахомов — все, у кого он побывал хоть раз, — предпочитали Колю Волкомича.

У подъезда стояла машина соседа, расточника с тракторного. Тот загружал в багажник какие-то банки, приветствовал:

— Где загорал, Коля?

— В стройтресте загорал.

Его очередь на машину вот-вот должна была подойти. Деньги на «Жигули» и гараж лежали на книжке. Шабашничая на Гомельщине, он давно присмотрел грибные места, куда прикатит на своей машине с Галей и дочерьми... Мысль его снова ушла в сторону: а почему, собственно, Ус дурак? Что с того, что он, Волкомич, мастер? Недаром они все куда-то подевались, мастера. Он помнил, как это говорил Божко на тракторном заводе, уходя на пенсию. Мол, последний мастер уходит. Может, и так.

На тракторном теперь пареньки из ГПТУ, за месяц выучишь любого — и ничего, стоит завод без мастеров. Вот и тут, значит, конец мастерам: сборные дома составлять — особого умения не надо, тюкай обушком чем побыстрее... Может быть, и работникам уже конец? Не нужны уже работники? Ведь не крепче его Бородин, не по паспорту же Ус смотрел, не в космос же лететь, а выбрал Ус Бородина. Как они сговорились? За столиком посидели — нашли друг друга? Умей радоваться жизни? А почему бы и нет? Если работа не гребует точного глаза, умения, сторожа в мозгу — зачем тогда он, Волкомич, уж лучше взять Бородина, с ним веселее.

А ведь заявление его лежало в папке Шмарина, срок истек, он все время помнил про это.

Утром верстак Бородина оказался пустым. Кусков сидел на стуле перед своим верстаком, свесив плетью толстые руки, вытянув ноги, и смотрел на чертеж перед собой. Возможно, получая новую работу, он каждый раз лелеял надежду на чудо: вдруг она сделается сама или же отпадет в ней необходимость.

— Ну подсунул мне Шмарин халяву, ну удружил...

Каждый раз он искренне считал, что хуже работы, чем та, которая ему предстоит, нет и быть не может.

Лякишев занялся очередным лекалом, Сушко — кессоном. Артюхов, проходя мимо, пожал руку.

— Значит, верстак Бородина освобождается...

Было ли это предложением занять более удобное место или просто человек поделился, такие, мол, дела,— Волкомич не понял.

Вскоре появился Шмарин, попенял Генке, что тот загрозил проезд своими щитами, и подошел.

— Ну что, Степаныч? Что с заявлением твоим будем делать? Срок вышел.

Кто был неподалеку — Кусков, Артюхов, Лякишев,— прислушались. Волкомич сказал:

— Так вот же я, здесь. Раз на работе, значит, заявление недействительно.

— Ишь ты,— сказал Шмарин.— Это ты так считаешь.

— А как еще?

— Что ж у тебя семь пятниц на неделе? Несолидно как-то, а?

Досадовал. Хотелось ему, чтобы Волкомич уволился. Тот сказал:

— Обстоятельства изменились.

— Обстоятельства... Знаем мы твои обстоятельства. То ты у кого-то рвал, теперь у тебя урвали. А для нас здесь законы писаны: две недели после заявления прошло — приказ.

Артюхов потащил свою заготовку к станку, будто не слышал ничего. Не хотел смущать. Кускову же было не привыкать к ругани Шмарина, и он считал, что другие тоже к ней нечувствительны.

— Тебя, мастер,— сказал он,— хлебом не корми, дай мораль прочесть.

— С тобой у меня тоже разговор будет,— пообещал Шмарин и крикнул Артюхову: — Иди рукавицы получи!

Пошел к лестнице. Волкомич спросил:

— Так что же, работаю я или уволен?

Шмарин молча махнул рукой. Артюхов, раздавая рукавицы, и словом не обмолвился. Сунул пару в руки и пошел дальше.

10

К экзаменам Света не готовилась и словно бы в насмешку над увещеваниями получала четверки и пятерки. Ей эти пятерки и не нужны были. Она смеялась над ними, мол, учителям для общей картины важно, и сам собой без всякого ее старания выправлялся аттестат. Волкомич отступился — чего-то он не понимал — и не мешал ей шататься где-то вечерами. Накануне последнего экзамена Света вернулась домой почти в полночь. Виноватой в том, что мать переволновалась, себя не чувствовала, огрызалась:

— Был бы телефон, я бы позвонила. У всех есть, у нас одних телефона нет. Что уж за проблема? Дайте пятьсот рублей — сделают за месяц.

— Это что ты сказала?! — прикрикнул Волкомич. Одно дело, когда он пытается сговориться с кем-то, и другое — когда такая девочка спокойно предлагает. — Это какие пятьсот рублей?!

Света, сообразив, что сказала некстати, с обиженным лицом проплыла в ванную.

— Что-то мы, мать, в ней проглядели,— громко сказал Волкомич.

Галя поддержала невпопад:

— Твоему отцу деньги достаются не так, как Томкиным родителям!

Он в эти дни делал шкаф, такой же, как Сергею Ивановичу, но в другой отдел. Снова резал шестидесятку на брусья, двадцатку на планки, кроил фанеру, клеил дверцы. Об Усе думалось все меньше и как-то неотчетливей. Забывался сам человек, пятно обиды расплывалось шире, задевая других.

Верстак Бородина стоял незанятый. Гадали, кому он достанется. Сушко или одному из молодых. Однако работы не было. Шмарин каким-то образом умел отделяться от заказов, хоть толкачи ехали отовсюду — и москвичи, и волжане, и с киевского «Арсенала». Иные пытались за спиной Шмарина поговорить с Артюховым, намекали, что с оплатой сообразят, не обидят.

В конце месяца было собрание по итогам полугодия. После работы все расселись на стульях и в ленкомнате, сдвинув со столов домино и шашки. Один стол оттянули к стене, отделив тем самым от остальных. Шмарин сел за него лицом ко всем. Пришел представитель парткома — старый знакомый, Сергей Иванович. Ему подали через головы стул, он сел рядом со Шмариным, и собрание началось.

— Наша главная беда — низкая сознательность, — сказал Шмарин. — Мы думаем, как бы побольше получить, и не думаем, как бы побольше сделать. Я не говорю о всех. Но такая тенденция у многих. Отсюда и соответствующие результаты. Принцип материальной заинтересованности у нас правильный. Но мы забываем моральные факторы. И отсюда получается перекосяк. Попробуй заплати Кускову меньше двухсот двадцати. Я про тебя, Кусков, к примеру. Это и есть отсутствие морального фактора. В связи с этим стоит подумать о такой прогрессивной форме труда, как бригадный подряд.

Кто-то из парней — они, как всегда, сидели рядом, — что-то сказал, около него рассмеялись. Шмарин спросил:

— Витковский, ты выступить хочешь? Нет — тогда сиди. Кто выступит?.. Ну давай, Лякишев.

Лякишев поднялся.

— От нас никто не требует, чтобы завтра мы перешли на бригадный подряд, — сказал он. — Мы должны пока готовиться, творчески вникать и мы это делаем. Вот мы клеили щиты каждый сам по себе. А потом мы склейку щитов закрепили за одним человеком. И какой результат? Произошла специализация. Появилась механизация транспортных операций, производительность труда резко возросла. А это уже шаг в сторону бригадного подряда.

Волкомич удивился, услышав про свою работу. Все, что он придумал и сделал, оказалось не его заслугой и даже как бы не его работой, а совершилось само собой, потому что произошла специализация. Но, с другой стороны, в самом деле, если бы каждый по-прежнему делал щиты сам, то и не пришлось бы ему придумывать, так что Лякишев оказывался прав.

А Лякишев говорил о Кускове: он согласен с мастером, есть это у Кускова — качать права, вечно ему, понимаешь, работу плохую дают, вечно он ноет...

— Не понял юмора, — сказал Кусков, который еще не решил, стоит разогревать себя для спора или лучше замять разговор. — Что вам всем дался Кусков? Я вот не понял, почему одним — выгодная работа, а другим — невыгодная. Потому что ною, что ли?

— Да у тебя любая работа невыгодная, — заметил Шмарин.

Кусков поднялся.

— Давайте не будем знаете Не любая. Лякишев зубами за свои лекала держится. их у него не вырвешь.

Он сел, а Шмарин направляя разговор, сказал:

— Ну вот. Я к тому и веду. Вот такое у нас на участке чувство коллектива. Кусков его нам в самый раз продемонстрировал.

Кусков нахмурился, пытается понять, упрекнули его или похвалили. Поняв, покрутил головой.

— И до тех пор, пока мы не перестанем смотреть друг другу на верстак, — продолжал Шмарин, — работы не будет. Не туда ты смотришь, Кусков. Лякишев вот правильно говорил о специализации. Но это еще не моральный фактор. Давайте, товарищи, активнее. Или все Лякишев будет один за всех?

Молчали. Сергей Иванович смотрел в одну точку.

— Витковский, ну?

— А чего я...

— У меня вот вопрос,— сказал Волкомич.— Про специализацию. Как же можно путать бригадный подряд и специализацию? Или я чего-то не понял, или Лякишев чего-то напугал. Я так понимаю: работать бригадой — значит, общий интерес иметь. Государству от этого выгода, потому что все лучше начинают работать. Так?

Шмарин в это время был занят бумагами на столе. Продолжая листать их, сказал веско:

— Специализация — это одно, а бригадный подряд — совсем другое. Кто путает?

— Ладно.— Волкомич боялся сбиться. Он видел, что Сергей Иванович слушает.— Бригадный подряд кто-то придумал, наверно, не зря, но у нас никакого толка от этого подряда не будет. Потому что мастер об одном думает — как бы ему не повысили план, как бы поменьше получить заказов. Ему так спокойнее, и премия идет. Вот он и мудрит с нарядами, кому сколько вывести, лишь бы шума не было. Как же так получается? Государству выгодно, чтобы я больше моделей сделал, мне выгодно, а вот Шмарину невыгодно, и тут ты ему хоть что! И все должно остановиться! Парни вот кончили ПТУ, в чертежах разбираются, государство на их учебу деньги потратило, могли бы модели делать, а они, как дятлы, по дереву стучат, ящики сбивают! Что ж тут бригадный подряд даст?

Сел. Покосился: все притихли, в его сторону не смотрели. Не решили еще, как воспринимать. Шмарин изобразил недоумение:

— Снова то же самое, Николай Степанович: мало платят, работать не дают. Вижу, ничего ты не понял. Все ж таки скоро год, как ты в коллективе, и так слабо коллектив на тебя влияет. Такая, значит, в коллективе атмосфера... А, Кусков?

Кусков замешкался. Он не ожидал, что разговор вернется к нему.

— Не понял юмора,— сказал его голосом Витковский.

Рассмеялись. Ясно было, что выступать никто не станет. Шмарин поглядел на Сергея Ивановича, тот поднялся. Заговорил он совсем о другом — как ездил на тракторный и как там, на тракторном, внедряют бригадный подряд. Прочел по бумажке цифры. А потом заметил:

— Мне понравилось выступление Волкомича. То есть в том смысле, что он указал на скрытые резервы. Василий Григорьевич, если говорить честно, это любит: оставить себе запасец на черный день и в себестоимости и во всем. Без этого нельзя, но надо ж и меру знать. Я считаю, руководству участка надо серьезно прислушаться к выступлению Волкомича.

Шмарин кивнул. Уже не поднимаясь со стула, закончил:

— Критику учтем. Я упор сделал на моральные факторы, но это не значит, что надо забывать про материальные. Еще кто хочет выступить? Нет? Вопросы есть? Нет? Собрание закрыто.

Поднимались, выходили. Кусков перехватил Лякишева, злорадствовал:

— Так ты усек, что такое специализация и стандартизация? Газеты надо читать. Небось только последнюю страницу про спорт?..

В гардеробе галдели, о собрании никто не вспоминал. Парни, переодевшись, с грохотом и визгом вывалились в дверь. Ушли Кусков и Лякишев. Сушко понуро сидел, приходил в себя после душа. Волкомича задело: словно сговорились они все его не замечать, смотрят мимо. Сел рядом с Сушко.

— Ну как? Нашли санитарок на тот корпус?

Сушко уже забыл давний их разговор. Он не понял:

— Какой корпус?

— Ты ж рассказывал. Который стоит без санитарок.

— А-а,— Сушко вспомнил.— Не знаю. Надо жинку спросить.

— А почему бы тебе санитаром не податься? Пользу людям приносил бы.

Сушко не понимал юмор.

— Так ведь... разве ж мужская работа?

— Ну и что? Если польза. Стыдно, что ли?

— Да как-то,— сказал Сушко,— не знаю... Шутишь?

— А я бы тут и за тебя и за себя работал.

Сушко усомнился:

— Ну...

— Вот тебе и ну.

Артюхов, выйдя из-за шкафчиков, молча направился к двери. Волкомич попробовал спровоцировать:

— Или вот бригадир бы твою работу сделал.

— Где уж нам.— Артюхов вышел.

Хлопнула дверь, потянуло холодом, и Сушко стал одеваться. Насупился:

— Каждый... знаешь... как может.

Волкомич заметил:

— Хорошо тебе живется.

— А чего ж? — Сушко подумал.— Чего ж плохого?

— Вредный ты человек. С тобой поговоришь — и жить неохота.

Галя утром что-то роняла, тяжело шаркала, напустила чада от подгоревших котлет. У нее в цехе в начале месяца стоят без металла, а к концу гонят так, что Галя — она штампует крышку маслобака — ночью ворочается, кряхтит, а утром не в себе.

А тут еще такой заладилась день. Лил холодный, как осенью, дождь. На работу не хотелось. Какая-то усталость была разлита в воздухе. Бывают такие дни: все ходят либо вялые и унылые, либо раздраженные на пределе, прикоснись — искры полетят.

Трамвай тащился медленно, все попадал на красный свет, в нем было сыро и темно, стекла запотели, а снаружи к ним прилипла морось. Волкомич подремывал, стоя в неплотной толпе. Руки и ноги отяжелели, приятно было думать, что через полчаса войдет в теплую и сухую столярку, сядет на скамейку у щита и не торопясь закурит. Куда ему еще? Накануне вечером Света искала какие-то туфли, вывела коробки с обувью из шкафа, со всех антресолей, набралось штук тридцать. Он вспомнил, что у отца пара сапог была на двоих с братом, один гулял, другой дома сидел. А теперь им и тридцати мало. Куда столько? И ради этого надрываться, загонять себя? Не мог понять себя вчерашнего на собрании. Люди живут как хотят, каждый сам знает, как ему лучше. Потому и слушали, как дурачка, мели, мол. Емеля.

На полпути в трамвай забрался Артюхов. Волкомич не показал, что заметил бригадира: еще неизвестно, захочет ли тот разговаривать после вчерашнего. Тот, однако, пробрался, встал рядом. Попенял на дождь за окном: вчерашние модели, конечно же, отправить заказчику не успели, продержали, наверно, ночь на открытой эстакаде, они теперь, разбухшие, только на дрова годятся.

Проверяя это, направились не в столярку, а к железной дороге, выбрались через грязь на полотно, по скользким шпалам и гравию дошли до погрузочной площадки и там среди ржавых луж в бетонных

колдобинах увидели красные модели станин для киевского «Арсенала». Утренней расслабленности поубавилось: такую работу загубили! В конторке сбыта дремали на лавках два грузчика в телогрейках, ничего не знали. Мастер их еще не появлялся.

— Ладно,— сказал Артюхов, поворачивая назад.— Пусть Шмарин с ними ругается.

Волкомич и это поставил себе в упрек: у него такой выдержки не было.

— Ну, я тебе скажу, крепкие у тебя нервы.

— Что зря базарить,— нехотя заметил Артюхов.

В гардеробе уже набилось. Не торопясь, угрюмо, молча стягивали мокрое, надевали сухое. Только голос Витковского слышен был, паренек любил болтать.

Разошлись по местам, неторопливо застучали молотки, загудели станки, с визгливым звуком вгрызался в дерево металл, а через час, как заведено,— перекур, вторая сигарета. Снова бубнил Витковский, пересказывал фильм или книжку. Кто-то сказал:

— Как баба языком, ей-богу.

Витковский обиделся:

— Что я тебе, курить мешаю?

В это время с улицы вошел Шмарин, нес из управления папку с чертежами. Волкомич отметил: папка пухлая, неужели заказы? Мокрый, злой Шмарин, не вникая в разговор, прикрикнул, мол, позеленели уже от перекуров, пора бы и поработать. То ли Витковский на свой счет принял, то ли несла его инерция первой обиды, буркнул: тоже, мол, работа.

— Что? — не расслышал Шмарин.

— А то,— сказал Витковский грубее, чем хотел.— Для чего меня было в ПТУ учить? Чтобы ящики сбивал, что ли?

— Ничего себе! — Шмарин изумился.— Еще ты на мою голову. Одного мне мало. Ты б хоть свое что придумал, чем чужое повторять.

Волкомич поднялся, пошел клеить двери — вроде бы и касался его разговор, но и не вмешиваться же.

После обеда пришли на участок двое: Сергей Иванович и начальник отдела труда и зарплаты Сверчкова, для которой Волкомич делал шкаф. Шмарин сопровождал. Сверчкова, крупная, дородная, с голосом резким, настроенным на командирскую ноту, обрывала попытки Шмарина что-нибудь объяснить. Сергей Иванович показал ей склейку щитов. Заинтересовалась, покачала головой.

— Ну, Шмарин, а все приbedняешься. Хорошо живешь.

Проводив начальство, Шмарин, расстроенный, вернулся на участок, посмотрел работу Волкомича.

— Сделай ты этой бабе чем побыстрее,— сказал он.— Чую, рубанет она нам нормы со страшной силой.

Был конец дня, станки затихли, столяры шли в гардероб. Волкомич складывал склеенные дверцы в стопку. Шмарин все не отходил. Тихонько выругался.

— Жил я как человек... Думаешь, я рвался в мастера? Через партком заставляли, на сознательность давили... Если тебе предложат в школу мастеров когда-нибудь — не дай тебе бог согласиться, последнее это дело — быть мастером.

Встретились опять, когда Волкомич вышел из гардероба, а Шмарин в плаще и шляпе, нахохлившись, собирался с духом, чтобы ступить под дождь из дверного проема. Пошли вместе. Шмарин чертыхался, попадая в лужи, и рассказывал, как работал когда-то в мебельном ателье — наверно, в том самом, куда устроился Ладутько.

— Там можно было лопатой загребать,— сказал он.— Я, как понял это, тотчас уволился — и сюда. Тут только начиналось — спецстрой. Тогда лекала, кессоны, стаканы и еще такие штуки были, их штаны называли, из рук выхватывали, людей присылали в помощь, если не справлялись. А загребать — это не по мне. Я хочу спать спокойно. Хоть там, между прочим, еще никто не припух, я не жалею, что ушел. Каждому свое. Я такой... Ну ладно,— сказал он у трамвайного кольца, пожимая руку,— я против тебя ничего не имею. Ты у нас, конечно, не удержишься, но ладно.

Он пошел в управление. Волкомичу это не понравилось: он еще не знает уйдет или нет, а Шмарин уже знает. Не такие были обстоятельства, чтобы немедленно решать, да и не в этом было дело. Шмарин открывал душу неспроста, искал подход, и понять его можно было: работа у него такая, что всем должен угодить — и начальнику управления, и Сергею Ивановичу, и Сверчковой, и каждому из рабочих,— вот и крутись. Но ведь на то он и мастер, думал Волкомич, пусть находит выход, а за ним, Волкомичем, дело не станет.



ЛАРИСА ТАРАКАНОВА

..*

Ребенок надыхался кислородом,
Обегал близлежащие дворы:
С друзьями наобщался и с народом
И вышел непобитый из игры.

Он стаскивает мокрые ботинки,
Прожевывает сладкий бутерброд,
Покуда ждут «Веселые картинки»,
Солдатики, готовые в поход.

Ждет вечная таблица умноженья,
Мультипликационное кино
И в зеркале живое отраженье,
Луна, посеребрившая окно.

И много-много радостного дела
И много-много радостных забот
Влекут его податливое тело,
Возносят вверх и двигают вперед.

И он во сне разбрасывает руки,
Так высоко откидывает лоб,
Как будто слышит радостные звуки,
Летит на них — и падает в сугроб.

И легкий смех, себя не обнаружив,
Застыл на миг меж завтра и вчера,
Он сладко замер в ворохе из кружев,
Беззвучным притворился до утра.

Румянец наплывает во всю щеку,
Или рассвет царапает стекло
И раздвигает бархатную щелку,
Чтобы скорее сделалось светло.

Чтоб, одолев домашнее задание,
Опять дневной пестрел круговорот
И чтобы крепло звонкое создание,
Грызая морковь, вдыхая кислород.

Музыка

Когда звенят пророческие струны —
Седые старцы делаются юны.
Что ж говорить о юношах, когда
В них кровь кипит, шумна и молода!

Полет смычка и ударенье клавиш,
Накличешь вьюгу и февраль расплавишь
Иль призовешь из тайной глубины
Тоску любви и маету вины.

На вздох смычка и рокот барабана
То ссадина откликнется, то рана...
Лишь от младенцев звонкие шлепки
Взывают к небу, словно голубки.

Метро

Утренний люд низвергается в недра —
И выплывает из теплых глубин.
В свежих газетах дыхание ветра,
Грохот станков, рокотанье турбин.

Это тиски добровольного плена:
Тесно дыханью, спине горячо.
Локоть соседа, портфель и колено.
Жестокий затылок. Живое плечо.

Город сплочен оборотом единым,
Двигается к трапу, выходит к дверям,
Льнет сквозняком к неизбежным сединам
И к молодым бесшабашным кудрям.

Только бы эту живую сплоченность,
Это сцепление дел и забот
Не остудила на миг обреченность,
Не расшатали разлад и разброд,

Чтобы тревога за юную эру
И незабытого прошлого тень
Не заслонили привычную веру
В чистое утро, в размеренный день.



НАТАН ЗЛОТНИКОВ



В лесах. 1945

Мы играли в лесах, где в траве еще прятались мины.
Душный запах селитры еще наполнял блиндажи,
Соком полнились ягоды дикой и спелой малины,
Стриж чертил в теплом небе раздумий своих чертежи.

После долгой войны, после той изнурительной муки,
Что узнали все наши в стране дорогой, все мои,
Так волнующи были и движения жизни и звуки —
Словно оцепенело все в мире, пока шли бои.

А теперь мы не зря сочиняли великие планы,
И в пространствах грядущих гуляли без поводырей,
И служили добру, точно сказочные великаны:
Нам светила надежда победного солнца щедрей.

Но порою земля сотрясалась от резкого взрыва —
Пал кто-то из нас, оставался навек недвижим.
И шарахнувшись вспять, время двигалось прочь торопливо —
Нам казалось, стоит и скорбит он, а мы все лежим.

Мины прошлого — в дерне прогнившем, под свежей травой.
Проводки проржавели, и ржавчину пьет динамит.
Никому не известно, когда и над чьей головою
Черный траурный дым полетит, черный гром прогремит.

Но пока не забыли мы дней молодых бескорыстье,
Острый промельк стрижа, вкус малины, леса наших встреч,
Не сумеют метели зимы и осенние листья
Путь сокрыть в те леса, чтоб от риска нас как-то сберечь.

Взлет

Окраина летного поля —
Не сыщешь ее уж нигде, —
Любви молодая неволя
К размеренной летной страде.

Все лучшие звезды смотрели
Из тьмы неживой напрямик,
Как возле моей батареи
Рулежку заканчивал «МИГ».

Казалось, совсем неуклюже
Взбирался на полосу он,

Но воздух сжимался все туже,
Давил на него с трех сторон.

С четвертой мерцала бетонка
С цепочкою темных огней,
И небо рассветное тонко
Светлело, синело за ней.

И не было силы на свете,
Что взлет удержать бы смогла,
И долго летел жаркий ветер
Над мерзлой землей из сопла.

Подлесок

Вот и просека сквозная.
Только где он, прежний пыл?
Что тебе сказать, не знаю,
Все слова свои забыл.

Да и что там не скажи я,
Все уж это ни к чему.
Говорю слова чужие,
Ты не верь ни одному.

Где заветная поляна?
Что-то нет ее и нет.
Приходили утром рано,
По росе тянулся след.

Я жалел тогда о том лишь,
Что так быстро тает день.

Ты заплачешь, если вспомнишь,
Если вспоминать не лень.

Обнимал я эту шею,
Прядку отводил к плечу...
Жаль, как было — не умею.
По-иному не хочу.

Что же груб я, что же резок,
Милый друг мой?.. Извини.
Весело шумит подлесок
Там, где были мы одни.

Так шумели б наши дети...
Ты прости меня, прости.
Им теперь на целом свете
Нас с тобою не найти.

Тетива

Тыща лет мне, а все молодой.
Окроплен был я мертвой водой,
А потом окроплен был живою.
Волчья пасть, клюв степного орла,
Ятаган и прямая стрела
Мимо посланы той тетивою.

Дальним помыслом напряжена,
И поет и дрожит, как струна,
Как хмельная струя из кувшина,
Как стропа парашюта, как зной,
Как постромка упряжки шальной,
Как держащая жизнь пуповина.



В. КАВТОРИН

★

МАЭСТРО ШАХБАЗОВ

Рассказ

1

Дней десять мотались по трассе, никак было в поселок не вырваться. Простыли оба, устали, поборвались. И вот наконец едем. Дорога скучная. Плоская степь измызгана бесконечным дождем, в огромных лужах сор и серая пена. И вдруг... Я чуть не подпрыгнул:

— Сашка! Тормози, человека вижу!

В степи человеком именуют лишь женщину, существо экзотическое. Но Русачков до того, видать, простыл и умаялся, что только красным носиком хлопнул. Без всякого интереса.

— Как бы их на первой же ухабине двое не стало,— говорит он чуть погодя, приглядевшись к маячившей у развилки фигуре.— Роды принимать ты будешь?

Но, само собой, тормознул. Девушка невысокая, толстененькая, в светлом плаще, платочке, с чемоданчиком... Ну, чемодан ее мне пришлось на колени взять. У нас на заднем сиденье движок от «андижанца» ехал и книг шесть пачек. Так что туда она еле со своим животиком сама втиснулась.

Едем, я ее в зеркальце заднего вида разглядываю: на носу веснушки, волосы из-под платочка какие-то блеклые... Все же, если б не так сильно беременная, то о мире и дружбе заговорить вполне можно. А так — молча едем. Ближе к поселку Русачков спрашивает:

— Так куда вас подбросить?

Она улыбается и:

— К гостинице, пожалуйста,— без всякого говорит юмора.

— Куда?!

— К гостинице.

Русачков так тормознул, что я чуть ветровое стекло не клюнул.

— Слушай,— говорит,— ты откуда взялась, такая умная?

— К жениху приехала.

— Это,— он говорит,— хоть к полюбовнику, мне-то что! А вот вызов у тебя чей, от какой организации?

Грубо, конечно. Но Сашку тоже понять надо. Март для механика не время, а гроб с музыкой. Солончаки раскисают, тяжелое глинистое тесто пустыни ползет, пластами наматываясь на колеса и гусеницы; лопаются тросовые жилы, скручиваются стальные пальцы, в дым горят фрикционы... Тут разозлишься! Он эти дни одной, может, злостью-то и держался, чтоб не завывать. Но девушка ничего этого, понятно, не знает, помаргивает на него растерянно и обиженно:

— Какой еще вам вызов? Мне надо — вот я и приехала...— И пухлые свои распустила, вот-вот в слезы кинется.

Ну, я стал ей как можно мягче: ты, мол, не обижайся, ты пой-

ми: у нас зона режимная, сюда и билетов без вызова не продают, а ты прилетела — не на этом же вот чемоданчике?

— На самолете...

— Ну? Значит, вызов-то у тебя есть?

— Да, а че? — все она помаргивает. — Не люди у вас разве? Везде люди... Я в Махачкале одной девушке все как есть объяснила, она и дала билет, дело-то вполне человеческое, — и живот свой сквозь плащ оглаживает: вот, мол, какие могут быть сомнения?

— А жених, — говорю, — тебя, выходит, не только не встретил, но и не вызывал? Хорош гусь!

— Так он же не знает, что я еду! А то б он тут... Он у меня такой! — Она оживилась, улыбнулась, даже волосы под косынку убрала как-то кокетливо.

Выяснили: жених ее, оказывается, думает, будто ей здесь жить негде и вообще тяжело, но она не барыня и дома жила не то чтоб в хоромах, да и братья насоветовали: что, мол, человеку на свет без отца являться? Не война ж у нас, верно?

— Само, — говорю, — собой. А какой он хоть с виду? Может, мы его знаем?

— Он у меня армянин, — говорит с гордостью. — А тут у вас целому заводу начальник, только забыла, как называется.

— Армянин, значит? — Русачков мне в зеркальце подмигивает: влипли, мол, с дурой... — Черный такой? С усами?

— С усами...

— Брехло он у тебя с усами! У нас тут и заводов-то никаких нет!

— Как нет?

— А вот так! Не построили еще! Надул он тебя. Элементарно надул и удрал. И давай-ка сдадим мы тебя в милицию — пусть назад отправляет. Чтоб ты уши перед каждым треплом не развешивала, ясно?

Пассажирка наша рот приоткрыла кругло так, глупо да в рев!

— Высадите меня! — кричит. — Права не имеете, паразиты! — и ручку на дверке шарит, рвет на себя.

— Сашка, стой! — говорю. — Не дело так...

Выскочил прямо в лужу и силой ее в машине придерживаю, дверку открыть не даю.

— Пойми ты! — кричу. — Куда тебя тут высаживать? Дождь, гляди, грязь, до поселка чуть не пять километров, трубопроводы сегодня не ходят — сама пропадешь и ребенка загубишь...

А погодка действительно... Так и хлещет! Ну, малость она обмякла, отошла, я ей чайку налил из термоса: попей, говорю, а то и не разобрать, что ты там сквозь икоту бормочешь... В милицию тебя не сдадим, успокойся! Только пойми, пожалуйста, ведь тебя без вызова ни в одну общагу и переночевать не пустят. К жениху — так когда ты его найдешь, да и стоит ли искать такого? Ты меня извини, конечно, да ведь явно надул тебя паразит — нет у нас никаких заводов.

Она уперлась: не мог ее жених обмануть, и все! Она его давно знает, и никакая не дурочка, а раньше не расписались оттого, что ему еще паспорт менять надо. Вот, пишет, как только поменяю...

— А зачем? — Русачков допытывается.

— Чего зачем?

— Паспорт менять. После заключения он у тебя, что ли?

Нет, говорит, сами вы эски, а он просто по паспорту русский, а на самом деле армянин, ему во время войны все неправильно записали. Если сейчас не сменить, так и сына русским запишут, а он после стройки хочет на родину ехать.

Я слушаю ее, киваю.

— В горы, — бормочу машинально, — в самые синие горы, к голубому озеру Севан.

— Точно,— она говорит.— К озеру.
 — Фамилия его хоть как? — Русачков требует.
 — Еще чего! Так я вам и сказала. Сама найду, обойдусь.
 — Саша,— говорю,— свезем девушку в поселок, куда хочет.
 Только ты мимо СУ-15 поезжай, заглянем.
 — Зачем еще?
 — Да есть тут у меня одно подозреньеце...
 Пассажирка опять рот приоткрыла кругло, но я ей сразу:
 — Успокойся,— говорю,— успокойся... Подозренье не на тебя, а на одного крокодила. А в милицию, будь я жаба, а не матрос, ежели сдадим! Верить?..
 Она вздохнула доверчивей, щеки утерла, и мы поехали.
 Приезжаем в родное хозяйство — как раз маэстро Шахбазов у разобранного бульдозера руками машет, публику под дождем потешает.
 — Маэстро! — кричу.
 Он оглянулся.
 — А! — говорит.— Журнал! Здорово, змей! Вот хоть ты им объясни: у нас тут не завод, конички не...— И, рот приоткрыв, пятится от меня, пятится, на гусеницу садится.— Епеньки! — говорит. А девушка из-за моей спины прямо светлым своим плащиком да к его комбинезону:
 — Коленька! Коля!
 Он черные свои лапищи в стороны развел, чтобы ее не испачкать, бормочет смущенно:
 — Ну ты даешь, ешки, как ты сюда?
 — Подвезли вот. Я им про тебя все объяснила, они и подвезли. Что ж, не люди у вас, что ли? Подвезли... Ты, Коленька, главное, не ругайся. ты послушай. И у вас тут люди, все утрясется, дело человеческое, чего тут... Ну, не бойся ты, ну? — и гладит его по щеке, как маленького, и улыбается, платочком масляное пятно на лбу его утирает.
 — Поехали,— говорит мне Русачков,— поехали, на чужое смотреть — только расстраиваться.
 Еще минуточку потоптались да и поехали.
 Дорогой Русачков спрашивает:
 — Как же это ты его вычислил?
 — Маэстро-то? Не знаю... Подумалось вдруг.
 — А он, однако, ну и брехло! Прямо-таки собачье...
 — Почему?
 — Привет! А я, что ли, мозги ей запудрил: директор, мол, завода, армянин, фити-мити... Ну, шут гороховый!

2

Русачков был всегда беспощадно логичен: соврал ты — значит, брехло. Струсил — трус, обманул — обманщик. О других людях, может, и можно судить эдак, но к нашему маэстро это как-то... То есть брехло он был еще то! Это точно. И само собой шут! Но вот — клянусь! — не так уж много довелось мне встречать людей серьезней его и честнее.

Той весной мы были знакомы уже больше года. На стройке это, скажу вам, срок.

Познакомились оригинально. Ремонтная база, куда нас направили, оказалась просто огромным двором, забитым покуроченной техникой. В одном конце его пряталась земляночка, там сидело начальство в другом — приземистый барак из дикого камня, в который нас и завели: с улицы темновато, пусто, у окон станочки... Вдруг за спиной как гаркнут:

— Подведите их ближе!

Обернулись — этакая фигура восседает на верстаке, поджав по-турецки ноги. В одной руке кружка, в другой целый батон, кусищем колбасы прослоенный. И жует страшно, аж уши шевелятся под солдатской мятой панамкой.

— Ближе, — хрипит, — смелее. Живых не кусаю!

— Коля, — смущенно как-то говорит нас приведший товарищ, — это, сам понимаешь, кадры...

— Кадры? Ты уверен, что они не из детсада сбежамши, а? И что их мамы, рыдая, не прилетят с Большой земли завтра? Уверен? Ладно! — Вскочив на ноги, фигура повелительно указала батонком на дверь: — Вы свободны!

Приведший нас пожал плечами и вышел.

— Отныне для вас я один и царь, и бог, и воинский начальник. Ясно? — Фигура размашисто нас перекрестила: — Аминь! Должность моя тут мастер, но я не любитель низкопоклонства, и поэтому зовите меня просто: маэстро Шахбазов!

Он спрыгнул на пол и спросил другим голосом:

— Жрать желаете?

Так что приглядываться к маэстро начал я, можно сказать, по независящим от меня обстоятельствам — как-никак начальство. Хоть и маленькое, да свое. И нужно как-то понимать, что за человек... Ведь так? Да вот, оказывается, легко составить собственное мнение, если уже есть чужое. Ты с ним или соглашаешься или нет. А тут я как раз этого вот чужого, всеобщего мнения о нашем маэстро никак уловить и не мог.

С одной стороны, он был вроде бы признанным головой, авторитетом, с другой — шутком. Но у шута — какой же авторитет? С одной стороны, никто ему был не указ, начальника базы Сидорчука он не видел в упор; с другой — последний трактористика мог им вертеть, как угодно, нащупав какую-то слабость, а слабостей у него было, что блох у Бобика. Все знали: Колькино слово — железо, и тут же ни единому его слову не верили.

Когда он, стуча кулаком в гулкую грудь: «Вот будь я жаба, а не матрос», клялся, что нельзя у нас сделать какую-нибудь муфту или шестерню (а много ли можно сделать в примитивной кузне да на четырех станочках?), то все почему-то были уверены, что он врет, паясничает, и упрямо бубнили: за ними, мол, не заржавеет, пусть он не думает... С утра кто-нибудь обязательно поджидал его у ворот, скромно пряча за пазухой поллитровку. (Что дураку сухой закон, ежели ему сто верст не крюк?) Целыми днями, бывало, таскались за ним, канючили, душу мотали. Он отбивался шуточками, потом, шваркнув панамкою оземь, выхватывал вдруг посудину и бежал в землянку к Сидорчуку.

— Во, змей, — кричал там, — распустил народ, понимаешь! Они мне уже взятки суют.

— А ты не бери, — почти не шевелясь, лениво цедил тот. — Зачем взял?

И все, кто сидел в кабинетике, заходились жеребьячьим ржанием.

Он был обидчив, но обиды, как и гнев, шуту не по чину, а потому они никем не принимались всерьез. Тракторист, посрамленный с утра при попытке дать взятку, через час, явно кем-то подученный, являлся к нам за справкой:

— Сегодня он кто? Шахбазянец?

— С утра был Шах-Аббасом оглы, турком...

Среди множества слабостей, впившихся в бедную шкуру маэстро, эта, пожалуй, свербила чаще других. Фамилию свою перекраивал он с той же легкостью и изобретательностью, что модница платье. Вдруг начинал, к примеру, говорить с грузинским акцентом, рассказывать об отце-виноделе, азартно демонстрировать бурную горскую кровь, даже заменял вечную свою солдатскую панамку на бог весть где раздобы-

тую шапочку-сванку. Но проходило несколько дней, и когда кто-нибудь, чтоб подольститься, говорил, сладко прижимая руку к груди:

— О, Шахбазидзе, я вас просидзе...

— Как?! — вдруг взрывался маэстро, бешено округляя глаза.— Как ты сказал?! Шарабанов я! Смоленские мы, понял?

Уследить, когда и почему в его сдвинутых набекрень мозгах происходило это превращение, было трудно. Многие, однако, пытались, ибо стоило попасть в точку, как рот его растягивался до ушей в самодовольнейшей улыбке, и он готов был в лепешку разбиться, чтоб только услужить отгадчику.

Были, впрочем, и другие способы сесть на маэстрову шею. Достаточно было прийти в обед со своим тормозком, сесть у печки, сказать первым делом, что ты сирота, и потому обижать тебя не годится. Вот у вас в детдоме...

Все знали, что это вранье. Какой там детдом, ежели человек вчера только посылкой от мамки хвастался? Один маэстро с неизменной доверчивостью глотал наживку: «А вот в нашем детдоме...»

Начинал он с чего-нибудь безобидного и, вероятно, действительно бывшего, но затем неумное воображение распалось, родители новоиспеченного турка оказывались армянами из города Степанакерта, мчался под бомбами, увозя их с Украины, эшелон, визжали тормоза, горели вагоны, «мессершмитты» заходили в пике...

Тут было множество вариаций, красочных подробностей, но кончалось неизменно тем, что фамилию и имя пятилетнего раненого записывали со слов еле бормочущей соседки, естественно, перевирая, и тем самым навсегда лишая великий народ его лучшего сына.

Душивший всех смех разом вырывался наружу, мастерская минут пять лежала, дрыгая ногами, потом слушатели наперебой кидались уличать маэстро в воровстве эпизодов из книг и фильмов, издевательски выпрашивать подробности... Он обижался, он защищался, вскакивал, бил себя кулаком в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос!» И только затеявший все это должен был до конца слушать внимательно, вздыхать сочувственно.

— Ладно! — говорил маэстро, тронутый под конец такой преданностью и солидарностью.— Оставь, я погляжу.

Трактористишка мгновенно истаивал, положив на верстак свою железяку.

Остаток дня маэстро, то и дело проходя мимо нее, морщился, мрачнел, скучнел.

— Видал-миндал? — спрашивал наконец кого-нибудь из нас с тяжелым вздохом.— Видал, что этот змей мне подсунул?

— Наплюнь! — строго говорили ему.— Не приучай, совсем на голову сядут.

Он отходил, подходил, вздыхал:

— Это ты прав,— соглашался,— сядут, ешки! Да ведь она мне ночью приснится, подлая! Что я, себя не знаю? Давай останемся, чуток похимичим. Ладно уж, пусть пьют нашу кровь!

И оставался и в конце концов действительно что-то придумывал. какой-нибудь хитрый резец, который тут же сам и ковал, или оправку, позволявшую долбить шлицы на строгальном, или еще что-нибудь.

Другой бы это рацпредложением оформил, носился бы, кудахтал, получал похвалы и премии, а он... Нет, смех смехом, а иной раз ужасно было обидно, что все ездят на нем так безжалостно, да еще и издеваясь. Ведь он был талант, настоящий талант, а разве так должны держать себя таланты? Разве так мало себя ценить? Ронять себя по таким дурацким поводам? Выставлять на посмешище!

— Чего-о? — тянул он в ответ на мои наставления.— Не учи дядю жить, салага! Чего они тут без меня видят? Одна киношка, да и в той непродых... А смех — он легкие прочищает, ясно?

Ну, что с ним было говорить после этого?

Мы ждали лета, как манны небесной. Но оказалось, что зима на нашем полуострове еще и ничего, а вот лето... Степь отцвела и выгорела за несколько недель, а с середины июня начало задуть.

Горизонт с утра задергивало желтоватой мутью. Воздух становился так сух, что колом входил в горло. К концу работы он был полон мельчайшей, густо просоленной глинистой пыли, мгновенно схватывавшейся на губах черной коркой. Солнце почти исчезало, делались сумерки, и казалось, что не ветер, а вся земля гудит, вздрагивает и воет от тоски и непомерного напряжения. Пучки сухой травы и шары перекати-поля с жалобным визгом неслись над землей. Сухой, горячий запах древних могильников проникал во все щели.

Как-то работал я во вторую, один. Вслушиваясь в застенный вой, думал, что придется ночевать тут же, на верстаке. Жутко, правда, как живо похороненному, но... Не идти же?

Вдруг хлопает дверь, и через порог вваливается сварочная брезентуха с тряпочным комом вместо головы на плечах.

— Вольно! — хрипит. — Отставить туш и всякое низкопоклонство.

— Маэстро!

Закрыв я за ним дверь, рубашку помог размотать с головы...

— Ты чего это?

— Да вот, — говорит, — пиво в ларьке кончилось, скукота. Форсункой решил заняться.

Форсунку изолировщики принесли еще вчера утром. Сулили нам ящик коньяка, золотые горы и бронзовый бюст в назиданье потомкам.

— Бюст — это вещь! — соглашался маэстро. — Но чем я тебе расту такую профиль, чем?

И начальство, специально прибывшее из поселка, только кивало печально: да, нечем.

А сегодня вот... Рожа у него под рубашкой вся оказалась в черных полосах, в пятнах. Мы на нее чуть не половину питьевого бачка вылили. Потом заварили солоноватого, поскрипывающего на зубах чайку — горлянки прополоскать.

— Ешки, — ворчал маэстро, прихлебывая этот чаек, — что они понимать могут? А я все-таки уральской выучки змей, не абы как!

Напившись, разжег он паяльную лампу, зажал форсунку в тиски. Через пару минут средняя шейка ее посинела, стала краснеть.

— Хватай пассатижами, змей, рви! — завопил он.

Я машинально дернул и чуть не сел на пол — так легко разошлась форсунка на две половинки.

— Что ж ты не предупредил, что здесь просто на горячо посажено? Все клоунничаешь? — обиделся я.

— И сам не знал! Ей-богу! Дома вдруг пришло: не может быть, чтоб где-то больше моего умели. Небось схимичили...

Мы выточили каждый по половинке форсунки, посадили одну на другую, маэстро тщательно зачистил, пошлифовал наждачком соединительную шейку. Так, чтоб и комар носа не подточил, не то, что дубари-изолировщики. Делать это было совсем не обязательно, но он нетерпеливо приплясывал и что-то там напевал у станка, должно, репетировал завтрашний розыгрыш.

Часам к трем ночи, когда мы, профильтровав остатки воды, опять уселись чаевничать, маэстро был спокоен и грустен, как всякий артист, хорошо подготовивший завтрашний номер.

— Не, — говорил, прислушиваясь к стихающему шуму ветра, — не-е, разве тут жизнь? При такой-то пылище? Не-е, это не по мне. Мне чтоб речка была, туман по утрам. А самое лучшее, знаешь, это когда осеннюю ботву жгут в огородах, и тоже туман идет, желтоватый такой...

Мы улеглись; на старых ватниках было уютно и мягко, но не спалось. Мало-помалу стал он рассказывать про себя, что вот не знает точно ни имени своего, ни национальности, ни где и когда родился. В детдом попал пяти лет из госпиталя. Это по документам. А что было раньше, до детдома — ничего не запомнилось, ни вот столечко. И от этого все в его жизни выходит как-то ненадежно...

И странно! Я все это слышал сто раз и только смеялся до колик. А тут вдруг понял: все правда. То есть вокруг-то сплошное вранье, но тут вот, в самой середочке, в этой его тоске — она, кровная. Чтоб утешить его, стал даже говорить, будто все это не имеет значения. Ну, знаю я вот: на Украине родился. А что мне это дает?

— Ну, не скажи! — не согласился он. — Все ж таки душа она до всего свой интерес имеет, прикидываешь с ней то так, то эдак. Вдруг я, к примеру, грузин?

— Да ты рыжий!

— Ну и что? Есть и грузины рыжие и армяне, не исключено. И вообще все у меня как-то... Душа на месте только и была, что в армии. Иногда думаю: может, в сверхсрочники попроситься?

Служил он в Армении, танкистом. Кормежка, одежда — во всем порядок, никаких забот. Скажут беги — бежишь; скажут отбой — спишь. Ничего не скажут — опять спишь. Чем не жизнь? Умотаешься за день, потом сидишь вечером на казарменном крылечке, и такая кругом красота, что так бы вот и растекся по ней душою.

Только с куревом плохо было. Не потому, что махра. Махру он и сейчас смолил бы за милую душу. А потому что набьются в беседку или в умывальник перед отбоем и давай друг другу душу травить: «А вот у нас... А у нас вот...» Послушаешь, так только и хорошо выходит, что далеко где-то. Или опять же про дембель разговоры. Еще на втором году обсуждать начали: кто куда подался. Одним — чтоб только домой, другим — чтоб от дому подальше, жизнь им повидать. А он этой жизни свыше ноздрей хлебал, и дом ему везде одинаковый — ему-то куда притулиться бедному? Да тут еще неудачно влюбился!

Нормальные люди влюбляются запросто. Подошел там, потанцевал, пощупал, и все — хоть в загс беги. А его заочно-журнально угородило. «На первой странице обложки передовая доярка колхоза «Родина» Верх-Исетского района». Губы пухлые, красные, тут вот чуть-чуть веснушек, и щека с такой ямочкой, что хоть бери и кусай. И главное — ничего больше на этой фотке нет, один ее цветастый платок на всю обложку, а глядишь, и думается почему-то: славно, мол, у них там, в Верх-Исетском этом районе, была бы там родина... И речка тебе там видится, туман в кустах, голубой лес на той стороне. Отлепишься утром от этакой крали, на крыльцо выйдешь — не мир вокруг, а благодать божья!

Само собой, написал, переслала, она ответила. Фотку прислала уже не цветную, но и тут хороша. Ну и — понеслась душа его в рай! Через год переписки бумага аж дымилась — до того жарко на ней обнимались и целовались.

Дембель вышел ему поздноато — перед ноябрьскими. И, само собой, он в колхоз «Родина» мотанул. А время какое-то неопределенное: и снег, и грязь. Опять же и край неопределенный, вроде Первоуральска: горы не горы, но и ровной земли нет. Лес вдоль дороги и тот — через две ямины сосенка.

— Ну, наконец приехал. «Сама она, говорят, на дойке вечерней посиди!» Дома одни братья. То, се, познакомились, я им поллитру на стол. Они своего чего-то там выставили, мутного. Но много. Сидим толкуем. «Это, говорят хорошо, что ты на Дашке женишься, девка в самом соку...» А сами, черти пухлогубые, сидят, не шелохнутся, важные, будто министры, все всерьез. Ну, я тоже всерьез так осведомляюсь: «В каком же она соку?» Молчат. Друг на дружку зырь-зырь.

луп-луп рыжими. «В томатном, говорю, аль в собственном? Нам чаштика в томатном давали, скумбрию в собственном, таж в томатном я больше уважаю». Опять они луп-луп друг на дружку, наливают по стакану мутного. Оно сладенькое, без градусов почти, а в ноги шибает. «Давай, говорят, выпьем!» — «Это я завсегда и с дорогим удовольствием, говорю, поскольку служба моя кончена». Выпили. «А Дашка, говорят, в хорошем соку, кормленая, будешь доволен». Ну, слово тут за слово, стали мне вкручивать какие они хорошие: мы, мол, построиться вам поможем, от колхоза телку дадут. Председатель обещал, мол, хорошую. И двух поросят, поскольку ты до техники специалист. «Откуда ж он, змей, знать может?» — «Дашка все сказывала и даже фотку носила: вот, мол, колхозник новый...» И тут как-то, знаешь, обидно мне стало: до чего люди хозяйственные, я еще не доехал, а они и в работу уже запрягли и на двух поросят разменяли... Я-то, может, и одного не стою, а все одно! «Ладно, говорю, товарищи братья, поросят мы еще под водяру зажарим, а вот строиться мне на кой ляд? Что я, человек не советский? Куркуль я, что ли, чтоб собственность заводить?» Опять они друг на дружку луп-луп... А братья-близнятки, мужички-боровички такие, совсем без росту, зато в плечах — во! «Дык, говорят, как же не строиться вам? Жить с Дашкой где будете?» — «А где койка у ней?» — «В той избе», кивают. «Ну там и будем. Солдат человек походный: нынче здесь, завтра там, зачем ему барахло? Родина позвала, он вскочил, отряхнулся...» У меня, сам знаешь, слова не на привязи. А они, гляжу, всем мордovorотом багровеют, и один меня уже через стол за грудки норовит. Ну, я по рукам. Не трожь, мол, танковые войска, они не таких бивали!.. Короче: пока невеста на порог, так у нас уже самый мордобой. Они меня в угол теснят, я еле бляхой открещиваюсь. Кинулась она братьев урезонивать, я шинель в одну руку, сидор в другую и — за порог. Через загородку козлом стреканул. К утру дошагал в район, покемарил чуток на вокзале и — к уполномоченному по оргнабору: так, мол, и так, выручай, потому что от всего сияющего одни фонари на морде остались. Пиши на север, полярную ночь освещать стану. Мужик понимающий попался, офицер бывший. «На север, говорит, набору нынче нет, а на юг могу». Так вот я здесь и оказался, всяких вроде тебя олухов жить учу. Хоть и не мороз, но тоже не сахар...

Недели две-три после этого прожили мы с ним очень дружно, хотя при народе мне по-прежнему было за него и обидно и стыдно, и злость брала, и смех разбирал... Зато почти каждый день мы оставались химичить. В тишине и безлюдье с ним рядом было как-то спокойно, уютно. Чем бы ни занимались — любое ремесло в его руках казалось таким простым и удобопонятным, как будто приросло к ним с рождения.

Вообще его приспособленность к жизни была, по-моему, почти абсолютной. Сейчас, правда, под этим понимается больше умение всюду пролезть, достать, найти и вход и выход. Но ведь это приспособленность не к жизни, а к ее недостаткам, которые преходящи. Неизменна лишь сама суть. Маэстро был приспособлен именно к сути: он все умел, никакая житейская надоба не становилась для него камнем преткновения, не вырастала в проблему.

Проголодались — он тут же, в горне, не отвлекаясь от дела, кипятил чайник и на прутке зажаривал шашлык из колбасы. Горячая, чуть пахнувшая угольным дымом, она бывала необыкновенно вкусна. Прихлебывая чаек, маэстро принимался рассказывать — еда занятие приятное, за ней люди должны веселиться.

Было у него несколько любимых историй, смешных и нелепых, вроде журнального сватовства. Например, как его из ремеслухи чуть

в московский хор не забрали. Дело, мол, только потому и не выгорело, что на самом решающем смотре, забывшись, запел он на Детдомовский лад: «Легко на сердце от каши перловой...» Вранье, конечно, чистейшее! Но пел он действительно здорово.

Впрочем, в эти последние недели был он грустней обычного, стал даже заговаривать о бессмысленности жизни: вот, мол, вкалываем, как папы Карлы, а для чего? К середине июля тоска окончательно его одолела, он вытребовал отпуск, купил кучу рубашек, галстук с золотой ниткой, светло-серые английские туфли и укатил на Большую землю.

Без бдительного его присмотра жизнь моя, поскользнувшись на любви к российской словесности, сделала крутой зигзаг. Я стал бойцом культурного фронта, который у нас, как и положено каждой приличной стройке, был страшно запущен.

Маэстро вернулся несколько даже досрочно, без шикарного костюма и золотых часов, но необыкновенно воинственным.

— Ты что же это, змей, — даже не сказав «здрассте», взял он меня за грудки, — дезертировал? Покинул передовой участок?

Треск рубахи ясно говорил, что вопрос поставлен ребром.

— Погоди, — смиренно попросил я, — послушай...

Слушал он не очень; книжные передвижки явно не казалось ему стоящим делом, но вдруг, уловив в лепете моем знакомое слово, маэстро разлепил волосатые кулачищи и задумчиво почесал нос: «Ну, черт с тобой, журнал. А я погудел славно. Представляешь, лечу в Свердловск, там гроза...»

И пошла очередная его история — без всяких границ меж правдой и ложью. Получалось, что он все летал и летал, везде были хорошие ребята, но долететь до места никак не удавалось...

Ну, а весной, как уже сказано, подобрали мы с Русачковым у аэродромной развилки одного человека, и тут-то выяснилось, что до колхоза «Родина» маэстро все-таки долетел.

В мае была свадьба, а с нею вкупе крестины маэстрова первенца.

Стол устроили прямо поперек улицы — четыре доски-сороковки перекинули от крыльца до крыльца, от одного вагончика до другого. И было за этим столом так тесно и шумно, что сперва каждому казалось: он в минуту оглохнет или же вылетит отсюда, как пробка. Но проходило пять минут, десять, все утрясалось и притиралось, становилось свободно и весело, и уже думалось, что будь здесь чуточку попросторней, такого бы веселья не получилось.

Хохоту было много. Какое-то было у всех настроение — все только смешило, даже то, что маэстро прошляпил неслышанное в наших краях счастье — двухкомнатную квартиру.

А вполне мог бы и оторвать! Комсомольские свадьбы были еще горячей новинкой. О них писали, за них хвалили. И наши комитетчики, не желая ударить лицом в грязь, решили лучшего своего бригадира оженить по самой передовой методе — с речами и поднесением ключей от капитального гнездышка.

Но еще раньше другое начальство, в области, наметило слет коммунистических бригад, маэстро направили туда, снабдив прекраснейшей, тщательно отпечатанной на машинке речью. В общем, все шло, как надо, но как-то ему показалось странно, что такие славные ребята, так хорошо вчера с некоторыми посидели, а сегодня сидят, как сонные мухи, клюют носами под мерный бубнеж. Несправедливо это ему показалось, обидно!

Выйдя на трибуну, он начал с того, что, мол, собрав столько представителей светлого завтра, незачем сажать у газет старушку. Можно и жестяночку под мелочь поставить. Не зажилит светлое завтра свои две копейки, отдаст. В зале зашевелились, в президиуме самокритично захлопали, сдержанно улыбаясь. Маэстро чуть поклонился публике, ощутил прилив вдохновения и... понеслась душа в рай! Гово-

рят, было все: и клятвенное битье в грудь: «Да будь я жаба, а не матрос», и скупая мужская слеза по безвинно загубленной жизни юного ленточного экскаватора, и много чего еще. Зал хватался за животы и сыпался под стулья целыми рядами.

В перерыве маэстро ходил гоголем, окруженный поклонниками, даже из президиума один товарищ подходил, сказав, что, по сути, все правильно, только уж слишком... И неопределенно покрутил растопыренной пятерней.

Но... «Была,— сказали у нас в комитете,— не спорим, была такая идея насчет комсомольской свадьбы, обсуждалась, да ведь не все, что обсуждается...» Полвагончика, и те маэстро пришлось выбивать, пошумев в парткоме.

— Зато посмеялись! — горделиво подбоченившись, говорил он.— И вот, ешки, смех смехом, а слесари на ленточном уже возятся, бумага Сидорчуку пришла — враз зачесался. Поняли? Чуете, чем пахнет?

— Ох, Дашка! — кричала завитая, железнозубая жена прораба Прохарченки.— Наплачешься ты с ним, на тракторе спать будешь.

— Наплачусь, Катя, как пить дать наплачусь! — соглашалась похорошевшая после родов Дашка.— Ой, пропаду с иродом! — и висла на иродовом плече, так вся и светясь, так и тая.

В ту весну она, похоже, всем была счастлива — и полувагончиком, и сыном, и мужем, а больше всего, может, твердостью нашей милиции, отказавшейся менять ему паспорт. На радостях она выбрала сыну самое что ни на есть русское имя — Иван.

Господи, как давно это было! И какими мы были зелеными! Такими зелеными, что за неделю без бритвы становились не ржаво колючими, а лишь пушистенькими, как персики.

И вот прошло столько лет, что и памяти нет; и давно уже во сне не бегу я, задыхаясь, степью к чему-то нестерпимо прекрасному и забылись многие имена, лица, стерлись события.

И вдруг выяснилось: можно поехать. В тот самый город! Запросто! Ничего не стоит, только скажи: туда.

И я сказал. Сперва сказал, а уж потом подумал: зачем? Ведь писано дураку: «По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Но пока голова трезво думала, сердце стучало все яростней и нетерпеливей.

Зеленого вагончика с антенной на месте, само собой, не оказалось. Аэропорт был, как и везде, солидный, бетонный, серый. Снаружи стояли светлые «Волги» с шашечками, совсем как в Ленинграде.

— Вас в гостиницу? — спросил шофер без всякого юмора.

Потом я долго, до телеграфного гула в ногах бродил по улицам, по неведомой набережной... Город был — чужей не придумать! В сумерки наконец набрел. Сидел во дворе у круглой чаши пересохшего фонтанчика и подозрительно разглядывал обшарпанную четырехэтажку: неужели та самая? Вот это полубарачного вида зданье без всякой архитектуры — это и есть первый наш капитальный? Наш сияющий, греющий душу, наш, видимый черт те откуда, точно маяк?

Нет, наверное, старение — это то, что происходит не только с нами, но и с нашим прошлым. В нас оно живет так, вонне по-другому, с годами пропасть растет, контуры берегов перестают совмещаться. Вот почему «по несчастью или к счастью...».

Ну, а к прежним людям и вовсе заказан путь. Дома разрушаются, люди растут. Назавтра вот принимал меня главный инженер стройтреста. Рассказывал про темпы, масштабы. Солидный басок, седоватый ежик над высоким загорелым лбом — вальяжные ухваточки. Будто он так и родился — в шикарнейшем, бесшумно вертящемся ко-

жаном кресле. Извинился, повернулся, открыл в стене полированную дверку — там у него холодильник, оказывается. Запотевший нарзан, стаканчики, любезнейший жест: прошу!

— Да,— говорю ему,— а когда-то здесь только подсоленный кпяток с утра пили. Помните, Жакен вас учил, сварщик, чтобы потом не потеть и не слабнуть на лютой жаре...

— Что-то,— говорит,— вроде припоминаю.

Неуверенно так.

— А весну шестьдесят второго, трассу — в вагончиках дым, анекдоты, иногда теплая водка, грязь ползет по степи пластами?

Он помаргивает; я смотрю — реснички у него выгорели, и такая под ними смущенно-незамутненная голубизна, что за версту видать: ничего не помнит! Меня даже в пот слегка кинуло. Не может, думаю, быть такого! Ведь на двери написано: Русачков Александр Авдеевич.

— А маэстро Шахбазова,— говорю,— помните? Мастера механической мастерской, Кольку?

Ага, дрогнуло что-то, глазки зеленцой вспыхнули.

— Ну, которому невесту мы привезли, помните?

— А! — говорит.— Как же! Он от нее еще сбежать хотел, напел ей, будто большой тут начальник...

«Ладно,— думаю,— пусть будет хоть так».

— Так где он теперь, Шахбазов?

— Ну что вы! — смеется.— У нас теперь такой городище, что и добрых-то знакомых не встречаешь годами. А его... Нет, даже не помню, когда и видел. Уехал, должно.

Повспоминали еще минут десять довольно вяло: я не помню одних, он — других»

Вышел от него — белесое небо пуще прежнего давит в затылок, рубашка липнет к спине, душно.

Долго, бесконечно долго шагал какой-то дорогой — по бокам решетчатый бетон заборов, густо и однообразно пропыленный, автобусные остановки у проходных, чахлые деревца. И только откуда ни оглянься, округлые башни опреснителя так и царят надо всем, так и спят, струятся в небе, ломкие от жары... А тогда над ними еще и кран стоял — рыжий аист.

Наконец выбрался к морю, бродил, искал заветную бухточку. Дно там когда-то почти сплошь было устлано плоскими камнями, поросшими зеленоватой слизью. Отвалишь такой: черный рачище сидит — не шелохнется, ошеломленный внезапным светом. А ты его — цоп! Нахватаешь с десяток и варишь прямо в морской воде — удивительная вкуснятина!

Камней и теперь хватало, но раков не было нигде. Я окончательно устал, искупался и долго лежал на песке...

И когда уж совсем не ждешь и не надеешься, вдруг происходит.

Тебя ведут по длинющему заводскому пролету, воодушевленно внушая, как славно принимают тут пэтэушников, закрепляют молодые кадры. И вдруг ты останавливаешься, сам ничего не понимая, просто хочется тебе посмотреть, как он руками размахивает — этот высокий лысый мужик, толкующий о чем-то юнцам, которых так и корчит от смеха. К тебе он спиной, только лысину и видишь, но на душе у тебя как-то непонятно ширится, светлеет, точно это не лысина, а солнышко восходящее.

Невольный шаг:

— Маэстро!

Он оборачивается.

— А, журнал,— говорит как ни в чем не бывало.— Здорово, змей!

И вы, как в старые добрые времена, слегка тузите друг друга.

— Ух, растолстел, ешки!

— А ты? Патлы-то рыжие куда делись?

— Да вот гладит каждая: хороший ты мой, хороший.

— Ух ты, Шахбазище!.. Как первенец? — спрашиваешь. — Дарья как?

И осекаешься. Поскольку — мало ли что за двадцать-то лет...

— Да ничего,— говорит маэстро,— живут, чего им станется. Ванька, змей, в люди метит, в столице учится, а Дашка — та еще выше взяла,— важно поднимает он палец.— Администраторша, во!— И хохочет.

...А потом, на закате, сидишь ты у него на кухне, перед распахнутым балконом — он сам по простоте южных нравов вышел туда в одних трусах и, взмахивая рукой, объясняет тебе, что раки в бухточке еще водятся, а ты просто не туда вышел; надо было от опреснителя вон туда взять, левее, за орсовский склад.

— Что за склад еще, где?

— Ну, за те бараки, в которых раньше больница была.

— Какая больница?

Тебе немножко стыдно, что ты все позабыл и уже не знаешь, как увернуться от этого разговора, но тут приходит Даша. Она теперь такая же яркая холеная блондинка, как почему-то все — по всему Союзу! — гостиничные администраторши. И немудрено, что там, в гостинице вы не признали друг друга. А здесь — муж еще рта не разинул — она странным образом сразу же тебя узнает.

— Ой! — говорит.— Ешки! Да то же вы! Как же это я вас не признала, когда прописывала,— и, опустив на пол сумку, всплескивает руками.

— Точно! — смеешься.— Вы меня поселяли.. Ну, ничего! Это, говорят, к богатству. А вы тут как, как живете?

— Да вот он все в Рустави переехать грозит. Уж и усы было завел, да я один ночью оттяпала!

Потом-то, за столом, после нескольких рюмок она его, конечно, ругать принимается: жить, мол, не умеет, попросить нигде ничего не может, всем со своим языком сала за шкуру залил...

— У, змей!— грозит ему кулачком.— Вот вы не поверите, а мы десять лет так в вагончике и жили, пока аж мне от горкоммунхоза не дали, потому и детей не завели больше. Да и сейчас! — машет она рукой.— У всех трехкомнатные давно, а у нас что? Живопырка, мебели приличной негде поставить.

— Так вот на нее посмотришь,— склоняя голову набок, говорит маэстро,— посмотришь: вроде вполне городская, советская баба. А замашки все одно из деревни, кулацкие. Всего-то ей мало, все мало...

— Уж лучше кулацкие, чем дурацкие!

Но через минуту она мирно его обнимает, наваливается на плечо пышной грудью, и все вы дружно поете о том, что «хмуриться не надо, лада...».

— Раки еще есть,— успокаивает тебя маэстро.— Это ты не нашел, а вот пойдешь со мной послезавтра...

И так тебе хорошо с ними, так отчего-то блаженно, как дома после баньки и то не всегда бывает. И не хочется ни думать, ни говорить о том, что послезавтра ничего уже не будет, потому что счастливая твоя командировка кончается завтра. Командировка в собственную юность, про которую ты, кажется, теперь лишь понял, как была она хороша!

— А раки есть,— бубнит подвыпивший маэстро.— Все, змей, мяться не может! Надо чему-то и оставаться, стержень везде нужен, крепеж. Вот мы с тобой пойдём..

ИЗ МОНГОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ



ДОЖООГИЙН ЦЭДЭВ

* * *

Почему так мало говорим
мы о современниках сегодня,
почему уверенней, свободней
отдаленным, прожитым горим?
Помню я дороги в Эрдэнэт,
не забыты и в Дархан дороги,
где встречал людей прекрасных многих,
но о них пока ни строчки нет.
Вот талант, что оперою первой
музыку родную озарил.
Но никто еще не говорил
так о нем, чтоб дух наш воспарил,
чтоб затрепетали струны-нервы.
А впервые певший в ней солист
творческими планами делился..
Но в строках заветных не излился
этот разговор на белый лист.
В дружеской беседе узнаем
то подчас, что знать и нужно людям..
Но когда ж внимательнее будем
к тем, с кем рядом дышим и живем?
Так ведь можно жизнь и проболтать,
не заметить в суете ненужной:
мог бы рядом с лучшими летать,
а избрал тягучий путь окружный!
В ореоле дара золотом
классики живые... Рядом встанем!
Как бы не случилось, что потом
лишь в застолье в тостах их помянем.
Надо зорче нам смотреть вокруг,
путь, что равнодушием накатан,
позабыть... Не оказаться б вдруг
бедняком, не знаящим, как богат он!

ШАРАВЫН СУРЭНЖАВ

Я — здесь,
ты — там..
На небе — облака,
а на земле — вода..
Стоит деревня
под городом..
И в мире так всегда.

Как не считаться нам с законом древним:
кто разлучен, в неодолимом круге
разлук, тревог мечтает друг о друге!

Как много между нами гор и вод...
Но есть друг к другу путь, иных короче:
и наши две звезды на небесвод
ночами всходят в хороводе прочих.

Пусть здесь моя звезда и там — твоя.
Твою звезду найду лучами я.
Сплетутся разлученные лучи,
сквозь тысячи пройдут игольных ушек,
которых в мире не бывает уже, —
в остуженной вселенной
горячи!
Когда восходит над землей луна,
найти друг друга в мире бесконечном
жемчужным светом ласковым она
нам помогает, дарит радость встреч нам.
На весь огромный свет она одна.
Но там, где ты, — она и здесь — она.
Твое лицо я вижу в свете этом
весной и осенью, зимой и летом...

Стучит метро, как сердце, под землею.
Шумит вода, с подземной слившись мглою.
По жилам вод земных в дрожащий зыбко
твой сон плыву, как золотая рыбка.

А на воде наземной средь огней.
что пляшут очарованно на ней,
мы тоже — две былинки невесомых —
резвимся в брызгах отсветов веселых.

Пробудишься ты от волнения вдруг...
Ни вод, ни рыбок золотых вокруг...
Лишь только фотография моя
у изголовья. Собери все чувства,
и волею великого искусства
любви тебе заулыбаюсь я!

Я — здесь,
ты — там...
А волны — по воде...
А в небе — облака...
Но не потушит
судьба огня,
назначившего душам
быть вместе навсегда, во всем, везде.

Расстанемся... Но снова встреча ждет!
Я над тобой — вечернею звездой,
ты надо мной — рассветной, молодой...
И так летят мгновенья, жизнь идет...

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

ЖАГДАЛЫН ЛХАГВА

Возвращение на родину

Вернулся я с чужбины в край родной,
Над родником холодным наклонился —
И, встреченный его голубизной,
Как в зеркале прозрачном, отразился.

Но стоило устам коснуться уст —
Двойник исчез. Я силою налился
И понял: был раздвоен я и пуст.
На родине я воссоединился.

ЛУВСАНДАМБЫН ХУУШАН

Монгольский ковер

Глаза монгольских девушек черны,
Как ягоды черемухи лесной.
Их лица над узором склонены —
Ковер цветет, как свежий луг весной.

Но прежде чем распустятся цветы,
Перебирают девушки руно,
И шерсть из груд воздушно-золотых
Течет в ладоши нитью кружевной.

Вот, скрученная ловкою рукой,
Прочнее жилы вытянулась нить.
Мелодии земли и облаков
Она смогла в себе соединить.

Притягивая восхищенный взгляд,
Ковер монгольский смотрит со стены.
Изгибы рек и радуги наряд
В орнаменте искусно сплетены.

БАВУУГИЙН ЛХАГВАСУРЭН

Объявление свадьбы

От ветра я услышал в день осенний,
Что скоро будет свадьба Хорголджин.
Об этом тихо говорили тени,
Холмы и травы голубых долин.

Вода в колодце, ведра, коромысла
И женщины об этом речь вели.
А мне покоя не давали мысли,
Как с нею мы по этим склонам шли.

Пир свадебный в аиле объявили
На празднике клейменя жеребят,
Когда хвосты вздымаются кобыльи,
Метелью буйной по ветру летят.

И я примкнул к веселому застолью —
От гула скалы ближние тряслись.
Но если дать воображенью волю —
Алмазной ночи можно видеть высь.

Увидеть: влага черная упала,
Светясь росой на серебре седла,
Укрыла перевалы покрывалом,
На землю лунным панцирем легла.

И Хоргоджин любимая смеется
Так звонко, что веселый смех ее
В горах соседних эхом раздается,
Из юрты вылетает, как копьё.

И, ласковую дымку раздвигая,
Легко всплывает песня над землей
О сером соколе. Мелодия родная
Кружится высоко над головой...

Хотел я пир расстроить грубым словом,
От ревности сжимались кулаки...
Но песня мудрая покой вернула снова
Душе, попавшей в западню тоски.

Перевела ЛЮДМИЛА БУКИНА.

МИШИГИЙН ЦЭДЭНДОРЖ

* * *

Когда подует сильный ветер вдруг —
Ломает он и с корнем рвет бамбук.
Идет меж ними смертная борьба,
Но разная потом их ждет судьба.
Свирепый ветер выбился из сил,
Ослаб свои нападки прекратил,
А сломанный бамбук свирелью стал
И мелодично в мире зазвучал.
На^л нем бессилен ветровой порыв.
Звучи, свирель, бессмертен твой мотив!

ТООМОЙН ОЧИРХУУ

Тень войны

Завидев курган и белизну обелиска,
Сошли с лошадей мы, оставили их невдали
И медленно молча склоняя головы низко,
К могиле солдатской печаль не тая подошли.
Здесь выпасов нет, не слышен и шум из аила,
Лишь синее небо да легкий степной ветерок.
И вся наша группа скорбя у могилы застыла,
На месте стоит даже мой пятилетний сынок.
В пути, в той степи мальчонка все время был весел
И вот, словно взрослый вдруг сгорбилась и присмирел:
Тревога в глазах, уныло головку повесил,
Как будто понять он уже общее горе успел.
В сияющий день печальная здесь тишина.
Угрюмую тень отбрасывает война.

ОЧИРБАТЫН ДАШБАЛБАР

..*

Смотрю на трактор: что за исполин!
Вспахал один за день огромный клин.
Бульдозер тоже на свершенья скор:
В момент с лица земли руины стер.
Такой отдачи жду и от стихов!

Сто громких взрывов в гул сплошной слились —
Космический корабль умчался ввысь.
Два айсберга плавучих, горы льда
Столкнула с треском, с грохотом вода.
И ты, мой стих, вот так прогрохочи!

Мгновенен грозной молнии удар:
Расколот дуб, хоть кряжист он и стар.
Увидев через четверть века мать,
Скиталец крика не сумел сдержать.
Стань молнией, стань озареньем, стих!

Перевел ГЕННАДИЙ ЯРОСЛАВЦЕВ.



ЕВГЕНИЙ БУДИНАС

★

ДОМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

1

Дом Геннадий смотреть не пошел.
— Я ведь не дом, я место покупаю,— сказал он.

Место — несколько соток запущенной земли с десятком полуодичавших яблонь и груш, утонувших в буйных зарослях бурьяна, репейника и лопухов, со старым вязом у калитки. что сиротливо повисала на накренившемся столбике поваленного дождем и ветром забора,— давно уже стало предметом вожделенных мечтаний многих горожан, не имевших родственных связей с деревней или утративших их. Дом же — невзрачное строение с просевшими от земляной сырости углами, заколоченным крест-накрест оконцем, отсыревшей от долгого бездействия русской печью — оказался вдруг (очевидно, в силу обеспеченности этих горожан капитальным и благоустроенным жильем) как бы лишь приложением к месту. Правда, приложением неотъемлемым, ибо юридически именно дом и только он может быть предметом купли-продажи.

Активный интерес городской общественности к месту нашел отражение в кочующих по страницам газет дискуссиях о судьбе заброшенных усадеб в деревушках и деревнях, признанных однажды с чьей-то нелегкой руки неперспективными и лишенных в силу этой «неперспективности» всяких надежд на официальное развитие, прогресс и внимание цивилизации. Предложения и соображения в ходе дискуссий высказываются разные. Но все сводилось к тому, что раз уж уходят из деревни коренные ее жители и процесс этот необратим, а во многих случаях и неуправляем, то пусть бы доставались их усадьбы желающим здесь жить горожанам. Хотя бы и не постоянно, а лишь летом: в отпуске, в воскресные и праздничные дни. А пенсионерам и вовсе от холодов до холодов. большую, стало быть, часть года. Воспитывать детей и внуков на свежем воздухе и парном молоке, ковыряться в охотку в саду, мастерить что-то в сарайчике — то есть обрести все те нехитрые радости, которых напрочь лишены городские жители.

Геннадий Евгеньевич Дубровин, кандидат технических наук и доцент вуза, за дискуссией следил с интересом. Даже завел специальную папку с тесемочками, куда старательно складывал вырезки из газет.

Зная его постоянную, счастливо сохранившуюся еще со студенческих лет готовность с увлечением закапываться в самые неожиданные проблемы и подходить к их изучению с профессиональной для научного работника обстоятельностью, ничего особенного или там предвещающего какие-либо перемены в его жизни за появлением папки с надписью «Дом в сельской местности» я не разглядел.

Горожанин в третьем колене, Дубровин в деревне бывал в детстве на каникулах, в студенческие годы с агитбригадой, в выступлениях которой активно участвовал, потом, уже научным сотрудником, добросовестно отработывая положенную разрядку на сельхозработы в подшефном хозяйстве. И если и проявлял интерес к сельским проблемам, то исключительно любительский.

Геннадий был горожанином насквозь, до последней ниточки в его экстравагантном, несколько даже опереточном пиджаке и почти пижамных полосатых брюках, носить которые без неловкости может только человек, с детства привыкший ощущать

себя в многоликой толпе, где никому ни до кого нет дела. Надо сказать, что ощущал он себя — и в пиджаке и в толпе — превосходно. Он всегда был занят, но занят как-то легко, не удручающе. Классный специалист с широкой эрудицией, он вечно выполнял какие-то заказы сторонних организаций, задыхающихся от нехватки «машинного времени», что-то им программировал, считал, кого-то консультировал, выступал на каких-то симпозиумах, читал какие-то лекции, потом мчался к кому-то на день рождения, где непременно бывал избран тамадой и обязательно играл что-нибудь на свирельке, с которой никогда не расставался, носил ее во внутреннем кармане пиджака в черном бархатном чехольчике...

И при всем этом откуда ни возьмись — постоянный и возрастающий интерес к деревне!

— Дом в деревне, — говорил мне Геннадий, — это же тебе не садовый кооператив! Со всеми его нелепостями: печку ставить то можно, то нельзя, баньку и сарай нельзя, забор тоже не положено... А то, что можно, тоже нельзя: попробуй выстроить дачу, если ты не строительный прораб, а дядя у тебя не снабженец... Ты понимаешь разницу?

Разницу я понимал. Я только не совсем понимал, куда он клонит. И отчего столь напористый интерес.

— Ну не нелепость ли? — продолжал Геннадий. — Ценой невероятных усилий и ухищрений возводить эти курятники...

Тут Геннадий остановился. Посмотрел на меня.

— А рядом... Что рядом, я тебя спрашиваю?.. Рядом...

Геннадий прошелся по комнате из угла в угол.

— Рядом... — торжественно произнес он и замер посреди комнаты. — Рядом... стоит... пустой... и готовый... бревенчатый, а не фанерный... дом! С русской печью... Ты знаешь, сколько стоит такой дом с русской печью в сорока километрах от Минска?

Я не знал.

— От трех до восьми сотен! Дешевле, чем шкаф в импортном гарнитуре...

— Ну, это такой дом, — протянул я неуверенно...

— А какой мне нужен? Стены есть, крыша есть. Все готовое.

Я начинал понимать, к чему он ведет.

Но даже от попытки представить себе Геннадия — с его непостижимой бесщепетностью и вечным стремлением не обременять себя какими бы то ни было бытовыми заботами, с его нетерпеливостью, с его постоянной страстью к перемене мест — в роли владельца недвижимостью я засмеялся.

Геннадий остановился посреди комнаты и вынул из кармана свою свирельку в бархатном чехольчике. Это не предвещало ничего хорошего. Я смотрел на него с недоверием.

— Надо покупать дом, — сказал он и изобразил на свирельке что-то вроде танца с саблями Арама Хачатуряна. — Все уже покупают...

Все не все, но многие действительно покупали

И пока шли дискуссии, пока обсуждалась необходимость узаконить право горожан на такие приобретения, шла своим чередом и жизнь. Нет-нет да и появлялись в деревушках новые жители с полного одобрения деревенских бабок, радующихся и сбережению добра и новым впечатлениям. Пропалывались поросшие бурьяном грядки, выбеливались известью сучковатые стволы фруктовых деревьев, поднимались подгнившие заборы, латались скаты толевых крыш.

Как осуществляются эти купли-продажи? Разными путями. Кто-то выписывает из города старушку мать, оформляет ее домовладельцем, не забывая, разумеется, позаботиться о составлении завещания. Кто-то переселяет в деревню загулявшего по великим стройкам брата (районная прописка дает право городского трудоустройства). Кто-то из тех, что постарше, и вовсе оставляет детям квартиру и переезжает к природе насовсем, вполне довольствуясь тем, что дети с внуками, погостив летом на «даче», приютят потом на пару холодных и снежных месяцев. А кто-то покупает дом без всякого оформления, благо цена не больно велика.

И осуществляется, таким образом, еще одна, незапрограммированная и непредусмотренная волна сближения города и деревни.

На следующий день Геннадий зашел снова.

— Знаешь, если у тебя есть друзья, готовые дать займы крупную сумму денег под любые проценты,— моего недоумения он демонстративно не замечал,— бери немедленно и покупай дом. Цены на дом в деревне будут расти, перекрывая любые проценты. Свободные средства надо вкладывать в недвижимость.

Друзей, дающих займы под проценты, у меня не было. Свободных денег тоже. Десятку до зарплаты я чаще всего перехватывал у него. Дом в деревне я покупать не собирался. Мне хватало и других забот.

Но Геннадия невозможно остановить.

— Ну какие в деревне заботы? — наступал он на меня.— Калитку подправить? Дровишек наколоть вместо зарядки? В свете моей новой теории...

Разумеется, у него была теория. Я отложил работу и приготовился слушать. В прошлый раз это была теория голодания...

— У тебя застопорилась работа над очерком,— начал он.— Над романом? Хорошо, над романом... Ты вымучил пять скучных страниц и понял, что твой роман никто не станет читать. Неудача порождает отрицательную установку. Ты уже готов. В таком состоянии тебя можно брать голыми руками. И вот вместо того, чтобы одолевая следующие страницы измором, ты встаешь и исправляешь выключатель...

Выключатели у меня работали нормально. Об этом я и сказал.

— Ну хорошо, пусть розетка. Исправить розетку ты, положим, можешь.— Тут Геннадий посмотрел на меня с сомнением.— Допустим, что диплом инженера тебе хоть это дал... Простая и удачно выполненная работа поднимает твоё настроение и отвлекает от творческих неудач. Это положительная установка... Теперь ты сядишься и пишешь свой роман заново. Пять удачных страниц развивают положительную установку еще на пятьдесят.

Я удрученно молчал, чувствуя, как во мне вызревает отрицательная установка.

— Сколько у тебя дома розеток? Восемь. И все исправные? Вот видишь! (Мне стало отчего-то стыдно, словно это я виноват, что в доме нет неисправных розеток.) А когда у тебя недвижимость, у тебя неисчерпаемый источник положительных установок. Ты сидишь в тиши и кропаешь свои страницы. Потом разминаешь свои бесполезные мышцы и вешаешь на петли калитку. Мало? Проводишь в сарай свет, потом сооружаешь камин.. Кто из классиков сказал, что лучшие мысли приходят в голову у тлеющих углей камина?

Я молчал, чувствуя, как из головы улетучиваются лучшие мысли, заменяясь худшими. Геннадий прошелся по комнате и неопределенно крутнул рукой в воздухе.

— Думаешь, я тебя — я себя убеждаю.— И с ходу перестроился на деловой тон.— Короче. так... У тебя есть знакомый председатель колхоза? Пусть и не из десятка, как ты пишешь, прогрессивно мыслящих. Лишь бы рядом Сорок километров — предел. И колхоз должен быть отстающий без всей этой трескотни...

Подходящего председателя не было, но директор вполне отстающего совхоза в числе моих знакомых был.

— Сведи меня с ним... Что значит для этого не подходит? Это мы еще посмотрим, это я беру на себя.

Таким деловым я Дубровина не видел со времен нашей совместной работы в студенческом стройотряде.

— А докторская? — спросил я.— Ты ведь собирался заканчивать докторскую...

— Для этого и необходим дом,— твердо заключил Геннадий.— Завтра мы едем в совхоз,

2

Дом действительно никуда не годился. А место... Место было неопысуемым.

Вначале, правда, Геннадия предлагали купить огромную домину — с пятью окнами на все стороны, на высоком, сродни крепостным стенам каменном фундаменте. Но стоял он на голом месте у самого въезда в хозяйство. И вдали от реки Я не оговорился. Ему действительно предлагали. Чем-то он там всех покорила. Может быть, арбузами...

— Знаешь, чего в белорусской деревне не бывает никогда? — спросил он, когда мы собрались ехать.— Арбузов!

И мы отправились на колхозный рынок, где темнוליкие люди в тубетейках могли нам загрузить полный багажник «Жигулей», взятых напрокат у приятеля (зме-

сте с приятелем), прекрасными образцами полосатых плодов семейства тыквенных, только недавно появившихся на рынке.

Ход был точным, судя по тому, с каким удовлетворением расходились участники встречи у тихой речной заводи, разнося по домам по паре полосатых кавунов под мышками...

Немалую, конечно, роль в успехе поездки сыграла не однажды восхищавшая меня способность Геннадия, как нынче говорят, адаптироваться — безошибочно находить верный тон в общении.

Прямо на траве, развязав тесемочки своей папки, он изложил участникам встречи отношение к проблеме заброшенных усадеб, подкрепляя рассуждения цитатами из газетной периодики. Не забыл и теории положительных установок. И даже на свирельке по заявкам общественности что-то душещипательное исполнил, чем окончательно восхитил совхозного агронома Александра Онуфриевича — через пятнадцать минут просто Сашу. Директор совхоза Виктор Васильевич — через пятнадцать минут просто Василич — слушал доводы доцента внимательно, согласно кивал. Руководитель он был немолодой и, по всем понятиям, далеко не современный. Хозяйство вел по старинке, что называется, с тихим преодолением объективных трудностей, отчего звезд не хватало, правда и не набивал шишек. Здесь он тоже рассудил житейски: хорошему человеку почему не пойти навстречу.

В том, что человек хороший, никто не сомневался.

Слушал Василич, повторяю, внимательно, не перебивал, а потом вдруг подытожил:

— Да что вы меня агитируете! Нравится дом? Берите. Оформляйте. Из горожан на нашей территории, между прочим, будете седьмым.— И пояснил свое отношение:— Не могу я, если честно, смотреть, как приходит все это богатство в унылое, можно сказать, запустение... Вина, что ли, у меня есть. Перед бабками этими, что всю судьбу свою новой жизни отдали, а пооставались одни, будто все, чем страдали, чему радовались, никому вроде стало и не нужным... Надумаете брать — приезжайте. Будем соседями.

Через неделю Виктор Васильевич позвонил мне. Это было и вовсе неожиданно. Даже близко знакомые руководители хозяйств домой нашему пишущему брату звонят редко. На письма и то не отвечают.

— Ну где там ваш ученый? Будет брать или одумался?

«Ученый» между тем колебался. Одно дело теоретизировать, совсем другое — совершать практические шаги. Недели через две он отправился в совхоз самостоятельно. Похоже, что покупать дом он передумал. Во всяком случае, условия совхозному руководству выдвинул невероятные и по всем статьям безнадежные. Так, мол, и так. Все обдумал. Буду брать, если можно перевезти дом поближе к реке да в деревеньку поменьше, причем поставить обязательно чтобы с краю... Иначе не возьму. Дом-то хорош и цену свою оправдывает, но мне ведь не дом нужен — природа и уединение.

Непонятным образом эта ультимативная наглость оказала на совхозное начальство положительное воздействие. Какую-то перевернутую логику Геннадий здесь употребил, чем покорила Василича окончательно.

— Что, Александр Онуфриевич, поможем товарищу ученому? Сообразим насчет природы?

— Отчего же, Виктор Васильевич, не помочь,— оживился Саша, сразу смекнув, на что намекает директор.

— Завези ты его на эту самую что ни на есть природу, может, что и сообразится...

В конце большой деревни — когда-то, до укрупнения, как пояснил Саша, центральной усадьбы соседнего колхоза — машина остановилась.

— Дальше пехом,— словно бы извиняясь, сказал Саша.

У последнего дома над рекой Геннадий замедлил шаг.

— А здесь ничего...

Агроном довольно хмыкнул. Но они прошли мимо. Спустились к воде. Перешли, держась за кривые жердины поручней, небольшую протоку, прошли тенистой аллеей. Все это Геннадия начинало нравиться. Впередя рокотало течение. Снова шла по

кладкам, теперь над бурлящим потоком. В черной, со взбитыми клочьями белой пены воде стояли замшелые дубовые сваи.

— Была мельница,— пояснил Саша, поднимаясь на бутор.

Открытая взору река, совершая плавный изгиб, словно бы застывала, готовясь ринуться в собранную сваями горловину.. Третьи мостки, уже над притихшей водой, затененной кронами склонившихся над протокой деревьев, завершили дело. Когда за распутившейся зеленью открылась просторная, залитая солнцем поляна с уютным стожком — к ней спускался заброшенный сад, в глубине которого на взгорке, обнаружилась едва различимая в листве косая крыша небольшой хатки,— Геннадий, осторожно помедлив, словно боясь спугнуть случай, спросил:

— Эта?

— Она,— сказал Саша вроде бы небрежно, но с затаенным торжеством.

Это было то, что искал Геннадий.

Деревушка эта с мягким и ласковым названием Уть («Здесь и река Уть фактически начинается»,— пояснил Саша) полюбилась ему сразу. У Геннадия, как он потом мне признался, возникло странное ощущение, будто бы он здесь родился и никогда отсюда не уезжал, а только и отлучился до кладок, чтобы встретить приехавшего его навестить Александра Онуфриевича, с которым тоже, казалось, был знаком давно, задолго до всех своих столичных жизней, метаний и передраг, задолго до институтских увлечений, диссертаций и вообще всех своих городских взлетов и сует...

Дом Геннадий смотреть не пошел.

— Хозяин там, на месте?

— Хозяина нет.

— А хозяйка?

— Живет у сына, здесь километров двадцать...

Поехали и сторговались. Хозяйка запросила пятьсот, Геннадий полсотни добавил для верности. Когда расставались с Сашей, сказал:

— Завтра вечером еду в Москву, вернусь недели через две, сдам отчет и приеду оформлять...

— Да ты что! — заволновался, забеспокоился Саша.— За две недели она сто раз пересовещуется и передумает. Это же деревня. Надо брать завтра. С утра приезжай к конторе, пока наряд. Василич справку выдаст, потом в сельсовет — и конец делу.

Так и порешили.

Справку, правда, директор выдавать не стал. Ограничился устным высказыванием для сведения молодого еще председателя сельсовета: совхоз. мол, не возражает.

Когда процедура была закончена, Геннадий справился у Виктора Васильевича:

— Законное дело мы совершили или нет? Что-то я никак не пойму.

— Вообще говоря, не очень.

— Что это означает?

— А то и означает, что вот его,— директор показал на председателя сельсовета,— очень даже могут взгреть... О чем он в присутствии свидетелей предупреждался.

— А дом забрать могут?

— Дом нет... Он теперь принадлежит новому владельцу. На правах собственности. Вишь, тут написано,— Василич показал пальцем в гербовой бумаге, лежащей на столе,— «Личность сторон установлена, их дееспособность и принадлежность отчуждаемой собственности проверены...». Подпись и печать.

Так Геннадий Евгеньевич Дубровин стал полновластным владельцем недвижимости. Обретя тем самым первую положительную установку.

Жизнь кандидата технических наук и доцента вуза совершила, таким образом, при его полном и сознательном участии неожиданный зигзаг с непредвиденными последствиями.

Соседи у Дубровина объявились сразу по первому же в дом наезду. И даже если копошились бесшумно у себя во дворе или в хлеву, даже если уходили куда-то по своим хозяйственным делам, оставляли вокруг Геннадия свое незримое, как бы инфракрасное присутствие, естественное, как жизненное тепло. Участки сами собой

объединились, и Анна Васильевна, тихо, как курица в саду, шуршащая по хозяйству, и Константин Павлович, перекуривающий на старой колоде возле крылечка, вписались в облик обеих усадеб, связанных протоптанной в картофельной борозде тропинкой, так же ненавязчиво и неотъемлемо, как лавка под окном, кошка Катка между черных чугунок на пороге или глиняный кувшин на заборе, обосновались так же ненавязчиво, как и прочие одушевленные и неодушевленные предметы крестьянского подворья.

В первую же субботу по возвращении Геннадия из Москвы мы собрались в Уть. Я говорю «мы», потому что меня он, разумеется, прихватил с собой в качестве даровой рабочей силы.

Вставать пришлось часов в пять. Зато к полудню мы уже прорубили в зарослях репейника и крапивы проход к дому, расчистили некоторое пространство вокруг него, после чего, к удовольствию вступающего в права хозяина, обнаружился пристроенный сбоку, не оговоренный в купчей, то есть даровой сарайчик. Но зато сам дом, словно испугавшись вдруг наготы, съезжился в бедной своей неприкрытости, оказавшись сразу и не домом вовсе — маленькой бревенчатой хаткой с двумя оконцами, одно из которых было кухонным.

У калитки встретил нас сосед — Константин Павлович, как он отрекомендовался, деликатно обтерев руку о штанину ватных, не по сезону, брюк. Мигом обернувшись, он появился уже с топором и граблями, которые мы с энтузиазмом первопроходцев сразу пустили в ход.

Константин Павлович в бурной деятельности нашей не участвовал, но со двора не уходил, правда замечаний себе не позволял, хотя и поглядывал на наши действия критически, тихо пристроившись на трухлявой лавочке и неспешно дымя «Севером». Само присутствие новых людей доставляло ему видимое удовольствие. Однажды только он поднялся и бережно перенес в тень нашу авоську с темными бутылками, разумно заметив при этом, что пиво на солнце нагревается и теряет вкус. Тут мы засутились, добросали инструмент, вытрясли из авоськи и красного, как пожарное ведро, «дипломата» Геннадия все припасы, пригласили Константина Павловича перекусить, так сказать, за знакомство.

Константин Павлович отказываться не стал, стакан, наполовину налитый белой, дополнил пивом до краев, принял ерша не крикнув, закуску вниманием пропустил, поставил пустой стакан на газету осторожно, потом посмотрел с прищуром на серые, набухшие от недавних дождей бревна сруба, погладил их шершавой ладонью и задумчиво произнес:

— Добра хата будет, Генка. Подрубку заменишь, окна, двери... Добра хата будет, что тебе дача...

Тут возникла и Анна Васильевна, придерживая отвернутый подол линиялой сатиновой до полу юбки, в котором уместилось десятка полтора яиц, шмат сала и тарелка с дымящейся картошкой, как она выразилась, выкладывая продукты на покрытый газетой стол. Увалистая невысокая женщина лет шестидесяти, но крепкая еще, подвижная, с активностью через край, она была достойным дополнением своему медлительному, сдержанно-ироническому мужу.

Тут же между ними началась незлобная и, по всему, привычная перепалка, в которой, нисколько не стесняясь новых людей, насакивала, наседала Анна Васильевна, а Константин Павлович только снисходительно покрывал да комментировал ее выпады, ловко выворачивая на свой лад сказанное женой.

Перекусив, мы снова принялись за работу. Пообдирали старые, в размывах сырости обон, обмели стены веником, повыскребли из углов мусор. Насобирав во дворе всякогохлама, затопили печь. И вот уже забилось в ней пламя, привнос с собой в помещение жилой дух. Геннадий со складным метром все облазил, вымерил, занес результаты промеров в тетрадку. Пристроившись у подоконника, он принялся что-то вычерчивать и бормотать:

— Здесь отодвинем, это разберем, здесь книжную полку, здесь камин...

Тут, на сей раз к полному удовольствию Константина Павловича, снова появилась Анна Васильевна:

— Всей работы не переробишь, завтра не буде что робить.. Пошли вечерять..

Пошли ужинать.

Устроились на кухне у соседей. Анна Васильевна щедро выставила на темный щербатый стол все, чем богат был дом, — снова сало, снова миску с картофелем, яич-

вицу с луком в глубокой чугунной сковороде, эмалированную миску с наваленной студенистыми глыбами простоквашей...

С того первого дня Дубровин наезжал в деревню чуть ли не каждый выходной, использовал и просветы в расписании лекций и отгулы, а позднее и вовсе надолго перебрался в деревню, взяв положенный на докторскую диссертацию отпуск. Ночевал он всегда в собственном доме, мужественно сражаясь то с комарем, то с мышами, нагрянувшими в первые осенние холода. Мыши мешали спать и однажды чуть не повергли доцента в позорное бегство, но, к счастью, участливая Анна Васильевна и здесь не дала пропасть: надоумила приучить молоком рыжую хищницу Катьку, разом покончившую и с мышами и с посудой на кухонной полке, которая с грохотом обвалилась среди ночи от разбойного Катькиного энтузиазма.

Зачастил в деревню и я, благо и у меня появился, теперь «свой» угол. К спартанским лишениям Геннадия я относился с ироничным сочувствием, предпочитал останавливаться у соседей — летом на сеновале, а с холодами в большой комнате их дома, разделенной ситцевой занавеской на две половины.

Ни в тот первый вечер, ни в следующие наши тихие застолья расспросами стайки нам не досаждали. Хотя по некоторым их замечаниям я, к своему удивлению, понял, что многое из нашей личной жизни непостижимым образом было им известно.

А вот о себе хозяева сообщали охотно.

Заводила рассказ обычно Анна Васильевна, отталкиваясь плавно от какого-нибудь факта «общего бесстыдства». Ну, скажем, высказывала несогласие с правилом, по которому женщины стали выходить на пенсию в пятьдесят пять лет. Самая, мол, работа для бабы, когда в кате уже порядок, дети выросли и пристроены, что и делать еще как не скирды на поле кидать или другую какую общественную пользу осуществлять. «Вот помню я...» Тут и начинались одна за другой истории...

Константин Павлович поначалу степенно помалкивал. Потом мало-помалу начал подакивать, сочувственно кивал и даже вставлял какие-то уточняющие реплики. При этом он настороженно поглядывал на слушателей, словно бы измеряя внимание на их лицах — следил за реакцией. «Так,— кивал согласно,— так, так...» И с одного из этих «так» вдруг входил в разговор, поначалу вроде бы лишь дополняя супругу, но вот уже и решительно отгеснив ее, забирал повод в свои руки, круто сворачивал, уводил в свою сторону не забывая, впрочем, и поддакнуть жене, продолжавшей свою линию кивнуть ей, проявить в какой-то момент сочувствие.

Так и токовали они на два голоса о разном, вели каждый свою партию, но столь дружно и слаженно, столь внимательно к партнеру, с таким особым старанием заполняя в его речи паузы, что начинало в какой-то момент казаться, что и говорят-то они об одном.

Об одном и говорили...

Одно — это была их жизнь, прожитая вместе, оттого и одинаковая, однозначная в переживаниях, себя самое не перебивающая себе самой не перечаящая.

Постепенно из этих речей, прерываемых лишь приглашениями откусать да обращением внимания гостей то к шкварке, то к простоквашке, как из пестрых камушков мозаики, сложилось в нашем представлении их бытие.

Бытие Анны Васильевны и Константина Павловича вот уже много десятилетий складывалось ровно и размеренно. predetermined было во всех его больших событиях, во всех его будничных мелочах.

Поднимаясь засветло, Анна Васильевна всегда знала, чем будет занят ее день. Хотя нет, правильнее так день ее всегда знал, чем занять Анну Васильевну. День шел на земле и в хозяйстве земля и хозяйство задавали все его ритмы, лишая жизнь всякой неопределенности и суетливости.

Растопить печь, наварить картошки, потолочь ее свиньям, испечь блины, подоить и выгнать корову, нарвать свиньям крапивы, попилить-поколоть впрок дровишек в паре с Константином Павловичем... Потом прилечь. Кулак под голову, свернувшись калачиком. И не бодрствование и не забытие. Стукнешь щеколдой в сених, зайдя за молоком,— встанет, сполоснет глиняный грехлитровый глечик, нальет молока, процеживая пожелтевшей марлечкой, снова приляжет.

Кувшин молочный, глечик, мы сначала приносили сполоснутым, но Анна Васильевна этому воспротивилась: примета, мол, нехорошая, корова останется без мо-

лока. Но, кроме суеверия, была здесь и хозяйская бережливость. Смытки-то молочные она всегда сливала в чугуи со свиным варевом — какой-никакой, а все продукт.

Прикорнет Анна Васильевна (сон тот как смытое молоко, но и здесь бережливость), потом встрепенется, подхватится: что ж это я? На выгон пора корову доить... Нет — так жука на картофле кирпичами давить. Снизу под лист картофельный целый кирпич подкладывала, сверху придавливала половинкой. Сколько она того жука подавила — не счесть...

День шел за днем, в заданном землей ритме вращалось медленное колесо хозяйственного календаря. Надо пахать, надо сажать, надо стелить солому, вывозить тачкой навоз, надо, надо, надо... Засыпая вечером, Анна Васильевна редко когда планировала дела на завтра. Разве что исключительное, разовое, хотя и тоже предпринятое: картофлю окучивать, олешин, с вечера насеченных, от реки привезти... Тогда, укладываясь, предупреждала Константина Павловича, что утром ему к Федьке, совхозному бригадиру, коня брать.

Утром Константин Павлович, долго покряхтывая, поднимался, не завтракая ухидил на бригадный двор, а возвращался за полдень, ведя в поводу совхозную кобылу, впряженную в телегу. Иногда, правда, возвращался к вечеру и без лошади, но улыбающийся и довольный, чему способствовала початая бутылка плодово-ягодного, выглядывающая из кармана ватных брюк.

— Дал коня Федька? — встречала его Анна Васильевна, спрашивая исключительно для порядка, так как сама видела, что коня Федька не дал.

Константин Павлович, провяля самостоятельность, не отвечал. Присев на старую колоду, доставал из кармана пачку «Севера», неторопливо закуривал и, лишь додымив «до фабрики», старательно растерев окурки кирзовым сапогом, информировал:

— Буде ему с того коня... Завтра на сено велел выходить...

И чувствовалось по всему, что таким оборотом он был даже доволен: сено конем ворошить — работа нетрудная. А ему, всю жизнь имевшему дело с лошадьми и в войну служившему батарейным ездовым, так и вовсе привычная и радостная, вносящая разнообразие в пенсионную тяготину.

Удовольствие Константина Павловича объяснялось еще и тем, что, давно оказавшись в домашнем хозяйстве вроде бы не у дел, отдав все бразды в руки Анны Васильевны, которая была и моложе его по годам, и крепче по здоровью, и активнее по характеру, испытывал Константин Павлович при этом некоторое постоянное, непреходящее унижение. И сейчас удовлетворен был предоставившимся случаем «вправить бабе спицу», показав, что без мужика в хозяйстве ладу не будет.

— Завтра и пойду на сено, — заявлял Константин Павлович удовлетворенно, сводя такой решительностью счеты с «опостылевшей» бабой.

— Чтоб оно ему повывазило, тое сено, — не обращая внимания на мужнину достаточно глубоко запрятанную подначку, незлобно ворчала Анна Васильевна, понимая, что Федька в данном случае ни при чем, что сено ворошить действительно надо, рук в совхозе свободных давно нет («Да и откуль они возьмутся — с такой их работой!») и без Константина Павловича никак Федьке не обойтись. — Шпекулянт твой Федька на общественном... А ты хорош: не сленился бы сам в контору пойти, Они и дали б коня...

Начальство Анна Васильевна делила на две категории: Они и Федька.

Они — это все, что стояло выше совхозного бригадира, включая и конторских, и ветеринара, и даже водителя директорского «уазика», Они — это те, от кого зависела совхозная политика, кто знал наперед, что надобно делать и что делать не след, чего можно выписывать, а чего не положено, кто вправе решать, по сколько ячменя или комбикорма будет выдано за сданное в совхоз молоко и за прополотые свекольные дялки, кто вправе знать, когда, где и сколько можно косить для личной коровы, когда копать картофель на совхозном поле, а когда выбирать его на личных сотках. Они — это те, у кого есть, а значит, и имеет смысл просить (коня, машину, талоны на брикет с торфозавода), кто может и имеет право дать или не дать (от того, как попросишь), кто знает, сколько и чего давать положено.

Федька — это сам бригадир, как его по старинке, еще с колхозной поры называли, хотя официально он числился кладовщиком и исполняющим обязанности заведующего дальним совхозным отделением, к которому относилась и Уть. Ничего

не имеющего за душой Федьку Анна Васильевна помнила еще босоногим, знала его пристрастие к даровому утощению и плутоватость, а потому считала шалопаем и ни во что не ставила.

С Федькой у нее были давние счёты.

Как-то с неделю продергав с бабами свеклу на даяках, выросшую в тот год «что той горшок», наломав «горшками» этими спицу, узнала Анна Васильевна, что свекла так и осталась на поле не свезенной до самого снега. Повстречав бригадира у магазина за рекой, она прямо на людях ему почем свет и выдала. В хвост выдала и в гриву. На что Федька невозмутимо ответил:

— А хай она гниет, тая свекла. Тебе, Васильевна, вечно бы бузотерить. Деньги за свеклу выписали, сахар выдали — чего тебе, старой, еще треба?

Плаюнула старая в сердцах да и потопала, не дождавшись открытия магазина. Но не в Уть потопала, не домой. Пришла на почту и выдала, может первую в жизни телеграмму. Не одну даже выдала, а сразу две — в область и в район. По телеграмме той много шума было, комиссии наезжали, до самого Нового года начальство трясло. Федька эти телеграммы надолго запомнил. И стал он Анну Васильевну своей властью прижимать.

Но с бабой той — где сядешь, там и слезешь...

Жила она ровно и безропотно подчинялась описанной еще Глебом Успенским власти над ней (как и над каждым крестьянином) этой земли и всякой травинки, покорно принимала даже необходимость давить кирпичами жука — все же природа! Но сумела обрести в этой подчиненности и покорности точное и высокое понимание дела, отчего никак не могла признать и стерпеть бестолковой власти Федьки, который не знал и не хотел знать ничему в жизни цены. И шпыняла она Федьку где можно и нельзя, всякий случай используя, чтобы проявить свое к нему отношение — «насовать в штаны крапивы». А уж до того, чтобы просить о чем-то Федьку, она бы ни в жисть не снизошла.

Федька же повода ущемить Анну Васильевну не упускал. Используя в этом все возможности, определенные все тем же жизненным кругом: сено, лошадь, корма, дрова... — и все тем же жизненным ритмом: пахать, сажать, расгить, собирать...

Пообещает Федька, к примеру, лошадь для посадки картофеля на весь выходной день. А даст накануне и только с полудня. В выходной к старикам дочки из Минска должны были приехать да старшая с мужем со стаянии. За день «село и управились бы с картошкой». А тут что делать? Ладно, соседи помогли. Навалились гуртом, спин не разгибая, рванули, засадили сотки до гемноты. Но рыбок этот неестественный дал себя знать — занедужила Анна Васильевна, слегла. С неделю потом с койки не вставала, ахала, охала, даже свиньям корм Константин Павлович готовил и выносил. Корову доить, правда, он наотрез отказался, пришлось соседку просить. Вот напакостил Федька...

Из ритма, конечно, и случаи выбивали. Как-то ступила Анна Васильевна босой ногой на доску с двумя ржавыми гвоздями — оба ступню и прошли. К вечеру нога распухла, посинела, поднялся жар. Утром Константин Павлович пошел на совхозный двор, взял коня и отвез Анну Васильевну к фельдшеру. Лежит потом Анна Васильевна, нога гудит, перевязанная компрессом. А она на Федьку ругается. При чем Федька? А при том, что в душе у нее он как тот ржавый гвоздь...

Так и шла размеренно жизнь стариков, пока Геннадий своим появлением не внес в нее новые, непривычные ритмы.

4

Новые ритмы в жизни Анны Васильевны и Константина Павловича обуславливались энтузиазмом, с каким Геннадий принялся за обустройство своего владения.

Началось с подрубы — нижних прогнивших венцов, которые нужно было в доме заменить. Работа эта, требующая специальных навыков и нескольких крепких рук, была нам с Геннадием явно не по силам. По совету соседей пришлось обратиться к Федору Архиповичу. Сам он, по словам Анны Васильевны, дела не знал, но дружки из строителей у него были.

— Федька с мальцами срубят. Они сделают, але вельми много возьмут, — авторитетно подтвердил Константин Павлович.

Призвали Федора Архиповича.

Коренастый и юркий, в кепчонке набекрень, придававшей ему и вовсе плутоватый вид, он обошел хату, попинал сапогом прогнившие от земли бревна, потом поплевал на ладони, взял топор и, широко расставив ноги, рубанул сплеча раз, рубанул два, взял выше и еще рубанул, отчего острое лезвие глубоко вошло в тухлявую древесину. Тогда Федор Архипович инструмент отбросил и поставил диагноз:

— Два венца чисто сгнили. Вчетвером и сработаем, если будете помогать. Четыре сотни и стоять будет...— Подумав, Федор Архипович поправился: — Если честно, так пять... Из вашего материала.

Бревна для подрубы Геннадий пошел просить в конторе. Анна Васильевна здраво рассудила, что ему никак не откажут. Ему и не отказали...

С вечера рассчитав и распланировав (он все подготовит и завезет, а в пятницу — субботу хату поднимут, обеспечив на следующую неделю фронт отделочных работ), Геннадий поднялся чуть свет и в прекрасно-деловом расположении духа отправился берегом Ути в контору совхоза.

Был понедельник.

Пяток с небольшим километров по росе и со свирелькой окончательно подвляли настроение, ставшее на подходе к центральной усадьбе совхоза безоблачным, как марш веселых ребят из одноименного кинофильма.

Начальство в конторе Дубровин не застал. Прождал часа три. Перед обедом позвонил из райцентра Виктор Васильевич и передал бухгалтеру, что задерживается до конца дня.

По дороге назад Геннадий свирельку из чехольчика не вынимал, хотя что-то грустное насвистывал. У кладок его встретила Анна Васильевна, заметила:

— Чего свищешь, Генка? Свистеть — к беднежью.— От назначенной Федькой цены она никак не могла успокоиться.

Во вторник утром на месте не оказалось прораба. Но с директором договорились.

— Восемь бревен нам погоды не делают,— сказал Виктор Васильевич.— Завтра к семи приходите на наряд, возьмете машину. Тогда и оформим.

Назавтра машины не оказалось. Директора тоже. С вечера он договорился где-то насчет селитры и уехал организовывать самовывоз... Прораб читал в пустой конторе газету. Выслушав Дубровина, он только руками развел. Ему ничего про бревна не передавали. Видать, Василеч заматался, забыл. Поговорили о президенте Рейгане...

В четверг не было прораба, потом прораб был, но не было бухгалтера, уехавшего на самосвале в райцентр за зарплатой, потом не было машин — разъехались, — но прораб был и бухгалтер был, а когда наконец уже были все и была машина, бревна на пилораме оказались распущенными на доски, а те, что распилить не успели, были коротки.

В пятницу по дороге с пилорамы его обогнал директорский «уазик». И, резко затормозив, подался назад.

— Деятели науки большой и пламенный! — поприветствовал его Александр Онуфриевич, главный агроном.— Прогуливаемся или подвезти?

Выслушав замечания Геннадия относительно порядков, из-за которых он прогуливал вдоль речки уже километров сто, Саша вздохнул:

— Да, это у нас пока плохо поставлено...

— А что хорошо? — грубовато спросил Геннадий.

Но Саша не обиделся.

— Пока не много что, но стараемся...

Безучастным к мытарствам нашего доцента Саша не остался, чему поспособствовало вмешательство директорского водителя, вдруг решительно заявившего:

— Тоже наши проблему! Участок в лесу совхозу выделен? Собрались да и поваляли стволов сколько нужно, чем по конторам ходить...

— А что! — оживился Саша.— Ты, да он, да я... Соседа моего с мотопилой прихватим...

Домой Дубровин вернулся преисполненный надежды.

Кончилась история с бревнами месяца через три, поздней осенью, когда после множества созвониваний и переговоров выбран был наконец удобный для всех воскресный день и компания, «небольшая, но приятная», отправилась на «уазике» в дальний лес, где и были повалены восемь смолистых елей. Пока мы, сжигая обрубленные сучья, грелись у костра, Александр Онуфриевич слетал за трактористом, который

был застигнут в момент использования совхозной техники в личных целях, что сделало его стоворчливым и исполнительным. К вечеру бревна были доставлены и свалены около дома.

В следующую пятницу пришел Федор Архипович. Договорились с утра в субботу и начать.

Утром собрались «мальцы», посмотрели, повздыхали и сказали, что нужен домкрат. Геннадий, сохраняя невозмутимость, поинтересовался:

— Может, не один домкрат нужен?

— Нужны два.

— А раньше что ж не сказали?

— Думали, есть...

— А еще что нужно?

— Мху сухого набрать да подсушить.

— Как подсушить, когда на дворе дождь моросит?

— Можно и без мху, только поддувать потом будет... Или ветошью.

— А ветошь есть?

— Нема...

Ну и так далее...

Назавтра домкраты были (взяли в мастерской под честное слово, что к понедельнику вернем), ветошь была (Геннадий распотрошил старый матрац Анны Васильевны), но работники не пришли.

Вечером по дороге на автобус Дубровин зашел к бригадиру. Тот был, что называется, в невесомости. Ступил босыми ногами на половичок, долго смотрел на Геннадия, не узнавая. Уговорились на следующую субботу, теперь уже наточняк.

— Вы что, меня не знаете?

Но снова никто не пришел. Геннадий снова к Федьке. Он теперь его уже только так называл. Разжалованный из Архиповичей плут пообещал бригаду собрать и привести. Пришли «мальцы» к обеду, но за работу приниматься не стали. Посидели, снова повздыхали да и признались честно — с подрубой им возиться не с руки. Деньги брать вроде незачем: женки все одно прознают отымут. А за угощение?

— За выпивку работать грех, — убежденно сказал Федька. — Выпивку мы и за так имеем.

— Что ж раньше-то не сказали, что волянили?

— Отказываться вроде бы неудобно... Человек, видать, хороший. Мы к хорошему человеку всегда со всей душой...

На том и расстались.

Федор Архипович с той поры к дому Геннадия приблизился. Участие и помощь которую он чуть не оказал городскому ученому, делали его в собственных глазах человеком вконец своим. Тянулся он к Геннадию, угадывая в нем человека, который не совсем понятным и волнующим Федькино воображение образом достиг жизненного идеала и был поэтому окружен прямо сияющим ореолом.

Не получив образования из-за полной пожалуй, непригодности к учению, ценил образованность Федор Архипович чрезвычайно высоко понимая за ней главное в его представлении жизненное благо. возможность пользоваться, ничего не давая взамен. Родила их с Дубровиным по его представлению, общность положения в жизни пусть и на разных уровнях, в разных слоях, но одинаковая привилегированность оба были вполне обеспечены, ничего не производя руками да и ничего этими руками производить не умея. Все практические умения доцента, которые, начав с замены подрубы, он проявил и весь его строительно-ремонтный энтузиазм были позачищены Федором Архиповичем городской блажью — от безделья, от отсутствия обременительных служебных обязанностей. вообще от безоблачной жизни, в которой уместны и некоторые как бы спортивные нагрузки, своеобразное хобби.

А было с подрубой так.

Потерпев с «мальцами» неудачу, Дубровин не сложил оружия, не оставил затею.

Помню, как, присев на порожек своего покосившегося дома, он достал блокнот и углубился в какие-то расчеты. Вид при этом у него был такой, каким и должен был быть вид человека, разрабатывающего стратегический план.

— Двадцать семь рабочих дней, — подсчитывал вслух Геннадий, — плюс шесть

бутылок водки, плюс стоимость леса на корню, такси до автостанции, автобусные билеты и междугородные переговоры... Итого триста семьдесят два рубля восемьдесят копеек, не считая питания.

— Что это?

— Себестоимость бревен. Не считая и твоего участия, ибо личное время творческих деятелей не имеет денежного эквивалента... С меня хватит. Баста.

— А как же подруба? — спросил я язвительно. — Как с положительной установкой?

— Дом поднимать я буду сам. К субботе завезу кирпич и цемент. — Геннадий посмотрел на меня, как бы оценивая мои способности. — Ты у нас будешь бетономешалкой.

— Хорошо, — сказал я. — А кто у нас будет бревном?

Геннадий юмора не воспринял. Он был во власти новых намерений.

— Бревна нам не понадобятся. Переходим на прогрессивные методы.

В следующую субботу мы подняли домкратом углы дома, забутовали камнем выртыю по периметру канаву, выложили кирпичное основание, на которое опустили дом, выбросив два его нижних венца. Сами бы за день не управились, но к полудню подошли мужички из Федькиной компании — сначала они только смотрели на наше усердие, не без оживления идею Дубровина обсуждали, головами согласно покачивали, потом стали советы подавать и наконец, раскачавшись, включились помогать. Константин Павлович, увидев такое дело, поддержал всеобщий энтузиазм, прикатил взятую у соседей тачку, на которой они с Анной Васильевной стали подвозить песок для раствора. Анна Васильевна, разумеется, успевала при этом еще и командовать, на мужичков покрикивала, подначивала, а когда дело развернулось вовсю, незаметно ушла — как позднее выяснилось, собирать большой стол.

К вечеру дом стоял на кирпичном фундаменте, выпрямившийся и построенный.

— До зимы осталось подправить крышу, а весной уж окна, двери менять, полы перестелить, там и веранду пристроить, — говорил Геннадий за столом.

И снова все согласно кивали: в строительном деле новый хозяин, оказывается, понимал толк.

Едва завершив первый этап своей Большой Строительной Программы и обретя тем самым сразу несколько положительных установок, новый хозяин обратил свое внимание к земельному участку, окружавшему дом.

Участок, как мы помним, был запущен, порос лопухами и крапивой, кроме того, по мнению Дубровина, был непомерно велик. Наводить порядок на столь огромной территории смысла не имело, и он решил в первую очередь отмежевать соток двадцать, возвратив землю в совхозное пользование. Еще в пору хождения за бревнами для подрубы ему посчастливилось выписать в конторе и завезти в Уть целую машину подтоварника, небольших кругляков, вполне подходящих для использования их в качестве столбиков ограды.

Оставалось вкопать их и обнести территорию проволочным ограждением. К своему удивлению, Дубровин узнал, что купить проволоку нельзя, ибо ни в сельмаге, ни в городских магазинах, ни где бы то ни было ее, как и любого другого металла, необходимого в домашнем хозяйстве, никогда в продаже не бывало. Проволоку, рельсу, вообще любую железку можно было, оказывается, только достать, то есть позаимствовать на совхозном дворе или в другом месте, а попросту украсть. Здесь, правда, Анна Васильевна возразила, вразумив непонятливого доцента, что украсть — это когда задарма и чужое, а если за поллитровку и общественное — так это достать.

Геннадий не однажды замечал, что общественное Анна Васильевна отождествляет с общим, а часто с ничейным. Отсюда, к слову, и ее возмущение всякими попытками Федьки «качать права», выступая в роли защитника совхозной собственности, в которых Анна Васильевна не усматривала ничего, кроме стремления ей досадить.

Пока Геннадий доставал проволоку, Федька, обмерив участок соседей, занятый картошкой, установил, что он превышает положенную норму — не соответствует. И тут же велел трактористу запахать незаконную полоску, хотя толку в ней для совхоза не было никакого. Формально он был прав, соблюдал законность, и Анне Васильевне ничего не оставалось как молчаливо смириться, оставив обиду до случая.

Участок же, отмежеванный Геннадием к совхозному долю, был вполне удобен для возделывания и обработки, но так и остался незапаханным. Он все больше и больше зарастал бурьяном и чертополохом. Никакие просьбы и напоминания Геннадия, обращенные к совхозному бригадиру, не помогали. Не помог и визит доцента в контору, где на него просто посмотрели как на чудака. «Земли у нас мало, что ли? Дался вам этот клочок!»

— Говорила тебе, не надо б городить,— ворчала Анна Васильевна.— Самому не нужно — мы бы засеяли, мы бы и собрали. Еще бы одного кабанчика завели, глядишь, и тебе была бы шкварка...

Земля для нее с Константином Павловичем была средством существования, источником всех благ и, пожалуй, даже главным смыслом всей жизни.

Но Федька плевать хотел на весь этот смысл. Повстречав Геннадия у конторы, он спросил, не скрывая недоумения:

— А что ее, и впрямь мало? Она сколько земли! Попробуй перемолоти...

И озабоченно вздохнул, всем своим видом показывая, как непросто ему, Федьке, совхозные гектары «перемолачивать».

В тот вечер Геннадий долго не давал мне спать.

Мы говорили об ЭВМ и автоматизированных системах управления. Мы говорили о перестройке управления, о том, как трудно управлять большим хозяйством, как необходимы для этого экономико-математические методы, время которых пришло. И как бессмысленны и бесполезны они, пока мы не научимся складывать свои маленькие и конкретные озабоченности в одну большую заботу, маленькие и конкретные любви к маленьким и конкретным клочкам земли — не обобщенной, не «великой и бескрайней», а самой что ни на есть отгороженной столбиками самодельного забора, — пока мы не научимся складывать эти любви и эти клочки в большую любовь и в большую землю, на которой должен быть порядок, сложенный из маленьких порядков.

Мы говорили о том, что сложность содержится уже в самом сложении маленьких, первичных ячеек в большое целое. При этом возникают проблемы взаимосвязей, они как раз и требуют автоматизации и математизации управления. Но бессмысленно добиваться управленческой гармонии целого, если в ячейках нет элементарного порядка.

— Парадокс в том, — говорил Дубровин, — что задача низшего уровня оказывается, по сути, самой высокой. Потому что система, собранная из беспорядков, при всей организованности, при всей отработанности ее сложных взаимоотношений остается лишь беспорядком...

Когда Геннадию надоело взывать и доказывать, возмущаться и философствовать, он, вооружившись косой и топором, за несколько часов отчаянного сражения с чертополохом расчистил участок, потом сгреб подсохший сорняк в огромную кучу и отправился на хоздвор за соляркой, чтобы устроить торжественный костер.

Но тут Анна Васильевна его остановила, объяснив, что ветром огонь может перебросить на постройки и с костром надо бы поспешить до затишья. Согласившись с разумными доводами, Геннадий укатил в город.

Через неделю на участке появились двое рабочих на тракторе с прицепом, мусор был погружен и увезен. По приезде, растроганный таким неожиданным сервисом, Дубровин тут же отправился в контору. На крыльце он встретил Александра Онуфриевича. Начали с погоды и видов на урожай, потом Геннадий сказал несколько смущенно:

— Слушай, там с бурьяном этим... Неудобно как-то. Шумел, шумел... Надо бы рассчитаться за помощь — все-таки труд...

— Да, да, — засуетился Саша. — Хорошо, что ты напомнил. Зайди в бухгалтерию. Там тебе начислили. Рублей двадцать семь... За заготовку веткорма.

— Чего?! — переспросил Геннадий, почувствовав, что начинает сходить с ума.

— Веткорма, — невозмутимо ответил Саша. — У тебя почти трехдневная выработка. Норма-то полтора кила в день. Ну, я побег...

Александр Онуфриевич куда-то торопился и, вскочив в кабину подрулившего самосвала, укатил, так и не завершив объяснения.

Объяснилось же все назавтра. И до безумия просто.

Назавтра я проснулся оттого, что Геннадий тряс меня за плечо.

— Что случилось? — спросил я, преирая глаза.

Спалось на сене сладко, солнце стояло уже высоко.

— Приехали. Сидят на деревьях.

— Кто?

— Интеллигентные с виду люди. Все ломают и крушат. Невообразимо.

У реки и впрямь творилось нечто невообразимое. Гудели машины, лихо подка- тывали тракторы. Множество людей, одетых по-спортивно, что выдавало горожан, с ожесточением ломали, рубили, пилили деревья и кустарники, охатками грузили ветки на машины. Федор Архипович возбужденно носился между ними. Отдавал какие-то команды, азартно покрикивал. Азарт организатора в нем был...

На Дубровина больно было смотреть. Даже стремясь специально ему досадить, трудно было б придумать что-либо более злое.

Дело в том, что на заросли у реки в самом начале лета уже наваливалась беда. В несколько дней вся листва на них, как паклей, опуталась белой паутиной, потом в ней расплодился в бесчисленном множестве какие-то личинки, образовав омерзительные клубки. Распространившись, они обожрали всю зелень. Деревья казались погибающими, что вызвало крайнее беспокойство Геннадия, который, несмотря на уверения Анны Васильевны, что все обойдется, бросился принимать меры. Умчавшись в город, он не поленился разыскать знакомого директора Института защиты растений и даже привез ему спичечный коробок с собранными личинками. «Нельзя ли все это как-то химически обработать? Какой-нибудь вашей дрянью?» — «Обработать мы все можем. Только...» — «Что только?» — «Боюсь, что от нашей, как ты тонко подметил, дряни вокруг твоего дома вообще ничего не будет расти».

Это Дубровину не подходило. Ландшафт вокруг Ути он слишком ценил. Неужели нет ничего безвредного? «Мне бы твои заботы, — вздохнул директор. И тут же поспешил Геннадия успокоить: — Да не волнуйся ты и не переживай. Один хороший дождь — и все будет в порядке. Соседка права, оклемаются твои деревья...»

Дождь пошел, и деревья действительно оклемались.

Еще вчера, проходя мостками, Геннадий с радостью отметил, что ветви столь милой его сердцу аллеи уже полностью оделись новой листвой.

И вот сейчас все вокруг снова было голым.

— Что они делают? — спросил Геннадий, отыскав среди приезжих Александра Онуфриевича.

— То и делают, — ответил Саша многозначительно.

Здесь все и прояснилось с бурьяном. Оказывается, своим самоотверженным трудом по очистке участка наш доцент от кибернетики принял активное участие в большой и повсеместно развернутой веткозаготовительной кампании.

Лето выдалось в тот год сухое и жаркое. С середины мая до конца июня не было ни одного дождя. В сельском хозяйстве сложилась тяжелая, местами и вовсе критическая ситуация с кормами. Тогда и родилась идея провести силами горожан (и не в столь критических ситуациях приходящих селу на помощь) кампанию по заготовке веток.

Как и всякая кампания, эта приняла грандиозные масштабы. На ветки были брошены все. Предприятиям организациям и учреждениям доведены были нормы заготовок на каждого активного работника. Как и во всякой крупномасштабной кампании, не обошлось без нелепиц и издержек. Ответственные организаторы стремились любой ценой выполнить нормы и задания. И в сенажные траншеи сваливались не только веточки, но и целые стволы. В масштабном деле не до учета местных условий. Все были брошены на ветки, в зачет заготовителям шли только ветки, ну еще всякий сорняк, бурьян — все, кроме травы. Даже если трава пропадала под ногами веткозаготовителей, косить ее не разрешали.

— А сколько бы вы мне заплатили, — спросил Дубровин агронома, — накоси я целый прицеп сена?

— Александр Онуфриевич вопрос понял, ответил смущенно. Что-то про расценки и нормы...

Зато подошедший Федор Архипович все доходчиво объяснил.

— Сено не в счет, — сказал он важно. — Велено веткорм — вот и давай веткорм... Или газет не читаем? — Помолчал. Помолчав, добавил: — А что сено? В газете прописано, что питательных веществ в ветках даже больше...

В тот вечер мы снова говорили о Федьке.

С самими веткозаготовителями все было ясно. Люди, в своем большинстве для села случайные, пришли сюда не своим умом, а от чьего-то организаторского энтузиазма и движимы были отнюдь не теми мотивами, которые обычно побуждают нас к смене занятий и перемене мест. Поэтому и не о них здесь речь. Но Федька...

Именно он, по убеждению Геннадия, должен был первым восстать, воспротивиться этой несурзной, бесполезной и даже вредной работе по заготовке веток. Он должен был отказаться выписывать и закрывать наряды на никому не нужную работу. Но он не восстал и не отказался.

— Возможно такое лишь в одном случае,— говорил Дубровин,— если от него целесообразности никто и не требует. Если над головой у Федьки надежная и непротекающая крыша...

5

Надежной и непротекающей крышей над головой совхозного бригадира могли быть только Они, как называла Анна Васильевна все совхозное начальство.

— Подкосили нас шефы со своей помощью,— вздыхал Виктор Васильевич при встрече.— Ветки в корм нам отродясь были не нужны, скот наш все равно их есть не хочет... Места здесь низкие, засуха не сказалась. Но команда была — только ветки. И выработка чтобы не меньше десятки на день. Такая установка. Вот и накрутили зарплаты...

На ветках этих Виктор Васильевич и погорел. Обладая в отличие от Федьки и способностью и потребностью рассуждать житейски, директор сразу увидел бесполезность затеи. Но объяснять, доказывать что-либо в инстанциях он не стал, а попросту решил схимичить: приехал с совещания, глянул на результаты первого дня работы веткозаготовителей и поставил их на свой страх и риск на другую работу: косить траву с неудобия, куда техникой не подойдешь, полоть свеклу... Да мало ли дел в захудалом хозяйстве! А отчитывался как за ветки...

«Сгорел» Василич быстро и бесшумно. «Химия» его с фиктивными нарядами всплыла, дошла до самого верха, откуда тут же приехала комиссия. Факты приписок подтвердились, доводы о рациональности — платили, мол, не больше, чем на ветках, но хоть за полезный труд — никакого успеха не возымели. И через две недели он уже возглавлял какую-то районную службу. Что-то вроде станции искусственного осеменения...

Субботним утром, проезжая на автобусе мимо его дома, мы увидели бывшего директора в палисаднике — голым по пояс, с завязанным по углам носовым платком на голове. Неторопливо и умиротворенно Виктор Васильевич обрабатывал тяпкой цветочную клумбу под окном. Увидев нас, помахал рукой, приветливо улыбнулся. Улыбнулись и мы, поняв, что в новом качестве чувствует себя Виктор Васильевич совсем неплохо. За многие годы работы сначала председателем колхоза, потом директором совхоза такую субботнюю роскошь он смог себе позволить, пожалуй, впервые.

Новый директор, присланный из соседнего хозяйства, где он был главным зоотехником, оказался человеком молодым, энергичным и строгим. В разговоре прямым, а иногда и нарочито циничным, что бывает с некоторыми ранними выдвиженцами. Во всяком случае, когда я при встрече поздравил его с назначением, Петр Куприянович Птицын, так звали нового директора, недовольно скривился:

— В жизни мне никогда не везло. Была бы должность стоящей, разве меня бы на нее поставили? На эти их дыры заплатки латать...

В воскресенье приехал коллега Геннадия, тоже кандидат наук, только экономических, Владимир Семенович Куняев. Давно собирался Дубровина навестить. Осмотрел дачу придирчиво:

— Здесь у тебя настоящее переделкино.

Все, мол, переделывать надо.

Стали собирать на стол. Стол этот с лавками, собственноручно сколоченный доцентом в саду под яблоней, был первой его гордостью.

— Лук на столе, между прочим, тоже с собственного огорода...

Вот это Куняева потрясло. На приятеля он посмотрел с уважением.

Только уселись, как заурчал у калитки директорский «уазик». Петр Куприянович

приехал в Уть знакомиться. Геннадий стал уже одной из местных достопримечательностей. Но в дом новый директор зайти отказался:

— На что мне ваша хата? Что я, хат не видал?

Глянул на неухоженный участок. На него глядка с луком впечатления не произвела. Высказался в критическом смысле:

— Тебе бы женку вроде моей. Она бы тут все перебрала, пересортировала. Каждую травку в свой цвет повыкрашивала бы. И стояла бы на карачках, дожидаясь, когда какой сорняк выглянет. Чтобы его, значит, сразу...

За столом Владимир Семенович, экономист, сразу принялся нового начальника зондировать. С присущей ему прямоотой.

— Чего это у вас мужики под магазином третий день сидят? Или нельзя подвезти вовремя хлеб?

— Это же надо,— невозмутимо ответил директор,— быть такими лоботрясами... Когда до города на автобусе полтинник. И хоть завались там этого хлеба.

— Это в каком же смысле завались? — Куняев, экономист, попробовал взять поглубже.

Но Петр Куприянович от прощупывания легко и свободно ушел.

— Да все в том же. Привыкли к иждивенчеству. Это подай, то подвези. А потом сидят вот, лишь бы не работать...

Разлили за знакомство.

Тут же у калитки появляется Федор Архипович. Нюх на выпивку у него отменный. Но к столу не подходит. Стоит, с ноги на ногу переминается. Стали звать — отказывается. Но и не уходит, издали поглядывает, разумеется, с интересом... В чем дело? Отчего скромность? Подойти Федьке надо бы. Да и при разговоре поприсутствовать. Как-никак на его территории...

Но подойти Федька побаивается. Ведь пока он с этой стороны дистанцию выдерживает, с той, другой стороны от стезжи, в борозде протоптанной, ту же дистанцию держит Анна Васильевна. Пока он у калитки стоит, Анна Васильевна тоже к столу не подойдет: неудобно вроде бы незваной. Но и стыда стоять вот так у нее нет. Потому что она не просто, не от безделья, а Федьку караулит. Так и будет стоять вполуборот, на гостей поглядывая да на Федьку. Выжидая, когда он подойдет все же отважится. А он отважится — против дарового угощения ему никак не устоять, да и важно ему принять участие в застолье... Тут она ему и выдаст. За какой-нибудь из грехов. За что именно выдаст, Федька, наверное, не знает, зато знает, наверное, что повод его выхлестать при людях у нее всегда есть...

Так и случилось.

Едва Федор Архипович за столом оказался, Анна Васильевна и метнула в него первую кошку:

— А давно я у тебя хотела спросить, Федюня, зачем же ты это скирду за садом сжег?. Вы, конечно, извините и здравствуйте... Я вот говорю, солому спалил. А чего он ее палил? Нет бы людям ее — для скота подстилать...

Но новому директору такое вмешательство незнакомой ему пенсионерки не пришлось.

— Нельзя подстилать,— довольно грубо одернул ее он.— Не положено.— И уже обращаясь к нам, более даже к Владимиру Семеновичу, как бы продолжая начатую тему: — Вот народ! Солому им для скота на подстилку... Жирно жить стали. И все оттого. Даровое потому что...

Федор Архипович на начальника нового, так удачно его поддержавшего, с благодарностью посмотрел. Кивнул согласно. Ясно же, что не положено. Но Анна Васильевна не унимается:

— А палить зазря положено?

Директор молчит. Потом, показывая, что разговор закончен, отворачивается... Зря, конечно, он так, думаю я. Не знает он Анны Васильевны. Не научен еще, как Федька в истории с телеграммами...

Анна Васильевна обиженно отодвигается, но не уходит. Много она здесь прожила, многих пережила. Смотрит на нового директора отрицательно.

Впрочем, Куняев тоже. Неожиданно для соседки он приходит ей на помощь. Барские манеры его всегда коробят. Они и Геннадия коробят, но он молчит.

— Мы вот ехали, там у вас тракторы без дела стоят. И солярку жгут. Им что, двигатели выключать тоже не положено?

— Работы нет, вот и стоят. Будет работа — поедут...

Куняев глянул на часы.

— Давно стоят. Четвертый час... Да за это...

Я глянул на директора с опаской. Эх, не туда Владимир Семенович застолье повел. Ему что — наговорил и уехал. А нам оставаться, на этой территории жить. С прежним директором все хорошо получалось, гладко. А здесь не вышло бы обиды...

Но Птицын замечания столичного ученого как личную обиду не воспринял.

— Понимаю,— сказал он, слегка улыбнувшись,— энергетический кризис, режим экономии.— И вполне дружески, вполне взаимно, по-свойски поддержал философскую беседу. Понимающе и как бы на равных.

— Я вот тоже ехал. Остановился даже. Тарахтят, жгут солярку. Два пустых, а в третьем он прямо за рулем спит. И шум ему не мешает... Даже подумал, как бы это трактор из-под него аккуратненько вынуть. Так бы и спал — в невесомости...

Петр Куприянович вздохнул: «Такой народ...» — как бы подчёркивая, что он тоже здесь человек пришлый, пока еще посторонний, потому что новый. За все происходящее как бы не отвечающий...

Анна Васильевна вдруг забеспокоилась:

— Выпимши? А не задохнется он? От газов этих. Надо бы разбудить...

— У нас народ крепкий.

Федька засмеялся довольный. Два тоста уже сделали свое, и Федор Архипович расслабился...

6

Солому Федька действительно сжег. Узнал, что из района едут с проверкой состояния полей, тут и подпалил. Горела скирда жарко, весь день и всю ночь взрывалась искрами, а к утру на поле за садом осталось только черное пятно.

Утром Федор Архипович приехал, в результатах свей деятельности удостоверился. Назад возвращался не краем поля, хоть и было бы короче, а через деревню, всем своим видом выражая удовлетворенность.

Снова выступил Федор Архипович радетелем за порядок, за общественное добро. И совсем уж хорошо получилось, когда новый директор его в этом поддержал и как бы утвердил.

— Слушай, тут ерунда какая-то получается,— говорил Геннадий.— Выходит, что солому он сжег, чтобы перед начальством выслужиться. Но что же это за служба такая, что, уничтожая добро, можно выслужиться?

Федор Архипович эту службу знал. Главным в ней для него было в должности продержаться.

Хитрость тут была вот в чем: когда к февралю корма на совхозной ферме совсем кончились, не кто иной как Федор Архипович проявил инициативу, укотив на трех совхозных грузовиках аж под Полтаву, к свояку, что работал там таким же, как он, бригадиром. Все за той же соломой. Так что дальний умысел и какое-то подобие логики здесь даже были. Не всем и не сразу, но все-таки понятной и объяснимой.

Не потому ли он солому сжигал, что таким нехитрым образом ставил совхозное начальство от него, Федора Архиповича, в зависимость, подчеркивая при этом свою делом озабоченность и даже в деле этом незаменимость? И свое умение все организовывать. Не важно, какой ценой.

— Ведь продержаться в должности Федор может когда? — спрашивал себя Геннадий. И тут же отвечал: — Только если он постоянно чем-нибудь занят, если он постоянно и незаменимо нужен. При этом не важно, что делается, важно делать организованно.

— Ну, здесь ты ошибаешься,— заметил я.— Ты перегибаешь. Важен и результат. Продержаться он может, все-таки давая результат.

— При одном условии,— возразил Геннадий.— Что для тех, от кого положение Федьки зависит, результат его труда что-то значит. Если они этого результата от него ждут. Но здесь, в этом хозяйстве, не очень-то ждут...

И действительно. Федьке положено было жалованье, никак не зависящее от результатов его труда. И от продукции, им производимой. И от затрат на нее и

от выручки за нее. Отсюда и логика: «Хай она гниет, тая свекла». Трактористу в этом совхозе тоже все равно, сожжет он солярку или сэкономит. Он за нее не заплатит. Ему все равно даже, работает он или простаивает. Потому что все «положенное» ему директор начислит. Иначе останется и без такого тракториста. Тракторист тоже вроде бы не зарплату получает, а жалованье.

— Вот и получается, что от Федьки всем здесь нужно совсем немного.— Геннадий подводил итог своим рассуждениям.— Был бы человек хороший — это раз. Было бы все тихо — это два.

Федор Архипович в этом смысле был человек хороший. Выступать, возмущаться, требовать он не начнет. Наряды выписывать на пустую работу не откажется. Умничать тоже не станет. Дело свое будет волочить и удобным будет для всех вполне. Пока... Пока все будет тихо, пока не случится скандал. Вроде того давнего — со свеклой и телеграммами...

Скандала под своей «крышей» Федька, наученный горьким опытом, боялся с тех пор больше всего. Однажды, впрочем, он чуть не произошел. Все из-за Геннадия с его характером, с его упорным нежеланием считаться с обстоятельствами.

Сено на неудобных Анна Васильевна с Константином Павловичем, как, впрочем, и вся деревня, несмотря на запреты, заготавливали. Правда, делали это украдкой: прокашивали лишь плешины, незаметные с дороги, убирали траву побыстрее, даже не досушив, таскали ее тайком мешками и все больше на себе: ни с тачкой, ни с лопаткой незамеченным не останешься.

Вконец возмущенный такой несурезицей, Геннадий как-то и предложил старикам сушить на его участке, здесь же и собирать сено в стожки. Анна Васильевна предложение доцента приняла, сразу смекнув, что у него Они не отымут.

И вот однажды Федор Архипович, наехавший в Уть все с тем же намерением показать Дубровина кому-то из районных дружков, увидел нашего доцента в трусах и сандалиях, обливающегося потом... тянущего нагруженную ворохом свежескошенной травы тачку. Сзади ее подталкивала Анна Васильевна в паре с Константином Павловичем.

Непристойность и срамота происходящего Федора Архиповича потрясли. Он сидел верхом на своем персональном мотоцикле, смотрел на эту троицу ошарашенно и даже забыл заглушить мотор.

Такого от Дубровина он не ожидал.

И дело не в облике. Этим горожанам все позволено. Даже расхаживать среди бела дня в одних трусах. Дело и не в хищении, которое Дубровин соучастником совершал, не в нарушении строгих правил, которые были среди бела дня нарушены при его непосредственном содействии... Дело в неприличности самого занятия: тянуть тачку, имея вузовский диплом и в придачу диплом кандидатский.

Своим недостойным поведением Геннадий его, Федьку, в глазах районного товарища прямо позорил.

Увидев Федьку, да еще с каким-то начальником, Анна Васильевна всплеснула руками, ахнула. И, по-детски пригнувшись, кустами к дому побежала. Константин Павлович, тоже изрядно струхнувший, с досадой плюнул, но куда не побежал, а встал в стороне, опустив руки по швам и всем своим видом демонстрируя к преступлению непричастность.

Районный товарищ, сразу смекнувший, что дело нечисто, что доцент этот далеко не тот, за кого здесь себя выдает, повел себя официально.

Осмотрев два стога на участке Дубровина, он довольно сухо и строго поинтересовался, чье сено будет.

— Мое,— не моргнув глазом соврал Геннадий, не обращая внимания на Федьку, подававшего ему какие-то знаки.— Оно не будет. Оно есть.

— Зачем вам столько сена? — спросил товарищ из района тоном, не сулившим ничего хорошего. Так спрашивают, составляя протокол.

Анна Васильевна уже катилась к месту происшествия с закуской в подоле и двумя бутылками белой, припасенной к какому-то случаю Федька Федькой, но с начальством шутки плохи. Чувствуя себя, а не Федора Архиповича с товарищем виноницей происшествия, разумность установленных правил обсуждать не привыкшая, она таким традиционным способом намеревалась спасти соседа от нависшей над ним беды.

Федька ее понял, поддержал, засуетившись:

— Да будет вам заводиться... Сообразим за встречу по маленькой — всего-то и делов.

— Водку в жару я не пью, — сказал Геннадий. — Тем более чужую.

Федор Архипович, почуяв, что надвигается скандал, потянул своего товарища в сторону. Громким шепотом принялся втолковывать ему что-то про ситуацию. Ситуация, понимаешь, не та. Но товарищ отступать был не намерен. Геннадий в трусах и сандалиях на него впечатления не производил.

— Зачем вам столько сена? — переспросил он строго.

— Собираюсь завести козу.

— Вы что мне голову морочите? — грубовато одернул его инспектор. То, что он инспектор, теперь было очевидно. — Я что, не знаю, сколько сена нужно для козы?

Геннадий зашел в дом. Тут же вернулся уже одетый. В руках папка с газетными вырезками.

— Вы-то, может быть, знаете... — Он уже разворачивал районную газету. — А я нет. И знать не хочу. Потому что со всеми вашими знаниями, со всей вашей вот такой работой, — Геннадий кивнул в сторону мотоцикла, — кормов в районе к марту, между прочим, почти не было... И скот во многих хозяйствах — при всех рекомендациях, — между прочим, голодал. А я так не могу. Я не могу издеваться над животным. Даже если это коза... У меня все. — И повернувшись, пошел в дом.

— Будем составлять акт, — кивнул ему вдогонку инспектор. — Если вы такой умник... Хищение налицо.

Анна Васильевна всплеснула руками. Геннадий, услышав угрозу, обернулся. Подошел.

— Не будете, — сказал он твердо. — А если будете, а если будете, то завтра я этим делом специально займусь. И сделаю все, чтобы больше вас сюда не направляли.

Инспектор сразу сник. Так далеко заходить он не собирался. Кто его знает, этого доцента. Да и больно надо ввязываться из-за какого-то сена... Сто лет оно ему не нужно.

Федор Архипович поспешил увести своего товарища подальше от греха. Уж ему-то этот конфликт был и вовсе ни к чему. Выставлять себя перед нами радетеlem за общественное он не собирался да и не мог.

Мы-то давно знали, что, кроме всего, был Федор Архипович беспардонный мошенник и вор. И если за все время нашего знакомства хоть в чем-то и проявлялся его талант, так это как раз в воровстве. Но при этом было у Федьки одно строгое правило: для себя не красть.

Вот здесь-то и заключена была его главная хитрость. За этим строго соблюдаемым правилом проявлялись и его предприимчивость, и предусмотрительность, и поразительная дальновидность, оценить которые даже Геннадий смог лишь много спустя, когда понял, что, не воруя для себя, получал Федька всего гораздо больше, чем имел бы от примитивного воровства, связанного к тому же с прямым риском. Именно воруя не для себя, он прекрасно устраивал свои дела, обеспечивал себе крышу над головой и, как оказалось, запасные позиции на будущее.

7

Надо сказать, что Федька и вообще старался законов не нарушать. И действовать без грубости. Взятки он откровенных не брал, имущество совхозное на сторону не продавал, рукоприкладством и даже матерщиной не грешил. Счеты всегда сводил тонко — действиями не только законными, но даже как бы защищающими закон. Всегда ратовал за порядок. И даже когда продукцию губил, делал это или неумышленно, или как бы во имя порядка.

Снова говорили мы с Геннадием о природе его неуязвимости.

— Конечно, — фантазировал я, — если бы поставить над ним неотступного стража, искушенного в юридических тонкостях, чтобы проследить каждый его шаг, можно бы не однажды Федора Архиповича подловить...

Отклонения от общепринятых норм нравственности и морали он ведь постоянно совершал, а они, как известно, всегда на самой грани законности или за гранью.

— Нет,— останавливал меня Геннадий,— неотступных стражей на каждого федыку не напасешься. Да еще и искусенных в тонкостях.

— Конечно,— продолжал свои фантазии я,— есть выше Федора Архиповича разумные, все понимающие люди, обладающие достаточным кругозором, чтобы увидеть общественную вредность совершаемого Федыкой лавирования на грани законности...

— Нет,— говорил Геннадий,— сверху далеко не всегда и не все разглядишь. При любом желании.

И действительно, слишком уж незаметной и незначительной выгладит сверху невзрачная фигура бывшего совхозного бригадира, который к тому же достаточно точно чувствует грань дозволенного, интуитивно за нее не высовываясь, внимание к себе не привлекая.

Где же выход? Может быть, в воспитании? Будь у Федыки хоть немного совести, воспитай мы в нем хоть немного порядочности...

— Нет,— отмахивался Геннадий,— совестливости и порядочности слишком долго придется ждать.

— Значит, гнать.— Я преисполнен был решимости.— Ставить на его место другого, более порядочного человека.

— Нет.— Дубровин в свойственной ему манере перешел к аналогиям из хорошо ему знакомой области.— Инженеры знают, что для нормальной и устойчивой работы любой сложной системы она должна быть саморегулирующейся. Необходима четкая обратная связь, которая немедленно среагирует на любое отклонение в работе и автоматически устранил его причину... Нужен порядок, при котором плохо работать Федыке было бы просто невыгодно. Чтобы всякое отступление от норм и правил било его не по совести — она у него слишком эластичная,— а по карману. Каждый должен получать в прямой зависимости от того, сколько стоит то, что он произвел. В этом главный смысл бригадного подряда, безнарядных звеньев, которых в стране становится сейчас все больше. Но до нашей Ути сия новинка пока не дошла. А это как раз и на руку любому федыке, этим он и пользуется. За этим он как за стеной. Потому что если даже трактористу здесь платят вне зависимости от количества, качества и полезности его труда, то уж он, Федыка, за свое жалование мог бы быть спокойен...

Если бы еще не мешала ему жить Анна Васильевна.

Слишком сильным в Анне Васильевне оказалось понимание смысла жизни и своего труда на земле, своего права на ней. И случился вскоре у них с Федыкой большой скандал. Было так.

Подловил стариков Федыка все на том же сене. Все с той же злополучной тачкой. Застукал Анну Васильевну с Константином Павловичем на лесной поляне, где сено, украдкой накошенное и просушенное, они на тачку погрузили — целую копну,— старыми вожжами перетянули, присели рядышком, чтобы перед дорогой передохнуть.

Тут Федыка с лесником и нагрязнули. Поймали, что называется, с поличным. Сено предложили старикам разгрузить, тачку порешили конфисковать как средство хищения. Делу придать крутой оборот, чтобы другим неповадно было.

Анна Васильевна испугалась не на шутку. Бог с ним, с сеном этим, с позором даже публичным, но тачка... Тачка-то была соседская, на резиновом ходу, с рессорами. На всю Уть одна, оттого бесценная.

Кинулась Анна Васильевна Федыку с приятелем уговаривать. Аргументы все в ход пустила... Верх взял, разумеется, главный ее аргумент, сводившийся к тому, что дома у нее...

Две бутылки, так и не распечатанные прошлый раз, стояли у Федыки перед глазами как живые. Со вчерашнего шумело в голове, в желудке было мутрно.

— Вы бы, мальцы, не наказывали нас, дурней старых. Вы бы лучше нам подсобили,— заискивающе упрашивала Анна Васильевна,— я бы вас и отблагодарила...

И мальцы, не устояв, согласились. И тачку эту, будь она неладна, доверху груженную, во двор соседей Дубровина прикатили. Благо почти всю дорогу с горки... И присели в тенечке под яблоней, поджидая, пока сообразит хозяйка на стол.

Анна Васильевна тут и сообразила... что к чему. И не смогла не воздать Федыке должного. Скрылась ненадолго в хлеву будто по делу, а сама о жизни своей подумала. О том, что жизнь у нее стала из-за Федыки вконец невыносимая. До того дошла,

что в ноги ему чуть не кинулась, угощение принять умоляла. Да гори оно все синим пламенем... Вылетела вдруг взбудораженная, всклоченная вся, как согнанная с наседа курница, и давай Федьку с приятелем здоровой орясиной, в хлеву выбранной, по хребтам угощать.

От угощения такого «мальцы» прямо обезумели. И рванули со двора, прикрывая голову руками, спасаясь позорным бегством.

Но не столько удары как с цепи сорвавшейся бабы были им страшны, сколько ее истошные вопли на всю деревню.

— Караул!.. Жулики!.. — кричала Анна Васильевна, огревая спины орясиной.— Народное грабят! Шпекулянты на общественном!.. Милиция!..

А вопли страшны им были не оскорблением, не унижением Федькиного достоинства, не больно уж возвышенного, а самим скандалом. Тем, что люди все это видели. И понимали все именно так, как повернула Анна Васильевна. Выставлены «мальцы» были принародно жуликами, взяточниками и ворами. Вся деревня вдруг оказалась в свидетелях.

— Милиции на них нет...

И обман Анны Васильевны стал для всех не обманом, а истиной. Потому что истиной он в сути своей и был. Истиной, которая неизбежно должна восторжествовать. Ибо на всякую кривду есть в деревне своя справедливость...

На этом здесь все стояло испокон. И поныне стоит.

Геннадий, пересказывая мне эту историю, весело хохотал.

— Это тебе не козу покупать, Генка,— важно комментировал Константин Павлович.— Вот баба! Как даст ему орясиной, как даст... А сама людей кличет, милицию...

Дошло и до милиции. Началось разбирательство с опросом свидетелей. Многое из Федькиных грехов обнаружилось, оказался он в центре неприглядной истории. И хотя криминала снова не вышло — крыша над его головой рухнула.

Очнулись вдруг все как-то разом. И стало для всех очевидным, что Федька-то по всем статьям человек нехороший. И сразу он всех перестал устраивать. Всем сразу стало вдруг ясно, что человек он плохой. И Птицыну тоже стало ясно, что работник Федор Архипович никудышный. Даже такое простое дело он тихо и бесшумно волочить не смог. С Анной Васильевной не справился, с Утью не совладал.

И стал Федор Архипович как бы причиной беспорядков, получивших огласку. И был как причина сразу же устранен.

Ответных действий он никаких не принял, к властям взывать не стал, а тихо укатил, тем самым как бы признав свое поражение.

8

Тихо укатив из Ути, оставил Федор Архипович в сознании односельчан, что называется, неизгладимый след. Вспоминали его часто: одна за другой всплывали в разговорах его выходки и проделки.

Это было сразу после той истории со свеклой и телеграммами, когда изгнанный с должности Федька вынужден был податься в пастухи — нет, не общественного, а личного, крестьянского стада.

Вскоре он убедился, что должность пастуха ничем, пожалуй, не уступает бригадирской. С коровы платили ему по шесть рублей в месяц, да еще собирали торбу, да еще по очереди выделяли помощника Коров в трех окрестных деревнях набиралось шесть с лишним десятков — справиться с таким стадом, имея помощника и собаку, дело нехитрое, а получал Федор Архипович таким образом, до четырехсот рублей наличными, да при полном пансионе, да с полным выражением почтительности, которым деревня балует дефицитную по нынешним временам должность.

Почтительность эта вполне компенсировала Федьке некоторую внутреннюю ущемленность — все-таки из бригадиров он был изгнан. Правда, подпаскам Федька частенько говорил, что в должность его еще призовут, без него не обойдутся, никуда не денутся. И намекал на особый его, Федькин, к делам подход...

И действительно, вскоре его призвали.

И снова тогда началась для Федьки обычная жизнь, усложненная лишь вновь появившейся заботой, впрочем вполне для него полезной и необременительной,— сводить с Анной Васильевной счеты. Еще и оттого необременительной, что сведение

счетов как раз и помогало ему «иметь подход» и жизнью Ути управлять.

Попробуй, скажем, Анна Васильевна, пусть и взбешенная тем, что свекла пропала под снегом, в другой год на прополку или уборку не выйти. Или откажись она сгнивший по нерадивости того же Федьки картофель перебирать. Тут он ей участок для косьбы и не выделит. Ну не совсем не выделит — такой власти у него нет: молоко-то Анна Васильевна в совхоз исправно сдает, не выделит нельзя. Но забыть он может. И заставить ее лишний раз прогуляться до конторы. А потом, когда уже все укосы распределены и розданы, отведут ей участок на болотистых кочках да на отшибе, куда и проехать-то можно лишь на лошади. А лошадь, опять, можно к сроку не дать, тогда сено дождем прихватит, оно и подгниет. Ну и так далее...

— Вот они, его рычаги,— говорил Геннадий.— Вот почему он солому сжег. Вот почему и траву не дает косить на неудобцах. Раздай солому по дворам, позволь запастись сеном — останешься без рычагов...

Ничего не имея и не умея, ничего не производя, Федор Архипович тем не менее распределял. И распределял в первую очередь в свою пользу. Нет, не прямо себе — в том-то и фокус! Так бы он долго не продержался, был бы за руку пойман и уличен, ибо такое прямое распределение себе иначе называется воровством. Не прямо себе распределял Федька общественные блага, а с выгодой для себя.

И когда лошадь, не ему принадлежащую, он давал или не давал. К сроку или нет. Намекая тем самым на магарыч, без которого и не оставался. И покос выделяя или не выделяя. И солому давая или не давая. Всегда с выгодой для себя.

— И должен тебе сказать,— говорил Геннадий,— что взымать эту выгоду для себя наловчился Федька с умопомрачительной наглостью, доводя ситуацию до полного абсурда. Вспомним еще раз, как он пристроился в пастухи...

Сам Федька коров не пас. Это делали помощники. Он же изловчился затесаться посредником. Снова оказавшись промежуточным звеном. Между Анной Васильевной, например, которая уговаривалась с ним об условиях, выступая в роли потребителя услуг, и... Константином Павловичем, который ей эти услуги оказывал, корову, когда приходила его очередь, пас... Федька же за это имел от Анны Васильевны шесть рублей и торбу — шмат сала, глечик молока, хлеб, лук и даже копчености, которые в пищу для себя старики не употребляли. Стремясь не ударить лицом в грязь перед соседями, не выглядеть скареднее их или беднее, Анна Васильевна и шинку, и колбасу берегла к такому вот случаю. И даже Константину Павловичу, отправляя его к Федьке в подпаски, наказывала их не трогать... Федька же содержимое торбы потреблял, на травке полеживая и поглядывая, как Константин Павлович скот пасет...

Так вот, без всякого воровства и нарушения уголовного кодекса ухитрился Федор Архипович удовлетворять свои потребности. Пока не случился скандал.

Когда же скандал случился, когда Федьку разоблачили, да так, что он не смог пристроиться даже пастухом, ему ничего не оставалось, как пойти дальше.

Он и отправился — искать свое новое место. Это место, кстати, он себе уже подготовил, застолбил, давно заведя нужные связи. Украденной (не для себя!) из совхоза картошкой, мясом, огурцами, капустой, которые он не однажды в чей-то багажник загружал, иногда и по поручению того же Птицына. Но не продавая, а даря. Не обогащаясь, а закрепляя свое положение.

— Беда наша только в том,— говорил Геннадий, придавая разговору новый поворот,— что укатил он не просто куда-нибудь, а куда-то конкретно укатил. Туда, где возможно дело волочить, посредником быть, урывать при этом как можно больше для себя.

9

История с бревнами Дубровина кое-чему научила. Во всяком случае, он понял, что дело с ремонтом дома одним наскоком не возьмешь. И к очередной положительной установке, обещанной ему рекламным приложением к вечерней газете, он отнеся с некоторым недоверием.

— Вот смотри,— сказал Геннадий, выкладывая на мой стол вырезку из газеты.

«Тарно-ремонтное предприятие производит отпуск населению за наличный расчет следующие строительные материалы...» Далее следовал пространный перечень.

— Здесь вот что странно... Деревня, которая знает все и обо всем, такую важную для себя информацию — и вдруг упустила. Что-то тут не так...

И он предложил мне включиться в эксперимент.

— Тебе же интересно...

Мне было интересно.

— Берем машину и едем на тарно-ремонтное предприятие.

Машины брали четыре дня. Оказалось, что трансагентство, выполняющее заказы населения на перевозку грузов, большегрузными автомобилями не располагает. И перевезти даже одну доску длиной семь метров оно не может... А кто может? Как вообще осуществляются такие перевозки?

Предварительная разведка показала, что есть два пути.

Первый, и самый простой, — взять грузовик в своей организации. Нам это не подходило. На кафедре у Дубровина не было ни одного большегрузного автомобиля. У меня в редакции тоже.

Второй путь, нам его услужливо подсказали в трансагентстве, — левый. Стали искать левый грузовик. Их на улицах оказалось сколько угодно. Практически каждый остановленный нами водитель готов был везти что хотите и куда хотите. Существовал и точный тариф. Во всяком случае, узнав расстояние, цену водители называли одинаковую с точностью до рубля. Не устраивало их только то, что груз нами еще не получен и к отправке не готов. Услышав про тарно-ремонтное предприятие, все почему-то заводили мотор и, не прощаясь, уезжали.

Время... деньги... Геннадий предложил третий путь: дядя его лаборанта работал главным инженером автохозяйства.

Точно в назначенное время за ворота автобазы выкатил громадный бортовой «КамАЗ», красный и сверкающий, как болгарский помидор.

Во избежание случайностей свой визит на тарную базу мы решили предварить звонком. Эксперимент, таким образом, был не совсем чистым, но нас интересовали и стройматериалы, а не только результаты эксперимента.

В девять утра мы вошли в кабинет начальника тарно-ремонтного предприятия. В кабинете было многолюдно, но узнав, кто мы, начальник приветливо поздоровался и спросил:

— Ну что там у вас?

У нас был список, который Геннадий выложил ему на стол.

Цемент, шифер, кирпич. Оконные рамы, двери, половая доска, вагонка. Обрезная доска для Анны Васильевны..

— Ничего этого в свободной продаже у нас нет. И никогда не было.

— А что есть? — спросил Геннадий в некотором смущении.

— Вообще-то кирпич... Но только по распоряжению исполкома. Бывает цемент, но это зимой... Оконное стекло, древесностружечная плита — некондиция. И гвозди... — Посмотрев на какую-то бумагу, начальник поправился. — Гвоздей сейчас, правда, нет...

— А что же нам делать? — спросил я по возможности проникновенно.

— Не знаю. — И уткнувшись в бумаги, показал нам, что разговор окончен. Но увидев, что уходить мы не спешим, начал проникаться.

Люди из кабинета уже разошлись. Проникнувшись, начальник написал на маленьком листочке номер телефона.

— Спросите Колю. Дядя Коля может помочь.

Дядя Коля работал на стройке прорабом.

Это был чудовищный день. Мы куда-то подъезжали и отъезжали, кого-то вызывали, и поджидали, пролезали в какие-то дыры в заборе, кого-то упрямивали, кого-то совестили, бегали в магазин, снова поджидали. Потом мы приехали не туда, машину поставили не так, сказали не то... И в результате все рухнуло.

— Звоните через три дня, — сказал дядя Коля. И был таков.

К шестнадцати часам по московскому времени в кузове многотонного грузовика сиротливо лежали несколько рулонов рубероида, четыре плиты ДСП с искрошенными углами и заляпанный известью бочонок из-под цемента, прихваченный Геннадием на свалке возле дяди Колиной прорабской. Голодные и измученные, мы сидели в кабине

сверкающего «КамАЗа», и размышляли, как жить дальше. Ехать в деревню с таким грузом вряд ли имело смысл.

Николай Егорович, водитель грузовика, до сих пор терпеливо все сносивший, не выдержал.

— Смотрю я на вас и думаю...— сказал он.— Смотрю и удивляюсь. Что же это происходит на белом свете и вокруг? Солидные люди вроде, а как мальчишки... Вот вы,— Николай Егорович повернулся ко мне,— журналистом работаете, а вас, как ребенка, извините... Мне бы ваши полномочия— я бы им показал... С ходу бы вышел порядок. Все что положено выписали бы, погрузили, завернув в целлофан, да еще просили бы заглядывать... Кто завернул бы и где? Да на той же тарной базе.. Неужели вы поверили, что у них ничего и впрямь нет? А чем же они тогда питаются?

— Ваше решение?— выслушав Николая Егоровича, повернулся ко мне Геннадий.

Вспомнились наши снабженческие мытарства в стройотряде.

— Атаковать,— сказал я.

И пошел звонить из автомата в редакцию. Был там у меня пробивной друг. В отделе строительства.

Дальше события развивались без меня. Но зато стремительно.

Лихо вкатив сверкающую новой краской громадину во двор тарно-ремонтного предприятия, Николай Егорович затормозил под окнами кабинета начальника.

— Чтобы видно было: тут не до шуток.

Войдя в кабинет, Дубровин решительно и без приглашения сел. Мой пробивной друг уселся напротив. Начальник смотрел на Дубровина, не узнавая. Мой коллега выложил на стол редакционное удостоверение.

— Мы к вам надолго. (Начальник посмотрел удивленно.) Недели на две,— сказал представитель прессы.— С ассистентом.

Начальник посмотрел на Дубровина. Тот сидел торжественно и невозмутимо. Роль ассистента ему подходила.

— Скажите, сегодня утром вы специально приходили?

— Если честно, то нет,— признался Геннадий.— Я приходил, чтобы приобрести все указанное в списке. Но вот пришлось обратиться...

Начальник подошел к столу и налил из графина полный стакан воды.

— Да вы не волнуйтесь,— сказал корреспондент.— Это будет не фельетон, не критическая статья.. Важна проблема. Какие сложности, где тупик, кто и что мешает... Вы лишь пример. И нам нужна ваша помощь... Вы ведь заинтересованы в том, чтобы на нашем предприятии все было хорошо?

Начальник был заинтересован.

— Дайте список,— проговорил он, облизнув губы.

Дубровин с недостойной, как он потом признался, поспешностью протянул список.

Дальше началось представление, достойное пера, но неопишное.

Начальник кого-то вызвал, кому-то позвонил. Во дворе на кого-то накричал. Рабочего, который, будучи навеселе, безуспешно пытался приладить доску к нашему ящику для стекла (десятку мы ему еще утром заплатили), даже оттолкнул. Водителя погрузчика от работы на технике в нетрезвом состоянии отстранил. На что тот вытаращил от недоумения глаза: «Ты что, Филиппович, спятил?»

Не прошло и часа как кузов большегрузного автомобиля был загружен с верхом. Квитанции уже оказались подготовленными, деньги Геннадием внесены. Подрулив «КамАЗ» к воротам, водитель приостановился, чтобы проститься с Филипповичем. Довольный и даже как бы окрыленный, тот стоял у ворот, отряхиваясь от цементной пыли и всем своим видом подчеркивая приветливость.

— Спасибо,— сказал Геннадий.

— Не за что,— ответил Филиппович.— Если что понадобится— заглядывайте. Чем можем— мы всегда... К хорошим людям мы всегда всей душой.

— Вот и еще один Федор Архипович,— сказал Геннадий, когда, расставшись с моим коллегой, мы уже катили по шоссе.

— При чем здесь Федька?— спросил я.

— При том, что, искусственно создавая дефицит, этот не хуже Федьки ухитряется процветать... Работая на обеспечение, обеспечивать он как раз и не хочет. У не-

го свои правила: одному дать сразу, с другим повольнить, третьему отказать. Снова, как в случае с Федькой, он распределяет не свое. И снова не без выгоды для себя. Принцип известен: ты мне, я тебе. Услуга за услугу. Ящиков для стекла у него нет... Это на тарно-ремонтном предприятии! Но организуй он изготовление тех же ящиков — не с чего будет пожить, ничего не перепадет...

Успех со стройматериалами как-то не очень воодушевлял Геннадия.

— Представь себе,— говорил он,— что все это пришлось бы проделать Анне Васильевне с Константином Павловичем... Вы вот в газетах пишете: «Село не узнаваемо изменило свой облик». Это, положим, так. Даже судьба стариков свой облик постоянно меняет. То шиферную крышу они справят, то пристройку, то забор с тем же зятем поднимут. И все для этого необходимое они ухитряются отыскать, выпросить, достать... Все в конечном итоге находится. Но раз находится, значит, имелось, значит, было произведено. А потом?..

Геннадий досадливо замолчал. Полез было в карман за свирелькой, но передумал. Играл он на ней последнее время все реже.

— А потом доверено оказалось все это Федьке, дяде Коле, Филиппу и всей этой компании промежуточных людей, которые должны все это селу передать — не безвозмездно, разумеется,— в обмен на селом произведенный продукт. Они и передают, но не за продукт, а по ими же устанавливаемым правилам...

10

Жизнь Дубровина в Ути продвигалась урывками. То он окунался с головой в хозяйственные и строительные заботы, забрасывая и запуская все свои городские дела, которые тогда собирались над ним, как грозовые тучи,— только удивительная способность нашего доцента к самомобилизации помогла ему потом выпутаться, избежать на службе грозового разряда, казалось, уже неминуемого... То вдруг исчезал из деревни надолго, с головой окунаясь теперь в институтские заботы. И появлялся в Ути лишь через несколько месяцев. Анна Васильевна тогда встречала его ворчливыми упреками, он оправдывался, смущенно выслушивая ее укоры.

То вдруг, оказавшись в деревне, он забрасывал все хозяйственные дела и по пятнадцать часов в сутки просиживал за письменным столом из грубых досок, так и не замененным чем-нибудь более приличным. Такие самоистязания вызывали уже полное возмущение Анны Васильевны.

— Не дурнися, Генка,— говорила она.

И опять Дубровину было неловко и стыдно за свою столь несерьезную торопливость в работе.

Тогда он поднимался из-за стола и, выйдя во двор, затевал с Анной Васильевной шутовскую перепалку, чем вызывал ее неизменное удовольствие и восторг. Попикиваться, как мы знаем, Анна Васильевна страсть как любила. И все тут ему вспоминала — и как сено совхозное крал, даром что доцент, и как дырку в чужом участке хотел провертеть...

Скважину пробурить на участке Анны Васильевны Геннадий действительно намеревался. Не сам, разумеется, а вызвав специальную бригаду. Старикам это было бы очень кстати, а так как участок Дубровина был ниже, вода поступала бы к нему самотеком...

Но намерениям этим не суждено было осуществиться. Скважина так и не появилась ни в его, ни в соседнем дворе...

Строительный пыл Геннадия стихал все заметнее.

— Постыжение жизни, пожалуй, произошло,— констатировал он, однажды появившись у меня дома.— Преодоления не состоялось,— добавил он в грустной задумчивости. И, исполнив на свирельке что-то торжественно-печальное, сообщил мне, что дом в деревне он... продал.

Цену ему предложили на сто рублей большую, чем при покупке, но, оставаясь верным себе, он и здесь пятьдесят рублей скостил... Навар, таким образом, составил полсотни чистыми! Не считая последней положительной установки, которую, избавившись от неактивности, он обрел, получив наконец реальную возможность заняться докторской диссертацией.

Все строительное богатство, в первоначальном хаосе заполнявшее двор, он подарил Анне Васильевне. В обмен на ученческую тетрадку, висевшую у нее в сенях

на гвоздике, в которую по настоянию Геннадия она записывала все, что он брал: картофель, сало, яйца, овощи, молоко...

Сначала, правда, он предложил деньги, но Анна Васильевна только руками испуганно замахала: «Если все присчитать, то еще неизвестно, кто кому и сколько задолжал», имея в виду не только стройматериалы, но и гостинцы, которые всякий раз, наезжая из города, Дубровин старикам привозил. Чем всегда вызывал ворчливое недовольство Константина Павловича и крайнее смущение Анны Васильевны, всегда стремившейся его тут же отблагодарить.

Вот и сейчас перед отъездом старижки загрузили в багажник все тех же «Жигулей», приехавших за Геннадием, два мешка картофеля, чем почти до слез растрогали бывшего домовладельца.

Сам Дубровин картошку тоже однажды посадил. Благо дело оказалось нетрудным — пройтись, бросая картофелины в борозду, за плугом, направляемым Константином Павловичем. Сомнения Дубровина в успехе дела Константин Павлович развеял. Ну не пять, так три картофелины вырастет в клубне, не в два кулака, как у соседей, так с кулак. Само же вырастет, и на том спасибо...

Но само не выросло.

Как нарочно, всякий раз, когда нужно было ухаживать за участком, Геннадия в деревне не оказывалось — отвлекали неотложные дела. Даже собрать урожай времени у него не нашлось. А от помощи стариков он отказывался, к полному недоумению Анны Васильевны, так и не понявшей его блажи: сидеть за письменным столом, когда урожай под снег уходит.

В конце концов Анна Васильевна настояла. Уже после первого снега перекопали втроем огород, собрали четыре корзины мелочи — на корм свиньям...

Легко представить и понять, что чувствовал себя при этом Дубровин крайне неловко.

Собственно, эта неловкость да еще ставшая вдруг очевидной невозможность сочетать свою основную работу с хозяйственными заботами и стали главными мотивами, по которым дом был продан. Все-таки Геннадий был горожанином.

А ритмы жизни здесь были совсем не городские. Другая, непривычная горожанину размеренность... Правила здесь свои, здесь рожденные,— оттого, наверное, и наиболее удобные здесь, вполне органичные — оттого и незыблемые. Оттого и побеждающие любого федуку, оттого и выталкивающие его вон...

Все чаще память возвращала Дубровина к столь полюбившимся ему местам, к жизни бывших соседей.

— Как-то они там?..

В кабинете Геннадия на седьмом этаже его городского дома, выходящего окнами в сквер, висела прекрасно выполненная фотография стариков. Запечатлены они были торжественно сидящими на лавочке: руки сложены на коленях, смотрят прямо перед собой. «Голову больно высоко подняла,— прокомментировала фото Анна Васильевна, по-старчески отстранив снимок.— Как гусыня...» «Она завсегда так, вельми голову задирает»,— вставил спицу Константин Павлович.

Хотя оба они со снимка смотрели спокойно и прямо. И головы держали высоко.

На этом история с приобретением дома в сельской местности и закончилась. Только сейчас, описав ее в журнальном очерке, объемы которого неизбежно ограничены, я понял, что все здесь далеко не просто. Соприкосновение горожанина с жизнью маленькой деревушки, его несостоявшаяся попытка преодоления сельских ритмов и уклада, конфликт соседей Геннадия с промежуточным человеком Федькой, ухитрившимся довольно долго и вполне благополучно существовать за счет людей, работающих на земле,— все это требует серьезного осмысления, многих исследовательских страниц, пожалуй, и отдельной книги.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ



МОНУМЕНТ ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Это случилось в январе этого года. В западногерманском городе Мангейме на экране кинотеатра «Капитоль» шел фильм «Наследники». Большинство зрителей по достоинству оценили ленту, разоблачающую преступную деятельность гитлеровских последышей, их попытки заманить в свои сети незрелую молодежь. Неонацистские молодчики в ФРГ отреагировали на фильм по-своему: они подожгли кинотеатр.

Наследники свастики узнали себя.

«Письменная, устная или иная пропаганда и агитация, направленная на сохранение, возрождение или поощрение милитаристского или национал-социалистского духа или соответствующих учреждений, а также имеющая своим содержанием прославление войны, запрещается». Так сказано в статье 7 закона № 8 союзнического Контрольного Совета. Державы-победительницы назвали одной из своих целей предотвращение «всей и всякой нацистской и милитаристской деятельности или пропаганды». Они сочли необходимым объявить противозаконным «планирование, проектирование, сооружение и всякую демонстрацию любых монументов, мемориалов, лозунгов, плакатов, статуй, зданий, табличек с наименованием улиц и дорог, эмблем или надписей, направленных на сохранение и поддержание традиций германского милитаризма...». Учитывая уроки прошлого, Устав Международного военного трибунала предупреждает: идеологическая обработка населения в милитаристском духе есть не что иное, как подготовка к агрессивной войне. Организация Объединенных Наций, возникшая в результате борьбы против нацизма и фашизма, сочла своим долгом в специальной резолюции 38/99 Генеральной Ассамблеи («Меры, которые должны быть приняты против нацистской, фашистской и неонацистской деятельности и всех других форм тоталитарной идеологии и практики, основанных на расовой нетерпимости, ненависти и терроре») предостеречь о том, что подобная идеология и практика «могут угрожать миру во всем мире и создавать препятствия для дружественных отношений между государствами и для осуществления прав человека и основных свобод».

Однако все эти решения, как и многие другие, касающиеся искоренения немецкого фашизма и милитаризма, в ФРГ преданы забвению. На западных немцев все эти годы обрушивается нескончаемая лавина изданий, пропагандирующих человеконенавистнические концепции заправил третьего рейха. По официальным данным, только в 1983 году в ФРГ было выпущено более 153 тысяч подобных публикаций. Как тут не вспомнить Шатобриана, который говорил, что нашествие идей может быть опаснее нашествия варваров.

За четыре послевоенных десятилетия величайшему преступнику всех времен и народов соорудили в ФРГ монумент в виде печатной гитлериады. Она состоит как из «трудов» самого фюрера, продукции других представителей гитлеровской клики, так и из многочисленных опусов биографов Гитлера и гитлеризма. Едва ли сам фашистский диктатор мог предположить, что его «творчество» найдет столь широкое распространение, как это имеет место в сегодняшней ФРГ. Бурную деятельность развили свыше ста издательств, специализирующихся на выпуске нацистской и неонацистской литературы. Перед искушением приобщиться к жизнеописанию главарей третьего рейха не устояли и именитые, слышущие солидными и респектабельными издательства. Не отстают, разумеется, и периодические издания — газеты, журналы. Перекинулась «гит-

леровская волна» также на кино- и телеэкраны. Вся эта продукция выставляется на международных книжных ярмарках в ФРГ, предлагается на экспорт.

Появился целый сонм исследователей — специалистов по гитлеризму, живущих на доходы от этого ремесла. Их печатная продукция преподносится под видом «обращения к истории», «научных изысканий», находит поддержку не только среди непосредственно заинтересованных лиц. Будучи президентом ФРГ, Вальтер Шеель утверждал в январе 1978 года, будто большой интерес, проявляемый сейчас к периоду третьего рейха, имеет «оздоровливающее значение» и его не следует рассматривать как «плохой признак». Он, в частности, не согласился с мнением «Нью-Йорк таймс», которая сочла «успешную продажу дневников Геббельса признаком ностальгии по Гитлеру». В другой раз В. Шеель высказался, как сообщила газета «Кельнер штатд-анцайгер», «за широкое научное исследование национал-социализма и его эпохи». При этом президент предупредил, что если теперь в ФРГ появится больше литературы о том времени, чем было до сих пор, то это вовсе не будет «волной гитлеризма».

Профессор д-р Эберхард Эккель из Штутгарта счел необходимым обратиться через газеты ко всем жителям ФРГ с призывом помочь ученым в «многолетнем поиске ранних гитлеровских газетных статей, циркуляров, меморандумов, писем и почтовых открыток, а также высказываний любого другого рода». Сам Эккель собрал обширную коллекцию перлов фюрера и издал сие творение под заголовком «Гитлер — собрание записок 1905—1924 гг.». Недюжинное усердие проявил и Макс Домарус (Вюрцбург), «обогативший» научный мир четырехтомнымopusом «Гитлер, речи и прокламации, 1932—1945, с комментариями немецкого современника». Еще один профессор, Вернер Мазер из Мюнхена, сльвущий «экспертом по Гитлеру», облагодетельствовал науку, выпустив «неопубликованные юношеские письма Гитлера, письма солдата с фронта первой мировой войны, ранние наброски речей, заметки». На эту тему, свидетельствует «Шпигель», Мазер напал еще в довоенные годы. Сыну коннозаводчика посчастливилось в 1936 году увидеть своего будущего героя.

— Кем ты хочешь стать? — спросил его Гитлер.

— Писателем, — ответил Мазер, решивший «после 1941 года» во что бы то ни стало сочинить биографию фюрера.

В сентябре 1944 года Мазер был представлен шефу гестапо Гиммлеру как «будущий биограф фюрера и историк национал-социализма». Гиммлер тогда не очень вежливо сказал будущему биографу:

— Сейчас история не пишется. Сейчас история делается.

И вот теперь Мазер, решив, что час его пробил, взялся писать, а вернее, переписывать историю...

Книга Мазера, утверждает в рецензии гамбургская «Вельт», показывает «эволюцию фюрера в совершенно новом свете и побуждает к ревизии иных представлений, считавшихся до сих пор устоявшимися». Какие же представления ревизует мюнхенский профессор? Он, в частности, уверяет, что его герой лучше специалистов разбирался в автомобилях и кораблях; архитекторы и художники признавали его превосходство, он весьма преуспел также в «военной истории, истории искусства, в истории техники, в музыке, истории религии, биологии и медицине...». Энциклопедист, да и только...

Нынешняя конъюнктура книжного рынка в ФРГ такова, что гитлероведам работы хватает. Но, как и во всяком гешефте в сфере «свободной рыночной экономики», не обходится дело и без конкурентной борьбы. Вернер Мазер, считающий себя открывателем «неизвестного Гитлера» и претендующий тут на монополию, полагает, что автор другой биографии фюрера, д-р Иоахим Фест, кое-что у него позаимствовал, при этом не сослался на первоисточник. Между сторонами разгорелся публичный спор за первенство исследований «духовных ценностей» нацизма.

Торговцы нацистским утильсырьем заламывают, как было на одном из аукционов в Мюнхене, за шапку фюрера 10 тысяч марок (подлинность гарантируется следами пота на подкладке). Продавцы «литературных раритетов» облегчают бумажники обывателей, прельщая «новым словом» о Гитлере. И те и другие напоминают крыс, которые, по ироническому замечанию «Зюддойче цайтунг», «копаются в самых потаенных углах и щелях коричневого времени и притаскивают все, что еще осталось от реквизита». Добывают фото из семейного альбома, записи из церковных книг, медкарточек лейб-врачей, тащат рисунки художника-неудачника, торжествующе потрясают обнаруженными анализами мочи. «Шпигель» воспроизвел столь важный документ, как благодарственное письмо фюрера одной из своих покровительниц, «Штерн», дабы не отстать,

раскопал восьмидесятипятилетнюю старушку, за которой некогда ужасивал юный Адольф. Все это, оказывается, принадлежит истории!

Так создается «критическая (критическая ли? — В. К.) библиотека свастики» («Нойе Рейн-дайтунг»), «гитлеровский ренессанс» («Шпигель»).

Трудно назвать буржуазное издательство, которое устояло бы перед модным поветрием. «Судя по всему, Гитлер для издателей — снова гешефт», — констатирует «Вельт». И какой! «Процлеен», «Экон», «Ультштайн», «Молден», «Бехтле», «Деж», «Ханзер», «Шнееклут» и другие крупные издательские дома с присущей им оперативностью и размахом сотворили то, что в ФРГ нарекли потоком, бумом, модой, гитлеровской волной и т. п.

«Видели ли вы Гитлера?» — интригуяще вопрошает заголовок книги Вальтера Кемповски. «Гитлер-идеолог» называется еще один труд вышеупомянутого Эккеля. Эрих Керн, небезызвестный бард нацизма и вермахта, выдал на-гора заключительный том трилогии «Адольф Гитлер и война». Опус этот настолько понравился современным западногерманским неофашистам, что отрывки из него они тиснули в своей газетенке «Дойче нахрихтен».

Явно в цене воспоминания нацистской элиты — уж кто-кто, а она-то знает своего фюрера. Выпущены мемуары Геббельса, Деница, Манштейна, фон Шираха, Шпеера и других партийных бонз и генералов. Откопали и посмертно тиснули записки Риббентропа.

Ударились в воспоминания и сошки помельче. Взялись за перо все, кому «выпало счастье» видеть и слышать фюрера. Придворный архитектор главаря третьего рейха Арно Брекер без ложной скромности озаглавил свой опус «Париж, Гитлер и я». Там он обращается к патрону не иначе как «мой фюрер» и сообщает, что Гитлер питал «мечтательную идеалистическую любовь» к французам, а те в свою очередь его «боготворили». Писания другого приближенного фюрера, его личного фотографа Генриха Гофмана, до сих пор оставались в сейфах издателей, которые не решались предложить их читателям. Но на гребне «гитлеровской волны» выплыли и они. Заголовок книги Гофмана — «Мой друг Гитлер».

Публикуя в очередной раз портрет Гитлера на титульном листе, редакция «Шпигеля» напоминает читателям: при публикации снимка в первый раз в январе 1964 года фото было грубо заштриховано, принимая во внимание иностранных читателей журнала. Сейчас, оказывается, можно не церемониться, хотя редакция стыдливо и признается, что «кажется все еще щекотливым встречаться с феноменом, прибегая к обычным инструментам исторического исследования».

«Гитлеровская волна» захлестывает книжные полки, страницы газет, журналов, кино- и телеэкраны, газеты пестрят рекламными анонсами все новых и новых «научных изысканий», образчиков «литературы» о фюрере, предлагают отрывки из нее, печатают рецензии, большей частью хвалебные.

Какова «наука» и «литература», таков и уровень знаний читателей. Вот что пишет по этому поводу «Зюддойче дайтунг»: «Даже сегодня уровень всеобщих знаний в Федеративной Республике относительно таких объектов, как фашизм и Гитлер, редко достигает более высокой ценности, чем уровень диалога водителей такси».

«Как никогда еще в послевоенной немецкой истории, — оценивает ситуацию «Шпигель», — накатывается на граждан ФРГ поток новых публикаций о Гитлере... Адольф Гитлер возвращается назад в общественное сознание немцев».

Казалось бы, сущность Гитлера и нацизма ныне, сорок лет спустя после разгрома фашизма, совершенно ясна и для науки и для общественного сознания. Казалось бы, двух точек зрения на это быть не может. Во всяком случае, до сих пор никому еще не удалось противопоставить сколь-нибудь убедительную концепцию марксистской точке зрения на фашизм как на открыто террористическую диктатуру наиболее реакционных и шовинистических элементов финансового капитала и на Гитлера как на ставленника этой диктатуры. Однако по мнению авторов многих новейших исследований, такая точка зрения является односторонней, узкой, однозначной, «тенденциозной», и они, эти авторы, вступают то в скрытую, то в открытую полемику с марксистской трактовкой гитлеризма и Гитлера. Настало, мол, время преодолеть односторонность в однозначность, сказать «всю правду», внести коррективы в утвердившиеся традиционные представления.

«Знаете ли вы Гитлера?» — с интригующим вызовом спрашивает «Штерн». И продолжает: «Разумеется, вы его знаете: человека, втянувшего немцев в мировую войну,

которую они не смогли выиграть. Человека, который приказал убивать евреев, который разрушил германский рейх,— этого человека вы знаете. Но знаете ли вы его на самом деле?»

Чего же мы еще не знаем о Гитлере? Когда познакомишься с «новыми материалами», бросается в глаза откровенное стремление авторов отделить Гитлера от той среды, которая его породила. Если нацистская пропаганда обожествляла Гитлера, то сейчас его либо демонизируют, либо изображают как «простого смертного» со всеми присущими человеку противоречиями и слабостями. Тот же Вернер Мазер в своей книге «Адольф Гитлер. Легенда. Миф. Действительность» с упоением спешит сообщить читателю: фюрер не обладал интеллигентностью? — миф! Был эрудитом, универсальным интеллектуалом, энциклопедистом; никудышный военачальник, о чем свидетельствуют многие его генералы? — миф. Прирожденный «стратег и полководец»; чело-веконенавистник? Ничего подобного, опять миф. В действительности — добропорядочный и сентиментальный бюргер, очень любивший детей и животных. Не верите? Взгляните на редкие фотографии: фюрер кормит оленят, забавляется с собакой, с ручной вороной; не был «настоящим мужчиной»? Вздор, имел колоссальный успех у женщин. И уж конечно у него были голубые глаза, обладавшие «магнетическими свойствами» и «завораживающей гипнотической силой». Одно открытие следует за другим...

О таких «открытиях» и таких «научных» методах исследования хорошо было сказано в австрийском журнале «Цукунфт»: «Так как эта обывательская жизнь, заполненная празднованиями дней рождения, свадьбами, сценами в беседах с детьми и собаками, составляет большую часть толстых книг, у читателя создается впечатление: собственно говоря, ведь эти фашистские вожди были такими же людьми, как мы... Когда эти подробности без разбора публикуются в толстых книгах, причем центральное место занимают эпизоды личной жизни, то это волей-неволей сбивает читателя с толку. За нагромождением мелочей, за письмами, записями в дневниках, отрывками из разговоров и т. д., трудно рассмотреть лицо гитлеровского фашизма. Узнаешь то, что уже было известно: Гитлер и другие фашистские бонзы в свободное от организации массовых убийств время жила жизнью мелких обывателей».

Такова истинная цена «новых открытий», якобы возвышающихся над «однозначностью». Гитлер-человек и Гитлер-сверхчеловек — и тот и другой образы по своему объективному значению являются подделкой под историческое исследование, попыткой подменить подлинно научный анализ социально-экономических корней фашизма, его сущности и сущности его деятелей.

«Штерн» лишь мимоходом заметил, что Гитлер «приказал убивать евреев». И. Фест, претендующий на ранг солидного исследователя, в своем 1200-страничном бестселлере-биографии «Гитлер» уделил этому Аве страницы, а фашистскому террору в Польше — лишь одну фразу. О преступлениях нацизма в Голландии и Норвегии нет и того. Зато автор не скупится на страницы, где описывает «личный феномен» фюрера. И. Фест претендует на основательность и серьезность своих выводов. Оправданы ли эти претензии? Корреспондент буржуазного еженедельника «Цайт» как-то спросил Феста, не кажется ли тому, что «без поддержки известных финансовых кругов, земельной аристократии, крупной буржуазии, рейхсвера он (Гитлер) никогда не пришел бы к власти». На что в ответ услышал: «Как раз в этом я и сомневаюсь». С апломбом отвергает Фест «марксистскую, или левую», точку зрения, что «Гитлер — инструмент капитала». «Он не был ничьим инструментом», — безапелляционно утверждает ученый.

Кого больше всего устраивают подобные концепции, показывает реакция на книгу Феста представителей тех самых сил, которые в коричневом прошлом видят опору в сегодняшней борьбе против «красных». Их рупор «Вельт» сочла фестовскую биографию Гитлера «актуальной книгой». Развивая мысли Феста, рецензент Гюнтер Цем пытался даже отделить национал-социализм от породившей его среды, отрицать его германское происхождение. А заодно договорился до того, что истинными наследниками гитлеризма являются не сегодняшние неофашисты, а их противники. Дескать, нынешний ажиотаж вокруг Гитлера на руку не правым экстремистам, а левым силам, которые только и ждут «нового кризиса», чтобы «похоронить демократию».

Взгляды Феста поддержал и главный редактор «Вельт» Герберт Кремп. Его статья «Интерес к Г.» — это своеобразное кредо правого фланга западногерманской реакции. Чем же интересен фюрер для этих господ? «После войны, — рассуждает главный редактор «Вельт», — Гитлер считался дьяволом в человеческом образе... Сегодня его считают уже не нахлебником и отбросом эпохи, а одной из ее великих сил, плодотворно действующим

щих источников, не кретином, а дофином Европы тридцатых годов». Но, конечно, статья написана Г. Кремпом не только для того, чтобы воздать наконец должное незаслуженно забытому, по его мнению, субъекту. Автор мнит себя духовным пастырем всех тех, кому пришлось не по нутру перемены 70-х годов, затронувшие и ФРГ, он льстит себя надеждой, что «скорректированный портрет Гитлера будет представлять не только «научную ценность или успокоение для нервов», но и «покажет свою мощную жизненную силу»...».

В трудные времена для «человека с улицы», когда в ФРГ резко обостряются основные социальные противоречия, которые не способен разрешить капитализм, когда людей охватывает гнетущий страх перед завтрашним днем, фашизм в подходящий для него момент может предложить свои услуги, обещая «устойчивый порядок» и «сильную руку», которая-де мигом устранил хаос и беспомощность «либеральных» властей. Но фашизм в то же время и политический резерв монополистической верхушки, которая может призвать его, когда не сможет удерживать власть традиционными методами буржуазно-парламентской демократии, когда ей понадобится цепной пес, чтобы удушить левые силы.

В политическом истеблишменте ФРГ стараются избегать объяснений, почему появилась гитлериада, каковы ее корни и какие цели она преследует. Говорят и пишут о литературной моде, капризах и прихотях книжного рынка, об извечной тяге человека к более глубокому познанию себя и других и т. п. и т. д. Истинные причины — невьякорчеванные корни фашизма и милитаризма, дающие все новые и новые побег, — сознательно прячут под отвлеченной фразеологией, абстрактными, вневременными и внеклассовыми категориями.

Истинная цель апелляций к Гитлеру и фашизму под видом исторических исследований заключается в стремлении приуменьшить и оправдать преступления фашизма и его главарей. Культ Гитлера и его идеологию хотят снова сделать привлекательными в глазах современников, прежде всего в глазах молодежи, чтобы отравить ее сознание шовинистическими и реваншистскими идеями, перетянуть на позиции национализма и правого консерватизма.

Все это в конце концов поставлено на службу антикоммунизму и антисоветизму. Фашизм пытаются выдать за некую базовую стратегию в борьбе с коммунизмом, незаменимую как в прошлом, так и в условиях современности. Вот что пишет, к примеру, правозащитная книготорговая организация «Национ Ойропа», рекламируя свой товар, и в частности один из пропагандистских журналов фашистского вермахта: «Культурный и духовно богатой предстает Германия Гитлера как последний бастион в борьбе против смертельной опасности большевизма». Без этого бастиона, внушают современные неонацисты, не обойтись. «Борьба против коммунизма сегодня, — поучительно изрекает неофашистская «Дойче националь-цайтунг», — не может быть убедительной без подобающего признания тех, кто с оружием в руках боролся против коммунизма вчера». Итак, «вечно вчерашние», как их называют в самой ФРГ, открыто предлагают свои услуги, и ими отнюдь не всегда пренебрегают деятели, сквозь пальцы вззирающие на то, как фашизму дают духовную, идеологическую амнистию.

Не хочу утверждать, что всех в ФРГ охватила внезапный приступ ностальгии по временам третьего рейха. В печати ФРГ звучит немало трезвых и честных голосов, осуждающих недостойную возню с нацистской макулатурой. Один из читателей «Штутгартер цайтунг» пишет: «Наводнение Гитлером книжного рынка следовало бы оценить значительно более критически, чем это повсюду происходит. Это наверняка больше, чем только ностальгия или потребность в рациональной обработке прошедшего...» «Подпочвенный, но сильный компонент ностальгии по Гитлеру, — делится на страницах «Зюддойче цайтунг» своими мыслями Пауль Мюнцер из города Ульм, — это тот нарциссизм, с помощью которого Адольф Гитлер однажды нас так здорово одурманил и провел: мы, дескать, самый прилежный и мужественный народ земли, избранная суперраса, Германия, мол, вообще самая прекраснейшая страна, и высочайшее счастье в мире — быть немцем» Над этими словами стоило бы задуматься тем, кто не видит или не хочет замечать глубоких и еще не до конца выкорчеванных корней того явления, которое называли гитлеровской волной.

«Унзере цайт», «Тат», «Дойче фольксцайтунг» и другие демократические органы не раз давали и продолжают давать гневную отповедь тем, кто открывает заднюю дверь коричневому дурману. Некоторые газеты и журналы высмеивают гитлероведов в фельетонах и карикатурах.

Но немало, к сожалению, фактов и другого порядка: целый ряд органов печати с упорством, достойным лучшего применения, продолжает заниматься литературной эксгумацией гитлеризма.

Есть в ФРГ «кодекс прессы», коим надлежит руководствоваться каждому выступающему в печати. Там записаны прекрасные пункты: уважение к частной жизни и интимной сфере человека, обязательство не задевать нравственные и религиозные чувства граждан, отказываться от сенсационного изображения насилия и жестокости (даже такой пункт для пишущих на медицинские темы: в угоду сенсационности нельзя пробуждать у читателей необоснованные надежды)... К сожалению, для многих это только слова. «Мы говорим сегодня с новым поколением», — заявляет Фест. Но что он и ему подобные преподносят тем, кто знает о фашизме понаслышке, кто получает представление о нем только из современных отечественных книг и кинофильмов? Если противопоставлено жаждущих исцеления обманывать ложными надеждами, то уж вовсе не позволительно отравлять умы и души здоровых людей трупным ядом нацизма.

Усилия новых «историков», конечно, приносят те плоды, на которые они рассчитаны. В западногерманском городе Мангейме был проведен опрос общественного мнения по поводу волны литературы и фильмов о фашизме и Гитлере. Выяснилось: каждый шестой опрошенный находил их хорошими, так как «наконец-то мы узнали, что Гитлер и третий рейх имели и свои положительные стороны». В одной из передач телевидения ФРГ было сообщено: проведенный опрос трех тысяч школьников выявил их «восхищенные гитлеровской диктатурой». Один из опросов молодежи дал такие результаты: около трети в возрасте до тридцати лет назвали Гитлера «одним из величайших немецких государственных деятелей», свыше трети заявили, что фашистская диктатура «не так уж плоха».

Примечательна в этом отношении затея с «личными дневниками» Гитлера, которые в апреле 1983 года начал было печатать еженедельник «Штерн». Те, кто явился инспираторами создания гитлериады, решили увенчать ее фолиантом из 60 томов, или тетрадей, куда фюрер якобы заносил все, что приходило ему в голову с 1932 по 1945 год. Специалистам потребовалось немного времени, чтобы разоблачить фальсификаторов (они доказали, например, что для «дневников» были использованы бумага, чернила и бечевка, изготовленные в послевоенное время). Тем не менее даже на столь грубую пропагандистскую наживку клюнуло немало людей, в том числе и ученых, политиков, журналистов. Очевидно, сказалось гипнотизирующее многолетнее воздействие гитлериады с ее «находками», «открытиями» и сенсациями.

«Будущее решающим образом зависит от того, удастся ли немцам занять правильную позицию по отношению к своему прошлому». Так писал в первые послевоенные годы западногерманский публицист Линдеман. Процесс «пересценки ценностей», как видим, еще далеко не завершен.

Жан Жорес говорил, что из прошлого можно взять огонь и пепел. Иные дилеммированные старьевщики и мусорщики, как видим, пытаются подсунуть сейчас немцам пепел, собранный на развалинах и обломках третьего рейха. Людям, однако, нужен не пепел, а огонь — огонь разума и гуманизма, который всегда горел в сердцах и умах лучших людей Германии.

КАРЭН ХАЧАТУРОВ



РАСТОПТАННАЯ СВОБОДА

В пять часов утра 25 октября 1983 года над старым аэропортом Пирлз, украшенным фанерным транспарантом «Посетите Гренаду — Остров пряностей», зависла туча — вертолеты под прикрытием штурмовой и истребительной авиации выбросили десант частей корпуса морской пехоты. Через полчаса в районе нового аэропорта Пойнт-Сэйлайн началось десантирование второго, основного эшелона «сил быстрого развертывания». Под прикрытием летевших строем истребителей и вертолетов были выброшены крупные силы интервентов: две бригады 82-й воздушно-десантной дивизии, два батальона рейнджеров, усиленный батальон морской пехоты, диверсионные группы специального назначения.

У военнослужащих не было знаков различия, указывающих на их звание, на самолетах и вертолетах отсутствовали опознавательные знаки и бортовые номера. Даже по внешнему облику интервенция напоминала пиратский рейд. Еще через два часа началась высадка морского десанта, прикрывавшегося шквальным огнем орудий корабельной артиллерии. Эскадра с флагманским авианосцем «Индепенденс» взяла на прицел гренадскую столицу Сент-Джорджес.

Диктор радиостанции «Свободная Гренада» срывающимся голосом сообщил: «Родина в опасности! С севера и юго-запада ее атакуют интервенты». Вскоре в эфире на той же волне раздался зычный окрик представителя батальона «психологической войны». Почти 16 тысяч американских оккупантов растоптали свободу Гренады.

Американцы были уверены, что интервенция превратится для них в увеселительную прогулку по экзотическому острову, что их ждет рабское восхищение ликующих гренадцев. Неожиданно для интервентов их встретило мужественное сопротивление народа. Ареной основных боев стал юг Гренады. Но силы были слишком неравны. Американцы наносили бомбовые удары с воздуха, били по патриотам из артиллерийских стволов. До конца октября шли упорные бои. Только при мощной огневой поддержке боевых кораблей и авиации оккупантам удалось подавить сопротивление защитников Сент-Джорджеса. Интервенты подсчитали потери и прослезились: около двух десятков воинов были убиты, около ста ранены.

Мужество и отвагу проявили находившиеся на Гренаде кубинские интернационалисты — строители международного аэропорта, учителя, врачи и дипломаты. В момент интервенции в район аэропорта Пойнт-Сэйлайн кубинские рабочие спали. Уже в разгар высадки десанта им было выдано оружие, но его не хватило на всех. Люди мирных профессий вынуждены были защищаться, после того как войска двинулись на них в боевых порядках. Вот одно из многих свидетельств. Шофер-кубинец Амадо Гарсиа Марреро вспоминает: «Первые взрывы американских бомб я услышал сквозь сон. Едва очевшись мы выбежали из общежития и увидели на взлетно-посадочной полосе парашютистов. Их уже было много. Из вертолетов продолжали высаживаться десантники. Атака на поселок строителей началась с трех сторон. Американцы даже не попытались вступить с нами в переговоры. Земля дрожала от взрывов снарядов и бомб. Вскоре среди нас появились убитые и раненые».

Наступая, интервенты гнали перед собой группу безоружных кубинских специалистов, которых использовали как заложников...

Более миллиона человек собрались в Гаване на траурный митинг, чтобы отдать дань уважения памяти 24 борцов, павших за свободу и независимость другого народа.

А в Вашингтоне оккупация маленькой Гренады была распропагандирована как чуть ли не величайшая победоносная баталия во имя спасения «свободного мира». Практически монопольным оратором по этому поводу стал президент Рейган. Он выступил со множеством парадных речей и веселых спичей, «импровизированных» ответов на заранее инспирированные знакомыми журналистами вопросы, которые, по убеждению их автора, со временем украсят учебники истории школ всех стран и народов. Некоторые из этих высказываний небезынтересно воспроизвести, ибо они отражают цели, далеко выходящие за рамки «гренадской кампании».

Прежде всего президент использовал интервенцию против Гренады, чтобы подогреть в Соединенных Штатах темные шовинистические страсти, разжечь и без того опасный дух милитаризма, возвеличить агрессивную военщину с ее дурной среди многих американцев репутацией. Вскоре после интервенции против Гренады Рейган заявил на пресс-конференции: «За эту операцию пришлось кое-чем расплачиваться. По-моему, те, кто был убит, ранен или каким-то другим образом пострадал в этой операции, это герои на службе делу свободы. Они не только выручили наших собственных граждан, но также спасли народ Гренады от репрессий и отвратили потенциальную угрозу для всех, кто живет в Карибском бассейне».

. Полагая, что у людей короткая память, в Вашингтоне возродили ложь о «спасении» морскими пехотинцами не только американских студентов, но и всех гренадцев. На предвыборном митинге сторонников Рейгана и Буша в фешенебельном вашингтонском отеле «Хилтон» президент США взял на оборот либеральничавших политиков: «Мне хотелось бы предложить этим критикам на минутку прислушаться к тем заявлениям, в которых гренадцы выражают искреннюю радость в связи с тем, что они вновь обрели свободу, или же задуматься о той фотографии, на которой запечатлен американский студент-медик, спасенный нашими десантниками и целующий родную землю Южной Каролины, сойдя с борта самолета на авиабазе Чарльстон». Эта фальсифицированная фотография обошла многие американские газеты как некое «доказательство» вечной признательности студенчества спасителям — морским пехотинцам. Что касается вице-президента Буша, то он, как бывший директор ЦРУ, посоветовал ни с кем не миндальничать и сделал такое серьезное предупреждение: «Освобожденные студенты, вернувшись на родину, целовали землю, а некоторые из них говорили: «Я был раньше либералом или левым, но пусть теперь остерегутся критиковать в моем присутствии морских пехотинцев или десантников»...»

В постгренадский период вашингтонские коридоры власти захлестнула мутная волна ура-патриотизма. Трибуной для лжепатриотов стал даже уважаемый журнал «Ньюсуик». На его страницах некий многодетный отец каялся и вспоминал, как его поколение не только старалось увильнуть от военной службы, но и устраивало демонстрации протеста на вербовочных пунктах. Зато его пятеро сыновей ждут не дождутся совершеннолетия, чтобы встать под знаменем корпуса морской пехоты. Между прочим, об этой поучительной эволюции семьи большинство американцев узнали из уст своего президента. В речи на съезде кавалеров «Медали почета» президент трижды провозгласил здравицу в честь безымянного, но зато прозревшего многодетного патриота и патетически воскликнул: «От Гренады до Ливана, от демилитаризованной зоны в Корее до границ НАТО в Европе молодые американцы сохраняют и приумножают славные традиции своих предшественников».

Правда, далеко не все американцы разделяли восторги своего президента. В те дни не у анонимного, а у реального американца рабочего-металлурга из Питтсбурга Орlando Валоре стряслась беда: был тяжело ранен в Бейруте сын Терри двадцати двух лет, морской пехотинец. В морской пехоте служит и его брат Майкл двадцати четырех лет. Родители сообщили ему на базу в Северной Каролине о несчастье с младшим братом, но Майкла уже отправили на Гренаду. И многие газеты обошел фотоснимок: убитые горем отец и мать держат портреты похожих друг на друга парней в одинаковых мундирах.

Интервенция крупнейшей империалистической державы против одной из самых маленьких стран планеты породила в Вашингтоне не естественное чувство стыда, а псевдогероичку, низкопробные сказы и плоские анекдоты, рожденные неуемной фантазией. Это подметили даже западноевропейские партнеры США, от которых Рейган утаил подготовку гренадской авантюры. Западногерманский журнал «Шпигель» в статье под названием «Вторжение на Гренаду не было случайностью», задав вопрос: «А хотел ли Рональд Рейган этого?» — тут же без колебаний ответил: «Он всегда

хотел именно этого: бряцания оружием, крупномасштабных проявлений патриотизма, героических подвигов в дальних странах. Гренада не является случайностью; она представляется лишь одним из кинокадров в жизни нынешнего президента — первыми киносъемками на природе после его прихода на этот пост со всеми атрибутами, присущими фильму-боевику: справа — американские рейнджеры, в зарослях — враги цивилизации, красные...

По части сарказма журнал «Шпигель» перецеголяла английская газета «Обсервер», которая ехидно писала: «Рональд Уилсон Рейган, сороковой президент Соединенных Штатов, любит твердить своим соотечественникам, что они и по сей день живут в эпоху героев; надо только знать, где их искать... Сам Рейган писал двадцать лет назад в автобиографии «Где же остальной я?» (написанной за него): «Актер проводит минимум половину своего времени в мире фантазии». Он продолжает жить в мире фантазии и сейчас». В подтверждение этого газета напомнила о рассказанной Рейганом истории одного американского летчика, который во время второй мировой войны посмертно был награжден медалью. Летчик решил остаться в горящем бомбардировщике и не воспользовался парашютом, чтобы не бросать молодого стрелка, который был ранен и не мог выбраться со своего места. Со слезами на глазах президент повторил последние слова летчика: «Не тушуйся, сынок, мы спустимся вместе». Изучение военных архивов показало, что подобного случая никогда не было. Но затем один киновед вспомнил идентичный кадр из игрового фильма времен войны...

Однако с одним героем президенту повезло. Ему подсунили всамделишного сержанта «зеленых беретов» по имени Стефан и по фамилии Трухильо. По странной случайности он оказался однофамильцем американского ставленника Трухильо, который более тридцати лет тиранил Доминиканскую Республику, расположенную, кстати, недалеко от Гренады. «Шакал Карибского моря», как прозвали Трухильо, стал синонимом такой пещерной жестокости, что ЦРУ спровоцировало убийство своего протеже. Что же касается его однофамильца сержанта, то он стал кочевать из одной президентской речи в другую. Впервые Рейган посвятил ему свое выступление на встрече с американскими студентами, вернувшимися с Гренады. На лужайке перед Белым домом кучка недоучившихся медиков тоскливо переминалась с ноги на ногу, хотя хозяин дома по-отечески заявил: «Сегодня я исполняю роль антрепренера». А затем студентам в назидание поведала душераздирающую историю. «Если бы я мог рассказать вам о всех героических подвигах, о которых я слышал! Сержант Стефан Трухильо, один из рейнджеров, — пример такого героизма, — так начал свое напутствие президент. — Сержант Стефан Трухильо, санитар 2-го батальона рейнджеров, находился в первом вертолете, который приземлился на территории, занимаемой кубинскими войсками (!) на Гренаде. На его глазах три других вертолета разбились. Несмотря на то что горевшие машины должны были вот-вот взорваться, он ни секунды не колебался. Под огнем противника он пробежал по открытой местности двадцать метров ради спасения раненых солдат. Он руководил двумя другими санитарями, оказывал первую помощь, вновь и вновь возвращался к месту падения вертолетов, чтобы перенести своих раненых друзей в безопасное место».

Произносились новые речи, и подвиги героического санитаря с сержантскими шеvronами обрастали живописным деталями. В послании президента конгрессу США «О положении страны», с которым он выступил на совместном заседании палаты представителей и сената, история старины Трухильо стала гвоздем раздела «Герои Америки — идеалы Америки». Обращаясь к дорогому президентскому сердцу санитарю, Рейган драматически воскликнул: «Сержант Трухильо, вы и ваши товарищи, мужчины и женщины в военной форме, не только спасли жизни ни в чем не повинных людей, но и освободили целый народ. Вы вдохновляете нас как силы борьбы за свободу, а не тиранию, за демократию, а не деспотию. И — да, да — за мир, а не завоевания. Да благословит вас бог. Есть еще и невоспетые герои».

Вскоре, однако, приключился конфуз. Единственный воспетый за гренадские баталии герой Трухильо потребовал сатисфакции. Как выразился взбешенный сержант, его «использовали в политических целях». Но самое скандальное, что «гренадскую кампанию» сержант Трухильо вспоминает только так: «Это — страшно. Это — ужасно. Это — бессмысленно». Крепко подвел своих аллилуйщиков сержант Трухильо.

Бессмысленность грязной войны против Гренады поразила не одного сержанта Трухильо. Французский буржуазный журналист Мишель Парбо стал на Гренаде сви-

детелем такой сцены. Во главе колонны «зеленых беретов» шел молодой рейнджер. Он монотонно повторял одну фразу: «Какого черта я здесь делаю, ну какого черта?» Однако большинство оккупантов выполняло роль бессловесных манекенов-убийц. Этим особенно отличался ударный кулак американской интервенции — части корпуса морской пехоты.

Более двухсот лет существует корпус морской пехоты — самый привилегированный вид вооруженных сил США. За эти годы он совершил около 200 карательных экспедиций против других стран. Недаром в своем гимне морские пехотинцы похваляются, что они сражались «от дворца Монтесумы до берегов Триполи». Биография корпуса морской пехоты начинается с пиратского набега на Багамские острова, расположенные, кстати, недалеко от Гренады. На морских пехотинцев возлагают многоцелевые задачи — от проведения «дипломатии канонерок» до охраны американских военных баз за рубежом и посольств. Как говорится в «Учебнике офицера», свои обязанности морские пехотинцы должны выполнять «с чисто профессиональной отстраненностью». Иными словами, не задумываясь творить любое преступление.

Американская пропаганда рекламирует морских пехотинцев как современных крестоносцев, неких сверхрыцарей XX века. Президент США так чувствовал вернувшихся с Гренады морских пехотинцев: «У морских пехотинцев бытует выражение «стоять за своих». Америка с помощью морских пехотинцев сумеет постоять за своих». Ложью являются попытки наделить морских пехотинцев благородными чертами. На самом деле они безжалостные убийцы, мародеры, насильники. Свою репутацию они подтвердили и на Гренаде.

Корреспондент информационного агентства Пренса Латина Арнальдо Хатчинсон несколько лет работал на Гренаде. После оккупации его дважды арестовывали, и морские пехотинцы разграбили служебное и личное имущество журналиста. В недостроенном здании аэропорта Пойнт-Сэлайнз блюстители «кодекса чести» американских вооруженных сил — морские пехотинцы и рейнджеры умыкнули всю завезенную главным подрядчиком, британской фирмой «Плисси эйрпортс лимитед», дорогостоящую аппаратуру: электронно-вычислительные машины, телевизоры, калькуляторы. Поэтому кубинский журналист справедливо свидетельствует: «Контакты с оккупационными войсками США на Гренаде дали мне возможность лично убедиться, что американский солдат — это машина, запрограммированная на убийства и разрушения, существо с примитивным восприятием мира. Короткая стрижка, мешковатая полевая форма и многообразное вооружение американского морского пехотинца, создающие в целом впечатление какого-то веземного пришельца, на то и рассчитаны, чтобы оказать на противника психологическое воздействие, создать образ неуязвимого супермена. Одновременно с этим ставится цель запугать человека, которому приходится общаться с морскими пехотинцами, создать у него чувство собственного бессилия». Этот точный портрет можно дополнить такой деталью: морской пехотинец ходит так, словно он аршин проглотил, — из-за негнущегося воротника, когда-то кожаного. Отсюда и презрительная кличка морских пехотинцев — «кожаные затылки».

Злодеяния американской солдатки следует квалифицировать как тягчайшие преступления против человечества. Жертвами преступлений стало прежде всего гражданское население Гренады. Вот свидетельство шведского врача Маргарет Андре, опубликованное стокгольмской газетой «Афтонбладет»: «Из укрытия было видно, как американские самолеты пикировали на цели в районе, где был расположен детский сад. Позже выяснилось, что американские ракеты разрушили здание детского учреждения. Американские пилоты умышленно напали на этот сугубо мирный гражданский объект». Было убито 17 малышей. Долго можно было бы продолжать показания очевидцев хладнокровных преступлений американской военщины. Они опалили Гренаду напалмом, отравили ее химическим оружием.

А газета «Нью-Йорк таймс» лицемерно утверждала, что американские войска на Гренаде действовали с «хирургической осторожностью». Но вот один пример такой «осторожности»: стервятники нанесли прицельный бомбовый удар по «стратегическому объекту» — лечебнице для душевнобольных. В результате больница была обращена в руины, под ее обломками погибло более 50 человек. Может быть, в Вашингтоне выразили соболезнование родным погибших? Нет, не выразили. Целую неделю в Вашингтоне как воды в рот набрали, а потом телекомпания Эй-Би-Си сообщила: «Министерство обороны США признало, что в первый день вторжения американские самолеты разбомбили больницу на Гренаде». Причина, оказывается, заключалась в

том, что американские пилоты были снабжены туристскими картами Гренады... Эту ахинею официально выдал представитель Пентагона. Гренадцев, правда, утешили: во-первых, им милостиво посулили возможное восстановление здания больницы, а во-вторых, оказалось, что в тот же день американские воздушные мазилы разбомбили собственный опорный пункт на Гренаде, в результате чего полтора десятка солдат получили увечья. Гренадцев даже пригласили посмеяться над этими «милыми гримасами» войны. Но если говорить всерьез, то мир столкнулся с еще одним чудовищным лицемерием американских «защитников прав человека». Сколько лет эти «гуманисты» — фарисеи клеветнически утверждают об использовании в Советском Союзе психиатрии для «подавления инакомыслия». А тут подавили не в фигуральном, а в буквальном смысле этого слова, лишили жизни полсотни больных и их врачей.

Пентагон отказался сообщить данные о жертвах среди гражданского населения Гренады. Известно, например, что только в первые недели оккупации только в одной больнице Сент-Джорджеса и только от огнестрельных ран скончались более 200 гренадцев. А сколько патриотов было сожжено, тайно погребено в безымянных братских могилах, брошено на съедение акулам! «Остров покрылся могилами неопознанных жертв», — свидетельствует побывавший на Гренаде английский парламентарий-лейборист Джереми Корбин.

Интервенты из спецподразделений использовали методы гитлеровских палачей и костоломов Пиночета. Американцы применяли один из видов казни под названием «воздушные прогулки». Об этом рассказал такой авторитетный свидетель, как бывший министр юстиции и генеральный прокурор Гренады Кеңдрикс Рейдикс. Этого стойкого патриота многократно арестовывали и подвергали допросам «с пристрастием». Чудом вырвавшийся из концлагеря, Рейдикс так рассказал о «воздушной прогулке»: «Сначала арестованных избивают. Потом им завязывают глаза и бросают в вертолеты, на которых отправляют во внутренние районы страны. Во время полета их просто сбрасывают вниз».

В первые же дни американской оккупации было брошено в концлагеря и тюрьмы свыше двух тысяч патриотов, или каждый пятидесятый житель страны. Зато тюремные камеры покинуло около тысячи заключенных — агентов тайной полиции свергнутого революцией диктаторского режима, уголовников. Вместе с оккупантами они участвовали в охоте за патриотами, обыскивали их дома, учиняли расправы над людьми. Неудивительно, что после оккупации в стране начались массовые грабежи и другие уголовные преступления.

Патриотов подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они самооговором признавались в «подрывной деятельности». По примеру чилийской фашистской хунты американские оккупанты приспособили боевые корабли под плавающие «лагеря смерти». Посетившая Гренаду преподаватель колледжа Нью-Йорка М. Самад-Мэтиас свидетельствует: «Арестованных заставляли раздеваться донага и били. Их принуждали ложиться лицом в грязь, в навоз или в муравейник. Гренадцев сгоняли в загон для скота, окружали сворами свирепых собак, которые при малейшем движении бросались на людей. Группы заключенных, доставленных на американские военные корабли «Гуам» и «Сэйпан», запирали в металлических клетках в котельных. Там в невыносимой жаре и грохоте их держали по несколько дней». Свидетельница добавляла: при задержании гренадцев не предъявлялось никаких обвинений, им не считали нужным даже объяснить причину ареста.

На территории страны возводились рассчитанные на долгий срок концентрационные лагеря. Один из них, в районе аэропорта Пойнт-Сэлайнз, корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» описал так: «Этот лагерь с его пятью сторожевыми вышками окружен колючей проволокой. В нем имеется два ряда недавно построенных деревянных камер размером примерно 8 × 8 футов каждая. Рядом стоит десять одиночных камер. Они настолько тесны, что заключенные должны вползать на корточках через люк, расположенный внизу и заканчивающийся примерно на уровне колен. Загнав туда заключенного, люк закрывают. От дождя такие ящики, прозванные собачьими конурами, не спасают, а под лучами тропического солнца превращаются в настоящие камеры пыток».

Сразу после вторжения вся полнота власти на Гренаде перешла к военно-гражданскому тандему — командующему американскими вооруженными силами генералу Джеку Фаррису и представителю госдепартамента США в ранге посла Чарльзу Гиллеспи. Их штаб-квартирой стал лучший отель «Росс-пойнт», откуда открывается

великолепная панорама пляжа и бухты Сент-Джорджеса. Отель обнесен колючей проволокой и взят в кольцо вооруженными рейнджерами. Американцы реквизируют и другие отели.

На Острове прыжком оккупанты расположились прочно. Газета «Вашингтон пост» писала, что, «завершив военное завоевание Гренады, Соединенные Штаты приступили к широкой операции, призванной перестроить правительство и экономику этого острова по образцу, который больше устраивал бы Вашингтон». А Вашингтон устраивает только превращение Гренады в свою вотчину. Послушным орудием в руках американцев стал британский генерал-губернатор Пол Скун. И уж совсем фиктивным стало сформированное Скуном «временное правительство». Лондонская газета «Санди таймс» заметила, что принимаемые американской администрацией решения «даже не доводятся до сведения правительства». Но новоиспеченные министры не в претензии, люди они негордые и умеют стоять по стойке «смирно».

Для создания видимости «гражданской активности» оккупанты соизволили разрешить деятельность послушных им политических микропартий. К тому же газета «Вашингтон пост» жаловалась, что «на острове образовался политический вакуум в связи с отсутствием общественных деятелей, способных обеспечить сильное руководство для восстановления демократии». Первым застолбил заявку на власть такой испытанный «демократ», как свергнутый революцией многолетний диктатор, жестокий тиран и казнокрад Эрик Гейри. Со своего ранчо в Калифорнии он кинулся на Барбадос, там осмотрелся и уже потом махнул в Гренаду. По этому поводу газета «Вашингтон пост» с показушным негодованием писала, что «возвращение Гейри, имеющего репутацию жестокого, коррумпированного и суеверного человека, может поставить в неловкое положение как временное правительство, так и создавшие его американские власти». Жалоба насквозь лицемерна, так как при желании американцы могли бы просто не впускать Гейри на Гренаду. Но он их вполне устраивает как противовес алучшим кресла премьер-министра мелким гренадским политикам. Оккупанты подогревают страсти, делают на конкурирующих лидеров ставки, как на собачьих бегах.

Под шумок взаимных поношений гренадских «отцов отечества» американцы создают на острове целиком зависимую от США социально-экономическую структуру. На Гренаду зачастили многочисленные американские визитеры, и не только американские. Например, для изучения «гренадской демократической модели» Остров правостей не поленился посетить фюрер западногерманских правых Франц Йозеф Штраус.

Вскоре после американской интервенции на остров прибыла оперативная дружка Белого дома, объявившая о том, что более 200 американских корпораций пожелали узнать о перспективах частных вложений на Гренаду. Этот интерес американских финансистов проливает свет на выбор кандидатуры первого главы постоянного дипломатического представительства США на Гренаде.

Когда жизнь на острове стала входить в привычное русло оккупационных будней, когда оставшиеся интервенты стали официально именоваться «американским военным вспомогательным контингентом», понадобилось и американское посольство. Вот и возглавила такой специалист в области частных инвестиций, как Лорен Лоуренс. Сей однопамилец легендарного британского супершпиона занимается куда более прозаическим делом: с бухгалтерской скрупулезностью переводит на рельсы уродливого капиталистического развития те карибские страны, которым не дали вырваться из оков социально-экономической зависимости и обрести подлинную свободу.

Лорен Лоуренс был послом на Ямайке как раз в то время, когда на этом крупнейшем англоговорящем острове Карибского моря готовилось свержение демократического правительства, вскоре замененное проамериканским режимом. Именно главари этого режима стали основными американскими подручными при подготовке «коллективной акции» против Гренады. После успешной «ямайской операции» Лоуренс становится вице-президентом «Общества Америк». Оно было создано сразу же после прихода Рейгана в Белый дом во главе с нефтяным магнатом Дэвидом Рокфеллером, в составе представителей более 200 корпораций, которые вложили в Латинскую Америку около 90 процентов всех американских частных инвестиций в этом регионе. Это детище крупного бизнеса ставит своей официальной задачей «культивировать чувства дружбы» между Вашингтоном и его южными соседями.

Через три с лишним месяца после интервенции в Белом доме решили, что Гренада вполне созрела для визита государственного секретаря Джорджа Шульца. Визит

продолжался всего шесть часов, но, по компетентному суждению протокольной службы, был более чем насыщенным. Газета «Вашингтон пост» отметила, что «самолет Шульца совершил посадку на построенной кубинцами взлетно-посадочной полосе, которую администрация называла одно время слишком длинной, чтобы ее можно было использовать в мирных целях». Но времена меняются, и Шулец нашел взлетно-посадочную полосу ни длинной, ни короткой, а в самый раз. Он осмотрел недостроенное здание аэровокзала, велел достроить и вообще сделать аэропорт Пойнт-Сэлайнз образцово-показательным транспортным учреждением.

Затем Шульца подвели к американским студентам-медикам. Когда-то на Гренаде их были сотни, большинство вернулось на родину после интервенции, не желая жить под оккупацией. С большим трудом нашли шестерых студентов, согласных лицезреть государственного секретаря. Последний похвалил студентов «за проявленную храбрость во время вторжения» и напутствовал их: «Вы наши послы». Кучка студентов безмолвствовала. Потом Шулец дал краткую аудиенцию генерал-губернатору Скуву и проследовал в столичный Куинс-парк, дабы возглавить церемонию по случаю десятой годовщины предоставления Англией независимости Гренаде, разумеется формальной. Не постеснялся. В парке были организованы игрища с участием рейнджеров. Далее лимузин с государственным секретарем подкатил к отелю «Росс-пойнт». В этой бывшей явочной квартире ЦРУ высокий гость поднял звездно-полосатый флаг по случаю счастливого переоборудования гостиницы в посольство США.

Неутомимый гость успел дать и пресс-конференцию. Слушатели мало что поняли, но уловили одно: высокопоставленный визитер обещал помочь в создании мощной полицейской службы. Незаметно пролетело время, и наступил час разлуки. Перед тем как сесть в самолет и взять курс на любезный сердцу и такой надежный Барбадос, государственный секретарь Шулец глубокомысленно произнес, мечтательно разглядывая дымку горизонта: «Здесь действительно красиво. Местность здесь более холмистая, чем я предполагал, но здесь, несомненно, красиво».

Пропагандистское шоу с участием Шульца — составная часть развязанной вокруг Гренады «психологической войны». Преследует она двуединую цель — деморализовать население Гренады и дезориентировать мировое общественное мнение о происходящих на оккупированном острове событиях.

Прежде всего Белый дом переименовал вооруженную интервенцию в филантропическую акцию. «Ну а теперь насчет Гренады.— заявил Рейган на пресс-конференции через два месяца после интервенции.— По-моему, высказывания самих гренадцев, генерал-губернатора, наших людей, которые были там и которых спасли, свидетельствуют о том, что это вовсе не было вторжением. По характеру это было что-то вроде операции коммандос, это была спасательная операция. Народ Гренады со всей ясностью дал понять, что считает себя тоже спасенным». Вице-президент Джордж Буш так веселил участников ежегодного съезда католической организации «Рыцари Колумба»: «На Гренаде местные народные певцы сейчас сложили такую песню: «Если бы не Рейган, что бы с нами случилось. Если бы не Рейган, то вы и я утонули бы в крови. Если бы не Рейган... Боже, храни Америку!»...» Рассказывают, что новоиспеченные рыцари пребывали в телячьем восторге. Бушу вторит министр обороны Каспар Уайнбергер: «Население Гренады испытывает радость и облегчение, чувство благодарности к американским и восточнокарибским войскам за спасение». Как, оказывается, просто перелицевать жестокого оккупанта в гуманиста, увенчать убийцу-рейнджера христолюбивым нимбом спасителя.

Оккупанты глумливо воскресили нравы пятивековой давности, когда не ведавшие о грозившей им опасности наивные островитяне с готовностью обменивали свою свободу и свою землю на дешевые погремужки. Корреспондент газеты «Вашингтон пост» умиляется: «Американские солдаты раздают американские флажки босоногим ребятишкам». За бросовую цену или вовсе бесплатно подросткам предлагают футболки с перекрещенными американским и гренадским флагами или с кощунственным штампом «Америка, спасибо, что ты освободила Гренаду» Впавший в умопомрачительную щедрость Вашингтон сделал Гренаде официальный дар: преподнес 2 тысячи пар джинсов, 77 коробок с игрушками и 24 тонны конфет. Почти по полкилограмма леденцов и тянучек каждому гренадцу.

Но и после всего этого «неблагодарные» гренадцы продолжают «спасательную» миссию американских вооруженных сил именовать оккупацией. Американцы ликвидировали все социальные завоевания, которых гренадцы добились менее чем за пять

лет народной власти. Через полгода после американской интервенции безработица, этот извечный бич трудящихся всего Карибского бассейна, выросла на Гренаде почти в два раза. Проституция — единственное, что возрождается на Острове пряностей..

Вместе с первым десантом оккупантов на Гренаду был переброшен из Форт-Брагга в Северной Каролине батальон «психологической войны». Мобильные пропагандисты разъезжали на автомашинах и с помощью громкоговорителей и листовок щедро нахваливали гренадцам «прелести» оккупации. Они же расклеивали на стенах домов плакаты с фотографиями ушедших в подполье гренадцев и надписями: «Эти преступники хотели продать Гренаду коммунистам».

После разгрома оккупантами гренадских органов массовой информации батальон «психологической войны» взялся за информирование и Гренады и всего мира о событиях на острове. Сразу после начала интервенции американцы захватили радиостанцию «Свободная Гренада», тут же переименованную в «Голос Острова пряностей». Программу передач формировали пропагандисты из батальона «психологической войны», а радиостанцию обслуживали специалисты американских военно-морских сил. Потом появилось печатное слово — газета «Голос Гренады». Даже «Вашингтон пост» стыдливо признала, что «ее издание финансируется американскими вооруженными силами». В первом же номере «Голос Гренады» известил, что газетенка награждает президента Рейгана «орденом доблести» (очевидно, символически!) за «миссию по спасению отечества».

Оккупанты зажали Гренаду в тиски дезинформационной блокады. В течение пяти дней после начала интервенции доступ на остров был закрыт западным, в том числе американским, журналистам. Унтерпришибеевское обращение оккупантов с жаждавшими сенсации журналистами вызвало с их стороны раздражение. Газета «Нью-Йорк таймс» в статье под заголовком «Что же он скрывал?» писала: «Что же пытался скрыть президент Рейган от американской общественности в связи с операцией на Гренаде? Почему он запретил журналистам отправиться на этот малый остров? Здесь нет никакой загадки, Рейган боялся, что факты, которые будут обнаружены на месте, не подтвердят мотивы, которые он привел в качестве оправдания своего вторжения». Но вспыльчивые журналисты быстро остыли, ибо выданный им социальный заказ заключался не в поисках компрометирующих Белый дом фактов, а в совершенно обратном.

Однако брошенный журналистами у берегов Гренады камешек дал неожиданные круги на реке Потомак. Среди челяди Белого дома произошла легкая потасовка, о которой «Вашингтон пост» писала: «Стараясь держать вторжение на Гренаду в секрете, а потом преподнести его в самом благоприятном свете, правительство Рейгана развернуло кампанию секретности и манипулирования новостями, вызвавшую конфликт в Белом доме и резкое столкновение с органами информации». Дело в том, что буквально за несколько часов до американской интервенции журналисты пытались пресс-секретаря Белого дома Ларри Спикса о возможности вторжения на Гренаду. Так вот, всезнайка Спикс назвал эти слухи нелепыми и посоветовал журналистам идти спать. А они, околпаченные, едва протерев глаза, узнали, что интервенция уже идет полным ходом. К тому же их еще и не пустили на Гренаду. Неудивительно, что и без того зыбкое доверие к рупору Белого дома было окончательно подорвано.

Обманутый своим верховным шефом, Спикс тут же сочинил жалобу-меморандум руководителю штата сотрудников Белого дома Джеймсу Бейкеру (копия — его заместителю Майклу Диверу, еще одна копия — советнику президента Эвину Мизу), в которой горько сетовал, что «на карту поставлено доверие к правительству Рейгана». А тут еще Спикса подсадил его заместитель, отвечавший за освещение внешнеполитических вопросов, Лес Джанка. По одной версии, он интриговал против своего патрона, распускал слухи, будто тот говорил гадости о Рейгане. По другой версии, Лес Джанка просто приторговывал мелкими тайнами президентского двора. Дело кончилось тем, что проштрафившегося «заместителя рупора» выставили из Белого дома.

Мелкие интриги в Белом доме камуфлировали организованную американскими спецслужбами серию провокационных «открытий». Фальсификаторы начали с того, что «открыли» на Гренаде целые арсеналы с якобы советским и кубинским оружием. Доказательства? Никаких.

Сенатор Дэниел Мойнихэн и другие члены специальной сенатской комиссии по разведке поставили под сомнение заявление правительства относительно **обнаружен-**

ных на острове складов с оружием. «Мы услышали о том, что Гренада — это советский и кубинский арсенал, — сказал сенатор Мойнихэн. — Сегодня я открываю газету и читаю, что оружие, которое там хранится, появилось на свет 100 лет назад и что это ценные исторические экспонаты, в том числе карабины XIX века». Но это был не курьез, это была провокация, ибо американские должностные лица потрясали автоматами с маркировкой «советского производства». Газета «Вашингтон пост» сделала такое признание: «ЦРУ организовало эти неофициальные поставки оружия. Американское десантное судно, несущее большое количество этого оружия к гренадским берегам, по существу, возвестило о начале операции. Советская маркировка на оружии должна была, очевидно, послужить дополнительным свидетельством кубинского и советского участия в событиях на Гренаде, которым, как утверждали стратеги Белого дома, они располагали. Не впервые злым умникам из ЦРУ пришла в голову мысль об использовании советского оружия в качестве фальшивого свидетельства». В который раз в США критиковали не ЦРУ и не фальшивку, а ее топорное исполнение, ставящее Вашингтон в постыдное положение.

Сели в лужу мастера «психологической войны» и с «битвой за Карриаку». Этот принадлежащий Гренаде островок состоит из городка, нескольких рыбацких поселков и выжженных солнцем холмов. Американская пропаганда раструбила, что островок превращен в «непрístupную крепость», там окопались «кубинские батальоны», вооруженные в том числе ракетами «земля — воздух». К Карриаку подтянули эскадру во главе с авианосцем «Индепенденс». Ожидая подвоха, высадили для рекогносцировки две роты морской пехоты. Кубинских войск на Карриаку не обнаружили. Между интервентами и аборигенами произошел такой разговор:

- А были ли на Карриаку кубинцы?
- Как же, были
- Куда они делись?
- Уехали два дня назад.
- Кто они, сколько их было?
- Двое, муж и жена. Оба врачи.

То, о чем рассказано выше, не вымысел. О несостоявшейся «битве за Карриаку» и сути упомянутого диалога поведал такой солидный журнал, как «Монд дипломатик». Один за другим запускались воздушные шары — фальшивки, — и хотя они лошались, фабриковались новые. Вот присяжный лжец из «Вашингтон пост» Джек Андерсен запустил воздушный шар, наполненный такой ложью: «Кубинский руководитель Фидель Кастро, приведенный в ярость американским вторжением на Гренаду, отдал находящимся под его началом террористам приказ убивать американцев». Он же попугал читателей сенсацией: «Дружки из ЦРУ» сообщили ему о «всемирном слете террористов в Мехико». Запускается еще один воздушный шар. На этот раз газета «Нью-Йорк таймс», потчует читателей клеветой об «угрожающих американцам кубинских террористах», уже ссылается на анонимных «должностных лиц из разведки». Еще один воздушный шар сам госдепартамент накачивает злостной фальшивкой о «кубинской инфильтрации» в Социнтерне Дурно пахнущая дезинформация призвана отравить рядовых социалистов, заставить их отказаться от солидарности с Гренадой, другими жертвами империалистического разбоя.

Прикрываясь измышлениями о «коммунистическом терроризме», американские правительственные учреждения повсеместно занимаются реальным терроризмом. Вот только один факт. Вскоре после интервенции агенты секретной службы CIA в сопровождении чиновников госдепартамента незаконно проникли на территорию посольства Гренады в Вашингтоне, взломали дверные замки и произвели обыск в помещении иностранного дипломатического представительства. Затем поменяли замки и выставили на территории посольства охранника. Быть может, были найдены уличающие «террористов» документы? Нет. Как грустно сообщил журнал «Ньюсуик», в помещении посольства «ничего существенного» найти не удалось.

Террористы из Вашингтона погасили факел свободы на Острове пряностей, растоптали солдатскими сапогами молодые победы гренадской революции, лишили независимости маленький народ, который, как он сам пел, «в крови пробирался сквозь ночь».

Едва стало известно о вторжении на Гренаду, и против Рейгана ополчилось немало американских буржуазных политических деятелей, для которых не безразлично опозоренное знамя Соединенных Штатов. Критика организаторов гренадской

авантюры шла и в конгрессе. «Если вторжение на этот крошечный остров является мерилом величия Америки, то, значит, с Америкой действительно что-то не в порядке», — заявил конгрессмен П. Костмейер. «Это акт войны!» — вскричал сенатор Д. Мойнихэн. Его поддержал коллега К. Додд: «Невозможно оправдать свержение иностранного правительства». Дошло до того, что 7 конгрессменов предложили подвергнуть президента импичменту, иными словами, потребовали его отставки за узурпацию им права конгресса объявлять войну. 11 конгрессменов возбудили против президента* и его ближайших помощников судебный иск, в котором указывалось, что действия ответчиков явились вопиющим нарушением конституции США.

Но вдруг как по мановению волшебной палочки ершистые конгрессмены утихомирились, смирились с позором родимой державы, критиканство в правящем лагере стихло и слилось в один общий ликующий гул по случаю одержанной на Гренаде «великой виктории». Что же произошло? А произошло следующее. Близился канун предвыборного марафона на пост президента, и Рейган собирался вновь выставить свою кандидатуру. Между тем, судя по многочисленным и популярным в США статистическим опросам, его акции падали, в том числе в результате провала затеянных во всех частях планеты авантур. Тут появился на свет очередной опус, смысл которого сводился к тому, что за последние четыре десятка лет республиканцы одерживали верх в тех случаях, когда их избирательным коньком являлись проблемы внешней политики, проблемы, разумеется, выигрышные. Рейгану в канун предвыборной борьбы нужен был эффектный ход, или «качественный прорыв», как с уважительной завистью конкуренты-демократы окрестили воздействие гренадской авантюры на психологию американцев.

Гренада явилась перстом судьбы, божьим даром для Рейгана, уловившего смирение среднего американца. Этот американец имеет весьма смутное представление не только о том, что творится за пределами США, но и за границами его родного штата. К примеру, в ответ на анкету телекомпании Эй-Би-Си каждый третий опрошенный уверенно ответил, что президент США «защищает сандинистов в Никарагуа от происков Кремля». Да что говорить о познаниях рядового избирателя, если сам президент в торжественных речах спугал Бразилию с Боливией, Боливию с Колумбией, а соседнюю Кубу переместил в Средиземное море. Был и такой случай.

Оплаченный малой кровью победоносный набег на Гренаду призван был вырвать с корнем из души среднего американца комплекс неполноценности, «синдром перманентного поражения». В глазах жителя и Нью-Йорка и захолустного городка мастерски нокаутированная американским тяжеловесом Гренада явилась первой стопроцентной победой Соединенных Штатов после второй мировой войны.

Пьянящая сладость победы туманила мозги, мешала разобраться в несопоставимости возможностей победителя и побежденного. На изменчивой бирже американского общественного мнения победно вспорхнули орлиным полетом акции Рейгана. Ему запоздало самотовали вчерашние критики-демократы, стыдливо назвавшие стратегическим отступлением поддержку ими гренадской авантюры.

Официальная вашингтонская пропаганда стала убеждать американцев в том, что победа над Гренадой восстановила в США чувство национального достоинства. Лучшей участи заслуживает народ, нуждающийся в «победах», подобных гренадской. Не национальное единство, а позор и бесчестье только и может принести акция, подобная агрессии против Гренады.

«Постгренадский апофеоз», атмосфера оголтелого шовинизма дали повод ястребам начать «охоту за ведьмами» в стенах самого конгресса. Объектом провокации был выбран чернокожий, член палаты представителей от родного Рейгану штата Калифорния и его тезка Рональд Деллэмс. Вскоре после оккупации Гренады он посетил ее в составе делегации конгресса и, вопреки официальной версии, опроверг мотивы, послужившие предлогом для американской интервенции. Тут же из пальца была высосана клевета о том, что инакомыслящий конгрессмен — «давний агент Бишопа». Основание? Оказывается, в разгар подготовки интервенции Деллэмс представил комиссии по делам вооруженных сил палаты представителей доклад, в котором утверждал, что политика Бишопа «не представляет угрозы для Соединенных Штатов или их союзников». Но ведь такое мог написать только «коммунистический агент»!

Организаторы провокации на этом не успокоились, они «обнаружили» на Гренаде ими же сфабрикованные «документы», якобы уличающие в изменческих на-

строениях уже не одного Деллэмса, а всех его чернокожих коллег. С готовностью подхватив эту фальшивку, бдительная «Вашингтон пост» угрожала: «Из правительственных документов, захваченных в ходе вторжения США на Гренаду, явствует, что между теперь уже свергнутым правительством и фракцией конгрессменов-негров существовало тесное сотрудничество». Эта провокация закоренелых расистов подтверждает старую истину: агрессивные войны американского империализма неизменно сопровождаются разгулом махровой реакции в собственном доме.

Провокаторы решили скомпрометировать и тех американцев, которые организовывали демонстрации перед фасадом Капитолия с требованием прекратить оккупацию Гренады. В один из вечеров вскоре после интервенции возле опустевшего зала заседаний сената взорвалась начиненная динамитом и снабженная часовым механизмом бомба. Затем последовал таинственный телефонный звонок в редакцию газеты «Вашингтон пост» с сообщением, что взрыв организовал некий «отряд вооруженного сопротивления» в знак протеста против американской агрессии на Гренаде и в Ливане. «Охота за ведьмами» продолжалась.

Американского обывателя, запуганного «кознями коммунистических террористов», подмяла лавина самых фантастических слухов. В тот самый день, когда в сенате организовали фейерверк, в государственном департаменте приключилось чрезвычайное событие: исчез массивный металлический сейф с хитроумнейшим цифровым замком. А сейф был якобы набит посвященными Гренаде документами с грифом «совершенно секретно». Вечером сейф стоял на месте, а утром исчез. Началась паника, так как «пропавшие бумаги» принадлежали ЦРУ. Вскоре, правда, сейф объявился. Нашли его незапертым в... гюрьме Лортон в федеральном округе Колумбия. В этой образцовой каталажке заключенных перевоспитывают ремонтом мебели из правительственных учреждений. Почему в тюремной камере оказался дипломатический сейф, да еще незапертый? Неизвестно. Но известно, что такого рода мистификации служат калорийной подкормкой для провоцирования в США антикоммунистического, антисоветского психоза.

Американские ястребы расценили оккупацию Гренады как генеральную репетицию к интервенции в Никарагуа. «Если потрясенные избиратели проглотят вторжение на Гренаду,— писала «Вашингтон пост»,— тогда конкистадор в Белом доме вполне может решить сбросить завесу со своей тайной войны против сандинистов и направить наших морских пехотинцев для свержения еще одного правительства, которое действует нам на нервы» И действительно, вслед за гренадской авантюрой последовали новые витки фактической войны США против Никарагуа.

Банды террористов, натасканные американскими инструкторами и оснащенные американским оружием, обстреливают из орудий пограничные районы бомбят города Никарагуа, совершают набеги, убивают мирное население, минируют порты страны. Плацдармом агрессии против Никарагуа явился соседний Гондурас, на военных базах которого ЦРУ тренирует интервентов.

Удушение гренадской революции вызвало ликование во дворцах латиноамериканских диктаторов. По этому поводу «Юнайтед Стейтс ньюс энд уорлд репорт» писал: «Вторжение США на Гренаду будет на руку центральноамериканским консервативным силам и военным диктаторам. Отныне, по их мнению, им будет сходить с рук все, лишь бы мишенью были левые и коммунисты» Под «все» имеются в виду самые чудовищные преступления вплоть до геноцида.

Вместе с латиноамериканскими диктаторами воспрянули духом и карибские временщики, прежде всего правители шести островов, ставшие прямыми соучастниками американской интервенции. Шестерка стран, разношерстное воинство «карибских сил по поддержанию мира» после долгих препирательств скинулась и выставила сводный экспедиционный корпус в количестве... 300 душ. Находилось это воинство в обозе, передвигалось не спеша и выполняло полицейские функции. Тех, кто услужливо прикрыл американскую интервенцию знаменами карибских стран, премьер-министр Гайаны Форбс Бернхэм справедливо назвал марионетками и лакеями. Больше других выслуживались власти Барбадоса, превратившие свой остров в транзитный пункт для американской авиации.

Всех скопом карибских прихвостней за удушение гренадской революции вознаградили тридцатью серебряниками, или пятнадцатью миллионами долларов по курсу нью-йоркской биржи. Когда в Вашингтоне сочли, что карибские лидеры куплены с потрохами, им предложили сместить английскую опеку на американскую.

С подозрительной синхронностью карибские марионетки стали жаловаться, что их участие в британском Содружестве является помехой «сердечному союзу» с Вашингтоном. Премьер-министр Ямайки Эдвард Сиага публично сослался на якобы полученную им из Лондона инструкцию: «Вы находитесь в американской сфере влияния, и не надо обращаться к нам». Несуществующая директива понадобилась ямайскому премьеру для его призыва к «внебрачному союзу» с США. Бывший министр иностранных дел Барбадоса Генри Форд, страдающий манией величия из-за совпадения своего имени и фамилии с главой династии американских автомобильных магнатов, заявил, что у Англии достаточно европейских забот и только США способны заполнить «ужасный вакуум» в Карибском море. А барбадосский премьер Джон Адамс выразился еще конкретнее: «С точки зрения западного полушария, 1983 год (год вторжения на Гренаду.— К. Х.) следует рассматривать как поворотный, в который влияние США поневоле стало заметно вытеснять влияние Англии в старых английских колониях Карибского бассейна».

Со своей стороны Вашингтон стал изображать хор марионеток как голос «суверенных» государств. «Америке все чаще придется думать об этих островах не просто в связи с песчаными пляжами, ромом и пальмами,— озабоченно писала «Вашингтон пост».— Для многих в Карибском бассейне это означает, что США начали сознательно заполнять вакуум, оставленный англичанами, которые, как заявляли руководители этих стран, ушли из своих бывших колоний здесь, не связав себя сколько-нибудь существенными обязательствами в отношении экономической и военной помощи». Рассчитывая на американский корм, карибские москиты начали нахально жалить британского льва.

В начале 60-х годов, вслед за кубинской революцией, когда восточную часть Карибского моря сотрясала буря национально-освободительной борьбы, Пентагон вынужден был убраться из этого района. После оккупации Гренады началась усиленная милитаризация этого района американцами, включая создание военных баз, поставки вооружения карибским странам, обучение их солдат и жандармерии. Тут же возникла идея создания «постоянной региональной армии». По американской подсказке с «инициативой» выступил правитель Барбадоса, предложивший сформировать жандармский корпус карибских стран. Пентагон приступил к практической реализации им же инспирированной идеи.

Бесцеремонное выдворение Англии из Карибского моря объясняет одну из причин осуждения Лондоном гренадской авантюры Вашингтона. «Что-то она разошлась!» — возмущился на Ямайке Сиага в связи с заявлением британского премьер-министра Тэтчер, что «в мире начнутся по-настоящему ужасные войны», если страны Запада будут вторгаться туда, куда им заблагорассудится. Кипел от негодования официальный Вашингтон, ибо, по его мнению, Англия проявила черную неблагодарность, забыла заповедь, что долг платежом красен. Ведь за полтора года до вторжения на Гренаду, в ходе фолклендского кризиса США предали Аргентину, все латиноамериканские страны и безоговорочно поддержали британского агрессора.

На осуждение Англией агрессии против Гренады повлияли не только тайные от Лондона действия Вашингтона и его карибских марионеток, их антибританские интриги. В шокированном Лондоне отдавали ясный отчет в том, что гангстерские повадки главы Белого дома дискредитируют «западный союз», особенно в канун размещения на британской земле американского ядерного оружия.

Обезглавленная Гренада поставила США в положение международной изоляции, вызвала бурю гнева во всем мире. Генеральная Ассамблея ООН осудила агрессора и потребовала немедленного прекращения вооруженной интервенции. США рискнула поддержать лишь шестерка карибских марионеток — соучастников агрессии, военно-полицейская хунта Сальвадора да Израиль.

После принятия резолюции ООН, которая квалифицирует вооруженную интервенцию на Гренаду как грубое нарушение международного права и посягательство на независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этого государства, скандальную истерику заката главными делегатами США при ООН Джин Киркпатрик: «Позвольте мне напомнить, что Соединенные Штаты регулярно терпят поражение в ООН, на Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности. Ни одна из стран так регулярно не терпит поражения в ООН и не выступает там в роли жертвы, как Соединенные Штаты, за исключением, пожалуй, Израиля, который практически всегда терпит поражение и становится жертвой. Организация Объединенных

Наций представляет собой политическую систему, которая в значительной степени контролируется нашими противниками». С гегемонистской бравадой Вашингтон плочет на мировое сообщество наций.

Советский Союз, братские социалистические страны с самого начала решительно заклеили агрессию США против Гренады, потребовали ее немедленного прекращения, справедливо расценили это преступление против мира и человечества в контексте глобальной авантюристической политики Вашингтона. Свою солидарность с Гренадой выразили государства Азии, Африки, Латинской Америки, все движение неприсоединения. Резко осудили американского агрессора страны Западной Европы. В Вашингтоне почти с площадной бранью обрушились на «похожих на нервных дамочек европейцев» (сравнение принадлежит газете «Нью-Йорк таймс»), пригрозили, что не забудут «низкой неблагодарности» своих союзников.

Всемирная кампания солидарности вдохновляет патриотов Гренады на борьбу против американских оккупантов и их местных прислужников. Вопреки угрозе ареста сотни гренадцев не снимают значков с портретом покойного премьер-министра, футболки с его изображением и с лозунгами «Помните Мориса!» и «Его дух жив!», бережно хранят написанные им книги, по ночам расклеивают на фасадах зданий плакаты, на которых запечатлен лидер гренадской революции. Его сподвижниками создана на Гренаде политическая партия — Патриотическое движение имени Мориса Бишопа.

Имя Мориса Бишопа стало для гренадцев паролем патриотизма и верности идеалам революции. В начале текущего года в Сент-Джорджесе состоялась скромная, но впечатляющая церемония организации мемориала Бишопа. В одном из домов в центре столицы собрались около 100 человек, в том числе сподвижники Бишопа, бывший министр юстиции и генеральный прокурор Кендрик Рейдикс и министр сельского хозяйства Джордж Луизон. «Главной целью вторжения на Гренаду была попытка ликвидировать революцию,— заявил Кендрик Рейдикс.— Но я хочу сказать нашим вторгшимся «друзьям», что Гренада всегда будет принадлежать гренадскому народу».

Лозунг в аэропорту, который прежде гласил: «Свободная Гренада приветствует вас!»,— оккупанты усекли до трех слов: «Гренада приветствует вас». Можно замазать слово «свобода», но нельзя свободу уничтожить. Это понимают даже ее злейшие враги. Газета «Вашингтон пост» пророчествует: «Несмотря на американское вторжение на Гренаду, Карибский бассейн остается рассадником зарождающихся революций». Воля народа к свободе неистребима.

Гренадский народ рано или поздно сам обретет долгожданную свободу. Но его силы умножит сознание, что он не одинок. Вот почему обесчещенная, но не покоренная Гренада так нуждается в утихающей солидарности всего человечества.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

М. М. ЗОЩЕНКО



ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ (1917—1921 гг.)

Рукописное наследие Михаила Михайловича Зощенко (1894—1958) сравнительно невелико. Практически все, что он написал в годы своей известности, опубликовано и не раз переиздано. За бортом остались лишь ранние опыты в прозе и критике, некоторые поздние работы, в которых он делал попытки — чаще всего неудачные — писать нечто несвойственное его дарованию и художественным принципам («положительная сатира»), а также письма, дневниковые записи, черновые наброски деловых бумаг.

Настоящая публикация из ряда тех, что заполняют белые пятна в дописательской биографии Зощенко. Об этом раннем, подготовительном к профессиональной работе периоде (до 1920 года, который Зощенко считал годом начала своей литературной деятельности) в последнее десятилетие пишется довольно много, однако сам жанр работ — литературоведческие обзоры творчества, исследование поэтики¹ — не позволяет долго задерживаться на деталях, так называемых мелочах.

Вспоминая о Зощенко, К. И. Чуковский писал: «...я уверен, что каждая мельчайшая мелочь из жизни этого большого писателя будет чрезвычайно важна для его будущих — увы, слишком запоздалых — биографов»². Биография Зощенко еще не написана. Но материал уже есть, и немалый. И те «мельчайшие мелочи», что составили нашу публикацию, без сомнения, прибавят к уже накопленным знаниям о жизни и творчестве писателя несколько существенных черт.

Публикация открывается письмами Зощенко 1917—1918 годов из Архангельска в Петроград матери Елене Осиповне (урожд. Суриной) и будущей жене Вере Владимировне (урожд. Кербиц-Кербицкой). В Архангельск Зощенко попал в сентябре 1917 года. Не годный к строевой службе (отравление газами) штабс-капитан получил должность коменданта главного почтамта и телеграфа в Петрограде, но, не выдержав кабинетной скуки, попросил новое назначение и был командирован на Север — стал адъютантом архангельской дружины и секретарем полкового суда.

Октябрьская революция «освободила» Зощенко от его новых обязанностей и от офицерских погон. Лишенный средств к существованию, Зощенко ищет спасения в трудных размышлениях о своей судьбе. Письма в Петроград пронизаны тоской одиночества, боязнью, что «трагическое болото» может его засосать, что он рожден не летать, а ползать (в письмах Аважды цитируются строчки из «Песни о Соколе»). Мучимый неопределенностью своего положения, Зощенко более всего жаждет определенности. Он хочет верить в себя, в то, что одолеет превратности обстоятельств и свое место в жизни найдет.

Все четыре письма, безусловно, являются важным источником информации о жизни Зощенко в Архангельске. Однако к ним, как, впрочем, и к другим письмам того же и более раннего времени, нельзя подходить с обычными мерками. Это не столько письма как таковые, сколько пробы пера, литературные упражнения, попыт-

¹ См.: Л. Ф. Ершов. Из истории советской сатиры. М. Зощенко и сатирическая проза 20—40-х годов. Л. 1973; Д. М. Молдавский. Михаил Зощенко. Очерк творчества. Л. 1977; Вера Зощенко, «Так начинал М. Зощенко» («Вопросы литературы» 1975, № 10); М. О. Чудакова. Поэтика Михаила Зощенко. М. 1979.

* «Михаил Зощенко в воспоминаниях современников», М. 1981, стр. 17.

ки писать художественно. Еще в 1916 году, находясь в окопах русско-германской войны, Зощенко писал сестре Валентине:

«Так слушай: чтобы не одуреть окончательно и не заплесневеть в одиночестве своем, решил занять чем-то мысли и сознание.

Иногда, когда радость, или печаль, или скука томящая резче заставляют думать логически, тогда хочется писать (разрядка моя.— Ю. Т.), чтобы как-то проникнуть в анализ разума.

Так вот — иногда буду тебе писать. Что — пока безразлично»³.

Эти строчки — прямые свидетели тяги молодого Зощенко к писательству. Под тем же углом зрения следует рассматривать и письма из Архангельска. В них (особенно адресованных к Вере Владимировне) больше литературных реминисценций (некоторые места — раскавыченный Ницше, перефразированные строки из других авторов), нежели самостоятельной литературы, тем более той, что через несколько лет принесет Зощенко славу. Здесь еще нет его знаменитого юмора. Но знаменитая зощенковская грусть уже есть. И уже проглядывается Зощенко — философ и моралист.

Следующие два письма адресованы будущей жене и относятся к марту 1920 года. Зощенко к этому времени отслужил в Красной Армии (сражался под Ямбургом против отрядов Булак-Балаховича), переменил множество самых разнообразных профессий и поступил в литературную студию, организованную в Петрограде при издательстве «Семирная литература». Он много пишет: новеллы, сказки, критические этюды и те же письма, в которых, по словам В. В. Зощенко, трудно было определить, «где кончалась литература и где начиналась жизнь. Потребность творчества вырвалась наконец на волю. Новеллы сыпались одна за другой — он либо посылал их мне по почте, либо приносил с собой и читал вслух»⁴.

Письмо от 26 марта явно из этого ряда: «красивый» слог, возвышенные рассуждения, обращение к адресату, с которым уже давно установились близкие отношения, на вы. А вот в предыдущем письме больше, как говорится, жизни, чем литературы. Письмо написано по печальному поводу: Веру Владимировну ошибочно арестовали. Зощенко пытается ее подбодрить, но это плохо у него получается, он не может скрыть беспокойства за ее судьбу (через несколько дней с его помощью Вера Владимировна была освобождена).

Особое место в этой публикации занимают письма сестре Валентине и брату Виталию, уехавшим из голодного Петрограда на Псковщину в конце 1919 года. Оба эти письма более, чем другие, дают представление о жизни и умонастроениях молодого Зощенко в канун прихода его в литературу. Однако ценность их не исчерпывается важностью содержания. На наших глазах происходит изменение формы, в которую Зощенко облекает свои наблюдения, чувства и размышления. Витиеватый, несколько манерный стиль его первых писаний (имеются в виду не только письма, но и чисто литературные опусы) постепенно уходит, и появляется новое: стремящаяся к простоте короткая фраза, разговорно-объединенные выражения и слова. Это как бы совсем другая рука, совсем другой человек будто бы это писал. Еще не Зощенко, каким мы его хорошо знаем, но уже и не тот штабс-капитан из Архангельска, который боялся, что ужом проползет по земле.

В письме Валентине (апрель 1920 года) зримо присутствует тень Маяковского. Некоторое время назад Зощенко написал о нем две статьи. «Генеральнейший поэт» «заворожил» его «своей силой», «...поистине удивительна огромная воля к жизни поэта после умиранья, пустоты, отчаяния и непротввления», — писал Зощенко, противопоставляя Маяковского «придуманному» и «неживым» Северянину, Гиппиус, Зайцеву. На перепутьях смутного для Зощенко времени Маяковский силой своего слова, убежденностью в правоте происходящего более, видимо, нежели кто-либо другой в тогдашней литературе, помог будущему писателю определиться, поверить в возможность работать на новую власть, поверить в свое писательское назначение... Стиль, каким написано письмо Валентине, как бы воюет со стилем его собственных ранних писем, где тоже присутствовало «придуманное» и «неживое». Остатки прежней «роскоши», конечно же, заметны и здесь, но еще более заметны усилия Зощенко, избавляющегося от того, что чуждо его новым симпатиям в литературе и новому взгляду на жизнь.

³ «Вопросы литературы», 1975. № 10 стр. 248.

⁴ Там же, стр. 249.

И вот писавшееся в несколько приемов (июль — сентябрь 1920 года) письмо Виталию. Можно сказать, что оно уже абсолютно свободно от каких бы то ни было литературных влияний. И что самое, пожалуй, приметное здесь: наконец-то появилась столь долгожданная и, как говорится, до боли знакомая зощенковская ироническая улыбка. А главка «Однажды...» — прямо-таки классический сюжет для юмористического рассказа, который хоть под какой спрячь псевдоним, тут же узнаешь: Зощенко!

В письме сообщается: «Живу я сейчас на Петербургской стороне, на Зелениной, 9, кв. 83». Это адрес, по которому стали жить, съехавшись после регистрации брака в июле 1920 года, М. М. и В. В. Зощенко. Михаил Михайлович служит в это время конторщиком в петроградском военном порту «Новая Голландия». По вечерам и между делом на службе увлеченно пишет. Два письма-записки (с недавно родившимся сыном Вера Владимировна только что переехала на дачу в Парголово) относятся к моменту, когда Зощенко уже вступил в «Серапионово братство», уже написал «Рыбью самку», «Любовь», «Ляльку Пятьдесят», «Войну», «Старуху Врангель» и, вдохновленный вниманием и поддержкой Горького, напряженно работает над повестью «Красные и белые»⁵. Все, что мешает работе, что от нее отвлекает, раздражает его. В первом письме явные следы раздражения. Зато второе письмо в высшей степени умиротворенное и благодушное, его потешный «штиль» и игривое содержание свидетельствуют, надо думать, о хорошем творческом состоянии Зощенко: видимо, первые трудности в работе над повестью преодолены и никакие бытовые заботы (а именно они суть писем в Парголово) его не мучают. Зощенко уверен в себе, добр и внимателен к близким.

Эпистолярное наследие Зощенко, относящееся к раннему, дописательскому периоду, не исчерпывается письмами, вошедшими в настоящую публикацию. Сохранилось еще несколько писем. Однако за невозможностью в одной подборке напечатать их полностью мы отобрали лишь те, которые, по нашему мнению, наиболее характерны для представления о жизни Зощенко этого периода и его — поистине невероятном! — творческом слове, «перевороте» внутри себя. Зощенко шел к самому себе, к своему неповторимому языку через овладение традиционной стилистикой русской литературы, а также через преодоление расхожего почерка беллетристики предреволюционного десятилетия. Думается, что публикуемые письма пусть в малой мере, но отражают эти художнические дерзания Зощенко, его напряженнейшие искания своего голоса в литературе...

Публикация завершается отрывками из записных книжек и тетрадей Зощенко 1917—1921 годов.

Зощенко не вел дневников. Не бумага для записей всегда была у него при себе. Первые записи относятся к 1915 году и сделаны на фронте русско-германской войны, последние — за несколько дней до смерти, в 1958 году. Всего сохранилось около сорока тетрадей и записных книжек, в которые Зощенко заносил впечатления дня, мысли, выражения, обороты, слова, которые могли пригодиться для работы над задуманными рассказами и повестями. Именно сохранилось. Потому что значительная часть литературного наследия, относящаяся к 20—30-м годам, в том числе и бумаги с дневниковыми записями, погибла на даче в Сестрорецке в 1941 году.

Составившие настоящую подборку записи Зощенко извлечены из тетрадей и записных книжек 1917—1918 и 1919—1921 годов. Принцип извлечения прост и, на наш взгляд, вполне оправдан: в стороне остались наброски писем, черновики рассказов и критических статей, которые в дальнейшем получили законченное оформление, и беловые автографы их ждут самостоятельной публикации.

О Зощенко — философе и моралисте заговорили, по сути, только в 30-е годы после «Возвращенной молодости» и «Голубой книги», вспомнив при этом «Сентиментальные повести» и «Мишеля Синягина». Знакомясь с записями Зощенко 1917—1921 годов, нетрудно заметить: вкус к философским раздумьям и размышлениям на тему, что хорошо, а что плохо в поведении человека, возник у него много раньше. Значительная часть продуманного и сформулированного здесь получила в дальнейшем развитие в рассказах и повестях 20-х годов, где за смехаческим в виду, легко мысленно-пустяковым как будто бы содержанием всегда присутствовала трепетная мысль-надежда на перерождение человека, на то, что он оглядится и сумеет изба

⁵ Повесть была забракована М. Горьким. О ее судьбе — ниже, в соответствующей записи М. Зощенко.

виться от вековых привычек и предрассудков, мешающих ему понять вышедшее на улицу новое время.

Помимо разного рода мыслей, афоризмов и жизненных наблюдений, составивших основу публикуемых записей, а также подслушанных Зощенко в гуще людей обиходных выражений и слов, присутствуют здесь и чисто дневниковые пометки, относящиеся большей частью к последнему перед выходом к читателю году. Некоторые из них цитировались в написанных о Зощенко книгах и статьях, однако полностью они публикуются впервые. Все вместе они должны дать достаточно ясное представление о зарождающихся отношениях Зощенко с миром профессиональной литературы.

Последняя запись сделана Зощенко осенью 1921 года. «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» уже написаны и вскоре выйдут отдельной книжкой в издательстве «Эрато»^{*}.

«Рукописный» период в творчестве Михаила Зощенко закончился.

* Кооперативное издательство, существовало с конца 1921 по начало 1922 года.

В. В. КЕРБИЦ-КЕРБИЦКОЙ

26 ноября 1917 г.

Закройте крепко-крепко Ваши глаза,
К нам не придет никто...
Я помню — Вы всегда любили сказки...¹

...И тот день был самый жестокий, непонятный, ибо я понял, что счастье узнается только тогда, когда оно ушло...

Мысли приходили ко мне все нелепые: зайчик яркий на стене... Дрожит... бешено теперь прыгает... И вот он в желтых портьерах... запутался...

Я сидел в кресле и все хотел непременно дотронуться рукой до зайчика. Но тот ускользал.

Это кусочек северного солнца. Здесь оно такое неяркое и недолгое. Его все здесь любят. Ибо оно редко. Ибо люди умеют любить только то, к чему не привыкли...

Север... Север...

Господи, почему я здесь? Почему я здесь...

А что думает она? От нее нет писем. И не видел я ее так давно... Это было еще осенью...

Что думает она — Вера?

А, я знаю... Она думает об одном человеке, который ее, должно быть, разлюбил. И уехал. И по свету бродит... И думает, что новое счастье найдет...

Да, теперь он, наверно, влюблен в снежный город. Это так далеко, даже письма туда не доходят...

Ну и пусть! Ну и пусть!

Она думает так... Я же знаю...

И в тот день, когда я думал об этом, — было солнце, и я долго, долго лежал на шкуре медведя.

Был влюблен в солнечный зайчик и в Вас. Снова в Вас.

В тот день, когда я думал об этом, мне хотелось уехать, сегодня же, вот сейчас... И долго целовать Ваши холодные пальцы.

«Кто Вам сейчас целует их?»²

Я думал долго о Вас. Целый день...

А потом показалось, что Вы вовсе забыли меня.

Было грустно. Так грустно.

А может быть, потому, что вечер пришел.

Ведь в сумерках всегда острее печаль. И в сумерках мне было жаль себя. А вместе с задумчивой тенью улицы в комнату вползла тоска. И росла, и росла...

Я метался по комнате и не зажигал свет. Тоска сковала меня.

Ушла Вера, ушла любовь, ушел яркий зайчик со стены. О, Вера!..

Она не придет больше, я ее не увижу. Не увижу!..

Я сидел в кресле и ждал, когда придет утро. Сидел неподвижный и странно спокойный...

Скорей бы завтра пришло. Скорей бы.

И вот пришло завтра.

Опять дрожал бешеный зайчик на стене. И уходил. Опять вползала тоска. И росла, и росла.

А с тоской плелось сожаление. Сожаление о неслучившемся. Я метался по комнате и просил бога, и как-то нелепо, неумело:

— Бог, сделай так, чтоб мы увиделись. Сделай. Ты можешь. Ты же все можешь...

Тянулись дни.

А в тот день, когда мне показалось, что чувство стало меньше, и когда я понял, что еще день, и все пройдет,— пришло письмо. Письмо от Вас.

А... Она так... Она хотела помучить...

И вдруг показалось, что так и должно быть. Как я мог сомневаться, что Вы вовсе забыли меня?

Конечно, нет.

И я смеялся самовлюбленно, как люди смеются, когда миновала опасность и наступил покой и уверенность.

Я читал Ваше письмо. Я упивался. Я к самому лицу подносил бледный Ваш конверт и втайне целовал Ваши губы.

И я опять любил Вас за то, что этим письмом Вы словно явились невидимая и словно шепнули: «Люблю».

Знаете что? Раньше, когда я не получал Ваших писем, я беспокоился, беспокоился...

Теперь же не дает покоя только одна мысль:

«Кто Вам сейчас целует пальцы?»

И я не знаю, что лучше...

До свиданья... Ау!

Мих. Зощенко.

PS. Привет всем.

Архангельск.

¹ Строчки из стихотворения В. Инбер «Сказки».

² Переиначенная строка из песни А. Вертинского «Лиловый негр».

Е. О. СУРИНОЙ

Архангельск, декабрь 1917 г.

Последнее время болел я, мамочка. Не слишком сильно, нервы да сердце. Да и как не болеть?

Не знаешь, что завтра будет: то ли швейцаром устроиться, то ли грузчиком.

Офицеры-то нынче не в моде, вот и подыскиваешь службу, вот и болеешь.

А недавно еще хорошо было! Думал: вот-то хорошо, что попал на Север. Ни тебя не трогают, ни ты никого не кусаешь. Вовсе провинциальная добродетель!

Ведь и устроился хорошо, город приветливо принял, гимназистки провинциальные смеялись радостно и глазки приятные делали, провинциальные дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, о ком-то намекали, что-то советовали. И всем было весело, весело.

Потом пришли солдаты и погоны сняли. И жалованье отняли. И стали мы самые простые, самые бедные, бедные.

Пальцами на нас показывают: «У-у, буржуй нерезаный!»

И каждый плюет и язык кажет.

И за что бы? «Революций мы не пушали», с оружием в руках не, выходили... Сидели себе смирно.

...Но что это?

По-прежнему смеялись радостно гимназистки и глазки приятные делали, по-прежнему дамы, ухмыляясь чрезвычайно, кого-то прочили, что-то советовали...

Говорили: «Вот... Теперь нужно жениться...»

Они говорили, они советовали подобно тому, как предлагают невыгодную, но единственную сделку человеку, попавшему в беду.

Иные из нас признали за лучшее и мудро решили жениться.

Но мудрость такая пригодна кроту! Я вижу здесь женщин: многие из них обезьяны со смешными ужимками и обезьяньими ласками.

Все они самки, и все они увешаны отвратительными истинами.

О, как смеялась душа моя над их безобразием! И разум мой сказал: нет.

Ибо я знаю, что придет дорога лучшая, чем эта тропинка слепцов.

Я пока подожду.

И пока я дерзко смеюсь всем в лицо. Всем...

И с тайным страхом спрашиваю себя: «Силен ли ты? Не лучше ли сразу? Ведь помни: чем сильнее борьба, тем больше мучений».

Да, пока силен. Ибо я опираюсь на свою мудрость. Пока силен, но я не знаю, что дальше. Ведь я с пафосом не говорю себе: «О, я пробью себе дорогу». Нет. Все случай, все случай.

И если дерзкую улыбку я прогоню с лица и если подойду к той полной даме, что прочила кого-то для меня, то, право, мама, не хвали, а пожалей.

Тогда: «Рожденный ползать летать не может».

Пока же я силен. Пока с улыбкой смотрю на вереницу пестрых обезьян.

Вот они.. вот, как в жеманном менюэте, они расходятся и сходятся и долго и манерно приседают... У них, сто слов знающих по-французски «людей», — уметь говорить на всех языках и тайно пудрят нос и душатся сиренью.

Вот я в провинции...

В. В. КЕРБИЦ-КЕРБИЦКОЙ

7 января 1918 г.

Глаза мои устали, утомились, и не видел я истину, которую Вы мне дали.

Большое показалось смешным, малое — безобразным, и казалось мне, что Ваше желание — только каприз, а в нем ненужное испытание и насмешка.

Как больно сначала ударили меня Ваши слова: «Приезжайте немедленно, иначе не увидимся...»

Как смеялся я над их безобразием! О, как смеялся я над их бессилием!

Я в смехе хотел найти примирение, но крадучись, ночью, когда я спал, пришла злоба.

Простите меня, что она пришла. Не звал я ее. Маленькое неуклюжее животное, оно больно кусало мои руки, и я спрятался от него в себе самом.

А сегодня, когда оно ушло, я вернулся к старым богам...

Сегодня суждено мне побить себя камнями.

Я хотел и раньше писать искусанными злобой руками... И как я доволен, что я не писал!..

Я разрушил бы все, что создал.

Моя рука не пощадила бы даже своего сердца.

Нелепые свои мысли и клейкие слова не мог бы я вернуть одним только желанием!

Все мне казалось таким безобразным, все было увешано отвратительными и старыми истинами. И Ваше требование было насием.

А может быть и... Нет! Нет злобы больше. И нет камней, которые бы я бросил в Вас.

Они для меня... Потянули Вы меня за руку, как слепца, и мне казалось, что я больно ударюсь о землю. Вырвался я тогда и громко смеялся. Ведь это был месяц, когда я боялся земли и когда моим богом было лишь Солнце. Это был месяц, когда я думал, что вот еще миг — и я взойду на высоту, может быть на Голгофу, где Мудрость небожителей и истина богов, где счастье..

Так думал я, ибо со мной была еще моя юность. Месяц этот был, когда она покинула меня за то, что я хотел поверить Мудрости: «Будь верен земле и не доверяйся говорящим о надземных надеждах...»

И я понял.

Размахивая бессильными руками, хотел я лететь, но помните — «Песнь о Соколе»?

«Рожденный ползать летать не может... Забыв об этом, он пал на землю, но не разбился, а... рассмеялся».

Так и я, так и я...

И многое теперь мне кажется смешным, а еще больше — грустным. Еще больше — умершим.

Помните, как всегда тянуло меня куда-то?

Как несколько лет бродил я по России?

Я хотел найти и нашел. И нашел меньше, чем потерял. Я нашел житейскую мудрость, я нашел дорогу к власти, а потерял Вас и свою юность.

Здесь, на Севере, одинокая могила моей юности. И здесь же венок, сплетенный из милых, старых нелепостей!

Как жаль мне своей юности!.. Как плакал я, когда сплетал этот венок из прошлого... И нельзя уже мне вернуться назад, ибо узка и опасна тропинка юности, ибо кругом нее бездна. А кто раз упал и кто ударился о землю, тот верит уже только земле. Нет мне дороги назад! И должен я, как слепец, протягивать свои руки и идти ощупью, чтоб увидеть землю. Боюсь бездны, боюсь и не верю небу... И Вас на пути своем беру теперь за руку и тихо говорю: «Не говори мне больше о небе, дай мне земное, а надземное я уже видел... Когда падал».

И если отвернетесь Вы, испуганная или с доброй улыбкой сожаления, как я завидую Вам и с какой тоской опять и опять перебираю тонкими пальцами венки свой из милых нелепостей.

Вот все, чтобы понять меня.

Поймите меня, Вера, как я понял Вас. Поймите. Нет у меня больше злобы. Я верю земле и Вам...

...Болят мое тело от камней, брошенных своею же рукой... Как много я прожил...

Михаил.

PS. Если было Вам больно, Вера, и если слезы были на Ваших глазах, простите меня, как я простил Вас. Но как был бы я рад, если б действительно было больно! Простите.

Мих. Зощенко.

Е. О. СУРИНОЙ

Архангельск, 27 марта 1918 г.

Так хочется домой, мамочка, что все время сижу с упакованными вещами и жду. И сам не знаю чего.

До сих пор нет у меня службы, и с Архангельском я ничем не связан, кроме белья, которое я отдал прачке...

Денег нет, и было бы очень скверно, если б прошлый месяц не выиграл я немного. Но это на исходе. Это давно на исходе.

А впрочем, не деньги, право, не деньги задерживают меня здесь. Я боюсь... Я стал какой-то Обломов. Нет ни энергии, ни воли.

И не я, а судьба тянет меня куда-то. И кажется мне, что пройдет еще месяц — и если я не уеду, не убегу, то останусь здесь навсегда. О, это трагическое болото, этот Архангельск!

А в Петрограде... Живут же люди! Кушают свою восьмушку хлеба, любят, умирают...

Чего же больше? Такова жизнь.

Работу я найду в Петрограде. Конечно.

И должен я уехать отсюда. Обязательно.

Я не узнаю себя за эти полгода. Я так изменился.

Стал даже религиозен. А может, это ханжество? Часто хожу в польский костел и слушаю орган. Молюсь.

Впрочем, когда человеку хорошо, он боится только черта, когда плохо, он говорит: «Господи, господи, верую в тебя и надеюсь на твое милосердие...»

Да, такова жизнь...

Может быть, это и плохо, мамочка, но все же я хочу ехать в Петроград.

А вдруг вы все уехали куда-нибудь?
 Нет, вы сообщили бы.
 Ну, целую, целую.

Михаил.

В. В. КЕРБИЦ-КЕРБИЦКОЙ

13 марта 1920 г.

Верочка, а ведь глупо же, наконец, что тебя так долго держат. Я совершенно соскучился по тебе. А главное — не могу приехать в «прекрасное» твое Шувалово (по причинам особенным). Мария Мих.¹ объяснит тебе... Впрочем, как ни объясняй, а скверная-то мысль мелькнет в твоей голове, непременно мелькнет. Уж я знаю. Ну да это до нашей встречи...

Верочка, я знаю, тебе, наверное, ужасно как скучно. Ведь уже весна, совсем весна, и ты так ждала ее. И вот теперь тебе приходится сидеть в «заклужении».

Я очень знаю, какое это мучительное чувство — лишиться свободы. Впрочем, с одной-то стороны хорошо — узнаешь многое, однако, если за дело сидеть, вину испкупать — было бы по-иному, а так — нелепо и ненужно.

Ты знаешь, вот оттого, что ты «где-то сидишь», и, пожалуй, еще оттого, что последние дни я как-то все болею, у меня настроение совсем дурное. Я даже не могу написать тебе радостного письма. А радость-то должна быть.

Верочка, ведь весна, долгожданная, после такой лютой зимы, когда мы, как звери, сидели в своих темных норах.

Петербургская весна особенная, по-моему, чудесная. Уже солнце так греет, уже снег так тает быстро, и каблучки так приятно стучат по камням. А на улицах иной раз встречаешь радостные глаза и улыбки даже. Это в Петербурге-то! В Петербурге-то улыбки и радость!

Значит, действительно радость.

А вчера я видел даже фиалки на груди у какой-то девушки. Она ужасно конфузилась.

Вера, ну скорей! Если только от тебя зависит что-то преодолеть — преодолей! Ведь у тебя бывает этакая воля и энергия!

И скорей в Петербург!

Пока я посылаю тебе 2 любимейшие мои книги — конечно, Блок и, конечно, Ницше.

Ну, скорее! Целую.

Твой Михаил.

¹ Мать В. В. Кербиц-Кербицкой.

26 марта 1920 г.

Я очень хочу быть скептиком. Я улыбаюсь иронически, когда люди говорят о чудесных снах, о предопределении и о жизни души. Но вот иной раз в мою жизнь входит какая-то тайна, и тогда я теряю свою волю. Тогда я как под гипнозом, как сомнамбула.

Я очень верю в нервную и огромную силу человека, а нервный Ваш подъем даже на чрезвычайном расстоянии как-то передается мне и беспокоит, беспокоит.

Когда Н. Н.¹ рассказал мне о снах Ваших как раз, я помню, в субботу, накануне одной очень рискованной поездки, я как-то содрогнулся, будто получил ответ на мысли мои, я поверил Вам, я не поехал.

Меня уговаривали, сто разных хитростей придумывали — я не поехал. И потом лишь узнал, что это бы мне стоило очень дорого! Может быть, даже моей жизни.

А сейчас я получил Ваше письмо, и такого ощущения, как раньше, уже не было. Я очень думаю, что и сны Ваши больше не повторяются.

Вы говорите, что видели меня близким к смерти. Я же верю в свою жизнь. Как никогда. Как никто.

Я верю, что я буду жить, я люблю жизнь, я всегда думал, что смерть не бессмысленна, что человек умирает лишь тогда, когда им сделано предвзначенное.

Я же еще не сделал своего. Я не умру. Иначе как бессмысленна и отвратительна жизнь!

Тысячу раз я видел смерть и на войне как офицер, и во время революции, и часто мои руки уже синели от рукопожатия этой гостью. И я не верил ей.

А сейчас я вошел уже в полосу покоя. Много, многое прошло уже, когда можно было умереть. Но не сейчас.

Впрочем, я Вам признателен. Вы сильный человек, и Ваша нервная воля передается мне. Вот я закрываю глаза и вижу странные прозрачные Ваши глаза... Вы знаете: у Вас прозрачные глаза и нервные губы,— как я поразился, когда увидел Вас. Вы странный человек!

Но почему же, почему же Вас прельщает такой дешевый романтизм:

«...я заслоняю Вас — Вы спасены...
...(О, как хорошо так умереть!)»

Вы так восклицаете. И ведь наяву, наяву восклицаете. Вы должны меня простить, но такой романтизм как-то не подходит к Вашему стилю.

Итак, я уверен, что снов таких Вы уже не видите...

Мих. Зощенко.

Моя улыбка при встрече будет также говорить, что мы будто давно знакомы и оба владеем маленькой тайной.

М. З.

¹ Николай Николаев, общий знакомый Михаила Михайловича и Веры Владимировны.

СЕСТРЕ ВАЛЕНТИНЕ

Апрель 1920 г.

Вот,
Валя,
наконец-то

мы можем тебе писать. А то три месяца не знали, где ты. Три месяца лютых и забываемых

мы
сидели,
как кроты,

в черной холодной комнате, и

уже

третий месяц, как мамы нет в живых. Такая была лютая, совершенно лютая, совсем лютая зима. И так случилось, что в одно время не было

света,
дров
и хлеба.

И это случилось накануне смерти.

И вот искупили... Вот уже теперь весна и солнце. И радость жизни. У нас стало

как-то
лучше.

И каждый день в зубах мы несем домой

кусочек
сена.

Я не хочу быть ханжой и дешевым лицемером,

но
мама

последнее время так плохо видела,

что,
может,
и лучше.

Но все проходит. И прошло.

Ты сейчас хочешь домой,

в Петербург,
в Академию ¹.

А знаешь ли ты, что Петербург и посейчас —
 громадное голодное брюхо,
 в которое
 нужно что-то запихнуть?
 И дрова,
 и уборка дворов,
 и в три копейки радость.
 Но я буду рад. Мы будем рады. Ты как-то обновишь свою кровь.
 А
 то

ты будешь чужой нам.

А ты?

Ведь придется, придется ведь, придется

колоть,
 пилить
 — за три копейки.

И вот

когда
 я

думаю о тебе, представляю тебя

здесь,
 у нас,—

мне все кажется, что ты сломала ноготь на пальце от полена, как я недавно. И тогда
 я ужасно как смеюсь.

Хохочу.

Приезжай, Валя, но

не сжигай
 за собой
 корабли.

Валя, Валя, уже весна и радость жизни.

Знаешь ли ты, чувствуешь ли ты

это
 огромное,

когда меняется кровь,

и
 нужно

что-то, кому-то говорить ласковое и,

нужно
 что-то делать?

Знаешь ли, что есть такой закон

симпатической окраски,

когда червяк делается такой же зеленый,
 как лист, на котором ползет, а бабочка
 сливается по форме и краскам с цветком —

иначе
 гибель?

Так вот, нелепо же быть нелепым пятном,
 нужно слиться, раствориться, быть
 таким же зеленым, как червяк на траве
 и как бабочка на цветке...

Пусть смешно нам, знающим, как

сделана
 жизнь,

как растет трава,—

все равно —
 нужно!

Вот так я думаю теперь и

часто
 по улице

брожу до вечера.
А вечером мне кажется, что я уже
растворился в тысяче,

и
тогда
фонари

будто вытягиваются, и растут, и нежно
кладут свои стеклянные головы
на крыши домов.
Уже весна и радость жизни!

Михаил.

¹ По свидетельству В. В. Зощенко, Валентина была талантливой художницей, мечтавшей поступить в Академию художеств.

БРАТУ ВИТАЛИЮ

25 июля 1920 г.

Здравствуй, Виталья, я, знаешь ли, редко пишу, а уж если напишу — так развернешь письмо, скажешь: фу ты, пропасть сколько он написал!

Ты уж не считайся письмами, а когда захочется — напиши, не дожидаясь моего письма.

Впрочем, ты и Люме¹ редко пишешь. Да я не в укор тебе. Сам знаю, сколь много дел у молодого, 14-летнего, — дня не хватает. Сам был таким.

По письмам твоим, неплохо тебе живется. Куда как хорошо, что уехал из Петербурга.

В Петербурге

теперь в жару хуже, чем зимой. Мы втроем жили тихонечко. Кормить нас стали лучше, даже по карточкам масла дали как-то.

Так что жили не очень уж плохо. Юля и Тамара решили и не уезжать.

Но вот однажды, недели две назад, в гостиной появились всякие вещи: и корзина, и чулки на кресле, и сапог на стуле — это

приехала Вера.

Приехала, яичек привезла, немного маслица, нащebetала, натрещала — и уж так-то хорошо, и уж таково неплохо, и как ее кто-то целовал, и как невестой называл...

Все ничего, масло — ничего, яички — ничего, но супротив невесты — не выдержало Тамарино сердце. Три дня и собирались всего.

Вот и узелок со всякой дрянью, вот и корзина, вот и денежки шелестят приятно от срочно проданного высокого (знаешь, такой глиняный, расписной) горшка.

Уезжают.

В воскресенье утром прохожие видели на Невском такую картину.

Впереди человек катил тележку, на тележке 2 узелка и 2 корзины. Два узелка и 2 корзины подпрыгивали от быстрой езды, падали на мостовую, причем всякая оттуда дрянь вываливалась и собиралась немедленно молодым человеком. За тележкой торопились три девицы. Молодой человек был я, а три девицы — Люма, Тамара и Вера.

Втроем.

Так вот и уехала Тамара с Верой. Письмо получили уж от нее.

Устроилась чудесно. А мы с Люмой зажили вдвоем. Виноват, втроем: третьим был Пампушка.

Вещи мы расставили по квартирам, по знакомым, Юля все дожидается от Вали командировки, Пампушка тоже. Юля берет его с собой. Только что-то нет от Вали ничего. Все ждем. Пампушка тоже.

Как только Юля уедет, я перееду на Петербургскую сторону... Заживу как-нибудь. Много ли мне нужно:

небольшие штаны
и что-нибудь из хлеба...

Ну вот, а пока живем тихонько. Юля совсем монашенкой — все дома, читает да шьет, — а я вечером, знаешь ли:

сапоги начистил, нос подпудрил и хвост трубой.

У Пампушки радости все тихонькие, кошачьи: за мухой погонится, лапой придавит, на окне полежит, цветок погрызет, подумает что-нибудь про свое кошачье и скажет: мяу.

Разве поймешь?

Да, так вот и ожидаемся втроем. Юля утром зевнет и скажет:

— Эх-хе-хе, нет еще от Вали ничего.

Я вечером тоже:

— Да, ох-хо-хо — нет командировочки еще.

И Пампушка: мяу!

О д н а ж д ы . . .

Я недели три назад написал тебе письмо, но при этом вышел такой случай.

Написал я на службе, запечатал уж. Думаю: опущу в кружечку сегодня.

А один человек увидел письмо.

— В Луки? — говорит.

— В Луки.

— Ну, — говорит, — счастливый же Вы! Везет же людям! Давайте письмо, я передам. Еду в Луки, знаете ли, и передам самолично. В собственные, значит, ручки передам. Это Вам не почта какая-нибудь, которая задерживает.

Ну, я и дал ему письмо.

Только вернулся он через две недели с лица бледный и не в себе, письмо вернул помятое и в крови и на все вопросы отмалчивался. Ну, думаю, плохо ездить в Луки. Совершенно плохо. И только потом выяснилось, что в Луки он еще и не ездил, а «побили ему морду» в Колпине на свадьбе, из ревности.

1 августа.

О т В а л и п р и ш л и б у м а г и .

Вот вчера Юля получила командировку. Не знаем, удастся ли по ней уехать, думаем, что да. Завтра Юля идет устраиваться.

Ну, мы успокоились. А то ждем-пождем — нет писем от вас, а квартиру отбирают, службу Юля бросила.

Как раз сидим (это я, Юля и Пампушка), сидим и думаем, что делать, вдруг приходит почтальон и приносит письмо.

— Наконец-то, — сказали мы.

Юля стала читать, я конверт рассматривать, а Пампушка воспользовался случаем и выпил достаточное количество молока из кувшина.

11 августа.

С е г о д н я .

Итак, Юля завтра начнет хлопоты по отъезду. И пора. Очень плохо опять стало в Петербурге. Все рынки закрыли. [...] обед — сам знаешь какой. Пора бежать отсюда. Я все больше и больше подумываю, куда бы уехать.

Живу я сейчас на Петербургской стороне, на Зелениной, 9, кв. 83. Ты напиши мне, Вятя, а то Юля уедет, и тогда я остаюсь один Зощенко в Петербурге.

Думаю, что скоро тебе напишу, да и Юля, если приедет, расскажет. Я очень доволен буду, если ты будешь с Юлей, и Юля ждет не дождется.

Так вот, брат Виталей, кончаю писать, хотел под конец что-нибудь интересное написать, да черт меня дернул — вспомнил, что завтра нужно ехать за дровами с тележкой, ну и настроение тово... понизилось. Эх-хе-хе.

Через месяц, если я не уеду, я беру отпуск на месяц, приеду к вам хоть на два дня.

Вале скажи, что я и ей собираюсь написать, и тоже много, и она тоже скажет: фу ты, пропасть сколько он написал, ну а пока пусть не думает, что забыл вас.

Миша.

¹ У М. М. Зощенко было пять сестер — Елена, Валентина, Юлия (Люма), Тамара, Вера — и два брата: Владимир и Виталий.

В. В. ЗОЩЕНКО

Июнь 1921 г.

Вера, ты странный человек. Мы условились взять твои сапоги — я взял. Заплатил 10 тысяч.

Теперь ты пишешь (мне передала мама письмо), чтоб я тебе прислал эти деньги и еще 10 тысяч.

Денег у меня нету. Достать их раньше как через неделю не смогу. Об этом нужно было раньше думать. И потом: ты только переехала. Я думаю, достаточно хозяевам пока половины цены.

Мне вот сейчас нужно платить 6 тысяч за дрова. Черт их знает, откуда достать, придется продать крупу или селедки.

Хлеб я получу в понедельник, только во вторник приеду сам. Твой же хлеб выслал тебе.

Если нужно, могу прислать крупы. Напиши.

Посылаю порошок для мальчика и книги.

Все остальное: корыто, блузки, костюм, хлеб привезу сам.

Пока целую.

Мих.

Мама просила передать, что она не может ничего сделать, что ты просишь.

А хозяину, ей-богу, достаточно. Живете два дня.

Поцелуй мальчика.

Мих.

Во вторник побранимся.

Пущено июля 1 дня.

С совершенным своим респектом посылаю Вам, жена моя Вера, один малый куверт песку — сахарного рефинада, другой малый куверт, но побольше — белой вермишели и вовсе малый оковалок свинины.

Оные съестные припасы: питания получены мною добавочным образом из учебного дома в размере от руки ниженаписанного:

- песку рефинада. — $\frac{5}{8}$
 - белой вермишели (оную вермишель вкусно уваривать в коровьем молоке) — 1 ф.
 - крупы с крысиным пометом — 2 ф.
 - оковалок кабана некрупного зело с костью и со сбоем — 1 $\frac{1}{2}$ ф.
- Сие все окромя протчей съестной рухлядишки и курительного табаку. Впредь выдача припасов приостановлена, дондеже [...] разрешения не получил. Но и сие нужно пока держать в селенсе, дабы пашквиль и кривотолки не случились.

Засим предворяю Вас, што жизнь в Санкт-Петербурхе премного слаще в холостом образе, чем в женатом, и даже жизнь эта сладчайшая.

Так вчерась случилось посетить театр, где усладил слух и зрение отменной музыкой и позорищем комедиантов и плясунов.

И так сие вострянуло младые годы, годы даже вьюношеские, што буде случится машкерад, пребуду и в машкераде.

Сапоги же Ваши изготовлены весьма изрядно, и оные сапоги во избежание покражи содержатся мною за картиной родной Вашей бабушки, што висит в углу красной гостиной комнаты.

Засим до свидания -- куранты бьют пять пополудни.

Повелеваю пребыть Вам и семье нашей в добром здравии.

Супруг Ваш

Михаил,

он же кавалер ордена Обезьяньего Знака¹.

в лето 1921
Санкт-Петербург.

¹ «Орден Обезьяньего Знака» был полушутя «учрежден» А. Ремизовым. Познакомившись с рассказом Зощенко «Старуха Врангель» (еще неопубликованным), Ремизов был восхищен дарованием молодого литератора и тут же удостоил его этой «высокой награды».

ИЗ ЗАПИСЕЙ 1917—1921 ГОДОВ

По натуре человек — идолопоклонник, фетишист.
 А то почему бы люди считали один образ лучше другого?
 Почему икона Иверской божьей матерн ценнее?
 Дайте людям другую веру — эта устарела, так же как некогда устарели боги.

Ужасно быть в плену у книг. И скоро придет день, когда я вовсе брошу читать, чтоб не потерять свою самостоятельность в мыслях.

Воистину ложь и искусство создают жизнь.

Самое важное в жизни — слова. Из-за них люди шли на костры.

Счастье узнаешь только тогда, когда оно прошло.

Каждый человек гордится своей драмой или трагедией в жизни.

Не только содержание, но фразы и даже отдельные слова должны быть в полной и чрезвычайной (совершенной) гармонии. Должен быть ритм, должен быть размер и музыкальный подбор. И каждому настроению — свой размер.

«Ну что ты, черт, поперечишься у входа. Мясо собачье!..»

И они жуют свою жизнь черными от табака зубами — вырыгивают свою жвачку.

Наслаждение и опасность — два чувства самые элементарные, самые первобытные.

Люди всегда поклонялись богам и женщинам, ибо от богов ждали опасности, а от женщин наслаждения.

Не жизнь создала искусство, а искусство создает жизнь.

Про себя мужчина любит говорить, а женщина любит слушать про себя.

После французской революции люди надели черные одежды вместо ярких шелковых камзолов и шелковых чулок. Надменные белые парики и пышные кринолины женщины сменили на простые прически и уродливые юбки.
 В этом больше печали по старому, нежели упрощения.

Порок, страдание и красота — три истины, из-за которых стоит еще пожить.

Если женщина добродетельна, то об этом знает только она одна.
 Если порочна — кто не знает?

Я часто верю только лжи, ибо как я могу поверить правде, если в ней больше уродливости.

Человек больше верит в то, что ему нравится (любит).

Воистину нужно иметь несколько богов, иным поклоняться, иным верить, а иных бояться. Ибо как я могу верить богу, если я его не боюсь?

Мужчина простит вам, если вы злы или даже неумны, но он никогда не простит вам, если у вас плохо натянут чулок.

Там, где растет печаль, там страдание мое, там и мое наслаждение. Ибо как я могу наслаждаться радостью, если радость никогда не бывает величественной, а страдание всегда таково?

Стремление к власти — сильнейшее желание сильных.

Давая милостыню, вы отдаете от себя часть своего, но и принимаете, и, может, еще больше.

Никогда не показывать вида, что вы обиделись на человека. Обида, казаться обиженным — это жалость к себе — унижает.

Боязнь казаться смешным — смешна.
Смешное — трагично.

Русский человек, да и, пожалуй, все человекообразные, чрезвычайно любит быть обиженным, чем обидчиком. В натуре это русского человека.

Русский человек неизвестного всегда назовет подлецом и архаизмом и уж потом и постепенно разглядит его добродетельные качества.

Ужасно любит человек пожаловаться и погоревать на свои несчастья человеку влиятельному и солидному, а пуще всего генералу.

И когда я кончил читать, он захохотал тоненьким вздрагивающим голосом. Потом заколыхался массивным своим телом в кресле, пошевелил губами и сказал:

— Это что! Вот я знаю...

И начал рассказывать старенький анекдот.

Счастье бывает не тогда, когда у вас все есть, а когда чего-нибудь нет и вы хотите этого и достигаете — вот счастье. Достигнув же, вы часто бываете несчастны, ибо в жизни вашей одним желанием уже меньше.

Объясненный бог — уже не бог.

Хихикал он, и говорил странные и ненужные слова, и всячески старался показать перед другими, что мы знакомы. Я даже позволил ему похлопать себя по плечу.

Я люблю человека, и хочется мне, чтобы человек был чаще Человеком.

И ударил его по личности.

Пошлость — привычка, и воля зависит от нее.
Только новое никогда не может быть пошлым.

Красивое никогда не бывает смешным.

Нужно придумать цель в жизни. Придумать идею. Или иметь в своей душе.

Но, может быть, цель в жизни — это стремление к бессмертию?

И в мир пришел величайший гений... Его ум — Достоевский и Гамсун, душа — Пшибышевский, ее тень мистическая — Андреев.

Внешность — Уайльда.

Специальность — удел бытовых людей.

Изящество во всем — в манере, и в голосе, и в мыслях, а главное — в отношении к людям.

Любовь к человеку — вот вечность. Любовь к женщине поистине ничтожна.

Мы привыкли! Что может быть пошлее этого?

Пошлее этого сама пошлость.

Тогда казалось мне, что все, что мы делаем человеческого в жизни, — это привычка, это придуманное и купленное случайно у старьевщицы-жизни.

Часто слово от употребления частого стирается, бледнеет и не выражает должного впечатления. Его нужно подновить.

Эпитет вкусовой, осязательный, обонятельный.

Человек любит похвалиться своими пороками. Это ужасно модно.

Но я видел его в жестокие моменты жизни, когда холодеет кровь и синеют кончики пальцев от рукопожатия смерти.

Труп зажаренной куропатки.

Литературная прическа. Кукольный период.

Обрученный с пошлостью.

Бытовое счастье. Бездарный, как ротный каптернармус.

Но я не сказал, что уже слышал эту новость. Я бы обидел его.

Прежде всего забочусь о красоте формы и грации и хочу, чтоб форма очень и совершенно соответствовала настроению. Я подчиняю музыкальному размеру все по законам своего настроения.

Вы слышите, как бежит время? Это неизбежное. Ужасное слово!

5 июня. 1918 г. Я приехал в Стрельню. В пограничную охрану.

Закон возмездия. Все возвращается, все приходит обратно.

Брошенный камень падает на бросившего его.

Нет такого явления, за которым не было бы расплаты.

...Чтобы не быть похожей на торговку...

Отвратная личность.

Профессиональная улыбка.

Обрученный со смертью.

Жажда бессмертия владеет всеми... Иными неясно, иными до ужаса. И стремление к бессмертию, к бесконечности — это жуткая бессаяльная реакция в природе, где чаще смерть и разрушение, и конец... Ум создает великие, «бессмертные» истины. «Бессмертные», ибо там, где чувством и зрением мы не видим непогрешимо конца, то называем робко бессмертным.

Душа стремится к великим вещам, ибо в великом часто «бессмертие». Для души не придуманы законы, и пути ее извилисты и неожиданны. Они ведут к Бессмертию души. Но часто и часто смерть настигает ее, а еще чаще усталость овладевает ею.

Стремление к известности, жажда славы и даже тщеславие — вот частые и испытанные пути души. Они ведут к «бессмертию». И это «бессмертие» — компромисс человека.

Он сказал:

— Нужно быть упругим, стальным и на стальных рельсах. Тогда легко подвигаться вперед. Это сокрушительная сила, это величайшая сила.

Но я ответил ему:

— Я предпочту быть простой телегой, чтоб, больно стуча колесами, тащиться по камням. Ибо тогда разнообразен путь и не проложен он мыслями другого.

Люди делятся на человекоподобных и Человека.

Первых большинство, а потому они нормальны в жизни.

Человек — ненормален. Во всем.

Идите к этой ненормальности. Это огромное, к чему должен подойти человек. Это не парадокс.

Нормальный умирает от несварения желудка. Ненормальный — от безумия.

Я говорю о ненормальности, но не о такой, как понимали бы это уездные барышни: человек, хихикая, идет по улице, грозит пальцем извозчику.

Разве может быть что-нибудь хуже нормального?

Часто писатель не думает, что это глубоко, просто так сказал, а критик вытащит, «углубит».

Наглые самоуверенные буквы.

И тоска уже не в сомнении, а в несомненном.

Получился дурной вкус искусства.

Не угодно ли?..

Впрочем, это рассчитано на неприхотливый вкус.

Патентованная литература.

Иные слова умирают совершенно.

К умершим я причисляю: грезы, излом, надрыв, переживание.

От них запах тления и величайшей пошлости.

У каждого своя бездна. У одного это сознание бессилия своего (огромное бессилие) и сознание, что не сможет сделать так, как хотел, у другого — женщина, у третьего — золото.

Есть неосознанные бездны, и они чаще глубже и опаснее, ибо из них не ищут выхода.

Его же бездна была — сознание, что никогда он не сможет быть творцом. Но он нашел компромисс.

«Цельная натура» — пошлейшая мещанка слова. Т. е. — идущая по ярко, еще бабушкой, намеченному пути.

Если это женщина, то это скучнейшая баба — она и прислуга, и добродетельная жена, и терпеливая любовница своего мужа.

Если мужчина, то это отличнейший помощник бухгалтера, примерный семьянин и тайный развратник.

Тело — орудие моего инстинкта. Инстинкт рождает чувства. Разум регулирует их, а душа, неведомая, непостижимая душа — гармония над инстинктом моим, над моими чувствами и разумом.

Я стою в центре — все для меня. Только в центре быстро вращающегося круга можно найти покой (философскую точку). Горе мне, если сомнение — центр ли, где я стою? — заставляет покачнуться, сила центробежная, и я в ее власти

Прежние творцы воспроизводили «вещи», а новые творцы воспроизводят свои душевные состояния.

Первые приводили в порядок явления и впечатления в том виде, в каком они укладывались в их мозгу, вторые воспроизводят только те чувства, которые возбуждаются этими явлениями.

Вот причина классичности прежнего творца.

Путь мозга — путь жалких пяти чувств, которые обнимают жизнь в ее глупой и грустной будничности.

Путь души — путь через пропасти с мучительным предчувствием иной жизни.

Путь мозга — путь математики, логики и естественных наук; душа — праздничный день — она не знает интегралов ни во времени, ни в пространстве.

«Царапнула глазом» —

это удивительно характерно. Это преувеличенное обновление старых слов. Слова — посмотрела, взглянула — устарели. И не вызывают у нас ярких представлений.

Царапнула глазом — заставляет по-иному взглянуть.

Мои статьи 1919 г.

Статья о Теффи. Шаржи и карикатуры. Городской юмор.

Статья об Анне Мар. Литературный справочник по патологии.

Статья «Неживые люди» (Иибер, Вертинский, Иза Кремер) — к умирающему индивидуализму¹.

Крыть нечем.

Шамать.

Шпана.

Хоть бы кто плюнул.

Все на свете.

Чертova Маруська.

Чертово лихо.

Иройское дело.

Отрицал науку как вымысел и неточность — Земля-то, может, и не вертится.

Граммoфон играл только марши и громкие, с трубой и барабаном, вещи.

В комнате с нехорошим желтым светом молча плясали три пары замысловатый кадрили, притоптывали ногами и били в ладоши.

Голодовать.

Очень мерзостно смотреть.

Хвалился знакомством под шпилем.

Вкус любви.

Средней честности.

Я не освящен.

Совсем напротив.

Покупил.

Размoлаживайте.

Пестрая корова.

Нежное обращение понимал.

Скалозубая.

Лосный (блестящий).

Шестины.

Булок подложила к чаю.

Больно хорошо.

Дребезнет.

Отвод.

23 мая. Читал «Старуху Врангель» в Доме искусств.

Похлопали. Пожал кой-кому руку.

Июнь. Был у Ремизова. Читал повесть — одобрил... Говорили долго.

Май 21 г. Бор. Пильняк. Познакомился с ним у Замятина. Любопытен. Умен и хорошо талантлив.

Однако не верю, что будет крупной величиной. Читал повесть «Иван да Марья».

Хорошая повесть. Растрепанная, пожалуй, сделанная. Скучная.

Пильняку 27 лет — рыжий, выше средн. Трепанный, на правой ноге мозоли.

Ал. Макс. с ним носится.

Записан в кавалеры ордена Обезьяньего Знака.

Ал. Макс. Читал «Старуху Врангель». Понравилась. Я был у него.

Он все время читал выдержки и говорил, что написано блестяще.

Но узко наш интерес. Даже только петербургский. Это плохо.

Как, сказал, мы переведем на индусский язык такую вещь? Не поймут.

М. Слонимский говорил, что Ал. Макс. сказал: двое талантливых — Луид и Зощенко. Третий, Всеволод Иванов, забьет их.

Июнь — июль писал повесть «Красные и белые». Повесть погибла. Нарочно растрепал ее и этим испортил. Ал. Макс. сказал, что из всех моих вещей эта слабее и многословней. Многословней! На 1½ листах — огромный роман. Иные места очень, думаю, хорошие, погибли.

Альманах «Братья Серапионы».

Три мои рассказа:

«Любовь».

«Старуха Врангель».

«Рыбья самка»².

Очень понравилась Ал. Макс. «Рыбья самка».

Альманах Гржебина. Даю «Войну».

Альманах «Алконост». Дал «Передать князю»³.

«Передать князю» читал у Замятина. Понравилось всем. Познакомился со Щеголевым⁴. Толстый и умный человек.

Август. Умер Блок.

Изменился неузнаваемо.

В гробу похож на Гоголя.

Провожу странное сравнение со смертью Пушкина.

А! Убежал Ремизов.

Дико.

Человек два часа говорил:

— Не понимаю, что нужно, скажем, Ал. Толстому, графство его, что ли. Зачем ушел из России? Что будет делать? Я б этого не сделал.

И вот. Дико.

Да, рано еще полное спокойствие предсказывать.

¹ Указанные и прочие статьи, которые планировались Зоженко к печати в критическом сборнике под общим названием «На переломе», до сих пор не опубликованы и известны лишь узкому кругу исследователей.

² Перечисленные Зоженко рассказы в альманахе «Серапионовы братья» (1922) не попали. Был напечатан рассказ «Виктория Казимировна» (один из «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова»).

³ З. И. Гржебин «Войну» не напечатал. Рассказ появился в «Веселом альманахе» (М. «Круг», 1923), редактировавшемся А. Воронским. «Передать князю» — рассказ из цикла «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» — в «Алконосте» напечатан не был.

⁴ Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931). При его участии было осуществлено первое советское полное собрание сочинений Пушкина.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Т. МОТЫЛЕВА



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ

Тема нашей победы над фашизмом многогранна. Занимаясь ее разработкой, искусство последних десятилетий с неизбежностью задается вопросами: какова природа той политической силы, которая ввергла народы Европы в ужасы кровопролитной войны? на какой почве возшла фашистская идеология? чем она грозила и грозит человечеству?.. Борьба, унесшая десятки миллионов человеческих жизней, велась не только против немецкой военной машины, но и против нацистской идеологии, которой вдохновлялся агрессор, посягнувший на мировое господство. Почти сорок лет, минувших с победного мая 1945-го, сообщили особую актуальность этому аспекту темы.

Своим фильмом «Обыкновенный фашизм» М. Ромм говорил зрителю: раковая опухоль вырезана, но метастазы ее расползлись далеко за пределы Германии. Еще и сегодня на немецкой земле, в ФРГ, как и в Италии, фашизм далеко не сошел со сцены. Текущая газетная хроника на этот счет достаточно красноречива.

Живучесть фашизма проявляется и в многочисленных попытках реабилитировать и обелить преступников. бесповоротно осужденных историей. Влиятельные западные публицисты стараются наперекор очевидности найти нечто положительное в деяниях убийц и мракобесов, а главное — затушевать связь между фашизмом и интересами монополистического капитала.

В книге одного достаточно серьезного журналиста можно прочесть, например, следующее: «Гитлера не так легко поставить на крайнюю правую сторону политического спектра, как это привыкли сегодня делать некоторые лица. Он, конечно, не был демократом, но он был популистом, то есть человеком, власть которого опиралась на массы, а не на элиту, в некотором смысле — народным трибуном, достигшим абсолютно-

го могущества»¹. Еще хлеще высказывается автор объемистой, сенсационно популярной на Западе биографии фюрера: «Место Гитлера в истории скорей среди великих революционеров, чем среди властителей охранительного, консервативного образца». Период господства Гитлера, по мнению биографа, следует рассматривать как «террористическую, в известном смысле якобинскую фазу той широкоохватной социальной революции, которая ввела Германию в XX век и до сих пор не получила еще своего завершения»².

Антифашистская литература в своих лучших образцах твердо противостоит всей этой реакционной лжи. И нельзя считать случайным, что в последние десятилетия как бы в ответ на разнообразные попытки гальванизации и реабилитации фашизма в разных странах выходят, переиздаются художественные произведения, говорящие читателям правду, раскрывающие фашизм не только как историческое прошлое, но и как сегодняшнюю опасность.

Стоит задуматься над современным смыслом термина «антифашистская литература». Есть основания сказать, что вся мировая литература, утверждающая идеи гуманизма и мира, равноправия наций и рас, достоинство человека, является, по сути дела, литературой антифашистской. И творчество наших советских писателей, и все лучшее, что создано в ГДР и других странах социалистического мира, относится к антифашистской литературе в этом широком смысле. Но можно понимать этот термин и более локально. Есть книги, в основе которых прямо и непосредственно лежит антифашистская тематика: изображение фашизма (или неофашизма) как реакционной, антигуманистической общественной силы, худо-

¹ Sebastian Haffner. Anmerkungen zu Hitler. München. 1978, S. 77.

² Joachim C. Fest. Hitler. Eine Biographie. Frankfurt am Main, Berlin, Wien. 1974, S. 1035—1037.

жественный анализ путей и способов борьбы с ним. О таких книгах преимущественно и пойдет здесь речь.

Антифашистская литература (даже в самом непосредственном, конкретном смысле) не эпизод истории культуры отдельных стран, а одно из магистральных явлений духовной жизни нашего века. Она очень разнообразна даже и по национальному составу — она существует не только в обоих немецких государствах, не только в странах социалистического мира, но и в ряде стран Запада. Современная антифашистская проза включает в себя книги, очень несходные по художественным средствам и приемам, — от чистой документалистики до символики и гротеска. Она неоднородна и по идейным оттенкам. Наряду с писателями коммунистической ориентации или писателями, приближающимися к марксизму, среди авторов выдающихся антифашистских романов есть и писатели противоречивого идеологического облика. Но и их книги при всей спорности вносят свой вклад в антифашистскую литературу.

Давние романы-предостережения (в частности, известная у нас книга Синклера Льюиса, иронически озаглавленная «У нас это невозможно») говорили о том, что назревает и может произойти. Книги о фашистской Германии, созданные писателями-изгнанниками («Болотные солдаты» В. Лангхоффа, «Семья Опперман» Л. Фейхтвангера, «Испытание» В. Бределя), давали миру достоверное свидетельство: вот что происходит в фашистском рейхе! С течением лет в антифашистской литературе получали развитие аналитические тенденции, стремление исследовать природу фашизма, прощупать корни зла — исторические, социальные, психологические. Этот пафос анализа, исследования получил дальнейшее развитие и в лучших антифашистских книгах последних десятилетий, книгах, говорящих о том, что происходило полвека или более назад и может возобновиться.

В странах Запада существует много различных толкований сути фашизма. Нередко его главной чертой объявляется «тоталитарная» форма власти безотносительно к ее классовому содержанию; иногда он характеризуется как диктатура мелкой буржуазии, или порождение извечного «рока» истории, или выражение иррациональной, демонической природы отдельных фашистских лидеров. Спор о сущности фашизма, начавшийся на Западе десятилетия назад, продолжается. И находит свое отражение в художественной литературе.

В литературе последних десятилетий воп-

рос о природе фашизма — один из центральных. Писатели разных стран пытаются в свете опыта новейшей истории возможно полнее и глубже проникнуть в суть фашизма как преступной, античеловеческой системы. Продолжают появляться документальные работы о злодеяниях гитлеровцев; одна из них — книга французского писателя-коммуниста В. Познера «Спуск в ад. Свидетельства об Освенциме» (1980), производящая сильное впечатление самою безыскусственностью приведенных в ней показаний. Однако в антифашистских публикациях последних десятилетий преобладает не столько тяга к фактографичности, сколько аналитическая тенденция — стремление разобраться.

Этим стремлением был одушевлен и один из больших мастеров культуры нашего столетия, Роже Мартен дю Гар, который в течение долгих лет, с 1941 года и до самой своей смерти в 1958 году, трудился над обширным романом «Подполковник де Момор». Главы из этого романа, оставшегося незаконченным, и подготовленные к нему материалы опубликованы недавно отдельной книгой. Писатель был намерен дать целостное жизнеописание человека, начавшего самостоятельную жизнь незадолго до рубежа столетия, патриота Франции, честного и духовно независимого. В дни второй мировой войны де Момор — старик, инвалид, давно вышедший в отставку, — трагически переживает поражение своей страны.

Автор «Семьи Тибо» и в последней своей книге работал одновременно и как историк-исследователь, и как биографист, и как социальный психолог. Он постарался воплотить в отдельных персонажах различные модели нацистского мировоззрения. В подготовительных материалах к роману даны характеристики нескольких офицеров вермахта — каждому романисту предоставляется трибуна для самовыражения. Именно так хочет он подойти к проблеме: как могла овладеть умами миллионов немцев эта человеконенавистническая идеология, варварская политика?

Наиболее распространенный, массовидный тип гитлеровца, представленный здесь, носит фамилию Керт. Его судьба такова же, как у миллионов немцев его возраста: сын инвалида первой мировой войны, выросший в бедности, неудачник и недоучка, он воспринял «Майн кампф» как откровение. Приход Гитлера к власти расчистил Керту путь к личному благополучию. Он твердо убежден, что все немцы, примкнувшие к нацистской партии, имеют право на материальные привилегии, выгодные места, награды; подобно

многим другим он мечтает в результате нападения на СССР урвать надел плодородной украинской земли. «Для Керта право, справедливость, законность или нарушение закона и т. д. — понятия абсурдные, лишённые положительного смысла и практической ценности. Инстинкт сохранения и подъёма расы выражается и утверждается насильем. Именно сила решает все, успех — оправдание всему. Таково его „кredo“». Подобным же образом, напоминает писатель, рассуждали и «палачи Инквизиции и убийцы Варфоломеевской ночи»...

Другой гитлеровец — Гральт, сын пастора, историк. Отстаивая свое собственное мистифицированное представление о фашизме, он принимает «антикапиталистическую» демагогию Гитлера совершенно всерьёз. Нацизм, говорит он, «родился в глубинах германской расы, выражает полностью ее инстинкты, восторги, чаяния». Он пытается даже увидеть в жизни третьего рейха некий подъем личностного начала. Но в то же время, замечает автор, Гральт «употребляет выражения, в которых обнаруживаются равнодушные нацистов к личности, к ее праву на существование и на собственную мысль»: «выработать новое лицо Германии», «вылепить из немецкой глины человека завтрашнего дня», «заграбастать Европу». И в не меньшей мере, чем его более откровенно циничные единомышленники, Гральт убежден: «В жизни, посвященной великим деяниям, мещанские добродетели ни к чему. В иных случаях несправедливости, жестокости, даже преступления — всего лишь приводящие моменты, и они никак не могут опорочить величие и законность жизни героя. Тот, кто силен, может себе позволить в определенных обстоятельствах становиться преступником, с точки зрения людей заурядных».

В ходе этого социально-психологического исследования Роже Мартен дю Гар дает суровую оценку гитлеровского режима; предоставление слова противнику тут в высокой степени себя оправдывает как полемический прием.

Но вполне ли оправданны обобщающие суждения старого писателя-гуманиста? Всех лучших, передовых немцев пишет Мартен дю Гар, фашисты изгнали из страны или физически уничтожили. «Во мне нет больше веры к современному немцу, отравленному гитлеровским правлением. Невозможно преобразовать, перевоспитать целый на род».

Попытка Роже Мартен дю Гар возложить ответственность за преступления гитлеризма в равной мере на всех немцев, остав-

шихся в живых, вполне в духе международной публицистики 40-х и начала 50-х годов. И не один Мартен дю Гар склонен был именно так — категорически, недифференцированно — судить о Германии в целом, о немцах в целом. Действительность послевоенных десятилетий внесла существенные поправки в подобные воззрения.

У ряда западных прозаиков проблема фашизма встает в широком международном контексте — восхождение гитлеровской клики раскрывается на фоне общего кризиса капиталистического мира. Советскому читателю известна, в частности, диалогия английского писателя Ричарда Хьюза «Лисица на чердаке» и «Деревянная пастушка» — она вышла на русском языке двумя изданиями. Романист, умерший в 1976 году, не успел осуществить свой замысел большого эпического цикла, который он хотел назвать «Удел человеческий». Но и те два романа, которые мы знаем, интересны в первую очередь своим антифашистским содержанием. В первом из них кульминация действия — неудавшийся «пивной» путч Гитлера в Мюнхене. Во втором — расправа Гитлера с группой его бывших сторонников (Ремом, Штрассером и другими) летом 1934 года.

Р. Хьюзу в целом ясны исторические, социальные факторы, которые способствовали подъему гитлеровской диктатуры. Немалое значение тут имеет «золото Круппа». Кликушеские призывы будущего фюрера к походу против коммунизма и борьбе за мировое господство пришлось кстати капиталистическим хозяевам Германии, были (о чем говорится вскользь) с сочувствием услышаны и в Англии и в США. Однако романист вводит в сюжет и другой ряд причин, в силу которых безродному ефрейтору удалось стать кумиром миллионов немцев и диктатором страны. По мысли Хьюза, склонность к фанатизму и насилию заложена в немецком национальном характере: именно поэтому, полагает он, население Германии поддавалось коллективному безумию. И в самой судьбе Гитлера и его поведении романист выдвигает на первый план патологические, даже сексуально-патологические мотивы. Отсюда ряд эпизодов весьма сомнительного вкуса. К сожалению, передовые революционные силы Германии, те, на кого обрушились первые удары фашистского террора, вовсе вне поля зрения автора. И это ослабляет историческую достоверность его многообъемлющего повествования.

В противовес глобальной широте диалогии Р. Хьюза роман американки Кэтрин Энн Портер «Корабль дураков» (Нью-Йорк, 1962)

замкнут в намеренно узкие пространственные и временные рамки: перед нами пассажиры немецкого парохода, совершающего переезд из мексиканского порта Веракрус в германский порт Бремерхафен, и действие длится столько, сколько длится сам этот рейс. Но роман богат социальными, психологическими обобщениями, выходящими далеко за пределы истории одного путешествия, и не зря эта книга получила международную известность.

Название заимствовано из сатирической поэмы Себастьяна Бранта, немецкого гуманиста XV—XVI вв. К. Э. Портер писала в кратком вступлении к книге: «Начиная обдумывать свой роман, я выбрала для него этот простой, едва ли не всеобъемлющий образ: мир — корабль на пути в вечность. Образ отнюдь не новый — когда им воспользовался Брант, он был уже очень стар, прочно вошел в обиход и с ним все сроднились; и он точно отвечает моему замыслу. Я тоже странствую на этом корабле»³.

Таким образом, романистка сразу делает заявку на сюжет «едва ли не всеобъемлющего» характера. Сразу обозначены и даты начала и окончания работы автора: август 1941-го — август 1961-го. Тем самым отмечена подспудная связь романа с событиями второй мировой войны и с другой стороны с послевоенной действительностью. Картина общества, где все поколеблено в своих основах, где тень катастрофы нависла над людьми, не «универсально»-вневременна, а исторически конкретна. Действие разворачивается в дни мирового экономического кризиса — об этом, опять-таки с самого начала, напоминает перечень действующих лиц. Помимо пассажиров, направляющихся в Бремерхафен в августе — сентябре 1931 года — немцев, швейцарцев, американцев, шведа, кубинцев-студентов, — в список включены и «восемьсот семьдесят шесть душ испанцы — мужчины, женщины и дети, поденщики с сахарных плантаций» (их высылают обратно на родину после краха, разразившегося на сахарном рынке). Они едут на нижней палубе, где есть место в лучшем случае для трехсот человек.

Пассажиры «корабля дураков» непорочно отчуждены друг от друга, разобщены целой системой антагонизмов: семейных, личных, национальных, религиозных. Но самый главный антагонизм здесь — классовый. Пассажиры кают и обитатели нижней палубы — два социальных мира, резко противостоящих друг другу. Для имущей пуб-

лики, путешествующей в каютах, испанцы-поденщики, которые ютятся в тесноте и грязи, спят вповалку, едут в неизвестность, — «обезьяны», «дикари», не заслуживающие лучшей участи.

Таков социальный фон, на котором разворачиваются антифашистские, антирасистские мотивы романа. Немцы, едущие в первом классе — в особенности издатель рекламного журнала Рибер и коммерсантка Шпенекенкикер, а заодно с ними и капитан корабля Тиле, — становятся главной мишенью авторской сатиры. Эти люди захвачены волной шовинизма, поднимающейся в Германии накануне фашистского переворота. Они втайне презирают и американцев и испанцев как людей не вполне чистой расы (кто разберет, сколько тут примесей негринской, индейской, мавританской крови?), мексиканцев вовсе не считают за людей и особенно ненавидят евреев. Националистическая спесь сочетается у них со спесью кастовой, с брезгливым пренебрежением к «низшим» классам, ко всем бедным и убогим. Рибер открыто разглагольствует о том, что всех «неполноценных» надо физически уничтожать. «Я знаю, что я бы для них сделал! Загнал бы всех в большую печь и пустил бы газ!» Так раскрывается психология будущих палачей.

Тревожная атмосфера романа определяется не только агрессивным поведением завтрашних нацистов. В размышлениях и разговорах персонажей не раз упоминаются классовые бои в США, размах забастовочного движения; отдаленным фоном действия становится и революционное брожение в Мексике. В разных точках земного шара неспокойно: надвигающийся в Германии фашизм, по мысли автора, явление не только немецкое, это одно из крайних выражений тех противоречий, которые созревают и обостряются в мире.

В романе К. Э. Портер газовые камеры Освенцима — зловещая перспектива, нависшая над Германией и Европой. В романе Уильяма Стайрона «Софи делает выбор» (Нью-Йорк, 1979) они — недавнее прошлое, о котором нельзя, недопустимо забывать. Стайрон хочет, чтобы его соотечественники ясно представляли себе это прошлое. Он так и сказал советскому критику⁴: «Мы, американцы плохо осознаем то, что фашизм — абсолютное зло». Этой мыслью одушевлен его роман, в центре которого трагическая судьба польки, пережившей Освенцим, потерявшей там двух малолетних детей.

³ Текст романа К. Э. Портер цитируется по переводу Н. Галь (рукопись).

⁴ См. послесловие Г. Злобина и публикацию глав из романа Стайрона («Иностранная литература», 1981, № 1).

Главы романа, опубликованные в «Иностранной литературе», дали советским читателям хотя бы первоначальное представление об этой сильной и значительной книге. Используя документальный материал о злодеяниях гитлеровцев, романист сумел переплавить подлинные факты в художественное повествование, исполненное напряженного драматизма.

Писатель трезво видит, что абсолютное зло фашизма вовсе не было порождением таинственных роковых сил или извечных свойств германской нации. Среди действующих лиц романа — врач-нацист, производящий по приказу своего начальства «селекцию», то есть отбор трудоспособных среди пленников, прибывающих в лагерь уничтожения. Выполняя день за днем свое варварское дело, он утратил человеческий облик, погряз в алкоголизме, превратился в изверга и полуживера — романист не зря дает ему условно-гротескное имя Йеманд фон Ниманд, Некто Никто. «Не мог он не знать, что рабовладельческое предприятие, на котором он работал (а вернее, гигантская бойня, изрыгающая остатки бывших людей), — это издевательство над богом, отрицание его. И к тому же в конечном счете он был вассалом концерна «ИГ Фарбен»... Бога ему заменило сознание всемогущества бизнеса». А всемогущество бизнеса, способное вызывать к жизни самые вопиющие преступления против человечества (это американскому писателю отлично известно), — явление не только немецкое.

Международному аспекту феномена фашизм уделил самое пристальное внимание Курцио Малапарте в своей талантливо написанной книге «Капут», впервые появившейся вскоре после окончания второй мировой войны и завоевавшей прочную мировую славу. Это цикл репортажей, объединенных в целостное повествование.

Судьба автора в высшей степени парадоксальна. Курцио Малапарте начал литературную карьеру в качестве члена фашистской партии, редактора и корреспондента крупных итальянских газет. Его статьи и книги не раз вызывали недовольство фашистских властей, навлекали на него репрессии, однако благодаря заступничеству своего давнего друга Галеаццо Чиаано, зятя Муссолини, он смог продолжать журналистскую работу и в годы второй мировой войны. Последнее десятилетие его жизни, вплоть до смерти в 1957 году, отмечено судорожными поисками, колебаниями в диапазоне от ультралевого «коммунизма» маоистского образца до ортодоксального като-

лицизма. Как бы то ни было, «Капут» — книга примечательная.

В кратком авторском вступлении Малапарте рассказывает, что начал писать ее на Украине. Хозяин дома, где он жил, колхозник Роман Сушеня, спрятал начатую рукопись, когда за автором пришли гестаповцы. И в этом вступлении и на последующих страницах автор с глубоким уважением говорит о советских крестьянах, которых «три пятилетки и колхозы избавили от нищеты». Открыто выражая симпатию к советским людям, автор обнаруживает и свое неприятие фашизма.

Тут уместно говорить скорей именно о чувствах, чем о продуманной системе взглядов. Но есть основание поверить в искренность Малапарте, когда он признается, что во время войны ему стало стыдно носить итальянскую военную форму. Более того — было стыдно, что он христианин. Понятна мысль автора: ответственность за катастрофу, постигшую народы, лежала, по сути дела, на всей цивилизованной, христианской, капиталистической Европе. Не только на фашистах, но и на тех, кто их поддерживал, им попустительствовал.

Положение влиятельного журналиста, тесно связанного с правящей итальянской верхушкой, давало Малапарте такие возможности, какими не располагал ни один прогрессивный литератор: он смог изобразить изнутри европейскую социальную элиту. Действие книги происходит — помимо Германии и Италии и помимо оккупированных фашистами областей СССР — и в Польше, Румынии, Югославии, Финляндии, Швеции, Франции. Среди персонажей — собеседников автора принцы и принцессы европейских королевских фамилий, министры, дипломаты, генералы, лидеры фашистских и профашистских режимов. Много места занимают описания международных светских встреч, приемов, обедов, порой и попоек; воспроизводятся пустые, иногда вызывающе циничные разговоры участников. И в качестве контрапункта даются тут же рядом зарисовки зверств, леденящие душу.

В варшавском гетто Малапарте видит, как гестаповцы уводят старика и мальчика-подростка; оба идут совершенно голыми, а мороз тридцатипятиградусный. Арестованные знают, что их ведут на расстрел, и оставили одежду своим близким — жители гетто давно обносились и ходят в лохмотьях.

В украинском селе Малапарте видит, как

⁶ Книга Малапарте цитируется по французскому изданию: Curzio Malaparte, *Caputt*, Paris, 1963.

немецкой полковник с помощью переводчика-зондерфюрера экзаменует советских солдат, взятых в плен. Тем, кто прочтет отрывок из газеты толково, без запинки, обещаю легкая конторская работа в лагере. Выдержавших экзамен увозят и расстреливают. Зондерфюрер поясняет: «Надо очистить Россию от всех этих юнцов-грамотеев. Те, кто хорошо читает и пишет, — люди опасные, они все коммунисты»...

В Бессарабии Малапарте разговаривает с молодыми интеллигентными еврейками, насильно водворенными в публичный дом вермахта. Им посулили, что через двадцать дней их отпустят. Но автор книги знает, что по истечении этого срока измученных женщин убьют — такова практика.

Сателлиты Гитлера — в этом Малапарте не раз убеждался — не уступают гитлеровцам в изощренной жестокости. Анте Павелич, поглавник хорватских фашистов, самодовольно показывает итальянскому корреспонденту оригинальный трофей — корзину, наполненную студенистой массой. «Это подарок от моих верных усташей: двадцать кило человеческих глаз».

Склонность к зверствам не заложена в натуре людей или в природе какой-либо одной нации. Но можно при определенных условиях привить людям палаческие навыки. Малапарте описывает со слов собеседника-эсэсовца, с чего начинается в привилегированных отрядах лейбштандарте обучение новичков. Они обязаны уметь «переносить чужие мучения, не морщась», и учатся в порядке тренировки, держа в левой руке живую кошку, вырезать ей глаза с помощью маленького ножика. «Вот так они готовятся к тому, чтобы убивать евреев».

Малапарте не претендует на роль историка, социолога, интерпретатора политических событий. Он довольствуется ролью свидетеля, потрясенного до глубин души тем, что ему довелось узнать и увидеть. Да, прямыми военными преступниками были именно фашисты разных калибров — об этом напоминают безжалостные, исполненные сарказма портретные зарисовки Гимmlера, Франка, Антонеску: Малапарте не щадит и соотечественников, высокопоставленных итальянцев, включая и своего покровителя графа Чиано. Однако он не скрывает и того, что у фашистских режимов были явные или тайные союзники в буржуазно-демократических государствах Европы. Он вспоминает, в частности, давний разговор с сэром Освальдом Мосли, претендовавшим стать «английским Муссолини», — тот уверял, что у него много сторонников, в особенности среди «верхних десяти тысяч». И в конеч-

ном счете именно против «верхних» десятков тысяч различных империалистических держав — не одной лишь Италии, не одной лишь Германии — направлено обличительное острие книги Малапарте.

«Капут» был написан по горячим следам событий второй мировой войны, почти одновременно с ними. Писательница Эльза Моранте выпустила свой роман «История» через три десятилетия после краха итальянского фашизма: у нее была возможность осмыслить события с дистанции времени, такую задачу она и поставила перед собой (недаром книга озаглавлена «La Storia», то есть История с большой буквы). Выход романа, адресованного массовому читателю (с посвящением: «Неграмотному, для которого я пишу»), стал своего рода литературной сенсацией, тиражи достигли необычно высокой цифры, появились и переводы на иностранные языки. Известная советская итальянистка Ц. Кин дала обстоятельный анализ романа Моранте в своей книге «Итальянские мозаики»; затем о нем писали у нас и другие авторы, включая автора этих строк. Поэтому есть смысл органичиться здесь краткими замечаниями.

Действие романа происходит в Риме, преимущественно на его окраинах, где ютится беднота; годы действия 1941—1947. Первые в литературе своей страны Э. Моранте дала впечатляющую картину жизни самых незащищенных и приниженных слоев народа — ремесленников, люмпен-пролетариев, безработных — в дни господства и распада фашистской диктатуры. В обобщенном авторском повествовании бесплощадно резко охарактеризованы фашистские властители, бегло, но выразительно очерчена злобная фигура дуче. На другом полюсе действия — бедная мать-одиночка, трогательный образ ребенка Узеппе, вырастающий в своеобразный символ страдающего человечества и тех нравственных ценностей, которые попорчены фашизмом. Все это обеспечило книге заслуженный читательский успех.

Вместе с тем Эльза Моранте, проявившая себя как бытописатель незаурядной силы, оказалась крайне слабым мыслителем. Хроника событий международной жизни, открывающая каждую из глав, составлена по материалам расхожих на Западе пособий; эта хроника, по мысли автора, должна была подкрепить социально-философскую концепцию романа, согласно которой смысл истории — в смене различных форм угнетения человека человеком. Богатые и сильные торжествуют, бедные страдают — так было, так будет. Внеисторическая идея неискоренимости зла наносит явный ущерб книге Моран-

те, несмотря на все богатство красок и образов.

Тезис о вневременной, непостижимой, а значит, и неодолимой сути фашизма в разных вариациях уже давно приобрел хождение в западной литературе и публицистике. Явные отголоски его мы находим и в романах-притчах, созданных выдающимися писателями в первые послевоенные годы.— в «Чуме» А. Камю, в «Повелителе мух» У. Голдинга. Но в этих произведениях при всей двойственности философской концепции есть пафос уважения к человеку, к нравственным силам, способным противостоять злу. У писателей менее крупного масштаба подчас берет верх взгляд на фашизм как на зло вездесущее и всеохватное. А художественное иносказание, возведенное в доминирующий творческий принцип, само по себе вещь обоюдоострая: обращение к притче, символу, мифу может прояснить глубинную сущность явлений, а может и затемнить ее.

Роман французского прозаика Мишеля Турнье «Лесной царь», увенчанный Гонкуровской премией еще в 1970 году, с тех пор неоднократно переизданный (вышедший, кстати, и в ГДР), привлек одних читателей своей антифашистской тенденцией, местами очень ярко выраженной, а других, быть может, скорей той необычайно затейливой системой символов, которая придает всему повествованию двусмысленный характер.

Название книги подсказано известной балладой Гёте. На основе фольклорного сюжета писатель строит антитезу: на одном полюсе невинный мир детства, на другом — зловещая магическая сила, враждебная всему живому (подобная же антитеза образует скрытый символический план романа Моранте, о котором только что шла речь). Однако М. Турнье, начиная с первых же глав романа, странным образом запутывает понятия, как бы смещая границы добра и зла. Лесной царь соотносится здесь с Христом, святым подвижником из церковной легенды, перенесшим Христа через бурный поток, а также и с... Григорием Распутиным, которого автор аттестует как «целителя» царевича Алексея и противника войны 1914 года (!). Вся первая половина книги — исповедь своеобразного антигероя, автомеханика Абеля Тиффожа, мизантропа и циника, одержимого патологическим влечением к детям и подросткам и столь же патологической ненавистью к своей родине Франции. В дни войны он с удовольствием сдается в плен немцам.

Тут и начинается основное действие романа. Тиффож служит гитлеровцам верой и

правдой и делает головокружительную карьеру. Повествование о перипетиях этой судьбы выдержано, как и роман в целом, в условном ключе, с большим обилием мифологических реминисценций, но в то же время и с опорой на подлинные факты и документы истории третьего рейха.

Из лагеря военнопленных где-то в Восточной Пруссии Тиффож попадает в лесной заповедник. Здесь водятся в изобилии и лоси и олени, есть даже зубры; сюда нередко приезжают рейхсмаршал Геринг и другие фашистские иерархи, для них устраиваются пышные охотничьи празднества, и каждому в зависимости от чина и ранга заранее намечаются объекты для отстрела. По ходу действия естественно возникают параллели между лесным зверьем и звериными нравами гитлеровцев. Выразительна сценка, завершающая описание одного из таких празднеств:

«Последним впечатлением, которое осталось у Тиффожа от этого дня, было зрелище громадного ковра из белого и русого меха, составленного из тушек тысячи двухсот убитых зайцев. Геринг, лично уничтоживший двести зайцев и провозглашенный королем охоты, встал один в центр этого пушистого кладбища и принял позу перед своим официальным фотографом, выштянув живот и подняв в правой руке маршальский жезл.

На следующее утро германская пресса дала в черных рамках сообщение о капитуляции под Сталинградом маршала фон Паулюса вместе с двадцатью четырьмя генералами и остатками Шестой армии в количестве ста тысяч человек»⁶.

Гитлеровский рейх разваливается под ударами Советской Армии, и у фашистских сатралов остается все меньше времени для охотничьих забав. Тиффож, как полезный слуга своих господ, переводится на другую работу — в хозяйственную часть «национально-политического училища» в Кальтенборне, где сотни подростков обучаются военному делу. Романист развертывает документально точною картину фашистского воспитания юношества, цитирует в дословных переводах каннибальские гимны гитлер-югенда, описывает методы физической закалки, влекущие за собой человеческие жертвы, и средневековый ритуал официальных торжеств. Среди воспитателей некий видный специалист по расовой теории: он с гордостью демонстрирует свою коллекцию отрубленных голов советских «евреев-ко-

⁶ Michel Tournier. Le Roi des Aulnes. Paris. 1982.

миссаров» — они хранятся заспиртованными в стеклянных сосудах и служат для антропологических «исследований» (Турнье в особом примечании сообщает, что этот факт не выдуманый).

Издательство Галлимар постаралось нейтрализовать, затушевать острое политическое содержание романа Турнье. На обложке массового издания изображен фрагмент старой итальянской картины — святой Христофор с младенцем на плече. И в обстоятельном послесловии выдвинуты на первый план мистико-символические и сексуально-патологические мотивы романа, а о его антифашистском смысле не сказано ни слова.

Авторская позиция здесь и вправду не однозначная. Эпизоды в охотничьем заповеднике и особенно описания училища в Кальтенборне обладают большой обличительной силой. Но отношение автора к герою какое-то смутное. Изменник родины, прямой соучастник фашистских преступлений дан в ореоле некоей незаурядности. Границы добра и зла до конца остаются смещенными, проблема вины, личной ответственности человека, так или иначе причастного к фашизму, за его преступления здесь как-то обходится. А между тем эта нравственная проблема почти неминуемо встает в лучших антифашистских книгах послевоенных лет. И в первую очередь в литературах стран, переживших фашистскую диктатуру, — Италии, ФРГ, ГДР.

2

«...фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами» — в краткой формуле, принадлежащей Хемингуэю, есть серьезный политический смысл. Ложь, обман, практикуемый в массовых масштабах, — неременный компонент фашизма как системы. От всех предшествующих террористических диктатур, каких немало было в истории человечества, фашистские режимы отличаются не только размахом насилия, политического авантюризма и бандитизма, но и хитроумной демагогией, способностью ловко играть на предрассудках, иллюзиях, наболевших чувствах масс, с тем чтобы завоевать и обеспечить антинародной власти поддержку народных низов, завоевать и обеспечить антикультурной власти поддержку хотя бы части интеллигенции. И Гитлер и Муссолини с помощью их идеологических подручных довели до виртуозности умение извращать и запутывать понятия, черное выдавать за белое, реакционный переворот — за национальную революцию, а самих себя изображать провиденциальными личностями

ми, избранниками судьбы и благодетелями своих наций.

Отголоски этой демагогии, как мы уже видели, сохранились по сей день — в писаниях биографов-апологетов, в сочинениях иных западных публицистов, трактующих фашизм как «непрерывную революцию», «националистическое народное движение». Исследователи-марксисты ведут борьбу с такого рода воззрениями, опираясь на опыт истории, на факты и документы. Писатели имеют возможность сказать свое слово в этих спорах, опираясь на живые свидетельства современников, на собственную память, на те особые возможности познания людей, которые присущи художественной литературе как человековедению.

Как могло случиться, что миллионы трудящихся и в Италии и особенно в Германии поддались обману, покорились фашизму, стали пассивными свидетелями, а то и активными соучастниками неслыханных преступлений? Деятели культуры — антифашисты старших поколений — стали задумываться над этим вопросом еще десятилетия назад.

На исходе второй мировой войны Элио Витторини создал роман, ставший знаменитым, имеющийся и в русском переводе, — «Люди и нелюди». Итальянский писатель апеллировал к совести своих сограждан. В основе романа — прямой и резкий нравственный контраст. Фашисты — звери, выродки, нелюди. Человеком имеет право называться лишь тот, кто мужественно противостоят им.

А все остальные? Та аморфная масса, которая в течение «черного двадцатилетия» стояла вне политики, терпела, молчала или даже поддакивала власти имущим? Именно эта масса составляла большинство населения фашистской Италии в течение ряда лет, об этом очень откровенно говорил в своих воспоминаниях один из лидеров ИКП, Джорджо Амендола (имея в виду 30-е годы): «У нас были далеко идущие политические планы, мы ставили перед собой цель: свергнуть фашистский режим, — но не имели необходимых средств для достижения этой цели. А главное, мы чувствовали свою оторванность от народа, который примирился с фашистским режимом, потому что не верил в возможность быстрых перемен»⁷.

Попытку глубинного исследования среднего итальянца, одного из многих, предпринял еще три с лишним десятилетия на-

⁷ Джорджо Амендола. Выбор на всю жизнь. Воспоминания. М. Политиздат. 1983, стр. 189.

зад Альберто Моравиа в романе «Конформист» (гораздо более содержательном, чем одноименный фильм, известный у нас). Главный персонаж, Марчелло, житель Рима, государственный служащий, с молодых лет принимает фашизм бездумно. Основной стимул его поступков — «желание быть похожим на других»⁸, жить «как все», поступать «как все». Мы видим Марчелло в момент, когда он читает газету. «В сущности, почти все в этом режиме было ему глубоко неприятно; но раз он пошел по этой дороге, надо продолжать идти дальше. И снова он раскрыв газету, просмотрел несколько сообщений, отводя глаза от статей шовинистических или написанных с пропагандистской целью»...

В сущности, романист несколько облегчает свою задачу — не только его герой, но и он сам по ходу действия «отводит глаза» от фашизма как идеологии, обходит те стороны этой идеологии (национализм, элитарность, культ энергии и т. д.), которые могли иметь и имели притягательную силу для немалого числа людей. Зато он вводит в действие целую цепь обстоятельств, могущих объяснить духовное оупение Марчелло, болезненные черты его характера.

Мотивы аморализма, безумия, сексуальной извращенности поданы местами раздражающе назойливо, как это бывает у Моравиа. Однако они по-своему характеризуют будни страны, находящейся под властью преступников. Марчелло навещает отца в сумасшедшем доме и слышит отзвуки официальной фразеологии в его бредовых славословиях по адресу дуче. А когда молодой человек, приняв задание фашистской тайной полиции, приходит во Франции в указанное место явки, он попадает в публичный дом. В подобных ассоциативных связях есть своя символика, достаточно прозрачная.

Марчелло — конформист не вполне заурядный, он несколько приподнят над людьми одного с ним склада в силу присущей ему рефлексии, склонности критически анализировать свои действия и подчас раскисаться в них. И все же, по мысли писателя, такому человеку нет и не может быть оправдания. Феномен конформизма исследуется здесь на уровне индивидуального и даже не слишком обычного казуса. Однако в нем есть своя отталкивающая типичность.

Но ведь были же в Италии и люди дру-

рого склада! Даже и среди тех, кто поддавался на время фашистскому нажиму. Повесть Леонардо Шаши «Антимоний», не так давно вышедшая на русском языке⁹, представляет своего рода антитезу роману Моравиа. Судьба среднего итальянца исследуется здесь в плане не только психологическом, но и прежде всего остросоциальном.

Повесть написана от первого лица, в простодушно-доверительной манере, отвечающей характеру героя-рассказчика, в недавнем прошлом рабочего серных рудников. Он едет в Испанию сражаться на стороне Франко вместе с другими итальянцами, по преимуществу безработными, которых прельстило обещанное денежное вознаграждение. Леонардо Шаша не идеализирует своего героя, он такой, как очень многие. «В газетах я читал, что Италия теперь великая и грозная, она вновь стала империей; Муссолини говорил речи, и слушать их было одно удовольствие... Я верил в бога, ходил слушать мессу и с почтением относился к фашистской партии». Он готов был даже верить, как верили многие, что Муссолини «на дух не выносит» богачей и что в Испании именно республиканцы (а не франксисты) — мятежники, которые хотят сбросить законное правительство.

В свое время В. И. Ленин отозвался с большой похвалой о романах Барбюса «Огонь» и «Ясность», в которых «превращение совершенно невежественного, целиком подавленного идеями и предрассудками обывателя и массовика в революционера именно под влиянием войны показано необычайно сильно, талантливо, правдиво»¹⁰. За десятилетия, истекшие с тех пор, пробуждение рядового солдата к антимилитаристскому сознанию было проанализировано множество раз в романах прогрессивных писателей разных стран, включая хорошо известные нам романы писателей ГДР Д. Нолля, Э. Штриматтера, М. В. Шульца, включая и роман Германа Канта «Остановка в пуги». О повести Л. Шаши можно смело сказать, что она примыкает к этой барбюсовской традиции. Правда, здесь герой-рассказчик так и не становится революционером, и было бы наивно этого от него ждать. Но жестокие будни войны внушают ему новый, трезвый взгляд на вещи. Этот взгляд формируется исподволь. Стихийное нравственное чувст-

⁸ См.: Леонардо Шаша. Винного цвета море. Романы, повести, рассказы. М. «Прогресс». 1982.

¹⁰ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 106.

⁸ Роман А. Моравиа цитируется по французскому изданию: *Alberto Moravia. Le conformiste. Paris. 1973.*

во итальянского пролетария возмущено, когда он видит, как офицер-франкист «дарит» марокканцам на поругание молодую женщину-бойца, взятую в плен после отчаянного сопротивления. Рассказчик не может смотреть без брезгливости на встреченного случайно в Испании фашиста, своего земляка: «...я помнил его молодым парнем, в двадцать втором году, — черная рубашка, плетка из бычьих жил намотана на руку... был он сын старого ростовщика; в двадцать втором году, летом, он поджег дверь Палаты труда и чуть не спалил весь городок». С другой стороны, все большее уважение внушают рассказчику пожилые испанские крестьяне, которые упорно работают в поле, даже под артиллерийским обстрелом: ему становится понятно, что они получили свои клочки земли именно благодаря республике и трудятся на них пока могут, в то время как их сыновья ушли воевать... Герой повести маловосприимчив к политическим речам и не слишком прислушивается к призывам, которые передаются по радио с республиканской стороны: «Даже правдивые слова, если их выкрикивают и разносят кругом громкоговорители, начинают казаться обманом», его убеждают не столько слова, сколько факты, все то, что он видит вокруг себя.

Марчелло, герой романа Моравиа, — тип итальянца, непоправимо отравленного фашизмом, и даже не идеологией фашизма, а духом приспособленчества, лжи: таким, как он, не может быть прощания. Герой «Антимония» — тип рядового итальянца, который оказался способен стряхнуть с себя поверхностно воспринятое «почтение» к фашизму. Мы можем представить себе человека такого склада и в роли героя одного из лучших неореалистических фильмов, какие создавались в Италии после войны, или в качестве нашего современника, который выходит на демонстрацию протеста против размещения американских ракет.

В свете повести «Антимоний» мы лучше можем понять мудрую снисходительность Тольятти, о которой свидетельствует в своих воспоминаниях Джорджо Амендола. Тольятти считал, что массовая коммунистическая партия, создающаяся заново после краха диктатуры Муссолини, «не могла не принимать в свои ряды трудящихся, которых принуждали записываться в фашистские организации, не могла не принимать и молодежь, искренне видевшую в фашизме антикапиталистическую революцию» (правда, Амендола делает тут оговорку: к интеллигентам, у которых принятие фашиз-

ма «сопровождалось двойной игрой и ложью», требовалось особо строгое отношение).

Применительно к фашистской Германии тут еще более тугой узел трудных проблем. Гитлеровцам удалось заразить своей человеконенавистнической идеологией и втянуть в свои злодеяния значительную часть населения страны, без этого не были бы возможны ни Освенцим, ни Бухенвальд, ни Дахау, ни бешеное сопротивление, которое оказывали нацистские войска вплоть до самого конца войны, а озверелые юнцы-вервольфы подчас и после капитуляции.

Вопрос об ответственности немецкого народа за преступления нацизма оживленно обсуждался в международной печати в военные годы. Трагический опыт тех лет опроверг надежды на подъем антифашистского движения внутри рейха: со страниц наших газет быстро исчезла бытовавшая в 1941 году формулировка — по меньшей мере наивная, — будто фашистская Германия представляет собой вулкан, готовый взорваться и похоронить гитлеровских авантюристов. Однако Советское правительство, как известно, никогда — даже в самые тяжелые периоды войны — не отождествляло гитлеровскую клику с германским народом.

Проблема национальной вины, поведение средних немцев — все это еще до крушения гитлеровской диктатуры вызывало у передовых немецких писателей мучительные раздумья, они запечатлены в лирике и публицистике Иоганнеса Р. Бехера и Бертольта Брехта, они с большой силой и искренностью выражены в ранних эссе Стефана Хермлина, ныне одного из старших и виднейших писателей ГДР. Эти раздумья отозвались и в немецкоязычной художественной прозе. Очевидно, что средний немец — понятие, требующее дифференциации. Огульный подход тут совершенно неразумен. В этой связи необходимо вспомнить о заслугах Анны Зегерс как социального психолога. Ее роман «Седьмой крест» по сей день непревзойден по широте и глубине изображения будней гитлеровской Германии и широко читается в обоих германских государствах.

Современная проза ФРГ часто обращается к будням третьего рейха — интерес к этой тематике не ослабевает, а, по наблюдениям передовых критиков, скорей усиливается. В романах лучших писателей ФРГ нередко сопоставляются и взаимодействуют прошлое и настоящее, тогда и теперь. Обращаясь к романам Г. Бёлля, Г. Грасса, З. Ленца, Г. Э. Носсака, П. Шал-

люка, нетрудно вычленил из разнообразия сюжетов и фигур социально-психологические типы, повторяющиеся в различных вариациях. Например, тип нераскаянного нациста, который втайне тоскует о минувших временах; тип пережившего нациста, который начисто забыл собственное прошлое и громко прославляет «западную демократию»; тип бывшего солдата, который с содроганием вспоминает о войне и преисполнен отвращения ко всякой «политике»; тип прекраснородного интеллигента, который выражает свои антимилитаристские и антифашистские чувства на парадоксальный, чудаческий лад... Но, пожалуй, нет другой такой книги, где бы умонастроение, поведение обитателей фашистского рейха исследовалось бы с той степенью, в том же разнообразии вариантов, как это сделано в «Седьмом кресте».

И тут возникает аналогия на первый взгляд неожиданная. Роман Рольфа Хоххута «Любовь в Германии» (вышедший в 1978 году в ФРГ, а затем и в ГДР) оригинален по структуре — повествовательные главы чередуются с публицистическими; притом в своей повествовательной части он как-то переключается с «Седьмым крестом». И там и здесь единичный случай дает автору повод к тому, чтобы осветить процессы нравственного, в конечном счете и политического размежевания, подспудно происходившие в третьей империи. У Анны Зегерс внутренняя суть каждого из персонажей выявлялась через отношение их к узникам, бежавшим из концлагеря Вестгофен. У Хоххута идет речь о реальном случае — о гибели польского пленного Станислава Загады, повешенного за любовную связь с немкой, деревенской лавочницей Паулиной Кропп; суть остальных персонажей выявляется через их отношение к обоим любящим.

Книга Хоххута — роман-расследование. Автор рассказывает о поездке на место происшествия, о встречах с односельчанами Паулины и участниками расправы над Станиславом. И с горечью отмечает, что даже те, кто помнит об «этой неприятной истории», стараются помнить о ней как можно меньше. И как рефрен звучит фраза: «Я тут ни при чем». А один из опрошенных, крестьянин, сын гестаповского чиновника, напрямик заявляет, что считает тот давний судебный приговор несправедливым: женщину «только» заключили в концлагерь, а надо было бы «повесить их обоих». Для Хоххута это один из многих примеров, показывающих, как опасны, вредоносны традиции фашизма и в наши дни.

Стоит напомнить, что Рольф Хоххут еще в 60-е годы приобрел международную известность благодаря своей драме «Наместник», где он обличал попустительство Ватикана злодеяниям германского фашизма. В романе он снова утверждает, что ответственность за преступления гитлеровской клики лежит и на тех западных политических деятелях, которые долгое время сотрудничали ей. Ведь и «сам» Ллойд Джордж ездил на поклон к Гитлеру, а он ведал, что творил, в отличие от тех немецких обывателей, которые рукоплескали фюреру по глупости, невежеству, в порыве слепой веры.

Роман Хоххута показал, как актуален по сей день весь круг проблем, касающихся ответственности средних немцев — невольных виновников национальной трагедии, фактических соучастников национальной вины.

Гораздо глубже, с большей остротой социального и нравственного зрения исследуется этот круг проблем в книге Кристи Вольф «Пример одного детства», которая с момента выхода (конец 1976 года) вошла в орбиту литературных споров в ГДР, привлекла к себе внимание и в других странах. Эта книга вместе с известными у нас романами Г. Канта, Ч. Нолля, М. В. Шульца отразила опыт и судьбы того поколения писателей ГДР, которые вступили в сознательную жизнь на историческом переломе 1945 года. Антифашистская тема неразрывно связана во всех этих романах с темой антивоенной. Однако в поле зрения Кристи Вольф, естественно, не фронт, а именно тыл третьей империи — ее книга воссоздает будни небольшого городка, «обыкновенный фашизм» и его последствия на протяжении всех двенадцати лет гитлеровской диктатуры и в первые дни после ее падения.

Криста Вольф исходит из принципа «субъективной аутентичности», вносит в свои книги элемент самоанализа, личного жизненного опыта. В «Примере одного детства» юная героиня, дочь провинциального лавочника Нелли Йордан, — не двойник автора, не автопортрет, но в ее судьбе отражено то, что испытала, пережила, продумала сама писательница в описываемые ею годы. И не зря роман развертывается как рассказ о поездке автора в город собственного детства.

Этот город, условно названный Л., не индустриальный центр, население тут по преимуществу мелкобуржуазное. Здесь нет передовых пролетариев, нет героев антифашистского подполья — перед нами не вся

Германия, а часть ее: то, что лично, непосредственно известно автору. Такой ракурс дал Кристе Вольф возможность показать гитлеровскую Германию с той степенью приближения, с какую не мог ее увидеть и вообразить ни один писатель, прошедший годы фашизма в эмиграции.

В одном из авторских публицистических отступлений (их в книге много) Криста Вольф передает слова, услышанные в Швейцарии от пожилого читателя: «Хватит уж литераторам повторять, как зауценный урок, одно и то же про Освенцим — это объяснить молодежи, что фашизм действовал и более тонкими, более опасными методами». Сама-то Криста Вольф убеждена, что об Освенциме забывать ни в коем случае нельзя. Она не умалчивает ни о концлагерях, ни о еврейских погромах, ни о варварской практике физического уничтожения неизлечимых больных. Но больше всего ее как художника тревожит и мучит феномен «массовой утраты совести» у миллионов немцев. И она воссоздает внимательно, детально «тонкие и опасные методы» фашистского воздействия на детей и молодежь, обращаясь к личным воспоминаниям, а также и к старым учебникам, лозунгам, стихам, вносившим отраву в умы и души немецкого юношества.

Без малейшего снисхождения к своим соотечественникам — напротив, с какой-то отчаянной откровенностью — рассказывает Криста Вольф о том, как медленно, как трудно, с какими колебаниями и рецидивами происходило в первые послевоенные годы отрезвление людей, одурманенных фашизмом. Она исследует механизм памяти и забвения, обращаясь к данным психологии. Память людей нередко работает избирательно — то, о чем не хочется помнить, вытесняется, выветривается из сознания. Изучая подшивки старых газет, писательница установила, что об открытии концлагерей было в свое время сообщено в печати. А после войны миллионы немцев были совершенно искренне убеждены, что они и слыхом не слыхали ни о каких концлагерях...

Дефицит исторической памяти, по мысли Кристи Вольф, в высшей степени опасен — он ведет к равнодушию, гражданской безответственности.

Криста Вольф нередко прерывает повествование, чтобы перебросить мост от прошлого в наши дни. Посредством ассоциативных связей или прямых параллелей она демонстрирует черты сходства между гитлеровским террором и незаконными клики Пиночета в Чили, между захватнической

политикой фашистского рейха и агрессией США во Вьетнаме. Гитлеровский фашизм давно разгромлен, но человечество не покончило ни с расовым гнетом, ни с геноцидом, ни с империалистической военной доктриной и циничной военной практикой. Не покончило оно с разнообразными, грубыми или тонкими, приемами обмана, демагогии, манипулирования сознанием масс. Криста Вольф приводит элементарный пример: в современном английском языке слово *fair* многозначно, оно значит и прекрасный, честный, справедливый и — белокурый, светлый. Предубежденность к темнокожим, темноволосым заложена даже в привычном словоупотреблении! Она приводит и другой пример: в Чили с октября 1973 года было официально запрещено употребление слова *compañero* — товарищ. «Значит, — с горькой иронией замечает писательница, — нет оснований сомневаться в действительности слов».

«Пример одного детства», по сути дела, — страстный призыв к народам мира покончить с теми человеконенавистническими взглядами и правами, которые уже обошлись человечеству во многие десятки миллионов жертв и грозят уничтожением жизни на земле.

3

Дела и судьбы передовых людей разных стран, противостоявших фашизму, отражены во многих произведениях поэзии и прозы, некоторые из них заслужили право на бессмертие, будь то роман Хемингуэя «По ком звонит колокол» или незабываемый фучиковский «Репортаж с петлей на шее». Тема антифашистской борьбы в ее международных параметрах ни в коей мере не утратила актуальности и продолжает вызывать читательский интерес. О мировой литературе Сопротивления сказано уже много верного в работах советских литературоведов. Здесь стоит задуматься над той особой, очень непростой проблематикой, с которой связана эта тема в немецкоязычных литературах.

В годы эмиграции передовые немецкие писатели создали выдающиеся книги о деятельности антифашистов — она запечатлена в поэзии и прозе Бехером, Брехтом, Зелгерс, Бредедем. А в послевоенные годы в развитии этой тематики отразилось различие идейных позиций писателей обоих германских государств.

В литературе ФРГ — притом в творчестве писателей действительно крупных — довольно много борцов-одиночек. В иных случаях выдвигание именно такого героя ис-

торически и художественно мотивировано. В драме Р. Хоххута «Наместник» католический пагер Рикардо Фонтана, потерпев неудачу в попытках заступничества за людей, истребляемых в Освенциме, добровольно идет в газовую камеру; этот акт индивидуального протеста, оправданный экстраординарными обстоятельствами, вырастает в своего рода символ и дан драматургом в ореоле трагического величия. Труднее безоговорочно согласиться с теми западногерманскими писателями, которые в качестве единственно возможной альтернативы не только гитлеровскому террору, но и современному неонацизму выдвигают морально незаурядную личность, как бы выключенную из общественных связей, признающую только свой внутренний закон.

Такая тенденция очень ярко проявляется, например, в творчестве одного из наиболее популярных мастеров реалистической прозы ФРГ Зигфрида Ленца, особенно в его романах, известных советскому читателю, — «Уроках немецкого», «Живом примере», «Краеведческом музее». В последней из этих книг старый краевед Зигмунт Рогалла совершает поступок по-своему самоотверженный: он предает огню сокровища народных промыслов, которые всю жизнь собирал с великим старанием и любовью. Он убежден, что может таким образом помешать местным неонацистам, которые хотят прибрать музей к рукам и превратить его в опорный пункт для националистической пропаганды. Но не слишком ли велика жертва в сравнении с достигнутым эффектом? Вопрос остается открытым. Весь роман построен как исповедь Рогаллы, как попытка самооправдания. Прочитав эту исповедь, откровенную и простодушную, мы всецело разделяем те чувства негодования и тревоги, которые вызывают у Рогаллы происки его земляков-реваншистов. И вместе с тем мы понимаем, что автор романа, как честный и пронзительный художник, не может подавить в себе сомнения: правильно ли поступил его герой?

К большим антифашистским романам Зигфрида Ленца примыкает и его роман более камерного характера «Утрата», вышедший уже после «Краеведческого музея» в 1981 году. Действие замкнуто тут в пределах частного случая. Психологически чутко представлена драма молодого человека, который, неожиданно тяжело заболев, не находит сочувствия и поддержки даже у самых близких ему людей. Единичный казус обнажает нравы общества, где человек человеку чужой, где разведивность лю-

дей возведена в закон бытия. На такой общественной основе, видимо, и мог развернуться мотив «один против всех», который мы находим в разных вариациях не только у Ленца, но и в произведениях Бёлля, Грасса, Ульриха Бехера, а также и в романах ушедших уже писателей ФРГ Г. Э. Носсакка, П. Шаллюка. Всех этих писателей, очень друг с другом несхожих, объединяет самая искренняя и горячая ненависть к фашизму, национализму, милитаризму. И в то же время — дающее порой о себе знать недоверие к политике, к коллективным, организованным методам борьбы, недоверие, в какой-то мере сохраняющееся и тогда, когда они сами подписывают антивоенные воззвания или участвуют в писательских встречах.

Вклад писателей ГДР (послевоенных поколений) в антифашистскую литературу выразился главным образом в книгах, где будни гитлеровской Германии и процессы преодоления фашизма раскрываются, анализируются на основе личного опыта авторов. Вместе с тем в ГДР очень популярны, широко издаются и читаются документальные, мемуарные работы, принадлежащие антифашистам старшего поколения. Судьбы людей, подтвердивших верность своим убеждениям в трудные годы изгнания или на подпольной работе внутри страны, перед лицом непрерывной смертельной опасности, в тюрьмах, концлагерях, на допросах, наглядно доказывают, что нравственное благородство не привилегия избранных.

Документальные, мемуарные книги старых антифашистов порой вносят в обиход литературы такие жизненные факты, ситуации, оттенки человеческих переживаний, которые мало освоены мастерами художественной прозы. Они раскрывают внутренний мир людей, которых можно назвать героями. И притом героями без ореола исключительности. Опираясь на реальные исторические факты, мемуаристы утверждают силу коллективизма, солидарности угнетенных, проявляющуюся даже в самых тяжелых условиях.

Советские читатели могут судить обо всем этом, обратившись, в частности, к тем книгам воспоминаний немецких литераторов-антифашистов, которые переведены на русский язык: к автобиографии Рут Вернер, вышедшей у нас под названием «Соня рапортует», к автобиографии Петера Эделя «Когда речь идет о жизни».

Особое место среди новых мемуарных книг писателей ГДР занимает небольшая по объему вещь Стефана Хермлина, тоже

вышедшая в русском переводе, — «Вечерний свет». Жанр этого произведения нелегко определить. Стефан Херmlin по главной творческой сути поэт, лирик (хотя выступает и как прозаик, переводчик, эссеист, политический публицист). И его проза — проза поэта.

«Вечерний свет», автобиография особого рода, — не связанное повествование, а скорей своита лирических фрагментов, зарисовок, микрочерков, микроновелл. Здесь большое место занимает тема искусства — начиная с короткой интродукции, где как бы слиты воедино картина надвигающегося вечера и поэтическая интерпретация одной из кантат Баха. И в то же время это маленькая, очень субъективно окрашенная книжка раскрывает в самых существенных моментах и жизненный путь автора, и его окружение в разные годы, и судьбы его страны.

Жизненный путь автора — это, пожалуй, сказано неточно. О десяти годах, проведенных им в эмиграции, мы узнаем очень мало, если не считать одного фрагмента — воспоминания о конгрессе в защиту культуры в Париже. В текущем году Херmlin опубликовал как бы в дополнение к «Вечернему свету» автобиографическое эссе «Возвращение» — здесь упоминается, опять-таки кратко, что за годы изгнания он исколесил много стран в Европе и Африке и сменил много профессий (был и солдатом вспомогательных войск во Франции, и рабочим типографии, и водителем грузовика). Херmlin, конечно, далеко не обо всем рассказал. Но и «Вечерний свет» проясняет многое.

Будущий поэт жил в состоятельной и просвещенной семье. От многих соблазнов, вытекающих из привилегированного положения родителей, его уберегли трезвый разум и живое нравственное чувство.

Подросток вчитывается в «Манифест Коммунистической партии», прислушивается к политическим толкам и спорам на улицах Берлина. Узловой момент мемуаров — краткий рассказ о том, как шестнадцатилетний гимназист поставил свою подпись под помятым листком — заявлением о вступлении в Коммунистический союз молодежи. Это выбор на всю жизнь.

Примечателен и другой эпизод. После войны автор встречается с подругой юности, их разлука длилась пятнадцать лет. Она из тех, кто уверяет, что ничего не знала о зверствах гитлеровцев. Он напоминает ей, что укрывал у себя дома товарища, бежавшего из застенка, — тот показывал следы жестоких избиений на своей спине,

подруга видела эту спину. Теперь, пятнадцать лет спустя, она смущенно лепечет: «...ты прав... я припоминаю». Попутно читатель может сообразить: укрывать у себя бежавшего заключенного в условиях тех лет смертельно опасно. Но об этом Херmlin не говорит.

Политическая атмосфера Германии в годы фашизма воссоздается на отдельных страницах книги с предельной степенью художественной концентрации. В кратком фрагменте, написанном в манере «потока сознания», сталкиваются, сопоставляются различные моменты жизни повествователя: «...когда... Макс Либберман повел нас вверх по лестнице и показал нам рисунки Менцеля и Дега, когда я сказал «доброе утро», а чиновник молча показал карандашом на табличку «Здесь приветствуют только германским приветствием»...». Немецкому читателю понятно, что встреча автора с великим художником-демократом Либберманом могла произойти только до фашистского переворота, а принудительное «германское приветствие» («хайль Гитлер») было введено после него: одно «когда» отделено от другого, быть может, лишь немногими днями, но между одним «когда» и другим — трагический разрыв времен.

Немецкие рабочие покорились Гитлеру, но не поголовно, не безраздельно. Херmlin дает и такую зарисовку. После провозглашения нюрнбергских «расовых законов» для лиц отверженной расы были отведены в общественных местах отдельные скамейки, выкрашенные в желтый цвет. В час обеденного перерыва два высоких белокурых парня — кучеры пивоваренного завода — усаживаются на желтую скамейку, вынимают пакеты с едой, молчаливо демонстрируя свою солидарность с жертвами преследований. Автор лаконично комментирует: «Никогда я не забуду этих неторопливых людей, их усталого презрения к ничтожеству своего времени, их безмолвного благородства». Подобные единичные факты напоминают, что «безмолвная» оппозиция фашизму существовала даже и в наихудшие времена, пусть она и могла проявляться только в таких вот вроде бы безобидных поступках.

А с другой стороны, гитлеровцы могли опереться — и опирались — и на поддержку влиятельных кругов буржуазного Запада. Херmlin напоминает и об этом, передавая свою беседу-спор с лондонским журналистом Джеффри, приехавшим в Берлин. Лондонец считает, что у нацистов есть «известное право на эксцессы», — безусловно, у их лидеров дурные манеры, но к ним

надо-де проявлять терпимость. «К сожалению, сказал Джеффри, варварство и теперь играет определенную роль в истории, особенно когда требуется, чтобы застоявшаяся кровь древних цивилизаций заструилась быстрее... Кровь древних цивилизаций и в самом деле струится быстрее, сказал я, и это кровь молодых рабочих, которых ведут на эшафот». На это англичанину нечего ответить.

Документальная, мемуарная проза о годах фашизма и борьбы с фашизмом, выходящая в ГДР, обладает большой притягательной силой для читателей уже благодаря своей достоверности. И она порой оказывает заметное влияние и на творчество писателей, работающих за пределами ГДР.

Среди произведений антифашистской литературы, вышедших в течение последних лет на немецком языке, одно из наиболее значительных и заметных — роман Петера Вайса «Эстетика Сопротивления»¹¹. Автор в молодые годы эмигрировал с родителями из Германии, с 1939 года и до своей кончины в 1980 году жил в Швеции. Его пьесы печатались и ставились в обоих германских государствах; громкий политический резонанс получила, в частности, документальная драма «Дознание», написанная по материалам Франкфуртского процесса над палачами Освенцима. Избранные пьесы П. Вайса в 1981 году вышли на русском языке с предисловием Ю. Жукова.

Над романом «Эстетика Сопротивления» писатель работал в течение многих лет — три тома монументального повествования вышли в ФРГ, соответственно, в 1975, 1978, 1981 годах; недавно книга появилась также и в ГДР. Несмотря на разногласия, отделявшие П. Вайса от литературной общности социалистического мира, его главный труд встретил в Германской Демократической Республике необычайно дружественный прием.

Новизна и значимость труда Петера Вайса сказывается уже в его масштабности. Писатель поставил себе задачей дать своего рода документально-художественный синтез немецкого антифашистского движения: действие происходит в Германии, Испании, Франции, Швеции с 1933 по 1945 год, иногда с заходами в более ранние времена. В парадоксально звучащем названии есть свой серьезный резон. Проблематика антифашистской деятельности тесно сплетена с проблематикой искусства. Развернутые, оригинальные по мысли характеристики прославленных картин и

скульптур, давних и недавних, связываются прочными ассоциативными нитями с событиями современности. И это не может быть иначе: главный предмет внимания писателя — борьба трудящихся масс не только против фашизма, но и против всякой эксплуатации человека человеком.

Событий здесь не так много, размышлений — много. Интерес повествования не в частной жизни героя и окружающих его лиц, а в тех исторических драмах, на фоне которых разворачивается эта жизнь, в пространных культурно-философских экскурсах. Перед нами произведение интеллектуальной прозы: сюжетная напряженность здесь не в происшествиях, даже не в индивидуальных судьбах, а скорей в осмыслении эпохи, во взаимодействии размышляющих и спорящих личностей. Книга написана увлекательно, но это не легкое чтение. Читателю необходимо втянуться в динамику нескончаемого внутреннего монолога, нередко переходящего то в диалог, то в строгий, объективный авторский рассказ. Действие не зря изложено сплошным, непрерывным текстом, почти без абзацев: видимо, писателю хотелось именно таким способом передать цельность непрерывного повествовательного потока.

Не случайно, не по прихоти автора «Эстетика Сопротивления» названа романом, хотя в ней и действуют реальные исторические лица (иногда под собственными, иногда под вымышленными именами) и отражено много реальных фактов новейшей истории Европы. Документ здесь непрерывно взаимодействует с художественным вымыслом. Два тома «Записных книжек», изданных П. Вайсом в качестве приложения к роману, раскрывают не только ход работы автора, его беседы с участниками исторических событий, путешествия по местам событий, разыскания в библиотеках и архивах, но прежде всего движение его собственной неутомимой, тревожно ищущей мысли. Герой-повествователь отличается от автора по социальному происхождению, условиям развития, многим фактам биографии. Однако духовный облик повествователя близок облику автора. И иногда отступления от реальной биографии П. Вайса тем более отчетливо подчеркивают эту близость.

Любопытная деталь. Петер Вайс родился в ноябре 1916 года, а его герой на год моложе, и не зря. Это дает П. Вайсу возможность написать: «В десять минут третьего, на заре восьмого ноября, когда Антонов-Овсеенко, узкоплечий, в мягкой шляпе и пенсне, такой, каким я его увидел из окна

¹¹ Peter Weiss. Ästhetik des Widerstands. Frankfurt a/M. 1983.

кафе в Альбасете, мой крестный, как я его называл про себя, объявил в Зимнем дворце об аресте членов Временного правительства,—я появился на свет и уже лежал, вымытый и запеленатый, в момент, когда был провозглашен переход всей власти в руки Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которые установят новый революционный порядок». В таком прямом соотношении жизни повествователя с Великой Октябрьской революцией нет нескромности, скорей тут есть глубокий символический смысл. П. Вайс хочет говорить от имени того поколения передовых трудящихся Запада, которое родилось одновременно с первым государством рабочих и крестьян и вся жизнь которого проходит или прошла под знаком идей Ленина и Октября.

И в «Эстетике Сопротивления», и в «Записных книжках» Вайс не раз отзывается о Советском Союзе, о советских людях с глубоким уважением и симпатией (в первом томе «Записных книжек» довольно подробно отражена поездка автора в СССР в 1974 году). Однако то спорное и местами неприемлемое, что есть в труде П. Вайса, отчасти касается именно СССР. В своем исследовании истории мирового революционного и антифашистского движения писатель нередко сосредоточивает внимание именно на препятствиях и сложностях, на внутренних конфликтах в среде антифашистов, на трудностях, драматических перипетиях внутренней жизни страны социализма. С другой стороны, о решающей роли СССР в разгроме гитлеровского рейха, о громадных жертвах, понесенных советским народом в войне, говорится все же как-то вскользь, иной раз это приводит к досадному смещению акцентов в ущерб полноте и достоверности общей картины.

Другой круг спорных вопросов касается искусства и культурно-художественной политики. Можно в общей форме согласиться с автором, когда он утверждает, что революционное движение обязательно проявляется (в сфере искусства) в преобразовании или даже ломке традиционных художественных принципов; однако отсюда вытекают у него иногда и такие конкретные оценки, с которыми трудно согласиться,— например, возвеличение Франца Кафки как реалиста и чуть ли не пролетарского писателя. Впрочем, в области эстетики разногласия между Вайсом, с одной стороны, и поборниками коммунистической партийности — с другой, не носят характера неразрешимой антинимии. Не зря Вайс, когда идет речь об идеале революционного художника,

охотно обращается к имени Маяковского и особенно к личности и творчеству Брехта.

Главы о Брехте во втором томе романа принадлежат к лучшим страницам повествования П. Вайса. Ему удалось здесь на редкость достоверно, объемно обрисовать облик драматурга-новатора, неутомимого борца, который даже и в самые тяжкие дни эмиграции создавал вокруг себя атмосферу непрерывного труда и поисков, втягивал в творческую работу всех, кто находился рядом с ним. Рассказывая о замысле Брехта переработать пьесу «Винтовки Тересы Каррар» для шведского сцены, повествователь вкладывает в уста драматурга слова, точно передающие его жизненную позицию: «Пусть финал внушит зрителям, что, несмотря на понесенное поражение, следует продолжать борьбу».

Очень важная сквозная линия романа П. Вайса — описание работы немецких антифашистов-подпольщиков в пору второй мировой войны. Тут он насколько возможно опирается на подлинные факты и документы, на мемуарные труды старых коммунистических деятелей, на материалы, почерпнутые из личных бесед с ними. Общий взгляд автора на германское антифашистское движение тех лет выражен, например, в таком обобщающем суждении: «И все же самое существенное — не то, что действовали могучие силы, истреблявшие громадные массы людей, а то, что хоть немногие поставили себе целью протавостоять этим действиям, и тут самое примечательное — не то, что они работали незаметно и еле слышно, а то, что они продолжали существовать, что они ускользали от преследований, ухитрялись не попадать в ловушку, общались друг с другом и находили потайные пути друг к другу, чтобы совместно обсуждать то, что предстояло сделать». В последних главах романа показана деятельность, а затем провал и гибель антифашистов-подпольщиков, входивших в группу «Красная капелла». Тут встают реальные, ставшие бессмертными имена героев — Арвида Харнака, Харро Шульце-Бойзена, Адама Кукхофа, их сподвижников и сподвижниц. Сцену их казни, переданную замедленной съемкой, с жестокими подробностями и трезво-сдержанной интонацией, невозможно читать без боли и вместе с тем без чувства революционной гордости. Здесь подтекстом заложена убежденность в том, что освободительное движение трудящихся и угнетенных неистребимо.

Эта убежденность отчетливо, открытым текстом выражена и в «Записных книжках»

П. Вайса — в частности, там, где речь идет о Португалии, Ирландии и особенно о Вьетнаме. Характерны его записи, датированные 1972—1973 годами: «Вьетнам: я приучился ненавидеть строй США, эта ненависть стала безграничной, бездонной... Замещая угнетенные народы богатых и сытых стран, борьбу ведет Вьетнам, страна раненых и бедных»... «Американская форма фашизма еще может позволить себе известную либеральность. Жалкие покровы апологетических предприятий вроде «свободной прессы», «свободного изъяснения мнений» прячут под собой образцово грубое насилие».

Эти строки, как и роман Вайса, взятый в целом, дают возможность особо ясно увидеть характерные черты современной антифашистской литературы, которые сказываются по-своему в каждой из разобранных здесь книг.

Это прежде всего умение видеть фашизм в современном международном контексте — не только как явление немецкое или итальянское, но и как форму особо жестокой и агрессивной капиталистической, империалистической диктатуры, по-разному проявляющуюся в различных частях света. Это вместе с тем и аналитическая направленность, стремление исследовать, разобраться, как пишет тот же Вайс, ссылаясь на Брехта, «что делало людей фашистами и что удерживало их от этого». Это и широкая постановка нравственных проблем, вытекающая из многолетнего опыта антифашистского движения.

О нравственной, воспитательной значимости антифашистской литературы для читателей современного Запада очень искренне написал недавно один из ста-

рейших литераторов-антифашистов ГДР, бывший узник концлагеря Фред Вандер: «Неожиданно сильное воздействие, чувство волнения, которое вызывают некоторые честные книги, например Бёлля, Хоххута, Фриша, Зегерс, Канта, Кристи Вольф, Фюмана... должно заставить нас задуматься. Эти книги по крайней мере готовят почву, на которой снова будет расти трава — но не трава забвения, а ростки новых и познаваемых ценностей».

Четыре десятилетия, отделяющие нас от мая 1945 года, с новых сторон высветили и обогатили антифашистскую тему. Художникам слова оказались доступны новые факты, документы, материалы. Мир немало узнал о чудовищных злодеяниях нацистов и их разноплеменных пособников, о героическом самопожертвовании и мужестве антифашистов-подпольщиков — и о колебании в умонастроениях, поведении той аморфной массы, которая покорила фашизму, приспособилась к нему. Все это нашло отражение и в литературе последних десятилетий, созданной на разных языках.

Книги, о которых шла речь в этой статье, наглядно подтверждают, сколь велика была опасность, от которой избавили мир силы сопротивления фашизму — прежде всего Советская Армия и весь советский народ. Эти книги напоминают нам сегодня, сколь громадно всемирно-историческое значение нашей Победы. И вместе с тем предостерегают о новых опасностях, нависших над миром, мобилизуют нашу волю к противостоянию этим опасностям.

В антифашистской литературе — старой и новой — есть то, что может духовно вооружить народы мира в идеологической борьбе против современных врагов человечества.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Владимир Еременко. Эхо крика.— Иван Савельев. В глубь памяти народной.— Эдуард Пронилов. На пути к единому.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Польский. Вождь всех трудящихся.— Р. Баландин. По высшему счету.

Литература и искусство

ЭХО КРИКА

Т а м а з Ч и л а д з е. Повести. Перевод с грузинского А. Беставашвили.
М. «Советский писатель». 1983. 416 стр.

А вы правда брошенные?

В «Письмах незнакомке» Моруа писал, что поэзия — воспоминание о волнении в покое. А кто-то своеобразно подтвердил эту мысль, заметив, что детский крик волнует, но он еще не поэзия. Объединив оба суждения, можно сказать, что поэзия — эхо крика. Именно так я назвал бы книгу повестей известного грузинского писателя Тамаза Чиладзе.

Произведения, вошедшие в этот сборник, известны читателю. Более того — хорошо известны. Более того — не обойдены вдумчивой критикой. Но в том-то и дело, что, собранные теперь под одной обложкой, они составили не просто сборник, а книгу, где мысли и поступки героев представляют собой метаморфозы одного лица — не автора, но, должно быть, героя, очень близкого автору.

И хотя единого персонажа в книге нет, есть в ней нечто всеобъемлющее, перетекающее из повести в повесть — как эхо крика.

«Рядом с жизнью человека течет полноводная река воспоминаний... Сколько времени прошло, сколько воды утекло, а душа все-таки мерцает, теплится, как тоненькая свечка, которая освещает глиняные стены нашего существования...» Ав-

тор этих слов — писатель, главное действующее лицо повести «Дворец Посейдона». (Задумаемся, однако: а всегда ли главное именно действующее? И верно ли это словосочетание для героев Т. Чиладзе?)

Герою повести сорок. «Я уже старый! Во всяком случае так говорит Мамука, мой десятилетний сын». Герой не кокетничает, отнюдь. Гига — преуспевающий автор. Правда, научная фантастика, которую он пишет, по собственному откровенному признанию, изготавливается на материале школьных учебников. Правда, он хорошо знает цену сделанному и цену комплиментов в свой адрес. Но его охотно печатают, и, по традиционной мерке, он многого достиг. Гига — сибарит. Он и в самоиронии благодушествует, словно говоря: «Да, я такой, но это ведь вовсе не так плохо и совсем не обременительно». (Читатель 60-х годов воспринял бы этого героя как воинствующую сатиру на некий мещанский клан. Читатель сегодняшний вынужден внимательно посмотреть в зеркало.) Да полно! Перед нами вовсе не плохой человек. Благополучия он добился своими руками. Он честен. Он не переоценивает себя и даже, пожалуй, боится переоценить. Но почему он так отчетливо демонстриру-

ет свою душевную сытость? Его отношения с ребенком («Мамука для меня — сфинкс») — тоже характерное явление сегодняшнего дня. И все сильнее по мере чтения мучает вопрос: да был ли наш герой молодым? И отчего так драматичен его монолог в конце повести? И при чем здесь вообще Дворец Посейдона?

Все объясняется, когда в дом Гиги в качестве корреспондента телевидения приходит его давняя знакомая, его первая и, быть может, единственная сердечная привязанность — Софиико. Эта внезапная встреча, разговор о забытых друзьях юности, сама Софиико, деятельная, не поддающаяся однообразию быстротекущих дней, — все это на какое-то время разрушает замок благодушия, воздвигнутый Гигой. И Дворец Посейдона — олицетворение юношеского могущества — оказывается иллюзорным, изначально обреченным и даже вредоносным.

«О, господи! Осторожность — мой единственный друг и спаситель... В отличие от многих я вовремя научился уму-разуму...

Я уже стар... жить, жить, жить!»

Казалось бы, все логично. Нормальная реакция вступившего в пору зрелости, среднего человека. Но зачем так яростно убеждать себя в очевидном? И отчего этот восклицательный знак в конце?

Есть в повести небольшой эпизод. Встреча Гиги с отцом. Неожиданная. Нерадостная. Самая случайная по внешним признакам и одна из самых важных по сути сцен в повести. Т. Чиладзе не дает предыстории. Но из небольшого диалога становится ясно, что отец бросил семью. Что у Гиги в детстве не было отца.

«— А ты что делаешь? Кажется, пишешь? Знаю-знаю, читал... Бездарный ты, весь в меня!.. Деньгу зашибаешь?

— Да ничего, хватает.

— Отлично».

И хотя продолжающийся шуточный диалог, в меру обывательский, в меру безразличный, казалось бы, раскрывает единство мышления, это — блеф. Герою повести изменяет даже привычная самоирония. Его разговор с отцом намеренно односторонен.

«Не осуждайте меня. Какое чувство я могу испытывать к человеку, который даже тогда не появился, когда умирала моя мать».

Да, Гига всегда был старым. Он пришел стариком к порогу юности. И его осторожность приобретена до опыта. Она от детской растерянности. Поэтому даже в зрелости эта осторожность требует от ге-

роя мучительного подтверждения своих «объективных достоинств». «Рядом с жизнью человека течет полноводная река воспоминаний. Иногда она выходит из берегов, и тогда мы по самое горло стоим в мутной ледяной воде»... А как же Дворец Посейдона? Гиге просто не дано было войти туда. Жизнь повела его кружным путем, минуя юность. И эту пустоту он будет чувствовать всегда.

Автор нескольких поэтических сборников, драматург, оригинальный критик и тонкий эссеист, Т. Чиладзе всегда стремится быть выразителем поэтического содержания наших дней. «Поэзия — это форма максимального выявления внутренней сущности человека. Именно она является гем хлорофильным зернышком каждого истинного произведения, которое рождает из слепой эмоции зелень и кислород», — пишет Тамаз Чиладзе в статье «Традиция и время».

И лирический герой в большинстве его повестей — это прежде всего натура романтическая, человек ярко выраженного художественного мышления, более склонный к созерцанию, чем к поступку. Постоянное исследование собственного внутреннего мира нередко приводит его к рефлексии.

Учитель пения Иона («Постояльцы») и мальчишка-трубач Беко («Бассейн»), по-видимому, два крайних проявления такого характера.

Чем глубже раскрывается перед читателем беспросветное существование доброго, застенчивого Ионы, чем больше оплеух получает от жизни этот незащитный человек, тем... меньше опереживает ему читатель!

Бесконечные сомнения Ионы, его неизменная предупредительность, его желание ступешаться перед любой необходимостью проявить характер вызывают нарастающее раздражение. Почему? Быть может, потому, что размышление, не подкрепленное действием, вообще противоречит жизни?

Во всяком случае, вопреки логике Иона в повести как бы стирается в людской памяти и в конце концов просто сходит на нет, не оставляя следа даже в сознании своих близких, не оставив и пустяковой царапины на поверхности бытия.

Образ Беко в повести «Бассейн», напротив, все более обретает реальность, вырастает над всем другим к заключительным строкам произведения.

Первоначально, в несколько мозаичной конструкции этой вещи, Беко скорее персонаж эпизодический. Но вот его присут-

ствие все отчетливее окрашивает разнообразные события и коллизии повести, светлое, романтическое начало его характера незаметно становится пробным камнем для остальных персонажей. Писатель предусмотрительно (или интуитивно?) не завершает внешнюю лепку образа. Главным становится само движение героя на пути к самосознанию. В непредсказуемых метаниях Беко на глазах читателя сам творит себя до последней минуты, до своей гибели при спасении детей из горящего детского дома...

Беко уходит, успев связать разрозненные нити многих человеческих судеб, невольно оказавшиеся в его руках. И мы, как и женщина, в которую он был так безнадежно влюблен, продолжаем смотреть в будущее. Продолжается жизнь...

Иона и Беко. Как много общего между ними при объективном сопоставлении. Иона, пройдя жизнь, не нашел себя. Беко не успел найти. И тому и другому не воздано за добродетель. Черты уже известного нам лирического героя очевидны в каждом из двоих. Однако Иона не выдержал испытание прозой жизни, а для Беко это испытание открыло путь к самоутверждению. Может быть, все дело в молодости героя? Нет, писатель уже имел возможность убедить нас, что это не так. Дело в другом — в повседневной отваге! Отвага — вот необходимое звено романтического характера, жизненное начало художественного типа, который так близок Тамазу Чиладзе...

Обратимся теперь к повести «Белый дым». На наш взгляд, это произведение центральное и по месту в книге и по сути. Здесь писателю удалось наиболее полно соединить идеальное начало своей поэтики с реальной житейской коллизией. В центре внимания на этот раз не индивидуальные судьбы, а противоречивое единство героев, их взаимное притяжение. Можно даже сказать, что молодые герои повести Резо и Майя — своеобразный диполь. Им выпало трудное детство, но это их общее детство, детство их поколения. Они одиноки. Но это их общее одиночество.

Духовную близость Резо и Майи, которую сами они, теперь уже зрелые люди, будут искать на ощупь долгие годы, писатель утверждает в прологе повести, который сам по себе — глубокая, поэтическая новелла.

Война забросила маленького Резо и его мать в глухую грузинскую деревню. Положение беженцев, отсутствие отца, бро-

сившего семью, тяжелая, даже жестокая жизнь — все это рано делает Резо взрослым. Именно здесь он впервые задумывается о человеческой судьбе. Именно здесь один из его сверстников с характерной мальчишеской прямоотой задает ему вопрос, который долгие годы будет неотступно преследовать Резо: «А вы правда брошенные?»

Никогда после его взгляд на окружающее не будет столь пристальным, а его суждения о жизни столь зрелыми...

О Майе в прологе всего несколько строк. Мать привозит ее в местечко неподалеку от деревни, где живет Резо, на похороны отца — военврача. Майя еще ребенок, и ее детское сознание не в силах постичь всю глубину потери. Только красные цветы на склоне горы не раз потом вернет ей память...

Вот и все об их общем детстве.

Спустя годы мы встречаем героев совсем иными. Резо — молчаливый, угрюмый мужчина с детской душой. Майя — воспитанная, милая, чуточку взбалмошная, в той замечательной поре, когда так хочется быть легкомысленной...

Их встреча, их странное притяжение, в причинах которого сами они не могут разобраться, их почти взаимоисключающие привязанности, их немотивированный разрыв и бессонные внутренние монологи по мере развития повести все более подчеркивают их единство. Оба воскрешают друг в друге что-то важное из утерянного в детстве. Читатель, приобщенный к загадке их взаимоотношений, сопереживает обоим. Вопрос, кто лучше, вообще не возникает. И Резо и Майя уже через несколько страниц становятся для нас любимыми героями, а мысль о том, что эти двое в конце концов обязательно будут вместе, становится нашей заветной мыслью.

Психологическая ограниченность романтического образа — явление почти неизбежное, ведь в его основе всегда лежит совокупность идеальных представлений, а на определенной ступени обобщения они приобретают оттенок назидания и могут лишиться образ художественной полноты. В повести «Белый дым» писатель успешно преодолевает подобную ограниченность, сохраняя при этом верность своему лирическому, романтическому герою. А задача эта крайне трудная.

Обращение к прозе нередко становится естественным этапом развития личности поэта... Для Т. Чиладзе это скорей и спытание прозой, когда творческий темпе-

рамент и цельность мировосприятия предстают лишенными «поэтической дымки». Привычные навыки, традиционные атрибуты поэтического ремесла — внешняя ритмика и зрительная метафора, играющие немалую роль в восприятии стиха, в прозе отходят на второй план и на вопрос «быть или не быть!» необходимо отвечать одним-единственным — правдой жизни.

Автор «Белого дыма» изначально ставил своей задачей создание прозы поэтической. И хотя в ней порой есть «издержки поэтического» (об этом говорят, например, не всегда оправданные каскады метафор, нарушающие динамику повес-

тования). Тамаз Чиладзе в целом справился с испытанием.

Истинное понимание поэзии как универсального инструмента познания человека внесло в ткань его произведений этику поэзии, по законам которой познание предполагает любовь...

Вот почему мы с растерянностью думаем о Беко.

Вот почему волнует нас общая судьба Резо и Майи.

Вот почему поэзия — это крика — живет на страницах этой книги.

Владимир ЕРЕМЕНКО.



В ГЛУБЬ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Анатолий Софронов. В глубь времени. Роман в стихах в двух книгах. М. «Московский рабочий». Книга первая. 1980. 173 стр. Книга вторая. 1984. 239 стр.

В последние полтора-два десятилетия к эпике обращаются многие талантливые поэты разных поколений. Справедливо писал Л. Лавлинский в журнале «Коммунист»: «Мне кажется, поэзия сегодня набирает высоту в эпических обобщениях, перед нею все явственнее приоткрывается историческая объемность происходящего — даль памяти, говоря словами Егора Исаева, назвавшего так свою широко задуманную и достойно осуществленную поэму»¹.

Оговорюсь сразу: речь в данном случае идет об определяющей тенденции развития современной многонациональной советской поэзии. Поэмы потребовало само наше прекрасное время, уплотненное до предела, раздираемое противоречиями и глобальными конфликтами. Именно оно потребовало от Сергея Наровчатова «Василия Буслаева», диктовало Василию Федорову «Женитьбу Дон Жуана» и подсказало Юстину Марцинкявичюсу суровую и прекрасную песнь «Мажвидас» — поэму, события которой отдалены от нас на четыре столетия, но духовно приближены к осязаемой современности.

В названных мною вещах при всем их очевидном различии обнаруживается одна родственная особенность: время в них не фон, а живое действующее лицо. Анатолий Софронов, о романе которого пойдет речь, уже самым заглавием утверждает за

временем право стать подлинным героем романа:

В глубь времени, в глубь памяти,
Как в заповедный детства сад,
Где яблони в ряду стоят
И навсегда под солнцем замерли.
Пишу все это для себя,
Роман лишь только начинается,
На части прошлое дробя.
С моей судьбой соприкасается...

Так сказано во вступлении к роману. А в эпилоге автор встречается со своим героем Алексеем Платовым, и тот передает автору стихи, где есть такие строки:

Не надо мне для всех писать —
Я для себя пишу.
Естественно, что я дышу
И все могу сказать.

Сопоставив эти платовские и авторские строки, некоторые критики, писавшие о романе Анатолия Софронова, пришли к выводу, что автор и его герой Алексей Платов, по сути, одно и то же лицо. Тем более что и биографии их в целом сходные: оба начинали жизненный путь на «Ростсельмаше», были свидетелями битвы на Халхин-Голе, участвовали в Отечественной войне. К тому же Платов тоже поэт... Еще о Платове известно, что он историк, следовательно, события романа, о которых рассказывает, осмыслены с точки зрения профессионального историка. На протяжении десятилетий он ведет своеобразный поэтический дневник.

¹ «Коммунист», 1984, № 2, стр. 78.

Подобный поэтический прием позволяет А. Софронову полно, с документальной точностью рассказать о судьбе своего героя, а через него и о времени, о народе на крутом, переломном моменте истории.

По мере движения сюжета и взросления героя изменяется интонация повествования, сам стих обретает некоторую жесткость, особенно когда речь идет о событиях на Халхин-Голе или ключевых эпизодах Великой Отечественной войны. Исповедь-дневник Алексея Платова читаешь как духовную исповедь поколения советских людей, героев первых пятилеток.

Алексею Платову нелегко говорить о себе то, о чем, может быть, лучше было бы умолчать. Как соблазнительно быть или, во всяком случае, казаться этаким рыцарем без страха и упрека! Но непременным условием всякой исповеди является абсолютная правдивость.

Не успел юный герой уехать от любимой, сказать ей на прощанье: «Я только твой!» — как новая симпатия, Мария, завоевывает его сердце. Что это? Да просто жизнь, я думаю. Анатолий Софронов не вмешивается в поступки Алексея Платова, доверяя ему самому выбирать решения. А жизнь уже в самом начале пути героя оказалась отнюдь не розовой. Мы видим, как трудно Платову в споре с искусным полемистом, отчимом Марии, по мнению которого Платов для Марии не пара, не того он сословия. И пусть поначалу конфликт между юным Платовым и умудренным наукой лицемерия отчимом протекает в лично-бытовом плане, это только начало драмы, преддверие той схватки мировоззрений, которая произойдет после.

Конечно, Алексею Платову, пареньку от станка, только-только севшему за студенческую парту, трудно тягаться с безукоризненно элегантным эстетом. И тем не менее на вечере в доме профессора, когда Платова просят прочесть стихи в надежде услышать нечто модное, эффектное, он, не смущаясь, читает стихи о рабочем классе, о родном «Ростсельмаше»:

Мы в бригаде. Бригада — одно.
В блеск зубила заточены славно,
И поют молотки давно
Об ударном и самом главном.

Но именно «самое главное» и не устраивает профессора, режут его утонченный слух эти зубила, молотки, тиски и железо. Обращаясь к сокурсникам Марии, а более всего, конечно же, к ней самой, он саркастически замечает по поводу только что услышанного:

Благодари за вирши эти,
В которых... запахи земли...

Вот это нас весьма тревожит,
Чем время наше лиру метит,
Тавром, что раньше не могли.

Профессор, сам того не желая, проговаривается: его, эстета, менее всего тревожит неуклюжесть поэтического письма молодого рабочего-поэта — тут для него, видно, чем хуже, тем лучше. Он обеспокоен другим: в литературу идет поколение, которое воспекает труд как эстетическую ценность. И внутренним чутьем он понимает, что будущее за Платовыми, ибо на их стороне само время, а у него социального будущего нет.

На этом фоне спор Платова с профессором о «Тихом Доне» выходит далеко за рамки чисто литературного спора. Речь идет о соотношении литературы и жизни, о том магистральном пути нового искусства, который позднее назовут методом социалистического реализма. Беспощадны по своей обнаженной правде строфы поэта:

И мне забудутся едва ли
Года, когда на «Тихий Дон»
В атаку недруги бросали
За эскадрон эскадрон.

И далее:

Еще на памяти и свисты,
Зубовный скрежет, злобный стон,—
Литературные троцкисты
Пошли войной на «Тихий Дон».
И в тех статьях, статьях-наветах
Был автор грязно оклеветан.
Но как бы ни был штурм неистов—
Клинуш тех кинули в разгон.
И, прекратив на время споры,
Они попрятались по норам.

Горькое признание вырвется позже из сердца Алексея Платова, раздумывающего о той идейной схватке, под знаком которой разворачивалась литературная (да и только ли литературная?) борьба конца 20-х — начала 30-х годов:

В ту пору мы еще не знали,
Что за словесною игрой
Иные суть свою скрывали.
Им, как чума, был новый строй.
Идейный бой — не бой в траншее,
Ведь скрытый враг куда страшнее.
Так те, что нежно обнимали,
Нас презирали всей душой.
Не знали мы, какой таят
В душе своей змеинный яд.

Их и сегодня ходит много,
Их век прошел—они живут.
И кажется, одной дорогой
С тобой в грядущее идут.

Но все обман, обман, притворство,
 Все краснобайство и фразерство:
 Они времен, им близких, жддут
 И молят дьявола и бога,
 Чтоб только нам скорей забыть
 Уроки классовой борьбы.

Вдумаемся, читатель, в эти горькие и правдивые слова и запомним их, ибо память — тоже оружие. Им, этим оружием, надо уметь пользоваться. Мы живем в такое время, стоим на таком ветру времени, что малейшая мировоззренческая неустойчивость может привести к тяжким последствиям. Особенно важно, чтобы молодежь научилась отличать то подлинно гуманистическое, передовое, что имеет социальное будущее. В этом плане становление характера Алексея Платова, современника Стаханова и Чкалова, его поиски, обретения и потери представляются мне явлениями непреходящими.

Задумываясь над поведением Платова в жизни, задаешься вопросом: откуда у юного человека такое социальное чутье? Только ли оттого, что он рос и мужал в рабочем коллективе? Среда, разумеется, была определяющей в формировании его характера. Но, думается мне, серьезный нравственный и гражданский урок преподал ему Алексей Максимович Горький, побывавший на строящемся заводе, где работал Платов. Великий писатель земли русской, знавший рабочего человека изнутри, он всерьез говорил с рабочими, и это запало в сердце молодого поэта навсегда. Платов скуп в рассказе о приезде Горького на завод, но за этой скупостью, за этой мужской сдержанностью стоит очень многое. Воистину большой любви не надо слов.

И только в дни траурного известия о смерти Горького Платов дает волю своему чувству. Строки, повествующие о похоронах пролетарского писателя, из лучших в романе.словно воочию видишь скорбную траурную процессию, которую тяжкое народное горе выплеснуло на улицы Москвы, на Красную площадь:

...День похорон. В молчанье строгом
 На площадь Красную идем.
 Последняя его дорога
 Кончалась здесь, перед Кремлем.
 Оркестров трубы ярко блещут,
 И тишина, как голос вещей,
 Как у последнего порога.
 Что как-то каждому знаком.
 Все затаялось, все замолкло.
 Лишь за стеной сверкают стекла...

Платов — натура сильная, глубокая, мятущаяся. И, может быть, многие его бед и личные неурядицы есть следствие

именно сильного характера и ранимости, как бы парадоксально это ни звучало. Платов — максималист, и это многое объясняет в его поведении и поступках. Он дитя своего времени. В нем естественно и органично живет тот порыв созидания, каким было охвачено поколение 30-х годов, поколение рыцарей без страха и упрека, своим героическим трудом, неимоверным напряжением духовных и физических сил победивших фашизм.

Вот почему он, Алексей Платов, не может пойти на компромисс с отчимом, как не может перешагнуть полосу отчуждения, разъединившего его с бывшим другом Геннадием, по воле случая оказавшимся в Москве и исповедующим универсальный принцип мещанина: «Верти хвостом и плавай рыбкой».

Роман — всегда узел проблем, переплетение магистральной, сквозной линии и многочисленных небольших сюжетов. На огромном пространстве романа «В глубь времени» отвечающие сюжетные линии притягиваются главной, «Платов — отчим», поскольку в их взаимоотношениях проявляется идейный замысел романа в целом. Характеры героев поэмы не статичны, они даны романистом в движении, хотя отчим в первой части и предстает перед читателем вроде бы совершенно сложившимся человеком. Но эта его «определенность» не исключает дальнейшую эволюцию характера; отчим — человек непростой, его поступки непредсказуемы вопреки нашим ожиданиям и тому стереотипу, который уже выработался в читательском сознании при первых встречах с профессором.

Совершив безнравственный поступок — подлог с письмом, — что повлекло за собой разрыв Алексея Платова с Марией, отчим пытается всеми путями реабилитировать себя не столько перед Платовым, сколько перед Марией. Он пытается сохранить свой авторитет в глазах молодого поколения. Профессор ищет встречи с Платовым, умоляет его вернуть то залопученное письмо, чтобы исчез документ, свидетельствующий о его нравственном падении. И куда только девалась профессорская импозантность и самоуверенность, когда под угрозой оказался его душевный комфорт! В ключевой сцене романа Платов и профессор словно бы поменялись местами: теперь все решает тот, кого несколько лет назад высокомерно, с пафосом превосходства уничтожал непогрешимый в своей безнаказанности вершитель молодых судеб. Теперь профессор взывает к чувству

жалости, сострадания, не задумываясь о том, что Платов не сохранил к нему даже элементарного чувства уважения. При составлении с Платовым профессор, как бы входя в старую роль, произносит:

Когда-нибудь война все спишет,
Оставит правду нам одну;
И кто захочет — все услышит
И все узнает про войну.

Он и тут ошибся, профессор. Война ничего не списала, да и не могла списать. Она высветила ярким светом сердца матери Платова и Настасьи, она показала (и в романе это убедительно раскрыто через характеры Платова, комиссара Макеева и других героев), что подвиг в войне готовился всей предыдущей жизнью человека, воспитывался всем укладом жизни социального общества.

Профессор прав в одном — «и кто захочет — все услышит и все узнает про войну». Последующий опыт советских писателей как в прозе, так и в поэзии на военную тему дополнял — крупница по крупнице — большую Правду о минувшей войне. И тем величественнее она, эта правда, что писалась в окопах советскими людьми (от рядового до генерала), в Брянских и других лесах, где нагоняли на врага страх народные мстители, в глубоком и близком тылу — словом, писалась всем нашим народом. Об этом роман Анатолия Софронова.

Мы не знаем, как жили бы герои романа, не будь войны. Видимо, их судьбы, как и судьбы миллионов советских людей, сложились бы иначе. Но одно очевидно со всей определенностью: Алексей Платов, как и те герои романа, кто духовно, мировоззренчески ему близок, при любых испытаниях не изменил бы своим убеждениям, ибо, как он признается в «стихах

для себя»: «Мы все живем не для себя, для общества живем».

Сын своего времени, Алексей Платов понимает, что активная жизненная позиция вырабатывается, формируется той духовной атмосферой, которая сложилась в стране благодаря новому социальному строю. Путь Алексея Платова к осознанию этой вроде бы очевидной истины пролет через обретения и потери — так было в жизни, так запечатлено художником.

Выше я говорил, что Время в романе Анатолия Софронова — живое, действующее лицо. И это действительно так. В многочисленных лирических отступлениях, которые проходят через роман, Время говорит, действует, взывает к человеческому разуму и сердцу. Оно же подсказывает герою романа, как действовать, как смель. Правда Времени и человеческой любви, говорит поэт, «открытым способом добытая» — прямым и честным разговором с читателем.

Прочитан роман Анатолия Софронова «В глубь времени». Нам близок стал Алексей Платов, человек трудной судьбы, как трудна и прекрасна своим служением отечеству была судьба его поколения. В заключение Платов пишет в своем дневнике:

Не знаю, вышел ли сюжет?
А он бы должен быть,
Поскольку счастье было жить
Мне столько долгих лет...

Сюжет вышел. Более того, роман в стихах Анатолия Софронова показал, как плодотворно обращение художника к жанру романа в стихах, если поэту есть что сказать о Времени и о себе и если роман этот подготовлен предыдущим опытом поэта

Иван САВЕЛЬЕВ.



НА ПУТИ К ЕДИНОМУ

И м а н т З и е д о н и с. Поэма о молоке. Рига. «Лиесма». 1983. 166 стр.

Сравнение не блещет новизной, но тем не менее оно приходит на ум, когда пытаешься осмыслить глубину и многослойность этого произведения: могучая, плавная река. Исток ее геряется в глубинах народного творчества, впадает же река в безбрежное море современной жизни.

По жанру «Поэма о молоке» ближе всего к лирическому эпосу. История и день сегодняшний, жизнь родного народа, важ-

нейшие социально-этические проблемы составляют основу ее содержания. И какое бы событие ни описывал автор, какой бы вопрос ни ставил перед читателем, мы обязательно чувствуем его авторское присутствие, слышим постоянный внутренний монолог, нравственную оценку поэта.

И. Аузинь, писавший о поэме, так определяет особенность формы произведения: «Внешне это — дневник поэта, прожившего

год среди деревенских людей. Цикл года — работы, заботы, наблюдения и размышления составляют его суть». Такая дневниковая форма дает автору большую свободу в выборе и расположении материала, позволяет преодолевать большие пространственные и временные расстояния, активно вмешиваться во все происходящее с героями поэмы. Исторические и философские реминисценции и размышления питают многие сюжетные линии, образы, не говоря уж о лирических зачинах и авторских отступлениях, которыми так богата «Поэма о молоке». В известном смысле можно говорить о самостоятельности, завершенности отдельных линий, вместе с тем каждая имеет свое идейное и художественное начало и продолжение в других сюжетах поэмы.

Конечно, присущая дневнику формальная «непоследовательность» изложения, некоторая разбросанность в сочетании с присущей Зиедонису эстетической плотностью стиха создают известную трудность для читателя. Но таков этот поэт, занимающий свое особое место в латышской, в большой советской литературе.

На каких стержневых линиях стоит это произведение?

Имант Зиедонис рассказывает своеобразную притчу о блудном сыне. Он вернулся к матери, но не с раскаянием, а «за маслом». Мать и сын жили в том беспощадном мире, где человек рождался или рабом, или господином, где убийство было ремеслом, а насилие законом. Сын вырос и ушел «кормиться на земле убийством». Это проще, чем «беречь и возвращать». Пройдет время, немало учтет не только воды и молока, но и крови — седой вояка вернется со шрамом на лице и наградами на груди. Старая женщина, согнутая многолетним тяжким трудом, соберет на стол, да только и скажет ненаглядному сынку: «Как хорошо, ты дома. Не убий». И мы понимаем, что это «не убий» в устах матери означает: не убий добро в себе и вокруг себя. Не убий... Она еще не знает, что ее сын уже убил, что она накрыла стол для убийцы. Матери не понять, что давно уже сын душой оторвался от нее. Для матери он все то же милое дитя, которое надо накормить и обогреть. И от этого затянувшегося неведения матери встающая над всем рассказом мысль о расколе мира на правду и ложь, добро и зло, труд и убийство приобретает еще больший, пронзительный трагизм.

«Все оттого — и войны, и убийства, что на земле нехватка молока...» Молоко! Этот образ важнейший в поэме. Важней-

ший и далеко не однозначный, ибо с ним связываются такие материи, как доброта, и доверчивость, и любовь к миру, и сострадание ко всему живому — драгоценное качество, которое мы обнаруживаем у взрослых, увы, не столь часто, как у детей; не утратить его в борьбе с невзгодами, пронести через всю жизнь — дело совсем не простое. Но Зиедонис убежден, что тот, кто сохранит привкус материнского молока на губах как первоначальную доброту детства, как память о ней, тот не совершит зла. Хоть ему, возможно, и достанется насмешек за то, что «молоко на губах не обсохло».

Они закололи олениху,
из соснов еще молоко сочилось,
выше сил моих было есть это мясо,
и меня побили.

Как тут не вспомнить горестную легенду о Матери-Оленихе из «Белого парохода» Чингиза Айтматова. Вообще по своей гуманистической направленности, по силе пафоса многие произведения Иманта Зиедониса, мне кажется, очень близки творчеству Чингиза Айтматова... Поэзия вновь и вновь предупреждает — убийство рождает убийство, кровь жаждет новой крови. Так верующие христиане стали участниками общего преступного «на крови, из-за крови, ради крови Иисуса»: реальная трагедия мифического богочеловека состоит в том, что породила она не тысячелетнее царство справедливости, но двухтысячелетнее кровопролитие. А ведь как все прекрасно начиналось, когда было только Слово!.. Поэт пытается выявить причины и ситуации, мешающие осуществиться гармонии в мире.

И еще в поэме живет большая мысль о роли и положении поэта в обществе. Вот как развивается эта тема. Зиедонис обращается к эпосу древнего народа Индии, где корова (ведь поэма — о Молоке!) веками почитается как священное животное. Оказывается, отдельные элементы санскрита сохранились во многих языках, в том числе в латышских именах и говорах: имена Andža, Andžs корнем восходят к санскритскому жертвенному маслу andžija, слова ašvis (острый, быстрый), aštrs (непоседа, сорвиголова) — к санскритскому корню ašvas. И потому «чащоба Ригведь» для Зиедониса — один из источников всечеловеческой культуры. Углубляясь в эту «чащобу», он сталкивает мифических героев и мифических обывателей, «первообывателей», выводит, точнее, заново повторяет вечные истины о назначении поэта на земле.

Он видит, что есть. А что было, он знает.
И знание в единое слово сгущает.
Хранит, собирает и пестует свет
Кто тронет его—тем прощенья нет.

В том, как общество относится к своему поэту,—один из вернейших показателей цивилизованности, духовности этого общества, будь то родовая община древних индусов или современная высокоиндустриальная формация. По мысли Зиедониса, одна из причин мировых бед заключается в недооценке, а то и просто уничтожительном отношении к поэзии и ее творцам. Ведь поэзия — еще одно воплощение Молока! — принадлежит к тем удивительным явлениям нашей жизни, что даруют человеку красоту, даруют то гармоничное состояние, с которым преодолевается страх перед смертью. В этом смысле поэзия делает нас бессмертными. А жизнь, лишенная поэзии, подобна утомительному пути «с вечною кровью в вечной пыли».

Поверяя фантазию и миф реальными событиями, Зиедонис приводит нас в пропавшее своего народа, в языческие деревни, когда они еще не знали гнета немецких крестоносцев. Приводит к таинственным искусствам и заговорам, к надежным и трудолюбивым людям, поклоняющимся пра-матери-природе во всех ее проявлениях, будь то солнце, луна, звезды, огонь, вода, животные... Мир пока един, в сознании нет раскола. Ведь и «мерзкая жаба» и уж — тоже дети природы, млеко сосушие. И даже божественные! — ибо в критический час молоко это соберут и людям отдадут... Так жили они жизнью простой и щедрой, как сама поэзия: молоко не расплескать бы! «Ужи были ручные и смиренные... даже дети играли с ними... И спали они в колыбелях детских и ели вместе с детьми из одной плошки». Это писали католические монахи-миссионеры. И они-то убивали ужей! И приводили за собой рыцарей, которые убивали детей и женщин. Убивали чужих и плодили потомков, столетиями угнетавших тот народ, что поклонялся ужам, жабам и коровам, поклонялся Жизни и Молоку... Студеными людьми называет поэт рыцарей-убийц.

Эта историческая тема, тема наших студеной людей находит свое продолжение в воспоминаниях поэта о последней войне, в рассказанной им трагедии одной латышской семьи, когда восстал брат против брата, черный крест против алой звезды.

О фашизме поэт говорит как о страшном для человека суперсвинстве. В блестящей вставной миниатюре сведены воедино... мировые проблемы и нравы свиноферм!

Становится ясно, например, почему сытые свиньи, «налопавшись, первыми лезут в троллейбус». Им и дела нет до тринадцатого братца, недокормленного, которому соска не хватило. У нашей свиньи, увы, их только двенадцать! А у недокормыша — одна мечта и один свет в окне: «Своих обожравшихся братьев увидеть дохлятиной... Растет суперсвин. Жестокость рождает жестокость. Растет свин Геринг... Одна из трех бед: завистник, садист или нытик, мещанин, фашист или раб». Важно шестует по землям суперсвинство, потому что не бывает «свинья, что другим законам обучена и кормит тринадцатых». Против насаждаемых суперсвинством нравов обращена главная заповедь человека — закон молока. Закон доброты. Закон материнского долга.

И вот встает образ матери, точнее, обобщенный образ Матери Мира, как определил его в предисловии к «Поэме о молоке» О. Кравалис (в целом о поэме он говорит: «Зиедонис преподносит нам книгу о сущности бытия, о человеческих достоинствах, без чего нелепыми культура, социальный прогресс да и сама существование жизни вообще»).

Одна из глав поэмы представляет собой цикл монологов матерей. В том числе и Матери Пчел, и Матери Шмелей, мы словно присутствуем на великом сходе родоначальниц жизни, наблюдаем и слышим драму человеческой жизни. Кульминация — монолог Матери — Узицы концлагеря. Она вспоминает холодный барак ночью и смерть окружающих. Барак и смерть, коим противостоят в том страшном мире за колючей проволокой мать и свеча. Свеча жизни, надежда. «Мать не смеет уйти до того, как умрет фитиль. Вечно бодрствуют у свечи Мать и Ночь». Это вечная борьба Матери с Ночью, пытающейся в любой момент поглотить пламя жизни.

С образом матери связана и тема семьи — со всеми ее сегодняшними непростыми проблемами. Семья — корень всего, семья — клубень, а цивилизация — его цветы. Сгниет клубень — завянут цветы, мы все исчезнем. О прочности семьи, о связи семей и поколений, о продолжении рода семейного, рода людского — и об этом поэма Иманта Зиедониса.

Словно с отдаленного причала слышится тихий, приглушенный волной и ветром поведальный диалог лирического героя. С кем он говорит — с любимой? вечностью? тьмой?.. Или это «недорисованный некто в альбоме» (название одного из стихотворений Зиедониса) — полуразмытый образ, двойник души автора, один из множе-

ства его alter ego? Доверчивость, с которой поэт обращается к своему собеседнику, сравнима лишь с простодушием ребенка, недавно осознавшего себя в мире. И вместе с тем диалог исполнен смятения и чувства горестного одиночества, знакомых только человеку, прожившему большую нелегкую жизнь. Но для поэта одиночество — духовное и нравственное чистилище. И где как не на родине, в местах, дорогих и памятных с детства, человек проходит это чистилище!

Как всякое значительное произведение, «Поэма о молоке» требует от читателя особого настроения, сосредоточенности, проникновения в мир и в систему художественных принципов автора. Нам несколько непривычны мироощущения, поэтика, при которых не просто личное, но и всечеловеческое «я» как бы растворяется в природе, в колыпании растений, пении птиц, игре огня. При чтении поэмы иногда может возникнуть ощущение разорванности между отдельными фрагментами, образами, ощущение алогичности появления этих фрагментов и образов. Но ведь подобными явлениями изобилует и сама жизнь, сама природа. То мрак и ливень внезапно вторгаются в ясный чистый день. То мы плачем, когда надо бы вроде смеяться. Или еще так — за добро злом платят. Но и эти «странности» на самом деле подготовлены подспудным внутренним процессом, ускользающим только от поверхностного взгляда. В поэме Зиедониса, где все органично, взаимообусловлено, стихи словно бы вырастают из самой природы, из повседневности бытия, чтобы в едином прочтении проступил «незримый знак достоинства и силы». Знак Молока знак Поэзии! Той Поэзии, что способна превратить мотылька в «подвижный небесный цветок», которая об утреннем соловье может сказать: «Не пела птица, сидела в черемухе тихо, как вода пролитая» И с пониманием законного хозяина заметить: «С достоинством жуют коровы, с достоинством трава растет».

Только поэт мог написать так:

Я понял здоровье камня.
Стоял он огромный и сильный
у самой обочины
и гудел, как положено камню гудеть.
В росе. Во ржи.

В высшей степени поэтична эта особенность национального сознания, признающего достоинство и у коровы (пусть коровье-го) и у травы, а «право голоса» числить даже за камнем, у которого тоже есть свое «здоровье». Что может быть величе-

ственней, чем сознавать себя живым листком на ветви человечества, а людей — одной из бесчисленных ветвей вечного вселенского древа!

Идея изначального единства мира, изначальной гармонии, без которой мы можем погибнуть в отчуждении, во взаимной вражде, очень дорога для автора. С этой идеей тесным образом связано понимание Зиедонисом поэзии, которая существует прежде всего не в произведениях искусства, а в самой природе, окружая нас. «Весь мир пронизан неким живительным светом — это и есть поэзия. Поэты лишь находят форму, которая передает это свечение». Отношение к миру как высшей форме существования поэзии вовсе не приводит автора в состояние растерянности перед этим миром, напротив, оно дает ему смелость в обращении со словом, способность погружаться в разные пласты жизни. Это нужно художнику отнюдь не для того, чтобы охватить бесконечность, объять необъятное, — он жаждет, повторяю, свести бесконечный мир воедино. И «Поэма о молоке» (талантливо переведенная Людмилой Азаровой) — лучшее подтверждение тому, что каждый настоящий поэт не просто художественно отображает действительность, но и творит ее, не только передает свечение, но и множит, усиливает его.

Последние страницы поэмы — о священной миссии того единственного, кто среди этой животворящей и все-таки равнодушной, на себе самой замкнутой природы наделен разумом и способностью ответствовать за себя и других. Дерево укроет тебя в жару, но не протянет ветвей погибающему от зноя в пустыне. Корова даст тебе молоко, если ты выстроил для нее коровник и ухаживаешь за ней. Но лишь человек приходит на помощь совершенно, казалось бы, чужому существу, порой даже в подсознании не рассчитывая на какую-либо благодарность или возмещение, лишь повинувшись великому чувству единства и сопричастности делам и жизням мира,

Бездушны — и воздух отравленный
и чистый воздух

тайнственный.
Я человек, я против —
один на один с равнодушным —
я единственный.

И пока есть хоть кто-то один на один с равнодушным — с нами пребудут и Дерево, и Семья, и Поэзия. Пребудет — Жизнь.

Эдуард ПРОНИЛОВЕР.

Политика и наука**ВОЖДЬ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ**

История рабочего класса СССР. М. «Наука». Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. 1983. 575 стр.; Рабочий класс в первой российской революции 1905—1907 гг. 1981. 432 стр.; Рабочий класс России. 1907— февраль 1917 г. 1982. 464 стр.

Главное в учении К. Маркса, подчеркивал В. И. Ленин, «это — выяснение всемирно-исторической роли пролетариата как созидаателя социалистического общества». А накануне Октября Владимир Ильич писал, что только пролетариат способен быть «вождем всех трудящихся и эксплуатируемых масс...».

Важнейшие проблемы истории возникновения, формирования и развития рабочего класса нашей страны рассмотрены во многих коллективных трудах и монографиях. Девятитомная история рабочего класса СССР займет среди них, безусловно, особое место. Три вышедших тома этого первого в отечественной историографии комплексного исследования (посвященных периоду от зарождения рабочего класса в России до свержения царского самодержавия в феврале 1917 года) на основе разнообразного и обширного фактического материала воссоздают жизнь многих поколений рабочих.

Авторы останавливаются на главной особенностях формирования в России уже в XVII веке рынка рабочей силы. Работник здесь в отличие от западноевропейского не был лично свободным. Он оставался зависимым от государства, от феодала, должен был платить оброк. Так было вплоть до реформы 1861 года, отменившей крепостное право. Применение труда крепостных крестьян в промышленности В. И. Ленин рассматривал как самобытное явление в русской истории. Вместе с тем еще в до-реформенной России сложился слой вольнонаемных рабочих, связанных с капиталистической мануфактурой, а в дальнейшем с первыми фабриками и заводами. Эти рабочие были предшественниками пролетариата капиталистической эпохи.

«История...» подробно освещает правовое и экономическое положение рабочих людей. В XVIII веке утвердился двенадцатичасовой рабочий день. Происходит фактическое уменьшение заработной платы, обнищание значительной части низших разрядов работников.

Развитие мануфактурной промышленности сопровождалось нарастанием и углублением различных форм протеста трудового люда.

В конце XVIII — начале XIX века в стране продолжал развиваться капиталистический уклад. Он расшатывал феодальную систему. Заняв среди европейских государств политически видное место, Россия могла его сохранить, лишь все более включаясь в мировой процесс развития капиталистических отношений.

Важное значение имел промышленный переворот в XIX столетии. Он означал скачок в развитии производительных сил, переход от мануфактуры к машинному производству. Возросла численность рабочих в промышленности, у них пробуждались зачатки классового самосознания.

Революционная ситуация, как известно, вынудила царизм пойти на отмену крепостного права. «19-ое февраля 1861 года, — указывал В. И. Ленин, — знаменует собой начало новой, буржуазной, России, выраставшей из крепостнической эпохи». На последние десятилетия XIX века приходится завершающий этап промышленного переворота в стране. Капитализм утвердился окончательно. На рубеже XIX — XX веков российский капитализм вступил в высшую, монополистическую стадию — империализм с его военными катастрофами, социальными потрясениями и острейшими классовыми конфликтами. В России назревала буржуазно-демократическая революция.

В 1903 году состоялся II съезд РСДРП. Образование ленинской партии стало поворотным пунктом освободительной борьбы российского и международного пролетариата. Особое внимание в историческом исследовании уделено выдающейся роли В. И. Ленина и его соратников в создании пролетарской партии нового типа, теоретической и практической деятельности Владимира Ильича.

События 1905—1907 годов нашли широчайший отклик за рубежом. Чешская рабочая газета «Право люду» писала в 1905 году, что русская революция «своим примером... создает во всем мире атмосферу, которая будет благоприятствовать во всех государствах началу великих битв между миром труда и миром капитала». Эхо первой народной революции эпохи империализма докатилось и до Латинской Америки. Один из участников мексиканской ре-

волюции 1910—1917 годов, Ромеро Флорес, писал: «Нас воодушевляла революционный порыв России в 1905 г., подавленный царем. Для нас борьба, которая происходила тогда в России, была путеводной звездой; мы видели в этом великом народе нашу надежду».

Первая мировая война на время затормозила дальнейший подъем рабочего движения. Это была последняя отсрочка, которую получило самодержавие перед своим неизбежным концом.

Конкретно-исторический анализ революционной борьбы многонационального рабочего класса России, ядром которого были русские рабочие, ясно показывает, что упрочение его роли гегемона освободительного движения в стране, укрепление союза с крестьянством сыграли решающую роль в победе Февральской буржуазно-демократической революции. Мировое революционное движение обогатилось ценнейшим опытом борьбы, использованным впоследствии рабочими самых различных стран. «Русские братья, только что совершившие великую революцию,— обращался к народу России Ромен Роллан,— мы должны не только вас поздравить, но и поблагодарить. Не для себя одних вы трудились, завоевывая себе свободу, но и для всех нас, ваших братьев из старого Запада».

Авторскому коллективу исследования удалось показать рабочий класс и как субъект и как объект истории. Здесь воссоздаются не только этапы его борьбы против эксплуататоров, но и (в органическом единстве) развитие его самого в этой борьбе.

Отрадно, что в исследовании нашлось место, чтобы показать влияние рабочего движения на литературу и искусство. Если до революционных событий писатели и публицисты, по словам А. С. Серафимовича, дарили пролетариату лишь «нищенские крохи своего внимания», то в годы первой русской революции в произведениях многих крупных прозаиков и поэтов в полный голос зазвучала тема труда и борьбы рабочего класса, формирования нового человека.

Добавим, что созданный учеными капитальный труд может служить справочником в лучшем смысле слова. Он содержит подробные указатели (именной, географический, предприятий), цветные географические карты, библиографию.

Не все вопросы нашли в исследовании достаточно полное рассмотрение. Сами авторы указывают, что оно должно содействовать дальнейшему изучению истории

рабочего класса СССР. Хочется выразить надежду, что рецензируемое издание послужит и базой и стимулом для создания обобщающих исследований, посвященных региональным отрядам рабочего класса нашей многонациональной родины. Предстоит еще большая работа в области статистических изысканий, изучение экономического положения рабочих в центре и на местах, эволюции классового самосознания пролетариата в предоктябрьские годы, с тем чтобы конкретнее, рельефнее, более многопланово отобразить российское рабочее движение в эпоху империализма.

Уместно упомянуть и о проблеме, которая остается трудноразрешимой при подготовке изданий подобного типа: единство стиля коллективного исторического труда. Вероятно, к цели может привести улучшение одновременно и научного и литературного редактирования.

Перед нами такое научное произведение, которое всем своим содержанием опровергает разного рода версии истории рабочего класса России в дооктябрьский период, выдвигаемые советологами, состоящими на службе у империализма. В этой связи трудно удовлетвориться тем, что сказано в «Истории рабочего класса СССР» по поводу буржуазной историографии. Это не столько упрек авторам, сколько желание привлечь их внимание в дальнейшем к столь важной теме.

Для империалистов и их пособников, как указал XXVI съезд КПСС, самое главное — отвратить людей от социализма. Они действуют против стран социализма все более изощренно и коварно. На Западе множится число сочинений, в которых по разным поводам и с помощью различных приемов буржуазные идеологи пытаются исказить подлинную роль пролетариата в исторической судьбе России. Понятно, что в этом находит отражение целенаправленный замысел империалистических сил, стремящихся затушевать истинное предназначение рабочего класса — самой активной, творческой силы современного человечества. Например, в недавно вышедшей монографии французского советолога М. Малиа «Понять русскую революцию» усилия автора направлены на то, чтобы представить ведущей силой движения за обновление русского общества либералов (кадетов) и доказать, будто под их влиянием находился рабочий класс. Автор уверяет, что царская система развалилась «под собственной тяжестью», но отнюдь не под натиском революционной борьбы. В русле подобной интерпретации истории

следует англичанин Дж. Линдсей (автор книги под претенциозным названием «Кризис марксизма»), утверждающий, что правящие классы России утратили власть в октябре 1917 года «благодаря войне и слабости буржуазии».

Есть смысл подумать о том, чтобы уделить в последующих книгах специальное внимание буржуазной историографии, критическому анализу ее концепций истори-

ческого пути, пройденного рабочим классом нашей страны. Разоблачать во всеоружии марксистско-ленинского мировоззрения фальсификаторские измышления советологов — ответственная задача советских историков, особо актуальная ныне, в условиях небывалого обострения борьбы двух мировых общественных систем.

М. ПОЛЬСКИЙ,
кандидат исторических наук.



ПО ВЫШЕМУ СЧЕТУ

П. Г. Олдак. *Равновесие природоведение. Взгляд экономиста.* Новосибирск. «Наука». 1983. 128 стр.

Диалектика в науках о природе и человеке. Человек, общество и природа в век НТР. М. «Наука». 1983. 431 стр.

Биология охраны природы. Перевод с английского. М. «Мир». 1983. 430 стр.

Создалась реальная опасность: многие природные богатства, без которых немислима жизнь на земле, в результате их беспечного расходования оказались под угрозой исчезновения.

Подобная ситуация вызывает вполне оправданное беспокойство специалистов. «Необходимо преодолеть узкомеркантильный подход к проблемам природопользования,— пишет экономист П. Г. Олдак.— Нельзя подсчитать, где нам выгодно беречь природу, а где нет. Экономический счет (выраженное в денежных единицах сопоставление затрат и результатов) имеет важное значение. Но нельзя забывать, что это счет второго порядка. Счет первого порядка с природой идет не на деньги, а на здоровье и полноценность самой жизни. Это высший счет совести и ответственности...»

По мнению Олдака, необходимо осуществить переориентацию народного хозяйства: от экстенсивного природопользования перейти к равновесному, учитывающему допустимую нагрузку на природные системы, сберегающему их. Автор напоминает: «Сегодня утилизируется в конечном продукте приблизительно 1 процент веса используемых природных ресурсов. Остальные 99 процентов практически безвозвратно теряются». Разумное природопользование, применение современной техники и технологии уже теперь дают значительные результаты. В книге приводится такой пример: Исландия «полностью обеспечивает себя яблоками, помидорами, дынями и даже бананами, выращиваемыми в закрытом грунте на основе использования геотермальной энергии. А совсем недавно здесь заложены первые кофейные плантации!»

Однако при капиталистическом производстве, ориентированном на достижение максимальной прибыли, невозможно найти выход из глобального экологического кризиса. «В полной мере,— пишет Олдак,— эта задача может быть реализована лишь в рамках социалистического строя, ибо она предполагает положение, при котором общественные интересы ставятся выше частных, производство перестает ориентироваться на прибыль, а уровень жизни — на престижное потребление». Впрочем, обо всем этом много и убедительно пишут философы, социологи, публицисты. От экономиста же читатель вправе ждать более конкретного анализа и конструктивных предложений. Хотелось бы, скажем, выяснить, почему у нас на Камчатке, не бедной геотермальной энергией, недостаточно производится не только бананов и дынь, но и помидоров, хотя расположена она южнее Исландии. Экономический разбор подобных реальных ситуаций в книге Олдака, к сожалению, отсутствует. Увлекаясь общими рассуждениями, автор снижает практическую ценность своей работы.

О том, как ставятся и решаются в наше время экологические проблемы, можно судить и по сборнику «Диалектика в науках о природе и человеке. Человек, общество и природа в век НТР». В нем опубликованы статьи видных ученых, таких, как Е. К. Федоров, И. Т. Фролов, Д. М. Гвишиани. Знакомясь с этой книгой, начинаешь отчетливо понимать: сложилась исключительно устойчивая система экстенсивной эксплуатации природы, в которую входит множество взаимосвязанных компонентов (наука, техника, производство, потребности людей, стиль жизни и т. д.).

Общество не машина, где можно без особого труда заменить или переделать определенную деталь. Это настолько сложный организм, что мы до сих пор не научились предвидеть все возможные стороны его развития. Что же, оставить разрешение противоречия между природой и обществом — науке будущего? Но это значит, что мы продолжим разрушать среду, оставляя потомкам горы отходов и истощенные природные кладовые...

Исследователи понимают безнравственность подобной позиции. Этим определяется пафос обеих упомянутых книг: должно ученого — заботиться о сохранении природы; при решении конкретных задач научно-технический прогресс должен быть ориентирован «на благо человека как свою высшую цель». Немалое внимание авторы уделяют моральным факторам, экологическому воспитанию, выработке внутренних норм разумного потребления, самому стилю нашей жизни. Однако сегодня нельзя ограничиваться только благими пожеланиями. Основные задачи взаимодействия общества и природы решены достаточно давно. Настала пора применить наши знания на практике.

Работы, в которых даны конкретные рекомендации по охране природы, уже появляются. Одна из них — «Биология охраны природы». Правда, в ней речь идет почти исключительно о тропических ландшафтах. Однако содержащиеся здесь выводы имеют, на мой взгляд, широкое значение. Среди авторов книги ботаники, зоологи, экологи, генетики, статистик, математик-демограф, биохимик, эндокринолог, социолог... Прекрасное содружество ученых, объединенных общим стремлением сберечь природу.

«Зеленый покров Земли, — говорится в книге, — сейчас опустошается и грабится в процессе его безудержной эксплуатации людьми с помощью техники. Никогда еще за 500 млн. лет эволюции жизни на суше этот покров, называемый биосферой, не подвергался такой безжалостной атаке... В течение нашей жизни планета увидит торможение или даже прекращение многих экологических и эволюционных процессов, которые не прерывались с начала палеонтологической летописи... Необходимо привлечение в сферу биологии охраны природы все большего числа ученых. Но это только начало. Для победы в войне недостаточно одной интеллектуальной деятель-

ности. Требуются также деньги, войска, оружие и, наконец, правильная стратегия». Авторы поясняют, что в настоящее время природоохранное воинство в большинстве стран находится на скудном финансовом обеспечении, численно невелико, разрозненно, технически оснащено слабо. Ощущается нехватка специалистов, способных мысленно охватывать все фронты борьбы, ориентироваться в данных многих наук

То, что социализм предоставляет благоприятные возможности для рационального природопользования, еще не повод для самоуспокоения. Когда видишь в зоне затопления на великих сибирских реках лесные массивы, гибнущие на корню, начинаешь понимать, что наши таежные леса могут разделить судьбу тропических лесов в местах их хищнического истребления.

Авторы «Биологии охраны природы» заявляют, что экономическое обоснование охраны природы совершенно необходимо. Факты, которые они приводят в подтверждение своего тезиса, порой неожиданны. Например, цена одного прирученного льва, которого показывают зрителям в кенийском национальном парке, составляет 515 тысяч долларов, цена льва на охоте — 8500 долларов, а рыночная цена льиной шкуры — всего 1150 долларов. Утешительная бухгалтерия! Сохранять «природный ресурс» оказывается в десятки, сотни раз выгоднее, чем использовать его же, уничтожая.

Конечно, потерю или порчу далеко не всех видов природных ресурсов можно выразить в рублях. Чистая вода, чистый воздух, те или иные виды животных и растений, красота цветущего луга или осеннего леса — все это невосполнимые, а потому и неценные богатства. Но современный экономический стиль мышления, сложившаяся структура хозяйствования требуют и в этих случаях приводить в действие экономические рычаги. До тех пор, пока разрушать природу будет выгоднее, чем сберечь, борьба за нее даже при частичных успехах в целом будет обречена на поражение. Рассчитывать на победу в этой труднейшей борьбе мы можем только с помощью природоохранной экономики, оценивающей истинные, долговременные затраты и прибыли.

Р. БАЛАНДИН.

ИЗ РЕДАКЦИИ ОДНОЙ ПОЧТЫ

ИВАН ГРИШКОВ,
кандидат исторических наук



ОДИН ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ ЛЕНИНА

О В. И. Ленине написано много монографий, статей, воспоминаний; факты его биографии, государственной, партийной деятельности запечатлены в различных исторических документах, начиная с официальных протоколов и кончая его собственными пометками на полях книг, газет, краткими записями секретарей, стенографисток. Все известные материалы о жизни великого вождя нашей революции включены в своеобразный свод — в двенадцатитомную Биографическую хронику В. И. Ленина, издание которой завершилось в 1982 году. Там буквально день за днем прослежен жизненный путь Владимира Ильича, и может сложиться впечатление, что добавить к этим знаниям о Ленине уже ничего нельзя. Однако это не совсем так: неизвестные страницы в биографии вождя существуют, некоторые детали его жизненного пути требуют дополнений и уточнений.

В одиннадцатом томе фундаментального труда «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника» на странице 415 сказано, что в конце сентября 1921 года «Ленин приезжает в подсобное хозяйство строительства Каширской ГРЭС — совхоз «Ледово» (Каширский уезд Московской губ.), где находился на отдыхе Г. М. Кржижановский».

Ледово было тихим красивым селом, каких немало в средней полосе России. До революции в нем располагалось имение помещика Франка, которое после победы Октября конфисковали, а на базе помещичьего хозяйства создали совхоз. В 1919 году в тринадцати километрах отсюда началось строительство крупной по тем временам Каширской районной электростанции для обеспечения электрической энергией Москвы. На следующий год ее включили в число 30 районных электростанций, которые было намечено построить по плану ГОЭЛРО. Руководителем и главным инженером Каширстроя был Г. Д. Цюрупа, брат известного большевика, соратника Ильича, наркома продовольствия А. Д. Цюрупы.

Внимание В. И. Ленина к строительству было постоянным, об этом свидетельствуют многочисленные документы — письма, телефонограммы, телеграммы, написанные или подписанные его рукой. Он вникал в любые вопросы организации и снабжения Каширстроя: обеспечение его рабочей силой и специалистами, материалами, оборудованием и, конечно же, продовольствием... Однажды, когда у строителей был острый недостаток в хлебе, Г. Д. Цюрупа обратился за помощью к В. И. Ленину. В Москву в это время прибыло три вагона с хлебом. По предложению Владимира Ильича Совет Труда и Оборона принял решение один из вагонов переправить строителям ГРЭС. «Этот случай,— вспоминал Г. Д. Цюрупа,— особенно подчеркивает то внимание, которое Владимир Ильич уделял делу Каширского строительства».

Чтобы улучшить снабжение продовольствием, в распоряжение Каширстроя было передано несколько совхозов, в том числе и «Ледово». Довольно запущенные хозяйства благодаря инициативе строителей за короткий срок стали показательными: крестьяне окрестных деревень брали с них пример. Об образцовом порядке, чистоте, правильном содержании скота в совхозе «Ледово» 11 марта 1921 года писали «Известия».

Именно туда в начале сентября двадцать первого года прибыл на отдых Глеб Максимилианович Кржижановский вместе с женой. Их разместили в бывшем помещичьем доме, который до наших дней, к сожалению, не сохранился: в 1962 году он сгорел во время пожара.

Эти места располагали к отдыху: уютный дом с мезонином и сад, уединенность, тишина, гармонично сочетавшиеся с красотой простого русского пейзажа. И вот однажды сюда к председателю Госплана приехал самый желанный гость — Владимир Ильич Ленин. Когда это было?

В 1925 году в Ледове открыли памятник В. И. Ленину, на постаменте была сделана надпись: «Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ильич Ленин был здесь 23 сентября 1921 года». Прежнего памятника давно уже нет, но на новом, установленном в 1968 году, та же дата.

Составители Биографической хроники не стали подтверждать это число: поездка В. И. Ленина в «Ледово» дана под рубрикой «Конец сентября». Дело в том, что 23 сентября Владимир Ильич напряженно трудился в Москве, а с шести часов вечера председательствовал на пленарном заседании Совета Труда и Оборона. Перечень вопросов, которые В. И. Ленин решил в этот день, в Биографической хронике занимает более шести страниц.

Руководители Каширской электростанции, устанавливая памятник, судя по всему, не располагали достоверным письменным источником с указанием даты приезда В. И. Ленина в «Ледово», а память могла их подвести. Г. М. Кржижановский в воспоминаниях, написанных уже в послевоенные годы, сообщает, что В. И. Ленин посетил его в «Ледове» за неделю до VIII Всероссийского электротехнического съезда, который открылся 1 октября 1921 года, то есть и он не указывает точного числа этого визита. Можно ли сегодня с известной достоверностью установить его дату?

Глеб Максимилианович Кржижановский был близким другом Владимира Ильича. Впервые они встретились в 1893 году и с тех пор стали верными соратниками на революционном пути. Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», ссылка в Восточную Сибирь, деятельность по созданию пролетарской партии — таковы важнейшие вехи их совместной революционной деятельности. После революции 1905—1907 годов Г. М. Кржижановский, оставаясь большевиком, революционером, поступил работать в «Общество электрического освещения 1886 года» и вскоре стал известным в России как видный специалист-энергетик.

С победой Октябрьской социалистической революции развернулась государственная деятельность Г. М. Кржижановского: он работал председателем Комитета государственных сооружений ВСНХ, затем возглавил электротехнический отдел ВСНХ. В феврале 1920 года его назначили председателем комиссии ГОЭЛРО. Эта комиссия и привлеченные ею видные специалисты науки и техники разработали знаменитый план электрификации России, который В. И. Ленин охарактеризовал как вторую программу партии. Работа над планом потребовала многих физических и духовных сил от всех его составителей, и в первую очередь от председателя комиссии. Весной 1921 года Г. М. Кржижановский был назначен председателем Государственной плановой комиссии РСФСР — вновь созданного государственного органа республики. Деятельность Госплана началась в крайне тяжелых условиях: из-за засухи во многих губерниях РСФСР разразился голод, а страна еще не успела оправиться от разрухи. Забот у руководителя Госплана было более чем достаточно, а к ним добавились еще — Кржижановского назначили председателем Организационного комитета по созыву VIII Всероссийского электротехнического съезда, который должен был провести научную экспертизу плана ГОЭЛРО и рассмотреть ряд практических вопросов развития электроэнергетики и электрификации страны. Огромная напряженная работа вызвала сильное переутомление Г. М. Кржижановского.

В августе Владимир Ильич, заметив, что состояние здоровья Г. М. Кржижановского ухудшилось, заговорил с ним о немедленном отдыхе: «Вот что, Глеб Максимилианович, поезжайте-ка вы в Ригу. Там есть хорошие санатории. Вам следует отдохнуть и подремонттировать свое здоровье». Тот стал отказываться от отпуска, а тем более ехать на Рижское взморье. Тогда В. И. Ленин 29 августа обратился с письмом в Оргбюро ЦК РКП(б) с просьбой обязать председателя Госплана выехать в Ригу на месяц для лечения и отдыха. «Я очень прошу провести это сегодня, ибо я убедился, по должности Председателя Совета Труда и Оборона, что председатель Госплана почти *нагорвался*. Его ремонт *необходим* и неотложно *необходим*.

Без решения Оргбюро ничего не добиться»¹.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 53, стр. 143.

Внимание В. И. Ленина к здоровью Г. М. Кржижановского не следует рассматривать лишь в плане их дружеских отношений. Сохранилось множество свидетельств о том, какую трогательную заботу проявлял он о соратниках по партии, о рядовых коммунистах и беспартийных грузениках. Себя Ленин не жалел, а о других, несмотря на свои многочисленные дела, старался помнить всегда...

В двадцатых числах августа 1921 года Глеб Максимилианович в коридоре Совнаркома встретил главного инженера Каширстроя Г. Д. Цюрупу, который только что был на приеме у В. И. Ленина. Они разговорились. Г. Д. Цюрупа заметил, что собеседник выглядит неважно — усталый, побледневший, осунувшийся, — и пригласил его приехать в один из совхозов Каширстроя, «Ледово»: «Отдохнете и стройка рядом — все удовольствия!» Глеб Максимилианович, пишет в своих воспоминаниях Г. Д. Цюрупа, рассмеялся: «Все удовольствия, говорите, ну что же, хорошо, подумаем, подумаем»...

Оргбюро ЦК РКП(б) приняло решение о предоставлении Г. М. Кржижановскому отпуска. Выписка из протокола заседания была переслана В. И. Ленину 30 августа. В тот же день он дал указание помощнику управляющего делами СНК и СТО В. А. Смольянинову послать Г. М. Кржижановскому копию решения Оргбюро.

Вынужденный подчиниться партийному приказу, Г. М. Кржижановский все же решительно отказался ехать на Рижское взморье. Он согласился отдыхать только где-нибудь в средней полосе России и решил воспользоваться приглашением Г. Д. Цюрупы. Об этом он, можно предположить, сообщил и В. И. Ленину. Во всяком случае, 3 сентября Владимир Ильич продиктовал по телефону секретарю СНК М. И. Гляссер письмо на имя Г. Д. Цюрупы: «Мне сообщили, что Вы взяли устроить у себя на отдых т. Кржижановского. Возлагаю на Вашу ответственность, чтобы отъезд в Москву в течение месячного отпуска Вы ни в каком случае не допускали»². 9 сентября в докладной записке В. И. Ленину Г. Д. Цюрупа сообщил, что его указания приняты к исполнению.

В «Ледово» Г. М. Кржижановский прибыл после 3 сентября, а к 1 октября он уже вернулся в Москву, где открыл VIII Всероссийский электротехнический съезд.

В Биографической хронике не указывается точная дата поездки В. И. Ленина к Г. М. Кржижановскому, но, на наш взгляд, там содержатся косвенные данные, анализируя которые можно установить этот день — 25 сентября. В остальные дни последней декады месяца Владимир Ильич напряженно трудился в Москве.

Под 25 сентября 1921 года в Биографической хронике сделана следующая запись: «Ленин уезжает (в 9 час.) на автомашине за город; возвращается в Москву 26 сентября (в 2 часа ночи)»³. Этот текст составлен на основе записей о поездках В. И. Ленина на автомашине, содержащихся в одном из фондов Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В подлинном документе, хранящемся в архиве, кроме того, что зафиксировано в Биографической хронике, названы шофер автомашины (Гиль) и количество верст пути в обе стороны (256). Маршрут поездки в документе не назван. Количество указанных в документе верст примерно соответствует длине пути из Москвы в «Ледово» и обратно. К этому следует добавить, что день 25 сентября был воскресным. В. И. Ленин не мог позволить себе использовать рабочий день для неофициальной поездки. Итак, на наш взгляд, В. И. Ленин побывал в совхозе «Ледово» у Г. М. Кржижановского 25 сентября 1921 года.

На основании сохранившихся воспоминаний попробуем воссоздать канву событий того дня.

Примерно в девять часов утра Владимир Ильич в автомобиле марки «роллс-ройс», которым управлял шофер С. К. Гиль, выехал из Кремля. Достигнув городской черты, автомобиль направился на Каширское шоссе. Оно тогда было разбитым, поэтому скорость движения машины была небольшой. Около двух часов дня подъехали к конторе строительства Каширской электростанции, которая размещалась в селе Горки в бывшем помещичьем доме. В. И. Ленин из машины не выходил. С. К. Гиль зашел в контору и спросил Г. Д. Цюрупу, но его там не оказалось. Тогда он попросил кого-нибудь показать дорогу на Ледово. Панфил Никанорович Прохоров, исполнявший обязанности курьера конторы Каширстроя, вызвался быть проводником. Путь

² Там же, стр. 168.

³ «Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника», т. 11, стр. 390.

проходил через Новоселки и Воскресенки. В Воскресенках машина застряла на мосту через речку. На помощь пришли крестьяне. Они помогли вытащить машину и преодолеть крутой подъем. В. И. Ленин, беседуя с крестьянами села, упрекнул их за то, что они не содержат мост в порядке. К вечеру В. И. Ленин прибыл в Ледово.

Один из ветеранов Каширстроя и Каширской электростанции, Г. А. Калинин, в журнале «Вопросы истории КПСС» опубликовал свои воспоминания под названием «В. И. Ленин на строительстве Каширской ГРЭС». В них он подробно рассказал о том, как в конце сентября 1921 года В. И. Ленин якобы посетил Каширское строительство. По утверждению автора, В. И. Ленин осмотрел стройку, беседовал с рабочими, специалистами, выступил на митинге строителей, на совещании в конторе строительства. Причем мемуарист даже изложил содержание бесед, речи В. И. Ленина⁴.

В публикациях до сих пор не было оценок статьи Г. А. Калинина. Мы считаем необходимым это сделать по принципиальным соображениям, тем более что авторы книги «Ленин в Москве и Подмосковье. Места пребывания, даты и события», коротко описывая поездку В. И. Ленина в совхоз «Ледово», включили в свой текст следующую фразу: «Есть воспоминание о том, что он (В. И. Ленин.— И. Г.) посетил строительство Каширской ГРЭС»⁵. В числе источников, на основе которых дано описание поездки В. И. Ленина в «Ледово», названа и статья Г. А. Калинина⁶.

В действительности В. И. Ленин ни в сентябре 1921 года, ни в какое-либо другое время не был непосредственно на Каширстрое. Если бы В. И. Ленин посетил Каширстрой, этот факт был бы отражен в каких-то источниках. А таких источников нет. Никаких данных о посещении В. И. Лениным Каширстроя нет и в воспоминаниях руководителя Каширстроя Г. Д. Цюрупы. Г. А. Калинин утверждал, что В. И. Ленин приехал на Каширстрой вместе с Г. М. Кржижановским. Между тем Г. М. Кржижановский никогда и нигде об этом не писал. В воспоминаниях Г. М. Кржижановского отмечено следующее. В сентябре 1921 года, за неделю до открытия VIII Всероссийского электротехнического съезда, В. И. Ленин посетил его в совхозе «Ледово» Каширского уезда, где он тогда отдыхал⁷. По пути в «Ледово» В. И. Ленин проезжал мимо Каширстроя. «...Владимир Ильич только издали полюбовался выстроенным корпусом электростанции и, не задерживаясь, проехал к нам в Ледовый совхоз»⁸. Позднее ночью В. И. Ленин выехал из «Ледова» в Москву⁹.

Встреча друзей продолжалась несколько часов. Позднее, в 1946 году, Г. М. Кржижановский в беседе с писателем Николаем Ановым так вспоминал об этом: «Мне трудно сейчас вспомнить подробности того сентябрьского вечера. Но хорошо помню, что Владимир Ильич, рассказав, с какими трудностями сооружается Каширка, заговорил о предстоящем 8-м Всероссийском электротехническом съезде». Этому съезду В. И. Ленин уделял большое внимание. Говорили о Подмосковном угольном бассейне — будущей топливной базе Каширской ГРЭС. И конечно, Владимир Ильич интересовался отдыхом Глеба Максимилиановича и его супруги. Кстати, одна характерная деталь: В. И. Ленин запретил на время отдыха доставлять Г. М. Кржижановскому почту, в том числе и газеты. «Здесь вам надо только отдыхать, отдыхать по-настоящему, как советуют врачи...»¹⁰.

В беседах в саду и в доме, за ужином быстро пролетело время. Пора было прощаться. В ночной темноте машина выехала из «Ледова», а в два часа ночи (то есть уже 26 сентября) В. И. Ленин был в Москве.

⁴ Калинин Г. А., «В. И. Ленин на строительстве Каширской ГРЭС» («Вопросы истории КПСС», 1971, № 4).

⁵ «Ленин в Москве и Подмосковье. Места пребывания, даты и события». М., 1980, стр. 400.

⁶ См. там же, стр. 488.

⁷ «Наш Ильич. Москвичи о Ленине. Воспоминания. Письма. Приветствия» М 1969, стр. 264—266.

⁸ Там же, стр. 265.

⁹ См. там же, стр. 266.

¹⁰ «Наш Ильич. Москвичи о Ленине. Воспоминания. Письма. Приветствия», стр. 265, 266.

КОРОТКО О КНИГАХ



АНАТОЛИЙ ТУРОВ. Пастораль. Повесть. М. «Советский писатель». 1983. 239 стр.

Я эту книгу читал еще в рукописи — вернее, читал те очерки, или рассказы, из которых она сложилась. — и теперь снова испытал обаяние этих необычных записок горожанина о деревне. Необычны они потому, что горожанин сел в седло и несколько месяцев пас стадо телят — первый раз в жизни. Конечно, это привело его к ошеломляющим открытиям.

Разумеется, не обходится тут и без смешного; юмор есть даже в композиции — уж не знаю, замыслил это автор или повествование само сложилось так органично. Стоит оно из двух частей, и основное содержание первой — «биография» деревенского пса (охотника и пастуха) от самых щепетных пор: увлекательная история взросления, приобщения к тайнам жизни и природы, на каждом шагу жалующих Бушуя сюрпризами то приятными, то опасными, но всегда удивительными и поучительными. А во второй части на первый план выходит сам автор, ставший пастухом, и вот оказывается, что взрослый, женатый, образованный, пишущий человек, знакомый к тому же с родной природой, любящий и знающий животных, попал словно бы в положение щенка, ибо природа поворачивается к нему новыми, неожиданными сторонами. Множество любопытнейших подробностей, бездна лирики, комизма, а порой настоящего драматизма в описании необычной жизни автора и той древней, трудной, часто не на шутку опасной работы, которая, будучи бытом и буднями, в то же время приобщает, как и всякий крестьянский труд, к почве и корням человеческого существования.

У меня книга Турова вызывает какое-то интимное сочувствие единомышленника: ведь, как и автор, я человек городской, но во внутренней моей жизни (включая сюда, и даже в первую очередь, мою работу — познание Пушкина) деревня, ее люди, ее природа и нравственный быт сыграли роль просветляющую. Закладывалось это незаметно, еще в раннем детстве, на земле предков, в тверских краях. А там как раз и протекает действие книги «Пастораль», эти края и для Турова стали своими.

Сам он родом из курских мест, где, как он пишет, «уже слышится что-то от цветовой гаммы юга. Даже в ноябре в солнечный день гудят набатом холмистые бархаты чернозема, поля с озимыми звенят такой высо-

кой чистотой зеленого цвета, что кажется, цвет глаза сожжет. И вдруг на ярком шелке зелени озимых — желтый расплав соломенных скирд... В нашем Нечерноземье... все звуки, цвета тише, мягче...».

Тут вспоминается мудрый Борис Шергин: «В нашей русской природе есть некая великая простота... Но душевные очи художника в этой простоте видят неисчислимое богатство... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но взглядишь в жемчужину, в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облаков над холмами Радонежа?»

«Душевные очи» автора «Пасторали» умеют вглядываться в такую вот простоту и видеть в ней богатство. Его слово имеет цвет, и цвет этот звучит. Есть у него, например, о да болоту — таинственному хранителю русского леса, и тот, кто знает и любит музыкального волшебника Лядова, услышит, думаю, на этих страницах язык и краски прославленной «Кикиморы». Вообще главное в книге — ощущение сказки, простого чуда, которое не навязываясь, но и не отпуская живет себе поживает в двух шагах от каждого, кто умеет видеть и слышать.

Именно такой человек и оказывается у Турова истинным главным героем — ныне покойный уже Лева Серганов, колхозный пастух, обездоленный войной, одинокий и пьющий, вдохновенный мастер, знаток и собеседник природы, читающий любую полянку в лесу, любую тропинку как открытую книгу. Какой-то чин местного значения, пожимая плечами, говорит: «Да разве у нас в районе нет более достойного человека для того, чтобы о нем писать? Да Лева самый последний человек здесь!» Но автор стоит на своем и радуется, «что еще один бесценный самородок нашел», и негодует, что «никто не признает, не видит в нем чуда», и догадывается: «Наверное, я просто хорошо узнал здесь лишь одного Леву. Каждый человек полон чудес, незаметных стороннему глазу». Взгляд Турова на деревенскую жизнь — одновременно извне и изнутри, опыт и знание переплетаются с удивлением, а это и есть взгляд художника.

Правда, по крайней мере от одной пространственной слабости автор книжки не вполне уберется. Я имею в виду излишнюю порой восторженность, этакое сентимен-

тальное придыхание в авторских гимнах природе, отчего возникает многословие и недостаточная отточность речи. Искусство — вещь строгая. Непреложный закон театра: чем больше актер упивается на сцене собственными чувствами, тем меньше переживания он оставляет зрителю — действителен и для писателя. «Нет; решительно нет, — писал Пушкин, — восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного». Впрочем, вдохновения в книге «Пастораль» все же больше, чем восторга, и это хорошо.

В. Непомнящий.



Н. ДОРОШЕНКО. Тысячу километров до Москвы. Рассказы. М. «Современник». 1983. 191 стр.

Просто и естественно живут герои Дорошенко, но повседневные заботы и мелочи не затмевают их духовного горизонта. Средоточенно или подчас рассеянно, на ощупь ищут они ответы на главные вопросы человеческой жизни, пытаются открыть сокровенные связи, соединяющие отдельный момент, конкретную жизнь с бесконечным, с природой и со всем человечеством.

«Мне было лет шесть. Помню, как я затаих, оказавшись наедине с собой» — так начинается открывающий книгу рассказ «Тысячу километров до Москвы». Затаив дыхание герой открывает для себя окружающий мир, предстающий как таинство. «Догадки» же о нем были то ликующие счастливыми («Наверно, гадаю, я, чем тоньше струйка пара, тем вкуснее картошка»), то пугающими — когда увидел в темноте лицо спящего дедушки и почувствовал в его тяжелом дыхании ускользание и возвращение человеческой жизни.

Мир затопляет ребенка впечатлениями, ощущениями на вкус, цвет, свет, запах. «Листья искрились на солнце — теплом, с прохладными сквознячками в лучах... над огородом покачивается плотная масса горячего пара и запахов... с неба сыплются белокрылые бабочки...»

В этом мире соседствуют реальность и воображаемое: «А если бы молоковоз довез меня аж до бугра, то я бы увидел и дальние страны, и Африку с пальмой посередине...» В этом мире закономерна дружба ребенка и старика. От первого еще не ушло целокупное видение, сплав чувства, действия и размышления, ко второму оно уже вернулось.

Этот пронзительный детский взгляд, поражающийся яркости морковки в дедушкиных руках, как бы возвращается к взрослым героям книги в кризисные моменты духа, позволяя им высказаться через природу, передать оттенок душевного состояния.

Диалоги в рассказах Дорошенко лаконичны, за ними угадываешь трудную выразимость смыслов. Слова лишь следы, силовые линии истинного состояния, тогда как природа выговаривается полно — отсюда развернутость и сочность описаний: «Словно кем-то обманутое, на облетевшей ветке яблоны висело одиноко и высоко сталисто-блед-

ное, ледяное яблоко. И на его округлом боку мелко пузырилась и шипела морось дождя». Эпитеты в них напряженные, округлые: «сталисты», «всполохнутый»... Фраза долгая, своенравная, с обилием дополнительных, в которых рождаются и распространяются смыслы вещей и явлений.

Книга «Тысячу километров до Москвы» замешена на традициях так называемой деревенской прозы, однако не деревенский колорит, а общие для всех людей поиски смысла жизни оказываются в центре внимания молодого автора. Самобытность персонажей Дорошенко в их внутренней цельности, сосредоточенности. Тяготея к поэтическому мировосприятию, они от своих мечтаний и прозрений снова возвращаются в будничную реальность, накрепко связанные с ней.

Ольга Свиблова.



ВАЛЕРИЯ ШУБИНА. Невинный скворец. Повесть, рассказы. М. «Советский писатель». 1983. 247 стр.

«Невинный скворец» — первая книга писательницы, хотя имя Валерии Шубиной читателям, может быть, знакомо по рассказам и очеркам в периодике. В сборник вошли вещи очень разные в жанрово-стилистическом отношении (рассказы реалистические, фантастико-сатирические, тяготеющие к очерку, где-то на грани с ним), и собиравшаяся книга явно не год и не два. И тем не менее при чтении ее ощущается внутреннее единство, близость рассказов. Впечатление это рождается пристальным интересом автора к той особой породе людей, которых мы воспринимаем порой как чудачков, а порой как фанатиков, одержимых. Нет, конечно, автор не превращает своих персонажей в близнецов-братьев. Их характеры формируются в несхожих жизненных условиях и коллизиях. Есть среди героев В. Шубиной рабочие горно-обогатительного комбината, фармацевт, журналист, дворник, инженеры... Главное для всех них — достойно и по совести прожить на свете, прожить бескомпромиссно, не принимая фальшь, демагогию, лицемерие. Не боясь войти в конфликт, навлечь на себя гнев.

Программист Петрашева («Тихий приют») бесстрашно вступает в борьбу с начальником своего отдела Неквасом, мирно благоденствующим в институте более тридцати лет. И хотя столкновение честных и искренних людей с демагогами часто ставит первых в весьма невыгодное положение, в рассказе еще неизвестно, кто кого одолеет. Недаром Петрашева вызывает у Некваса серьезное беспокойство. Ему кажется, что у нее даже «лоб человека, который не отступится от своего лишь потому, что имеет на все собственное мнение... лоб возмущительницы спокойствия, которая, начитавшись о высшей цели, о человеческом предназначении, небрежно создает конфликтные ситуации».

Странный фармацевт Завитухин из рассказа «Невинный скворец» изобретает антиговорин: ему хочется освободить человечество от болтливости и пустословия, поро-

дивших, как он считает, специалистов по «ставке на горло», даче ложных обещаний, извращению смысла, унылых критиканов и пр. К сожалению, в занятом этом рассказе не всегда выдержана единая тональность, что нарушает целостность читательского восприятия. Так, в фарсовом контексте рассказа странно выглядит фраза о генерале Карбышеве, а высокому обличительному пафосу вредит соседство легких бытовых шуточек.

К героям, истово преданным собственным нравственным принципам и идеалам, упорно гнущим свою линию, принадлежит и филолог Светлана Бояринова, сердце которой «сочувствовало всякому, кто незаслуженно страдал» («Мамонтово дерево»), и дворничиха Паня («Казенный дом»), и мастер аглохеа Алексей Богда, и «лучший металлург страны Кистенев» (повесть «Из жизни Сабрина»).

Но наиболее яркой, наиболее интересной фигурой в книге получился, как мне кажется, инженер Сабрин, потомственный металлург, у которого «одержимость работой является состоянием души». Сабрин — человек сильный, независимый. Он нашел себя в работе и счастлив. Впрочем, счастлив — это, пожалуй, не про него. «Металлургию он считал своим главным назначением, своей страстью, своим миром». В этом смысле его жизнь полна радости и гармонии. Но какво при такой-то одержимости сталкиваться с нерадивостью, некомпетентностью, равнодушием, с теми, кто работу свою не любит, поपाल на нее случайно? Да и бывает ли счастье без умения противостоять несправедливости, глупости, душевной лени, равнодушию? В записках Сабрина читатель найдет ситуации и конфликты, размышляя над которыми ему придется мобилизовать и собственный житейский опыт, поломать голову над их непростыми решениями. Этой публицистической напряженностью, на мой взгляд, прежде всего и интересна повесть.

Варьируя и исследуя полюбившийся ей тип героя, писательница словно бросает вызов тому парадоксальному положению, уже подмеченному критикой, что персонажей решительных, бескомпромиссных, способных не только жертвовать во имя правого дела, но и бороться за него последовательно и яростно, мы любим главным образом в книгах, а в жизни выше всего ценим деликатность, мягкость, терпимость. Нас утомляет упорное стремление «чрезмерно принципиальных» доказать свою правоту, добиться истины, нежелание идти на компромиссы. Все это Валерия Шубина хорошо понимает. Как понимает и то, какую важную и нелегкую нравственную функцию выполняют в жизни люди этого типа. Ей хочется, чтобы мы лучше разглядели и полюбили ее неспокойного героя.

Г. Петрова.



П. А. НИКОЛАЕВ. *Историзм в художественном творчестве и литературоведении.* М. Издательство МГУ. 1983. 366 стр.

Сегодня гуманитарные науки от описания, сопоставления, классификации изучаемого

материала все чаще переходят к построению сложных структурных и функциональных моделей. А переход к такого рода широким конструкциям всегда сопровождается методологическими поисками, усилением самоанализа науки, размышлениями над ее исходными принципами. В том числе, разумеется, и над принципом историзма — одним из основополагающих при осуществлении диалектического подхода к действительности.

В книге П. Николаева читатель найдет интерпретацию ведущих методологических идей, составляющих содержание принципа историзма, их трактовку на конкретном литературном материале.

Марксистский историзм, справедливо подчеркивает П. Николаев, активно противостоит получившей в последнее время значительное распространение в зарубежном литературоведении структуралистской методологии. Существеннейшее преимущество марксистского подхода перед структурализмом состоит в том, что марксизм ориентирует исследователя на выявление генетических связей явлений, особенно причинно-следственных зависимостей, установление которых составляет главную цель научного познания. Структуралисты, как правило, даже не ставят перед собой такую задачу. Поэтому их методология, несмотря на ее внешнюю наукообразность, в принципе не в состоянии вывести литературоведение за рамки описательности.

Ведущая тема рецензируемой книги — это преемственность исторических связей между современной социалистической культурой и великим духовным наследием классической русской литературы и критики. С особым интересом читаются те страницы работы, где автор прослеживает развитие гоголевской и лесковской традиций в советской литературе, нащупывает линию преемственности между художественным мышлением Пушкина и принципами социалистического реализма. Автор стремится привлечь наше внимание к тем сторонам наследия русских писателей прошлого, которые почему-либо незаслуженно оказались в тени (в этом плане вполне обоснованно внимание исследователя к особенностям писательского мастерства Гончарова).

Настаивая на строгом соблюдении принципа историзма, автор книги полемизирует с попытками некоторых современных авторов пересмотреть сложившиеся в нашей науке оценки консервативных черт мировоззрения Гоголя и Достоевского, предложить «новое прочтение» Гончарова, при котором пресловутая обломовщина предстает чуть ли не как особая форма альтруизма и гуманизма.

Последовательно ориентируясь на материалистическую линию в русской философско-эстетической мысли, на те ее течения, которые выражали идеологию революционного движения, П. Николаев вместе с тем совершенно справедливо подчеркивает и необходимость более глубокого и всестороннего изучения таких активно выступивших в сфере литературы, литературной критики и эстетики деятелей, как, например, Вл. Соловьев, наследие которого отнюдь не сводится только к мистике и идеализму, а содержит и некоторые положительные моменты: защиту интеллектуальной действительности ху-

дожественного творчества, критику искусства, оторванного от жизни, отстаивание художественной правды как высшей цели искусства.

Книга П. Николаева написана с методологически выверенных, партийных позиций. Она возникла на магистральном направлении теоретических поисков нашей литературоведческой и эстетической науки, и читатель найдет в ней немало полезного, побуждающего к дальнейшим раздумьям о развитии нашей литературы, критики и литературной теории.

А. Андреев,
доктор философских наук.



МЕДЖА МВАНГИ. Улица Ривер-роуд. Тараканий танец. Романы. Перевод с английского. М. «Радуга». 1983. 560 стр.

Кенийский прозаик Меджа Мванги в настоящее время один из наиболее интересных писателей Африки. Советским читателям он хорошо знаком (ранее у нас были изданы его повести «Неприкаянные», «Жертва для гончих» и «Часовые саванны»).

Романы «Улица Ривер-роуд» и «Тараканий танец» занимают в творчестве писателя особое место. Именно в них раздумья автора о современном положении Кении, о разочарованиях и надеждах в эпоху национальной независимости (страна освободилась от британского владычества в 1963 году) выражены с наибольшей полнотой и страстью.

В обоих произведениях мы встречаемся с обитателями бедняцкого района Найроби. Жизнь простого люда, на который ложится главная тяжесть буржуазных порядков, раскрывается перед нами во всей ее полноте.

«Улица Ривер-роуд» — роман о строителях, возводящих на месте снесенных лачуг Дом Развития. Для кого строится этот небоскреб с претенциозным названием? Уж конечно не для рабочих людей вроде Бена или его приятеля Очоллы. Для большинства занятых на стройке работа — кабала, на которую они соглашаются только ради куска хлеба. Но и этот кусок легко потерять. С недовольными хозяева не церемонятся. Нельзя сказать, что строителям Дома Развития безразличны результаты их труда. Нет, каменщики, плотники, мастера других профессий тхотят трудиться с отдачей, плодотворно. Однако этому противоречит система эксплуатации, пренебрежение к нуждам рабочих со стороны начальства.

Пролетариат в Кении только формируется, он неоднороден. Тут и переселившиеся в города крестьяне, и разорившиеся мелкие торговцы, и просто неудачники, ищущие свое место в жизни. Классовое самосознание этих людей зачастую незрело, к сознательной борьбе против произвола хозяев они пока не готовы. Вот и Бен, один из героев, не прочь посетовать на худое житье-бытье, однако дальше крепкого словечка в адрес подрядчика или десятника-наркомана дело не идет.

Более активную жизненную позицию занимает Дазмен Гонзага, центральный пер-

сонаж романа «Тараканий танец». Он один из обитателей «Дакка-хауза», где в грязных каморках ютятся бедный люд, которому грозит потеря и этого пристанища. Многие жильцы «Дакка-хауза» вздрагивают от страха, когда появляется домовладелец Тумбо Кубва.

Стихия капиталистического предпринимательства породила хищников, начисто лишенных патристического чувства. В немалой мере благодаря им сохраняется неокониальная зависимость развивающихся стран от бывших метрополий. Меджа Мванги дает выразительную характеристику этих кровососов: «Тумбо Кубва одним из первых африканцев продрал глаза после долгой спячки, на которую обрек туземцев колониализм. Едва он смекнул, куда дует ветер перемен, сулящий крупную удачу, он поднял мятые паруса и пустился в плавание по бурным волнам биржевых игр и инвестиций».

Гонзага пытается организовать соседей на отпор домовладельцу. Эта акция расценивается властями чуть ли не как призыв к свержению существующего строя. Смутьяна бросают за решетку. Однако решимость обездоленных отстоять свои права крепнет.

Писатель тонко передает душевное состояние этого горячего парня, которому осточертела его служба. Изо дня в день он обязан снимать показания счетчиков на автостоянках. Счетчики мерещатся ему во сне. Комнатенка, где он живет, кишит тараканами. Для Гонзаги эти мерзкие неистребимые насекомые олицетворяют царящее в мире зло. Не случайно именно с тараканами он сравнивает Тумбо Кубву и ему подобных наживал.

Меджа Мванги — хороший социальный диагност. Верно оценивая социальные недуги своей страны, он прямо пишет, что тяготам простых людей не будет конца, пока Кения отдана на откуп эксплуататорам и толстосумам. Его герой полон решимости бороться за справедливость.

Для народов Африки после колониальной ночи наступил новый день. Проблемы, им принесенные, приходится решать безотлагательно. Лучшие достижения африканской литературы связаны с утверждением прогрессивных идеалов — мира, справедливости, человеческого достоинства. Творчество Меджи Мванги развивается в этом направлении.

М. Вольпе.



Б. И. КРАСНОБАЕВ. Русская культура второй половины XVII — начала XIX в. М. Издательство МГУ. 1983. 223 стр.

Что изучать историк культуры? Что считать ее состоявшимся фактом? Только ли художественное творчество человека или все, созданное его разумом и руками в определенную эпоху?

Перед нами книга специалиста по истории русской культуры Бориса Ильича Краснобаева. Строгие теоретические главы перемежаются в ней портретными биографиями государственных деятелей, писателей, ху-

дожников; исторические персонажи соседствуют на страницах с героями литературных произведений, которые также обладают правом репрезентативности. Автор ссылается на официальные документы, дневники, письма, на события частной жизни, которые в разрезе культуры равно значительны и весомы, являются ее тканью, ее своеобразием. Ибо, считает Б. И. Краснобаев, культура есть не что иное, как деятельность человека ради достижения определенного результата, будь она хозяйственной, творческой или экологической (ведь взаимодействие с природой, ощущение ее, опыт наблюдения над нею — тоже свидетельство культуры).

Пристальное портретное знакомство, стремление «заглянуть в глаза» человеку прошедшей эпохи необходимы автору для того, чтобы выявить нравственные поиски поколения, которые, по его мнению, играют ведущую роль в процессе созидания культуры. Особенно существенны они для оценки рассматриваемого в книге периода, когда сходилась на нет средневековая традиционная культура с ее религиозной системой ценностей и на ее месте постепенно рождалась культура «нового времени». Разрывается освещенная веками замкнутость средневековья. Национальная русская жизнь бурным потоком вливается в мировую.

Оценки, данные в книге, далеки от односложности. Хорошо понимая противоречивый характер сложения новой культуры, Б. И. Краснобаев показывает, как в ней вырастают наиболее стойкие, жизнеспособные компоненты культуры традиционной, как нравственная позиция человека — современника петровских реформ играет в борьбе нового со старым ведущую роль. Человек — главное и единственное действующее лицо истории. Читатель знакомится, например, с личностью известного государственного деятеля Ордина-Нащокина, который, по свидетельству англичанина Колина, мог быть достойным министром любой европейской страны. Его человеческая безысходность, которая вроде бы не должна затрагивать исследователя, становится здесь знаменательным фактором, глубоко волнует Б. И. Краснобаева: автор пытается понять, почему один из умнейших представителей своего времени вынужден был уйти в монастырь и там умереть. Личностному анализу подвергаются и герои литературных произведений. На конец XVIII — начало XIX века падает «молодость Дубровского-отца, его соседа — богатого самодура Троекурова, князя Верейского, знатного англомана...».

Становление национальной культуры рассматривается в книге вплоть до 1812 года, когда в ней начинается новый подъем. Это уже время Владимира Дубровского, в котором, по словам автора, известный русский историк В. О. Ключевский пронизательно разглядел «другой полюс века и вместе его отрицание».

Б. И. Краснобаев предпринял попытку рассмотреть русскую культуру в ее внутренних взаимосвязях и в контексте мировой культуры. Эта попытка тем более ценна, что обобщающих работ по истории русской культуры очень мало. Не считая написанных до революции книг П. Н. Милю-

кова и М. Н. Покровского, мы располагаем очень немногими изданиями, одно из которых — «Очерки русской культуры XVIII века» самого Б. И. Краснобаева. В основу последней книги, которую автору уже не суждено было увидеть, лег специальный курс лекций, читавшийся Б. И. Краснобаевым на истфаке МГУ.

В. Черный,
кандидат исторических наук.



СТАНИСЛАВ МИХАЛ. Вечный двигатель вчера и сегодня. Перевод с чешского. М. «Мир». 1984. 256 стр.

Вряд ли действительные члены Парижской академии наук, вынесшие в 1775 году решение не принимать к рассмотрению любые проекты вечных двигателей, предполагали, что этим своим запретом они попытаются затормозить научно-технический прогресс. К счастью, им это не удалось. Впрочем, «бессмертным» приходилось ошибаться и в дальнейшем: не допустили же они Эйнштейна на свое заседание, возмущенные его «бредовой» теорией относительности.

Но вернемся к вечному двигателю. Ни одна научная идея не прожила такую долгую жизнь, сопровождая человечество на огромном этапе его истории — от раннего средневековья до наших дней. Философский камень, эликсир жизни, вечный свет — все эти идеи на какое-то время становились горячими точками науки, при решении которых познавались новые истины, закладывались фундаменты современных направлений научного поиска. Перпетуум-мобиле всех пережил... Леонардо да Винчи и Роберт Бойль, Парацельс и Ян Амос Коменский, тысячи других менее известных естествоиспытателей отдали дань машине, предназначенной работать на энергии, которую сама же и производит. Пытался построить такую машину и Роберт Юлиус Майер. Неудача помогла ему осознать и сформулировать один из основных принципов мироздания — закон сохранения энергии, который наповал убил идею вечного движения. И что же? Закон признали, а перпетуум-мобиле продолжали изобретать. Более того, тут же появился так называемый вечный двигатель второго рода, в основе которого был заложен... закон сохранения энергии.

Что это — просто навязчивая идея, химерическое порождение ошибок и заблуждений, которого не избежали даже отцы иезуиты, отнюдь не страдавшие дефицитом рационализма? Конечно, нет. Были, значит, какие-то причины, заставлявшие человечество снова и снова штурмовать барьер вечного движения, несмотря на вечные неудачи.

Этому и посвящена книга чешского писателя С. Михала «Вечный двигатель вчера и сегодня». Целый комплекс естественнонаучных и философских проблем, актуальных во все эпохи, поднимает автор вокруг идеи, о которой любой школьник сегодня отзовется с презрительной усмешкой. Впрочем, школьнику простительно...

Мы только сейчас начали воздавать должное тем направлениям исследовательского поиска, в удел которых достался тупиковый путь развития. А это значит, что стремительный взлет научно-технической революции вознес нас на те высоты, с которых уже не искажается перспектива, не важно — в прошлое или в будущее направлен ее вектор. Отсюда и понимание того, что тупиковый путь отнюдь не лишний, случайный, необязательный эпизод в эволюции духовного развития общества. И дело даже не в ставших уже хрестоматийными доводах, что из астрологии вызрела астрономия, а из алхимии — химия. Конечно, сказать так значит не погрешить против истины, но само-то истину исказить. Ведь прежде астрология вызрела (я специально акцентирую это слово) из практической астрономии, а алхимия — из практической химии. И если бы великий Парацельс не овладел до тонкостей алхимией, то весьма сомнительно, что удалось бы ему создать лечебную химию, спасшую с того времени десятки, а может, и сотни миллионов жизней: ему просто не от чего было бы оттолкнуться. И тупиковый путь развития одних научных направлений просто необходим другим направлениям, чтобы идти прямой дорогой к сияющим вершинам успеха. Впрочем, а была ли она у науки — прямая-то дорога?

Но дело не в этом. Так же как оружейнику нужен хороший оселок, на котором он доводит свои клинки до совершенства, так и науке до определенной степени ее развития нужна «генеральная» идея, на которой пробуются не только результаты новых исследований, но и степень готовности ученых к новым сражениям с природой, их философское осмысление достигнутых рубежей. И разумеется, такая идея должна быть неосуществимой... По крайней мере до тех пор, пока не появляется философия, помогающая сложить разрозненные явления в единственно верную картину мироздания. Вот почему, как только в арсенале науки появлялись вновь открытые явления, ученые тут же испытывали их на оселке перпетуум-мобиле: одни — чтобы доказать возможность вечного движения, другие — чтобы эту возможность опровергнуть. И пожалуй, в этих попытках как нигде проявился великий утешительный принцип, гласящий, что в науке отрицательный результат не менее важен, чем положительный, поскольку оба ведут к одной цели: расширению границ познанного.

Механика и теплота, электричество и магнетизм, гидравлика и пневматика, гравитация и законы обращения планет — автор последовательно показывает, как все эти физические явления преломлялись в призме перпетуум-мобиле, открывая исследователям новые свои грани и возможности.

В книге С. Михала собран богатейший фактический материал. В том числе и веселые странички истории науки — о гениальных обманщиках, морочивших в старину головы королям и народам своими «работающими» перпетуум-мобиле. И об обманщиках современных, обманщиках поневоле, которые построили все-таки машины, работающие десятилетиями, до полного износа, без видимого притока энергии.

И читатель, перевортывая последнюю страницу книги, понимает, почему этой «Бредовой» идее посвящены десятки серьезных трудов, почему о ней упоминается во всех энциклопедиях и почему без анализа проблемы вечного движения не обходится ни один учебник физики, механики, термодинамики.

А. Валентинов.



В. М. МЕНЬШИКОВ, П. В. МЕНЬШИКОВ.
«Силы быстрого развертывания» во внешней политике США. М. «Международные отношения». 1984. 110 стр.

Каждый день телеграфные агентства, газеты, радио и телевидение сообщают о новых проявлениях экспансионистского, авантюристического курса внешней политики США, об их вмешательстве во внутренние дела независимых государств. Международный терроризм возведен администрацией Рейгана в ранг государственной политики. Вскоре после вторжения на Гренаду американских десантников государственный секретарь Шульц попытался подвести «теоретическую базу» под этот акт кровавого насилия над народом суверенной страны. «Гренада показала, — заявил он, — что появились новые идеи. Это — появление идеи свободы, демократии, свободного рынка, духа предпринимательства...» Что это за «новые идеи» и как они проводятся в жизнь Белым домом, еще раз показали недавние события.

В марте текущего года при подходе к никарагуанским берегам на минах подорвались торговые суда с мирными грузами: голландский теплоход «Геопонтес», советский танкер «Луганск», сухогруз «Норм Карибе» под панамским флагом. Распоряжение о минировании подходов к портам Никарагуа подписал не кто иной, как... президент США, а операцию по постановке двух тысяч мин производили специальные отряды ЦРУ вместе с никарагуанскими контрреволюционерами.

Английская газета «Обсервер» писала в июне этого года, что американские боевые корабли в Персидском заливе принудительно «охраняют» суда нейтральных стран вопреки их желанию. Представитель компании «Кувейт танкерс» прямо заявил, что Кувейту не нужен американский военный эскорт, создающий угрозу мореплаванию...

Перечисленные факты не успели войти в книгу «„Силы быстрого развертывания“ во внешней политике США», но они проливают новый свет на цепь преступных действий и провокаций Вашингтона, о которых рассказывают В. М. Меньшиков и П. В. Меньшиков. На основе большого фактического материала авторы детально проанализировали историю и цели создания «сил быстрого развертывания», раскрыли их структуру и функции в реализации агрессивной гегемонистской политики США.

Многочисленные данные, собранные в книге, не оставляют камня на камне от попыток «команды» Рейгана представить свой внешнеполитический авантюризм, основанный на использовании «сил быстрого раз-

вертывания», как меры по «защите» Запада от некоей коммунистической опасности. Сквозь густую завесу словесной демагогии отчетливо проступает бронированный кулак пентагоновской машины, направленный прежде всего против независимых государств и народов Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии. Как иначе можно расценить наглую демонстрацию США своей военной мощи в горячих точках планеты, о которой то и дело сообщает зарубежная печать? Поблизости от Персидского залива постоянно курсируют корабли США, в том числе авианосцы. И без того громадный транспортный флот Пентагона пополняется все новыми быстроходными судами, предназначенными для срочной переброски войск и оружия в любой рай-

он Мирового океана... Меняются формы и методы грязной работы неокOLONIALISTОВ, но цели остаются прежними. Характеризуя сущность «сил быстрого развертывания», А. А. Громыко на XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН сказал: «Это — не что иное, как полицейская дубинка, призванная обеспечивать грубое вмешательство США в дела независимых государств, душировать свободу народов».

Книга Меньшиковых — хорошее подспорье для всех, кто хочет разобраться в сущности авантюристической политики Вашингтона, возрождающего модернизированный вариант пресловутой «дипломатии канонерок» — дипломатию «сил быстрого развертывания».

Александр Калугин.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Ленин — товарищ, человек. Изд. 5-е. до-
полненное. 352 стр. Цена 65 к.

Ф. Дзержинский. Дневник заключенного.
Письма. 287 стр. Цена 1 р. 10 к.

Е. Севастьянов, Н. Корсакова. Последний
рубеж. 256 стр. Цена 65 к.

И. Стоун. Происхождение Роман-биогра-
фия Чарльза Дарвина. Перевод с английско-
го. 478 стр. Цена 3 р. 20 к

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Киселева. Никому не завидую. Повесть.
рассказы. 192 стр. Цена 30 к.

В. Костров. Нечаянная радость. Стихи. 126
стр. Цена 60 к.

В. Маканин. Место под солнцем. Рассказы.
316 стр. Цена 90 к.

И. Штемлер. Универмаг. Роман. 304 стр.
Цена 1 р. 20 к

ВОЕНИЗДАТ

Е. Карасев. А Родина будет всегда. Сти-
хи, поэмы. 158 стр. Цена 70 к.

О. Кириллов. Формула огня. Роман. 464
стр. Цена 2 р.

И. Падерин. Избранное. В 2-х тт. Т. 1. 495
стр. Цена 2 р.

Н. Чернашин. Крик дельфина. Повести. 272
стр. Цена 1 р. 20 к

«РАДУГА»

С. Дашдоров. Избранное. Перевод с мон-
гольского. 464 стр. Цена 3 р. 10 к.

Х. Доносо. Сад по соседству. Роман. Пере-
вод с испанского. 207 стр. Цена 1 р. 40 к

У. Натийо. Сын земли. Роман. Перевод с
английского. 199 стр. Цена 90 к

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

И. Андрич. Собрание сочинений. В 3-х тт.
Перевод с сербскохорватского. Т. 1. 479 стр.
Цена 3 р. 10 к.

В. Бынов. Повести. Перевод с белорусско-
го. 374 стр. Цена 3 р. 10 к.

Л. Жуховицкий. Избранное. 568 стр. Цена
2 р. 30 к.

Н. Чернышевский. Очерки гоголевского
периода русской литературы. 511 стр. Цена
1 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

День поэзии. Избранное. Составители
С. Ботвинник, О. Цакунов. 255 стр. Цена 2 р.
50 к.

Г. Пряжин. Сон. Повести и рассказы. 288
стр. Цена 1 р.

У. Рижинашвили. Дом. Повести и расска-
зы. 302 стр. Цена 1 р. 10 к.

Б. Роцин. Медовые росы. Повести, рас-
сказы. 375 стр. Цена 1 р. 60 к

«НАУКА»

И. В. Гёте. Театральное призвание Виль-
гельма Мейстера. Перевод с немецкого. («Ли-
тературные памятники») 296 стр. Цена 3 р.

Избранные произведения передовых вен-
герских мыслителей. Вторая половина XIX—
начало XX века. Перевод с венгерского. 303
стр. Цена 2 р. 30 к

Киноискусство Азии и Африки. 222 стр.
Цена 1 р. 90 к.

И. Можейко. Западный ветер — ясная по-
года. Юго-Восточная Азия во второй миро-
вой войне. 352 стр. Цена 3 р. 10 к

«ИСКУССТВО»

К. Богемская. Клод Моне. 143 стр. Цена
1 р. 50 к.

А. Дуров в жизни и на арене. 198 стр.
Цена 80 к.

Э. Ильенков. Искусство и коммунистиче-
ский идеал. Избранные статьи по филосо-
фии и эстетике. 349 стр. Цена 1 р. 80 к.

Н. Никулин. Искусство Нидерландов XV—
XVI веков. Очерк-путеводитель. 159 стр. Це-
на 1 р. 30 к.

Ф. Феллини. Делать фильм. Перевод с
итальянского. 287 стр. Цена 1 р. 80 к

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

П. Васильев. Стихотворения. Алма-Ата.
«Жазушы» 431 стр. Цена 2 р. 40 к

А. Межиров. Теснина. Из грузинской поэ-
зии. Переводы. Лирика разных лет. Тбили-
си. «Мерани». 511 стр. Цена 2 р. 70 к

С. Пайчадзе. Платформа. «Ботанический
сад». Повести. Перевод с грузинского. Тби-
лиси. «Мерани» 124 стр. Цена 55 к

Рассказы о деревне. Составитель В. Звоб-
ков. Пермь. Книжное издательство. 287 стр.
Цена 1 р.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала об-
ращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и
областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор В. В. Карпов

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), Е. М. Вино-
куров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков,
В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора), Д. Мулдага-
лиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный
секретарь), А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29

Сдано в набор 23.08.84 г. Подписано к печати 04.10.84 г. А 02549.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,03 уч.-изд. л. Тираж 379.000 экз. (1-й завод 1—199.000 экз.) Зак. 3104.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных
депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1984, № 11, 1—272.